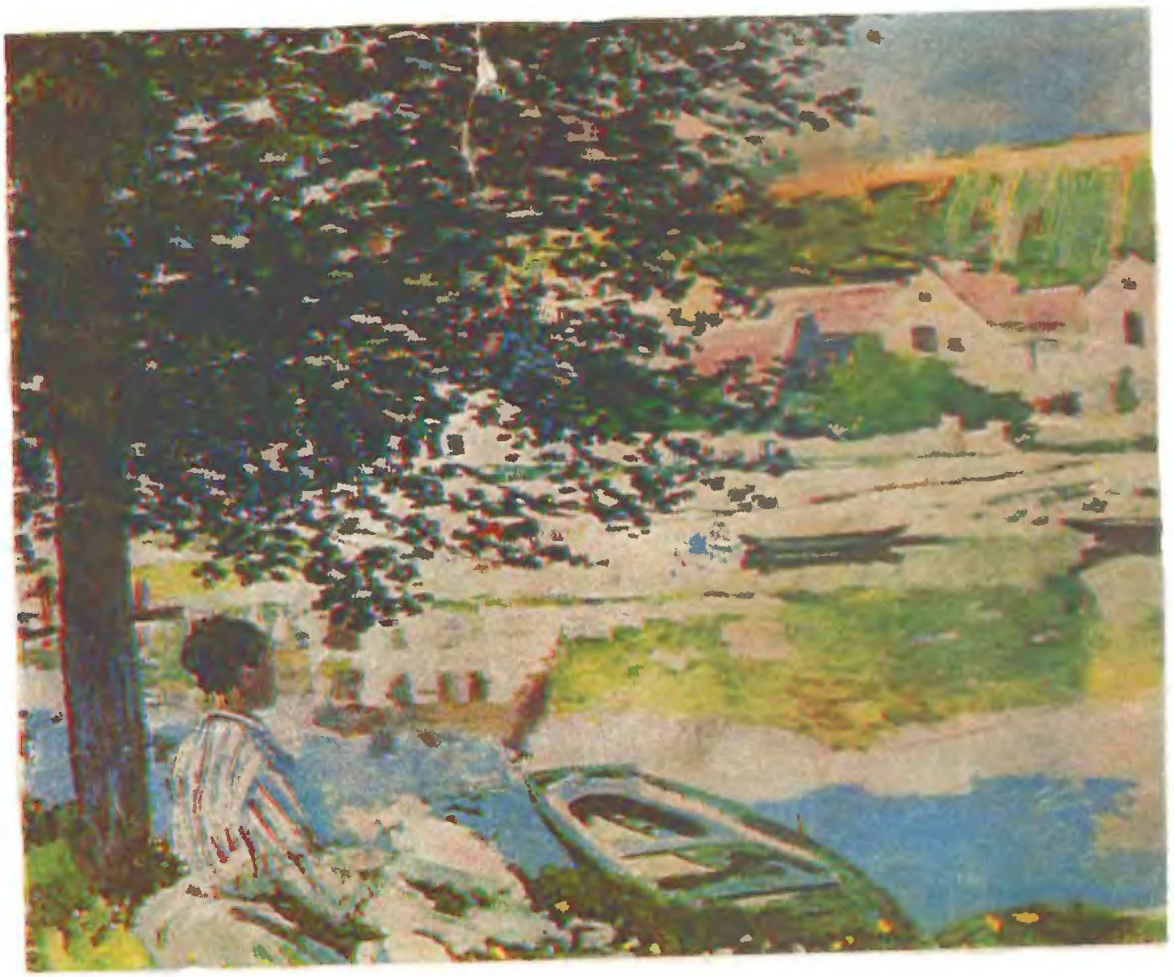
9.1978

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР. Франция. Швея

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
и ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

9 СЕНТЯБРЬ
1978

Содержание

НОРЖ *(Стихи. Перевод с французского и вступление М. Кудинова)* 3

ХУЛИО КОРТАСАР — Две новеллы *(Перевод с испанского М. Былинкиной)* 11

Э. Л. ДОКТОРОУ — Рэгтайм *(Роман. Перевод с английского В. Аксенова)* 32

ЭДНА О'БРАЙЕН — Рассказы *(Перевод с английского Е. Элькинд)* 91

ЯН КОЗАК — Гнездо аиста *(Роман. Окончание. Перевод с чешского Л. Лерер и И. Бернштейн)* 110

Литературное наследие

ЮНУС ЭМРЕ *(Стихи. Перевод с турецкого и вступление С. Липкина)* 188

Критика

К 150-летию со дня рождения Льва Толстого

Мир этот так огромен... (Говорят Джеймс Олдридж, Чарльз Сноу, Имре Добози, Анна Зегерс, Долорес Медио, Ярослав Ивашкевич, Фернандо Намора, Эрскин Колдуэлл, Роберт Крайтон, Анри Труайя, Арман Лану, Зденек Плугарж) 195

А. МУЛЯРЧИК — Война и мир Джеймса Джонса 205

Наши публикации

В. БАШТАННИК, Н. КУЗНЕЦОВА — У истоков «Тихого Дона» 214

Культура и современность

Заметки на полях

М. Тарасова — Не созерцатели, но духовные вожди! 222

Публицистика

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ — Преображая время... (Литература ГДР: портрет в диалогах. Окончание) 225

Антирубрика

ДОРОТИ ПАРКЕР — Из цикла «Взгляд на литературу с высоты поросячьего полета» *(Перевод с английского Марины Бородницкой)* 251

ЖАК СТЕРНБЕРГ — Рассказы *(Перевод с французского Н. Поповой)* 253

Наши гости

М. Ткачев — Нгуен Динь Тхи (Вьетнам) 256

Среди книг

Издано в СССР

С. Никольский — Поэзия Иржи Тауфера ✦ Лев Озеров — Читая танки и хокку ✦ А. Борисов — Верность правде 260

Издано за рубежом

Радий Фиш — Торжественное описание церемонии повешения ✦ Альбер Эгпарс — Век поэзии 267

Из месяца в месяц 272

Авторы этого номера 286

На обложке: картина французского художника КЛОДА МОНЕ «У реки». На стр. 187, 194, 221 — рисунки голландского художника ВИНСЕНТА ВАН ГОГА.

© «Иностранная литература», 1978.

НОРЖ

■

Перевод с французского и вступление М. КУДИНОВА

Современный франкоязычный бельгийский поэт Жео Норж (свои книги он подписывает только фамилией, опуская имя) родился в 1898 году в Брюсселе. Французские гугеноты, эмигрировавшие в Бельгию во времена религиозных преследований, были его далекими предками. Первый сборник Норжа вышел в свет в 1923 году в Брюсселе; там же в молодые годы он был одним из основателей «Театра свободной группы», принимал активное участие в создании «Журнала поэтов» и организовывал поэтические вечера. С 1954 года он постоянно живет на юге Франции, в Сен-Поль де Ванс.

Широкая известность поздно пришла к Норжу, хотя в литературных кругах его поэзия уже давно была признана и высоко оценена. Прогрессивные французские поэты первыми привлекли к его творчеству внимание массового читателя. В 1953 году на страницах «Леттр Франсэз» Жан Марсенак посвятил ему несколько блестящих статей, в одной из которых о Норже говорилось как о «непризнанном большом поэте». В те же годы в своем «Журнале национальной поэзии» Луи Арагон писал о Норже: «Возможно, он один из самых крупных современных поэтов». В настоящее время творчество Норжа пользуется заслуженным признанием в странах французского языка; до последних лет он сохраняет творческую активность.

Трудно дать исчерпывающую характеристику поэзии Норжа в кратком вступительном слове: он прожил долгую жизнь, и творчество его с 20-х годов прошло достаточно сложный путь развития.

Если в первых сборниках гуманизм Норжа носил несколько отвлеченный характер, то с годами реальный мир все больше и больше приковывает к себе внимание поэта. В этом реальном мире он безоговорочно принял сторону обездоленных и угнетенных. Шахтеры, заводские рабочие, фабричные девчонки, крестьяне, батраки, деревенские парни, уходящие в город на заработки,— не перечислить всех представителей трудового люда, населяющих поэзию Норжа. И это не просто сочувствие или сострадание к «малым сим»: воинствующий демократизм поэта зовет не к сочувствию, а к борьбе. Он не боится страшных и уродливых картин, которыми наполнен реальный мир. Не боится и грубого языка, на котором подчас говорят обитатели этого мира. Нередко он возвращается к трагическому прошлому своей родины, чью землю не раз топтали поработители, и тогда застенки, камеры пыток и орудия казни отбрасывают зловещую тень на его стихи. Оживают под его пером и евангельские мифы, но трактует он их далеко не в традиционном духе: благочестивые христиане вряд ли останутся довольны подобной трактовкой. Его поэтическая техника поражает своим совершенством, а страстность интонации — накалом и убежденностью. Он ни на кого не похож. Норж действительно большой поэт.

Лизетта

Быть в уголь влюбленной,
Любить терриконы,
Возможно ли это?
Но край свой унылый
Навек полюбила
Лизетта.
И ветер весенний
Ласкает крапиву;
А черные тени
И вправду красивы,
Лизетта!
Немного веселья,
Как в шахте — луч света;
Король подземелья
Не черного ль цвета,
Лизетта?
О, тихая нежность огромных угольных глаз!
От черного царства возможно ль дождаться ответа?
Я слышу, как в пепельных башнях, вдали от рассвета,
Неведомый бог словно просит прощенья у вас.
О, солнца восход!
Чего она ждет,
Лизетта?
Быть в уголь влюбленной,
Любить терриконы,
Возможно ли это?

Лампа шахтера

Там, где в глубинах уголь спит,
В тиски своих плотин зажатый,
Кирка подземная крушит
Лес, заколдованный когда-то.

Шахтерской лампы слабый свет,
Сверкать заставил ты глубины
И скрытых царств, и детских лет
Моих, о, лампа Аладдина!

Где в мире мы еще найдем
Глаза красивые такие?
Они припудрены углем,
Твои глаза, всегда ночные.

И встретив почерневший след
Былого счастья или спора,
Ты на него бросаешь свет,
О, лампа мудрая шахтера!

Удачи тебе

Удачи тебе, скорлупка
Плывущих вдаль моряков!
Удачи тебе, голубка,
В краю заводских гудков!

И счастья тебе и удачи,
Металлургии дитя,
Дитя, что на палочке скачет,
Каской стальной блестя.

И счастья Нинетте, что скоро
Вырастет, и расцветет,
И за руку взяв шахтера,
К груди эту руку прижмет.

Нищему в нищем краю,
Богу в божьем раю
Удачи и легкой ноши!
А яблоне — яблок хороших.

Выходит весна из воронок,
Ржавой травой шелестя...
Удачи тебе, ребенок,
Металлургии дитя!

Правда

В краю угля и дорог
Растет, сокрытый от глаз,
Едва заметный цветок,
Цветок, который подчас
Легко отрицать... Но есть,
Он все-таки есть и готов
Раскрыть ненароком все шесть
Ржавых своих лепестков
И сердце. Его аромат
О лучшем думать велит.
О чем? О феях, чей взгляд
Немного счастья сулит,
И свежесть сулит, и тепло,
И заставляет мечтать,
И если не повезло,
Его вспоминают опять,
Цветок этот малых надежд,
Цветок этот веры большой,
Цветок, что качается между холодом и темнотой.
В краю угля и дорог
Никто никогда бы не смог,
Забыв об этом цветке,
Поверить в другой цветок.

Он скромен и не речист,
Но речь его сердцу слышна...
Лишь правда, месье журналист,
Поэтична. Только она.

Невиновный

— Вам не пришить мне дело это!
Я в день убийства не был там.
Судья сказал: «Но ждет ответа
Вдова, и я ответ ей дам».

— Выходит так: не виноватый,
А все равно за кровь плати!
Судья сказал: «Но от расплаты,
Коль ты попался, не уйти».

— Какой-то гад убил и смылся...
Его искали? Черта с два!
Судья сказал: «Но раз он скрылся,
Твоя в ответе голова».

— Так что ж, не солоно хлебавши
Отдать концы и в землю лечь?
Судья сказал. «А пострадавший?
Он тоже мертв. Об этом речь».

— Выходит, подыхать мне вскоре
За трюк, что выкинут не мной?
Судья сказал: «У нас в конторе
Не найден выход был иной».

— Я глотку здесь деру напрасно:
Меня не слышишь ты, злодей!
Судья сказал «И так все ясно.
Отправишься кормить червей».

— Тогда твой суд, твои законы —
Сплошная липа и обман!
Судья сказал: «Повсюду стоны,
Весь мир наш погружен в туман».

— Ну, хватит! Слушай, пес кровавый:
Убил-то я! Чего скрывать!
Судья сказал. «Не думал, право...
Вот фрукт! А впрочем, мне плевать».

Музыка

Пусть будет полная мгла,
Чтоб даже на миг короткий

Надежда к ним не могла
Проникнуть сквозь прутья решетки.

Пусть молча во мраке сидят,
Питаясь мечтами уныло,
А если пить захотят,
Питье им заменят чернила.

Но главное, с музыкой этой
Покончите... Как не слышна?
Чудовищной песней рассвета
Звучит в их сердце она.

Невмочь мне! Скорей перережьте
Им горло, чтоб звук этот стих.
Не дайте взойти надежде,
Что зреет в сердце у них.

Цикады

На холме, в траве сухой,
Духоте и зною рады,
Вы костер певучий свой
Разожгли, мои цикады.

Это было в третий час,
В пятый день Страстной недели;
Грянул хор ваш, и тотчас
Вы от пенья захмелели.

Холм как будто подожгли,
И жара была такая,
Что поднялся от земли
Пар иль дымка грозовая.

На вершине между тем
Шла какая-то работа,
Непонятное совсем
На холме творилось что-то.

Глухо заступ там гремел,
Глухо гвозди забивали,
Словно в спешке на холме
Монумент сооружали.

А затем ударил гром,
Капель несколько упало,
Звон, что слышался кругом,
Смолк: цикадам страшно стало.

Но не долго длился страх:
Вскоре прочь ушли куда-то
Чьи-то женщины в слезах,
Побродяжки и солдаты.

Снова лился с неба зной;
И, не ведая преграды,
Вновь о радости земной
Пели звонкие цикады.

Еще один сын

Второго сына нет ли у тебя?
Пришли его на нашу землю, боже!
Посевов новых ждет она скорбя,
А ты забыт и первенец твой тоже.

Без малого две тыщи лет прошло...
Давно пора надеждам возродиться!
Мы ждем весны, но вешнее тепло
Твоих распятий древних сторонится.

Второй твой сын научит нас любить
Вино и пламя юного рассвета
И будет петь и кровью песнь кропить,
Чтоб не осталась песня без ответа.

Он даст нам свет, дарует благодать,
Твой младший сын,— мы вмиг его узнаем,
И чтобы повторенья избежать,
Его мы не распнем, а расстреляем.

Из далекого детства

Мой бог, как мила
В тот вечер была
Сестра!
Ждала она парня
Из пивоварни
С утра.

Мой бог, как была
Свежа и бела
В тот вечер!
И свечку сама
Задула она
При встрече.

Мрак создан недаром
Для празднеств с их жаром
В крови,
Для этих сражений,
Безумств и томлений
Любви.

Понять я не мог,
Что значит поток
Их страсти,
В котором была
И гибель, и мгла,
И счастье.

О, вздохи и стоны
Той пары влюбленной!
О, бредни
Девчонки и парня
Из пивоварни
Соседней!

И ночь не дыша
Сгорала вдали.
А ныне...
Будь сильной, душа:
Все, кроме любви,
Пустыня!

Сталь, железо...

Была их любовь крепка.
Сталь, железо, руда.
Ни лепестка, ни цветка
В этом краю труда.

Каменный уголь врос
В кожу — не смыть никогда.
Ни георгинов, ни роз:
Сталь, железо, руда.

Но над заводом луна
Все же плыла, и тогда
Было двоим не до сна,
Были они и весна,
Сталь, железо, руда.

Бог засыпал в этот миг,
Отпуск брала беда;
И чтоб из мрака возник
Индустриальный цветник,
Вспыхивала звезда
В сердце влюбленном, и вмиг
Весь озарялся цветник —
Сталь, железо, руда.

Нож

«О, этот нож! Он муки ада
Принес мне, грудь мою пронзив».
— Преувеличивать не надо:
Пусть больно, все-таки ты жив.

«Но я измучен болью этой,
Страданье слишком велико!»
— Художник, на судьбу не сетуй:
Терпи, хоть это нелегко.

«Умру я! Больше нет терпенья»...
И в самом деле умер он.
— Ну что ж! Ты видел сновиденье,
Со смертью кончился твой сон.

На небесах, где все сверкало,
Он вечность наконец познал,
И только вечно не хватало
Ножа, что так его терзал.

Все время кони

Все время кони, кони, стук подков,
Дороги, кони, камни и подковы,
И снова кони и ночной покров,
Который разорвать они готовы.

В моей душе я слышу топот их,
Врываются в мечты они упрямо,
И стук подков гремит в страстях моих,
Покуда длится жизненная драма.

Повсюду кони. Фыркает рассвет,
И воронье он от порога гонит,
Ржут скакуны моих невзгод и бед,
Моей любви нетерпеливы кони.

Вцепиться в гриву, гнаться за судьбой,
Вдыхая запах пота и соломы,
И черный запах стойла, и порой
Лет легендарных аромат знакомый.

Паденья, взлеты, торжество побед,
И красные разлуки, и погони,
Гляжу на вас, и словно мне в ответ
Как молнии сверкают в небе кони.

ХУЛИО КОРТАСАР

Две новеллы

Перевод с испанского М. БЫЛИНКИНОЙ

Шаги по следам

Довольно заурядная история — скорее в стиле упражнения, чем упражнение в стиле,— поведанная, скажем, каким-нибудь Генри Джеймсом, который посасывал бы мате[1] в патио Буэнос-Айреса или Ла-Платы двадцатых годов.

Хорхе Фрага уже переступил порог своего сорокалетия, когда у него созрело решение изучить жизнь и творчество поэта Клаудио Ромеро.

Мысль эта зародилась у Фраги во время одной из бесед с друзьями в кафе, где все снова сошлись во мнении, что о Ромеро как личности до сих пор почти ничего не известно: автор трех книг, все еще вызывавших восхищение и зависть и принесших ему шумный, хотя и непродолжительный успех в начале нашего века, поэт Ромеро как бы сливался с собственными поэтическими образами и не оставил заметного следа в литературоведческих, а тем более в иконографических трудах своей эпохи. Кроме в меру хвалебных рецензий в журналах того времени и одной книжки неизвестного энтузиаста-учителя из провинции Санта-Фе, чье упоение лирикой не оставляло места трезвым умозаключениям, ничего не было написано о жизни и деятельности поэта. Отрывочные сведения, туманные фотографии, а все остальное — досужие выдумки завсегдатаев литературных вечеров или краткие панегирики в антологиях случайных издателей. Но внимание Фраги привлекал тот факт, что многие продолжали зачитываться стихами Ромеро так же, как зачитывались, до умопомрачения, стихами Карриего или Альфонсины Сторни. Сам Фрага открыл для себя поэзию Ромеро еще на школьной скамье, и, несмотря на все усилия эпигонов с их нравоучительным тоном и затасканными образами, поэмы «певца Рио-Платы» оставались для него таким же незабываемым впечатлением юности, как Альмафуэрте или Карлос де ла Пуа[2]. Однако лишь много позже, став уже довольно известным критиком и очеркистом, Фрага серьезно заинтересовался творчеством Ромеро

[1] Г. Джеймс (1843—1916) — американский писатель. Мате — популярный напиток аргентинцев. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Э. Карриего и А. Сторни, Альмафуэрте (Педро Паласиос) и К. де ла Пуа — представители постмодернистской поэзии и прозы Аргентины первых десятилетий нашего века.

и пришел к выводу, что почти ничего не знает о его человеческих переживаниях, возможно, еще более глубоких и тонких, чем его творения. От стихов других хороших поэтов начала века стихи Клаудио Ромеро отличались особой доверительностью тона, задушевностью, сразу же привлекавшей к себе сердца молодых, которые по горло были сыты пустозвонством и велеречивостью. Правда, во время бесед о поэмах Ромеро с друзьями или учениками Фрага нередко задавался вопросом — не приумножает ли тайна, окутывающая личность поэта, магию этой поэзии, идеалы которой туманны, а истоки неведомы? И всякий раз с досадой убеждался, что, в самом деле, таинственность, незнание человека еще сильнее распаляют страсти почитателей Ромеро, хотя, как бы там ни было, его поэзия была слишком хороша сама по себе, чтобы обнажение ее корней могло умалить ее достоинства.

Выходя из кафе после одного из таких собраний, где, как обычно, собеседники прославляли Ромеро в неопределенно-общих выражениях, Фрага ощутил настоятельную потребность заняться этим поэтом. Он почувствовал и то, что на сей раз не сможет ограничиться чисто филологическими изысканиями, как почти всегда делал прежде. Сразу стало ясно — надо воссоздать биографию, биографию в самом высоком смысле слова: человек, среда, творчество в их целостном единстве, хотя задача казалась неразрешимой, время заволокло прошлое плотной пеленой тумана. Вначале надо было составить подробную картотеку, а затем постараться синтезировать данные, идя по следам поэта, став его преследователем от начала до самого конца. Только такой путь мог раскрыть подлинный смысл творчества Ромеро.

Когда Фрага решил приступить к делу, он находился в критической полосе своей жизни. У него был известный научный авторитет и звание доцента, его уважали коллеги по кафедре и студенты. В то же время недавняя попытка заручиться официальной поддержкой для поездки в Европу, чтобы поработать там в библиотеках, окончилась плачевно, наткнувшись на бюрократические препоны. Его публикации не принадлежали к тем, что без стука распахивают двери министерств. Модный романист или критик масштаба газетной колонки могли рассчитывать на гораздо большее, чем он. Фрага великолепно понимал, что, если бы его книга о Ромеро имела успех, самые сложные вопросы разрешились бы сами собой. Он не был тщеславен сверх меры, но кипел от возмущения, глядя, как ловкие борзописцы легко оставляют его позади. В свое время сам Клаудио Ромеро с горечью сетовал на то, что «стихотворец великосветских салонов» удостаивается того дипломатического поста, в котором отказывают ему, Ромеро.

Два с половиной года собирал Фрага материалы для книги. Работа была нетрудной, но кропотливой и подчас утомительной. Приходилось ездить в Пергамино, в Санта-Крус, в Мендосу; переписываться с библиотекарями и архивариусами, копаться в подшивках газет и журналов, делать необходимые выписки и заодно изучать литературные течения той эпохи. К концу 1954 года уже четко обозначились основные вехи будущей книги, хотя Фрага не написал еще ни строчки, ни единого слова.

Как-то одним сентябрьским вечером, ставя новую карточку в черный картонный ящик, он спросил себя: а по силам ли ему эта задача? Трудности его не волновали, скорее, наоборот — тревожила легкость, с какой можно припустить по хорошо знакомой дорожке. Все данные были собраны, и больше ничего интересного уже не об-

наруживалось ни в аргентинских книгохранилищах, ни в воспоминаниях современников. Он собрал все доселе неизвестные факты и сведения, которые проливали хоть какой-то свет на жизнь Ромеро и его творчество. Главное состояло теперь в том, чтобы не ошибиться, правильно сфокусировать световые лучи, наметить линию изложения и композицию книги в целом.

«Но образ Ромеро... Достаточно ли он мне ясен? — спрашивал себя Фрага, сосредоточенно глядя на тлеющий кончик сигареты.— Да, есть сходство нашего мироощущения, определенная общность эстетических и поэтических вкусов, есть все, что неизбежно обусловливает выбор биографа, но не будет ли это уводить меня в сторону, к созданию практически собственной биографии?»

И с правом отвечал себе, что сам никогда не обладал поэтическим даром, что он не поэт, а лишь любитель поэзии и что его собственные возможности ограничиваются литературной критикой, наслаждением, которое приносят знания. Надо только быть настороже, не забываться, анализируя творческий процесс поэта, дабы случайно не вжиться в чужую роль. Нет, не было у него причин опасаться своей симпатии к Ромеро и очарования его поэм. Следовало лишь, как при фотографировании, так нацелить аппарат, чтобы рамка не отсекла объекту ноги.

Но вот, когда перед ним уже лежал чистый лист бумаги — словно дверь, которую давно пора открыть,— его снова охватило сомнение: в силах ли он сделать книгу такой, какой хотел ее видеть. Обычное жизнеописание с критическими экскурсами в поэзию грозит привести автора к легковесной занимательности, если ориентироваться на читателей такого сорта, которые ждут от каждой книги кинотрюков или сентенций в духе Моруа. С другой стороны, ни в коем случае нельзя потерять этого безымянного массового потребителя, которого друзья-социалисты именуют «народ», нельзя пренебречь им в угоду кучке своих коллег-эрудитов. Необходимо подать материал под таким углом, чтобы книга вызвала широкий интерес, но не стала банальным бестселлером; чтобы одновременно снискала и признание научного мира, и любовь обывателя, уютно располагающегося в кресле субботним вечером.

Да, почти переживания Фауста, минута сделки. За окном рассвет, на столе — окурки, бокал вина в бессильно повисшей руке. «Вино, ты как перчатка, скрывающая время»,— написал где-то Клаудио Ромеро.

«А почему бы и нет,— сказал себе Фрага, закуривая сигарету.— Сейчас я знаю о нем то, чего никто не знает, и было бы величайшей глупостью писать обычную повестушку, тиражом этак экземпляров триста. Хуарес или Риккарди могли бы состряпать нечто подобное не хуже меня. Но ведь никто и ничего не слышал о Сусане Маркес».

Слова, нечаянно оброненные мировым судьей из Брагадо, младшим братом покойного друга Клаудио Ромеро, навели его на важный след. Чиновник в бюро регистрации актов гражданского состояния г. Ла-Платы вручил ему, после долгих поисков, нужный адрес в Пиларе. Дочь Сусаны Маркес оказалась маленькой пухлой женщиной лет тридцати. Сначала она не хотела разговаривать с Фрагой, ссылаясь на занятость (торговля в зеленной лавке), но затем пригласила его в комнату, указала на пыльное кресло и согласилась побеседовать. После первого вопроса с минуту молча смотрела на него, потом всхлипнула, промокнула глаза платочком и стала говорить о своей бедной маме. Фрага, преодолев некоторое смущение, намекнул, что

ему кое-что известно об отношениях Клаудио Ромеро и Сусаны, и затем с надлежащей деликатностью немного пофилософствовал о том, что любовь поэта иногда стоит неизмеримо больше, чем свидетельство о браке. Еще несколько таких же роз к ее ногам, и она, признав справедливость его слов и даже придя от них в умиление, поверила ему тайну. Через несколько минут в ее руках оказались две фотографии — редкий, не публиковавшийся ранее снимок Ромеро и пожелтевшая карточка, где рядом с поэтом сидела женщина, такая же кругленькая и миленькая, как дочь.

— У меня есть и письма,— сказала Ракель Маркес.— Может, они вам пригодятся, если уж вы говорите, что будете писать о нем...

Она долго рылась в стопке бумаг на нотной этажерке и, наконец, протянула Фраге три письма, которые тот, окинув их беглым взглядом и убедившись в подлинности почерка Ромеро, быстро спрятал в портфель. В ходе беседы он уже убедился, что Ракель не дочь поэта, ибо при первом же осторожном вопросе она опустила голову и замолчала, словно погрузившись в раздумье. Затем сказала, что ее мать позже вышла замуж за одного офицера из Балькарсе («с родины Фанхио» [1], добавила она как бы в подтверждение своих слов) и что они оба умерли, когда ей исполнилось всего восемь лет. Маму она помнит хорошо, а отца почти нет. Правда, строгим он был, это верно.

По возвращении в Буэнос-Айрес Фрага прочитал письма Клаудио Ромеро к Сусане — и в мозаичной картине последней части вдруг все легло на свои места, неожиданно получилась абсолютно завершенная композиция, открылась драма, драма, о которой невежественное и ханжеское поколение поэта не могло даже подумать. В 1917 году Ромеро опубликовал ряд поэм, посвященных Ирене Пас, и среди них знаменитую «Оду к твоему двойственному имени»[2], которую критика провозгласила самой прекрасной поэмой любви из когда-либо написанных в Аргентине. И в то же время за год до появления этой поэмы другая женщина получила три письма, проникнутых духом лучших поэтических творений Ромеро, полных экзальтации и самоотреченности, где автор одновременно обнажал собственную душу и становился вершителем своей судьбы, выступал в роли главного героя и греческого хора. До прочтения писем Фрага полагал, что это — обычная любовная переписка, застывшее зеркальное отражение интимных чувств, имеющих значение лишь для двоих. Однако дело обстояло иначе — он открывал в каждой фразе все тот же духовный мир большого поэта, ту же силу всеобъемлющего восприятия любви. Страсть Ромеро к Сусане Маркес отнюдь не отрывала его от земли, напротив, в каждой строке ощущалась общечеловеческая взволнованность — что еще более возвышало любимую женщину,— чувствовалось самоутверждение и самооправдание жизненной, воинствующей поэзии.

История сама по себе была несложной. Ромеро познакомился с Сусаной в одном непрезентабельном литературном салоне Ла-Платы, и их роман совпал с периодом почти полного молчания поэта, молчания, которое его узколобые биографы не могли объяснить или относили за счет первых проявлений чахотки, сведшей его в могилу два года спустя. Никто ничего не знал о существовании Сусаны — словно тогда, как и позже, она была всего лишь тусклым изображением на выцветшей фотографии, а с фото лишь глядели большие испуганные глаза. Безработная учительница средней школы, единственная дочь старых и бедных родителей, не имевшая знакомых мужчин, ко-

---

[1] Известный аргентинский автогонщик 50-х годов.

[2] Paz — мир, покой *(исп.)*.

торые могли бы проявить к ней интерес. Отсутствие поэта на литературных вечерах Ла-Платы совпало и с наиболее драматичным периодом европейской войны, пробуждением новых общественных интересов, появлением молодых поэтических голосов. Поэтому Фрага мог считать себя счастливцем, услышав мимоходом брошенные слова провинциального мирового судьи. Ухватившись за эту тончайшую нить, он разыскал мрачный дом в Бурсако, где Ромеро и Сусана прожили почти два года; письма, которые отдала ему Ракель Маркес, приходились на конец этого двухлетнего периода. Первое письмо со штемпелем Ла-Платы на конверте служило как бы продолжением предыдущего послания, где речь, вероятно, шла о возможном браке поэта с Сусаной. Теперь же он выражал глубокую печаль по поводу своей болезни и отвергал всякую мысль о женитьбе на той, которую, увы, ждала скорее участь сиделки, нежели супруги. Второе письмо вызывало просто восхищение: страстное заклинание уступало место невероятно трогательной, чистосердечной мольбе, словно Ромеро всеми силами стремился внушить своей возлюбленной, чтобы она так же, как и он, сознательно смирилась с трагедией и стойко перенесла душевную боль. В одном кратком отрывке было сказано все: «Никому нет дела до нашей жизни, я предлагаю тебе избрать свободу и хранить молчание. Еще более крепкие, вечные узы свяжут меня с тобою, свободною от брачных уз. Вступи мы в закон, и я чувствовал бы себя твоим палачом всякий раз, как ты входила бы в мою обитель с розой в руке». И сурово добавлял: «Я не желаю кашлять тебе в лицо, не хочу, чтобы ты вытирала мне пот. Ты знала другое тело, другие цветы я тебе дарил. Ночь мне нужна одному, и я не позволю тебе смотреть, как я плачу». Третье письмо было написано в более спокойном тоне; казалось, Сусана уже склонялась к тому, чтобы причять жертву поэта. В одном месте говорилось так: «Ты уверяешь, что я околдовал тебя и вынуждаю уступать моей воле... Но моя воля — твоя будущность, и позволь мне сеять эти семена, которые вознаградят меня за нелепую смерть».

По хронологии, установленной Фрагой, жизнь Клаудио Ромеро вошла в эту пору в монотонно-спокойное русло, мирно текла в стенах родительского дома. Ничто более не говорило о его дальнейших встречах с Сусаной Маркес, хотя трудно было утверждать и противное. Однако лучшим доказательством того, что самоотвержение Ромеро состоялось и что Сусана в конце концов предпочла свободу и отказалась связать свою жизнь с больным, послужило явление новой, удивительно яркой звезды на поэтическом небосводе Ромеро. Год спустя после этой переписки и разлуки с Сусаной в одном из журналов Буэнос-Айреса появилась «Ода к твоему двойственному имени», посвященная Ирене Пас. Здоровье Ромеро, по-видимому, улучшилось, и поэма, которую сам автор читал в различных салонах, вдруг вознесла его на вершину славы, той славы, что исподволь ковалась всем предыдущим творчеством поэта. Подобно Байрону, проснувшись однажды утром, он мог сказать себе, что стал знаменит,— и сказал, без капли ложного стыда. Тем не менее вспыхнувшая страсть поэта к Ирене Пас осталась неразделенной, и потому, судя по некоторым довольно противоречивым светским сплетням, дошедшим до потомков благодаря стараниям достойных людей того времени, престиж поэта серьезно пострадал, а сам он, покинутый друзьями и почитателями, снова удалился под родительский кров. Вскоре вышел последний сборник поэм Ромеро. Несколько месяцев спустя у него, прямо на улице, хлынула горлом кровь, и через три недели он скончался. На похороны собралось немало писателей, но, как свидетельствуют некрологи и хроникальные отчеты, тот мир, к которому

принадлежала Ирена Пас, не проводил его в последний путь и не почтил его память, как все же можно было ожидать.

Фрага без труда представил себе, что любовь Ромеро к Ирене Пас в равной мере должна была и импонировать аристократии Буэнос-Айреса и Ла-Платы, и шокировать эту публику. О самой Ирене он не мог составить ясного представления. Судя по фотографиям, она была красива в свои двадцать лет, но остальные сведения приходилось черпать лишь из газетной светской хроники. Однако нетрудно было вообразить, как складывались отношения Ромеро с этой ревностной хранительницей традиций семейства Пас. Она, вероятно, встретила поэта на каком-нибудь из вечеров, которые иногда устраивали ее родители, дабы послушать тех, кого они называли модными «песнопевцами» и «артистами», акцентируя голосом слова, взятые в кавычки. Увлекла ли ее «Ода», заставило ли прекрасное название поверить в истинность ослепительной страсти, звавшей презреть «все терния жизни»,— на то способен был ответить, наверное, только Ромеро, да и то едва ли положительно. Но Фрага и сам понимал, что тут не над чем ломать голову и что эта тема не заслуживает развития. Клаудио Ромеро был слишком умен, чтобы хоть на момент поверить в возможность ответного чувства. Разделявшая их социальная пропасть, всякого рода преграды, абсолютная недоступность Ирены, заточенной в темницу с двойными стенами,— воздвигнутыми аристократическим семейством и ею самой, приверженной своей касте,— все это делало ее недосягаемой с самого начала. Тон «Оды» не оставлял в том сомнений, его торжественная приподнятость не имела ничего общего с нежностью любовной лирики. Ромеро назвал себя в поэме «Икаром, павшим к ногам белоснежным», использовав шутливое прозвание, данное ему одним из корифеев журнала «Карас и каретас», а сама поэма знаменовала собой не что иное, как немыслимо высокий взлет вослед за непостижимым идеалом, и оттого обретала неземную красоту: отчаянный рывок человека на крыльях поэзии к солнцу, которое обожгло его и погубило. Затворничество и молчание поэта перед смертью были последним трагическим этапом, завершившим его падение, прискорбный возврат на землю, от которой он хотел оторваться в своих мечтах, далеких от реальности.

«Да,— подумал Фрага, подливая себе вина,— все совпадает, все на своих местах. Остается только писать».

Успех «Жизни одного аргентинского поэта» превзошел все ожидания — и автора, и издателей. В первые две недели почти не было никаких комментариев, но затем вдруг появилась хвалебная рецензия в газете «Ла Расон» и расшевелила флегматичных, осторожных в своих суждениях жителей столицы: все, кроме ничтожного меньшинства, заговорили об этой книге. Журнал «Сур», газета «Ла Насьон», влиятельная провинциальная пресса с энтузиазмом обсуждали сенсационную новинку, которая тотчас сделалась предметом разговоров за чашечкой кофе или на десерт. Две опубликованных острых дискуссии (о влиянии Дарио [1] на Ромеро и о достоверности хронологии) еще более подогрели интерес публики. Первое издание «Жизни поэта» разошлось за два месяца, второе — за полтора. Не устоявший перед искушениями золотого тельца, уступивший обстоятельствам, Фрага сделал сценическую редакцию «Жизни поэта» и радиокомпозицию. Казалось, подходил момент, когда накал страстей и громкая шумиха, поднятая вокруг произведения, достигли пика — или, если хотите,

[1] Речь идет о Рубене Дарио, крупнейшем поэте Латинской Америки начала XX века.

той опасной вершины, из-за которой уже готов вынырнуть очередной любимец публики. Ввиду этой неприятной неизбежности и словно бы в качестве компенсации за нее Фрага был удостоен Национальной премии, правда, не без содействия двух друзей, которые успели сообщить ему новость, опередив первые телефонные звонки и разноголосый хор поздравителей. Смеясь, Фрага заметил, что присуждение Нобелевской премии не помешало Андре Жиду тем же вечером отправиться смотреть фильм с участием Фернанделя. Возможно, именно поэтому он поспешил укрыться в доме одного из приятелей и наблюдал оттуда, как накатывает девятый вал общественных восторгов, с таким равнодушием, что даже сам гостеприимный «тюремщик» нашел подобное поведение противоестественным и даже лицемерным. Но все эти дни Фрагу не оставляла задумчивость, в нем росло необъяснимое желание отдалиться от людей, отгородиться от того популярного «себя», о котором трубили газеты и радио, известность которого, перешагнув границы Буэнос-Айреса, достигла кругов провинциальной интеллигенции и даже вышла за пределы отечественных культурных сфер. Национальная премия казалась не сошедшей с неба благодатью, а чем-то вроде сатисфакции. Теперь и остальное было не за горами — то, что, если признаться, более всего вдохновляло его на создание «Жизни поэта». Он не ошибся: неделей позже министр иностранных дел пригласил его к себе домой («мы, дипломаты, знаем, что хороших писателей не привлекают официальные приемы») и предложил ему пост культурного атташе в одной из стран Европы.

Все происходило как во сне и так нарушало привычную жизнь, что Фраге приходилось совершать над собой усилия, чтобы взбираться — ступенька за ступенькой — по лестнице славы: от первых интервью, улыбок и объятий издателей, от первых приглашений выступить в литературных обществах и кружках он добрался, наконец, до той лестничной площадки, откуда, почти не склоняя головы, можно было увидеть весь светско-литературный мир, почувствовать себя словно бы его властителем и обозреть до последнего угла, до последней белоснежной манишки и последнего палантина из шиншиллы литературных меценатов и меценаток, жующих бутерброды с паштетом из гусиной печенки и рассуждающих о Дилане Томасе. А там, дальше — или ближе, в зависимости от точки зрения или настроения в данный момент,— он видел массы отупелых и смиренных пожирателей газет, телезрителей и радиослушателей, большинство которых, не зная для чего и почему, подчиняется потребности купить стиральную машину или толстый роман — предмет объемом в двести пятьдесят кубических сантиметров или триста двадцать восемь страниц — и покупает, хватает немедля, подчас жертвуя хлебом насущным, и тащит домой, где супруга и дети ждут «этого» не дождутся, потому что соседка «это» уже имеет, потому что популярный обозреватель столичной радиостанции «Эль Мундо» опять превозносил «это» до небес в своем выступлении ровно в одиннадцать пятьдесят пять. Самым удивительным было то, что его книга попала в каталог произведений, которые рекомендовалось приобрести и прочитать, хотя столько лет жизнь и творчество Клаудио Ромеро интересовали одних лишь интеллектуалов, то есть практически очень и очень немногих. Когда же, случалось, он снова ощущал необходимость остаться наедине с самим собой и поразмыслить над тем, что происходит (теперь на очереди стояли переговоры с кинопродюсерами), первоначальное удивление все чаще уступало место какому-то тревожному ожиданию. Впрочем, впереди не могло быть ничего иного, кроме следующей ступеньки по лестнице славы, если не считать того неизбежного дня, когда, как это

бывает на мостиках в садах, последняя ступень подъема перейдет в первую ступень спуска, в достойное сошествие вниз, к пресыщению публики, которая отвернется от него в поисках новых эмоций. К тому времени, когда он собрался уединиться, чтобы подготовить свое выступление на церемонии получения Национальной премии, все его ощущения от головокружительных успехов последних недель синтезировались в какую-то ироническую удовлетворенность собой, отчего и триумф представлялся лишь своего рода сведением счетов, да к тому же еще омрачался примесью непонятного беспокойства, которое иногда вдруг целиком овладевало им и грозило отнести к тем берегам, куда здравый смысл и чувство самосохранения решительно не давали держать курс. Он надеялся, что подготовка текста выступления вернет ему радость труда, и отправился работать в усадьбу Офелии Фернандес, где всегда чувствовал себя хорошо и спокойно.

Был конец лета, парк уже оделся в цвета осени, и Фрага любовался им с веранды, разговаривая с Офелией и лаская собак. В комнате на первом этаже стоял его рабочий стол с картотекой: придвинув к себе главный ящик, Фрага рассеянно перебирал пальцами шуршащие карточки, как пианист, который настраивает себя на игру, и повторял, что все идет нормально, что, несмотря на вульгарный практицизм, неизбежно сопровождающий большой литературный успех, «Жизнь поэта» является достойным деянием, данью Нации и Родине. И можно с легким сердцем приступить к написанию речи, получить свою премию, готовиться к поездке в Европу. Даты и цифры смешивались в его голове с параграфами договоров и часами приглашений к обеду. Скоро должна была прийти Офелия с бутылкой хереса, молча сесть неподалеку и с интересом наблюдать, как он работает. Все шло прекрасно. Оставалось только взять лист бумаги, придвинуть лампу и закурить, слушая, как кричит вдали птица теро.

Он так никогда и не смог вспомнить — открылась ли ему истина именно в эту минуту или позже, когда они с Офелией, насладившись любовью, лежали в постели, дымили сигаретами и глядели на маленькую зеленую звездочку в окне. Прозрение, назовем это так (впрочем, точное название ощущения или его суть не имели значения), могло прийти и с первой фразой текста выступления, которое началось легко, но внезапно застопорилось на том месте, откуда все покатилось к чертям и лишилось смысла, который был словно выметен ветром из стоявших на очереди слов. А потом скрип пера оборвался, наступила мертвая тишина — да, видимо, так: он все уже знал, когда выходил из той маленькой гостиной, знал, но не хотел знать,— и тишина давила на виски, как разыгравшаяся мигрень или начинавшийся грипп.

Ни с того ни с сего в какой-то неуловимый миг душевное недомогание, темная дымка тумана исчезли и превратились в уверенность: «Жизнь поэта» — сплошной вымысел, история Клаудио Ромеро не имеет ничего общего со всей этой писаниной. Нет веских доводов, нет прямых доказательств, и все-таки биография — сплошной вымысел. Клаудио Ромеро не жертвовал собой ради Сусаны Маркес, не возвращал ей свободу ценой своего самоотречения и не был Икаром у белоснежных ног Ирены Пас. А он, биограф, словно плыл под водой против течения, не будучи в силах высунуть голову, не желая, чтобы волны били в глаза,— и знал правду. Но этим пытка не кончалась: сзади, ниже по течению, в мутной и грязной заводи осела на дно уверенность в том, что он знал правду с самого начала.

Незачем раскуривать вторую сигарету, винить расшалившиеся нервы, целовать в темноте тонкие податливые губы Офелии. Незачем говорить себе, что затмение нашло в пылу чрезмерной увлеченности своим героем, что слабость можно оправдать слишком большой затратой сил. Рука Офелии мягко сновала по его груди, ее горячее прерывистое дыхание щекотало ухо. И тем не менее он уснул.

Утром он взглянул на открытый ящик картотеки, на бумаги, и все это ему показалось куда более чуждым, чем ночные переживания. Внизу Офелия звонила по телефону на станцию, чтобы узнать расписание поездов. До Пилара он добрался около половины двенадцатого и направился прямо к зеленной лавке. Дочь Сусаны смотрела на него робко и настороженно, как побитая собака. Фрага попросил уделить ему пять минут, снова вошел в пропыленную гостиную и сел в то же самое кресло, покрытое белым чехлом. Ему не пришлось долго говорить, ибо дочь Сусаны, смахивая слезинки, стала кивать в подтверждение его слов и все ниже и ниже склоняла голову.

— Да, да, сеньор. Именно так и было, сеньор.

— Но почему же вы не сказали мне об этом сразу?

Нелегко было объяснить, почему она не сказала об этом сразу. Мать заставила ее поклясться, что она кое о чем никогда и никому не проболтается, а после того, как на матери женился офицер из Балькарсе,— тем более, вот и... Но ей очень, очень хотелось написать ему, когда поднялся такой шум вокруг книги о Ромеро, потому что...

Она испуганно глядела на него, а слезинки катились по щекам.

— Да как же вам стало известно? — сказала она затем.

— Пусть это вас не волнует,— сказал Фрага.— Когда-нибудь все становится известным.

— Но в книге вы написали совсем не так. Я ведь ее читала. Я все там читала.

— Именно из-за вас в книге написано совсем не так. У вас есть другие письма Ромеро к вашей матери. Вы мне дали только те, которые вам хотелось дать, которые выставляют в наилучшем свете Ромеро и попутно вашу матушку. Мне нужны другие, немедленно. Дайте их.

— Есть только одно,— сказала Ракель Маркес.— Но мама заставила меня поклясться, сеньор.

— Если она не сожгла его, значит, в нем нет ничего страшного. Дайте мне. Я куплю.

— Сеньор Фрага, я не потому вам его не даю...

— Вот деньги,— резко сказал Фрага.— За свои тыквы столько не выручите.

Глядя, как она роется в бумагах на нотной этажерке, ему подумалось: то, что он знает сейчас, он уже знал (возможно, как-то иначе, но знал) в день своего первого посещения Ракели Маркес. Открывшаяся истина вовсе не застала его врасплох, и теперь, задним числом, он мог сколько угодно винить себя и спрашивать, почему, например, его первое свидание с дочерью Сусаны окончилось так быстро; почему он так обрадовался трем письмам Ромеро, словно только они одни и существовали на свете; почему не предложил денег взамен, не докопался до всех, да, до всех подробностей, о которых Ракель знала и молчала. «Глупости,— тут же подумал он.— В ту пору я не мог знать, что Сусана стала проституткой по вине Ромеро». А почему же тогда он оборвал на полуслове свой разговор с Ракелью, удоволь-

ствовавшись полученными фотографиями и тремя письмами? «Э, нет, я знал, бог весть откуда, но знал и, зная это, написал книгу; возможно, и читатели тоже знают, и критика знает, и вокруг — одна сплошная ложь, в которой барахтаемся мы все, вплоть до единого...» Однако легче легкого было идти по пути обобщений и возлагать на себя лишь частицу вины. Это тоже ложь: виновен был только он, он один.

Чтение последнего письма стало всего-навсего словесным подтверждением того, что Фрага представлял себе, хотя и несколько иначе, и письмо это могло послужить лишь «вещественным доказательством» в его пользу на случай полемики. После того как маска была сорвана, некто, по имени Клаудио Ромеро, по-звериному скалил зубы в последних фразах, обладающих неотразимой логикой. Фактически приговаривая Сусану к грязному ремеслу, которым ей отныне и до конца дней своих придется заниматься — на что недвусмысленно намекалось в двух великолепных пассажах,— он предлагал ей «помалкивать, не приставать и катиться в тартарары», толкая ее с глумлением и угрозами в ту яму, которую сам рыл в течение двух лет, неторопливо, шаг за шагом развращая наивное существо. Человек, который ханжески выводил несколькими неделями раньше следующую строку: «Ночи нужны только мне одному, я не хочу, чтобы ты видела мои слезы», завершал теперь свое послание пошлейшим советом, на действенность которого у него, видимо, был свой расчет, и прилагал к сему гнусные рекомендации и издевательские наставления, а вместо прощальных слов желал «успехов на злачном поприще» и грозил полицией, если Сусана осмелится показаться ему на глаза.

Ничто из прочитанного уже не удивляло Фрагу, но еще долгое время он сидел с письмом в руке, бессильно привалившись плечом к косяку вагонного окна, словно кто-то в нем старался вырваться из когтей кошмарного, невыносимо долгого сна. «Это объясняет и все остальное»,— услышал он биение собственной мысли. «Остальным» были Ирена Пас, «Ода к твоему двойственному имени», финальный крах Клаудио Ромеро. К чему веские доводы и прямые доказательства, если давняя, глубокая уверенность в ином развитии событий, не нуждавшаяся в каких-либо письмах или чьих-либо свидетельствах, теперь сама выстраивала рядами дни последних лет жизни Ромеро перед мысленным взором человека (имя его, в общем-то, не играет роли), ехавшего в поезде из Пилара и выглядевшего в глазах пассажиров сеньором, который хватил лишнюю рюмку вермута. Когда он сошел на своей станции, было четыре часа пополудни и моросил дождь. В шарабане, который довез его до усадьбы Офелии, было холодно и пахло отсыревшей кожей. Сколь же рассудочна была эта надменная Ирена Пас, сколь сильны были аристократические устои, рождавшие убийственное презрение высшего света к тем, кто жаждал попасть туда. Ромеро обладал чарами, чтобы приворожить бедную женщину, но вовсе не был Икаром, и его прекрасная поэма не могла стать его крыльями. Ирена, или не она, а ее мать, или братья тотчас разглядели за вспышкой таланта устремленность карьериста, домогательство проходимца, который начинает с того, что пренебрегает людьми своего круга, а потом готов, если нужно, втоптать их в грязь и уничтожить (такое преступление называлось Сусана Маркес, школьная учительница). Чтобы избавиться от него, аристократам — во всеоружии их денег и в окружении понятливых лакеев — было достаточно кривой улыбки, отказа в приглашении, отъезда в свое поместье. Они даже не утрудили себя присутствием на похоронах поэта.

Офелия ждала его в дверях. Фрага сказал ей, что тотчас садится за работу. Когда, прикусив зубами сигарету и чувствуя огромную усталость, давившую на плечи, он увидел первые строчки, написанные вчера вечером, то сказал себе, что никто и ничего не знает, кроме него. Словно сел заново писать «Жизнь поэта» и опять был хозяином единственного ключа. Чуть усмехнувшись, он приступил к работе над своей ответной речью. Лишь значительно позже, когда он вспомнил о письме Ромеро, ему пришло в голову, что письмо это потерялось,— видимо, еще в поезде.

Каждый, кто хочет, может поворошить архив и прочитать в буэнос-айресских газетах тех лет сообщения о церемонии вручения Национальной премии и о том, что Хорхе Фрага ни с того ни с сего вдруг привел в замешательство и разгневал немало здравомыслящих людей, изложив с трибуны свою новую, абсолютно дикую версию жизни поэта Клаудио Ромеро. Какой-то хроникер писал, что Фрага, по всей видимости, был не вполне здоров (достаточно ясный эвфемизм!), ибо, помимо всего прочего, иной раз заговаривался, выступая от лица самого Ромеро; оратор, правда, замечал свою оплошность, но тут же снова впадал в удивительное состояние. Другой корреспондент отметил, что Фрага держал в руке два или три сплошь исписанных листка бумаги, но почти ни разу не заглянул в них,— и создавалось впечатление, будто он говорит сам для себя, одобряя или опровергая свои же только что высказанные мысли, чем вызывал растущее раздражение — перешедшее затем в негодование — многочисленной аудитории, собравшейся с явным намерением выразить ему свое искреннее восхищение. Еще в одной газете рассказывалось о яростной полемике между Фрагой и доктором Ховельяносом после окончания речи и о том, что многие, вслух возмущаясь, покидали зал; с неодобрением упоминалось также, что на просьбу доктора Ховельяноса представить бесспорные подтверждения тех зыбких обвинений, которые порочили священную память Клаудио Ромеро, лауреат только пожал плечами и потер рукою лоб, словно давал понять, что все заключается в его личном убеждении, а затем впал в прострацию, не замечая ни ропота расходившейся публики, ни вызывающе громких аплодисментов и поздравлений со стороны нескольких молодых людей и ценителей юмора, которые, казалось, были в восхищении от такого оригинального ответа на присуждение Национальной премии.

Когда Фрага два часа спустя после торжественного акта вернулся в усадьбу, Офелия молча протянула ему длинный список поздравителей, звонивших по телефону,— начиная от министра иностранных дел и кончая одним из родных братьев, который им ранее никогда не звонил. Он рассеянно взглянул на хоровод имен, жирно подчеркнутых или небрежно начертанных. Листок выскользнул из его руки и упал на ковер. Ничего не замечая, Фрага стал подниматься по лестнице в свой кабинет.

Прошло немало времени, прежде чем Офелия услышала, как он бродит по кабинету. Она легла и усилием воли заставила себя ни о чем не думать. Шаги то приближались, то удалялись, иногда затихали; наверное, он останавливался у письменного стола, размышляя о чем-то. Спустя час она услышала скрип лестницы и шаги к двери в спальню. Не открывая глаз, она почувствовала, как осели пружины под тяжестью тела, и он вытянулся на спине рядом с ней. Холодная рука сжала ее руку. В темноте Офелия поцеловала его в щеку.

— Единственно, чего я не понимаю...— сказал Фрага, словно обращаясь не к ней, а в пустоту,— почему я так долго не осознавал того, что все это я знал всегда. Глупо было бы думать, что я — медиум. У меня нет с ним ничего общего. До последних дней у меня не было с ним ничего общего.

— Ты бы поспал немного,— сказала Офелия.

— Нет, я должен разобраться. Существуют две вещи: то, чего я не могу постигнуть, и то, что начнется завтра или уже началось сегодня вечером. Мне конец, понимаешь? Мне никогда не простят того, что я сотворил им кумира, а потом вырвал его у них из рук и разбил на куски. И представь себе, как все странно и глупо: Ромеро ведь остается автором лучших поэм двадцатых годов. Но идолы не могут иметь глиняных ног; и с таким же цинизмом мне завтра заявят об этом мои дорогие коллеги.

— Но если ты считал своим долгом сказать правду...

— Я ничего не считал, Офелия. Сказал, и все. Или кто-то сказал за меня. Той ночью мне показалось, что это — единственный путь. Я мог поступить только так и не иначе.

— Может быть, лучше было бы подождать чуть-чуть,— робко сказала Офелия.— А то вдруг сразу, в лицо...

Она хотела сказать «министру», и Фрага услышал это слово так ясно, будто оно было произнесено. Улыбнулся и погладил ее по руке. Мало-помалу вода спадала, нечто еще туманное начинало вырисовываться яснее, приобретать очертания. Долгое, тоскливое молчание Офелии помогало сосредоточиться, прислушаться к себе, и он глядел в темноту широко раскрытыми глазами. Нет, никогда бы, наверное, ему не понять, почему раньше он не осознавал того, что было ясно как день, если бы в конечном итоге не признался себе, что он такой же ловкач и каналья, как Ромеро. Сама мысль написать эту книгу заключала в себе желание взять реванш у общества, добиться легкого успеха, вернуть то, что причитается ему по праву и что хваткие приспособленцы у него отнимали. С виду безукоризненно точная «Жизнь поэта» рождалась, уснащаемая всеми нужными атрибутами, чтобы пробиться на книжные прилавки. Каждый этап ее триумфального шествия ожидался заранее, скрупулезно подготавливался каждой главой, каждой фразой. Отсюда его ироническое отношение и возраставшее равнодушие к этим триумфальным этапам, тоже не выходившее за рамки всей этой нечистоплотной затеи. Под блестящей обложкой «Жизни» сразу же стали вить гнезда радиопередачи и телекинофильмы, дипломатический пост в Европе и Национальная премия, богатство и слава. Лишь у самого финиша ждало нечто непредвиденное, чтобы рухнуть на тщательно отлаженный механизм и превратить его в груду обломков. И незачем было теперь думать об этом «непредвиденном», страшиться чего-то, сходить с ума от проигрыша.

— У меня нет с ним ничего общего,— повторил Фрага, закрывая глаза.— Не знаю, как это случилось, Офелия, мы совсем разные люди.

Он почувствовал, что она беззвучно плачет.

— Но тогда получается еще хуже. Словно бы мы с ним заражены одним и тем же вирусом, и болезнь моя развивалась скрыто, а потом вдруг выявилась, и скверна вышла наружу. Всякий раз, когда мне надо было делать выбор, принимать решение за этого человека, я выбирал и решал именно так, как хотел бы преподнести, изобразить себя он сам при жизни. Мое решение образа не расходилось с его решением, и никому бы в голову не пришло искать другую правду его жизни, его писем, даже его последнего года жизни, когда близость смерти обнажала, раскрывала всю его суть. Я не желал ни в чем сомневаться, не хотел добираться до истины, ибо тогда, Офелия,

тогда Ромеро не был бы тем персонажем, который был нужен мне и нужен ему самому, чтобы создать легенду, чтобы...

Он умолк, но все само собой упорядочивалось и логически завершалось. Теперь он допускал свою исконную тождественность с Ромеро, отнюдь не имевшую ничего общего со спиритизмом. Братья по фарсу, по лжи в своем стремлении к головокружительному взлету, братья по несчастью, поразившему их и повергшему в прах. Просто и ясно представилось Фраге, что такие, как он, всегда будут Клаудио Ромеро, а вчерашние и завтрашние Ромеро всегда будут Хорхе Фрагой. Произошло именно то, чего он боялся в тот далекий сентябрьский вечер: он все-таки написал «собственную» биографию. Захотелось расхохотаться и в то же время подумалось о револьвере, который хранился в письменном столе.

Он так и не вспомнил, в эту ли минуту или позже Офелия сказала: «Самое главное — то, что сегодня ты им выложил правду». Об этом он тогда не думал, не хотелось снова переживать почти невероятные минуты, когда он говорил, глядя прямо в глаза тем, на чьих лицах восторженная или вежливая улыбка постепенно уступала место злобной или презрительной гримасе, тем, кто вздымал руки в знак негодования. Но это было то единственное, что имело цену, единственно подлинное и непреходящее во всей этой истории; никто не мог отнять у него те минуты, минуты его истинного триумфа, действительно не имевшего ничего общего ни с фарисейскими замыслами, ни с тщеславием. Когда он склонился над Офелией и нежно провел рукой по ее волосам, ему на какой-то миг показалось, что это — Сусана Маркес и что его нежность спасает и удерживает ее возле него. В то же время Национальная премия, пост дипломата в Европе и прочие блага — это Ирена Пас, нечто такое, что надо отвергнуть, отбросить, если не хочешь полностью уподобиться Ромеро, во всем идти по следам лжегероя книги и радиопостановки.

А потом — этой же ночью, которая тихо вращала небосвод, сверкавший звездами,— другая колода карт была перетасована в бескрайнем одиночестве бессонницы. Утро принесет с собой телефонные звонки, газеты, скандал, раздутый на две колонки. Ему показалось немыслимой глупостью даже на миг подумать о том, что все потеряно, когда стоит только проявить немного расторопности и прыти — и, ход за ходом, партия будет отыграна. Все зависело от быстроты действий, от нескольких визитов. Если только захотеть, то и отмену премии, и отказ министерства иностранных дел от его кандидатуры еще не поздно было приостановить, вновь повернуть на сто восемьдесят градусов назад — лицом к массовым тиражам, к переводным изданиям, к международному признанию. Но он мог, конечно, и дальше лежать на спине в постели, прекратить всякие визиты, месяцами жить в тиши этой усадьбы, возобновить и продолжить свои филологические изыскания, восстановить прежние добрые, уже прервавшиеся знакомства. Через полгода он был бы всеми забыт, благополучно вытеснен с афиш фортуны очередным, еще более бесталанным сочинителем.

Оба пути были в равной мере просты, в равной мере надежны. Осталось только решить. И, хотя все уже было решено, он продолжал размышлять ради одних лишь размышлений, обдумывать и взвешивать, доказывать себе правильность своего выбора, пока рассветные лучи не начали красить окно и волосы спящей Офелии, а расплывчатый силуэт сейбы в саду не стал, съеживаясь, уплотняться на глазах,— как будущее, которое сгущается в настоящее, постепенно затвердевает, принимает свои обычные формы, смиряется с ними, оправдывает и обвиняет их в свете нового дня.

Из блокнота, найденного в кармане

То, о чем я сейчас пишу, может показаться чем-то вроде одержимости игрока, помешавшегося на рулетке или тотализаторе, но не деньги мне были нужны. Я вдруг почувствовал — или решил,— что темное окно вагона метро может дать мне ответ и помочь найти счастье именно здесь, под землей, где особенно остро ощущается жесточайшее разобщение людей, а время на глазах рассекается короткими перегонами и его зримые отрезки — вместе с каждой станцией — остаются позади, во тьме тоннеля. Я говорю о «разобщении», чтобы лучше понять (а мне довелось многое понять с тех пор, как я начал свою игру), на чем была основана моя надежда на «полное совпадение», на это ощущение, которое, я думал, придет ко мне из мира отражений в оконном стекле вагона, придет и покончит с разобщением, о котором люди, кажется, и не печалятся. Впрочем, кто знает, о чем печалятся в этой толкотне люди, которые входят в вагоны и выходят; о чем еще кроме «как бы скорее доехать» волнуются эти люди, которые входят тут или там, чтобы выйти там или тут, и которых соединяет нечто общее только в одном месте, в вагоне, где их будущее — их всех — точно определено, хотя лишь на какие-то минуты и хотя никто и не знает, выйдем ли мы все вместе, выйду ли первым я или тот длинный мужчина со свертками, и поедет ли та старуха в зеленом до конечной остановки или нет, выйдут ли эти ребятишки сейчас... да, наверное, выйдут, потому что они ухватились за свои ранцы и линейки и пробираются, хохоча и толкаясь, к дверям, а вон в том углу какая-то девушка расположилась, видимо, надолго, на несколько остановок, заняв вожделенное место, а эта, другая, остается загадкой.

Да, Ана тоже оставалась загадкой. Она сидела очень прямо, чуть касаясь спинки скамьи, у самого окна и была уже там, когда я вошел в вагон на станции «Этьен Марсель», а негр, сидевший напротив нее, как раз встал, освободив место, на которое никто не покушался, и я смог, бормоча извинения, протиснуться меж коленей двух сидевших с края пассажиров и сесть напротив Аны. Тотчас же — ибо я спустился в метро, чтобы еще раз сыграть в свою игру на счастье,— я отыскал в окне отражение профиля Маргрит и нашел, что она очень мила, что мне нравятся ее черные волосы, эта прядь, косым крылом прикрывавшая лоб.

Нет, имена — Маргрит или Ана — не придуманы позже и не служат сейчас, когда я делаю эту запись в блокноте, для различения их обеих; имена, как того требовали правила игры, возникали сразу, без всякой прикидки. Скажем, отражение той девушки в окне могло зваться только Маргрит и никак иначе, и только Аной могла называться девушка, сидевшая напротив меня, не замечавшая мою особу и устремлявшая невидящий взор на это кратковременное скопище людей, где каждый избирает все что угодно для обозрения, только, упаси бог, не ближнего своего. Разве лишь дети прямо и открыто глядят вам в глаза, пока их тоже не научат смотреть мимо, смотреть, не видя, с этаким общественным игнорированием любого соседа своего, любых душевных контактов; когда всяк съеживается в собственном мыльном пузыре, заключает себя в скобки, заботливо отгораживаясь миллиметровой воздушной прокладкой от чужих локтей и коленей или углубившись либо в книжку, либо в «Франс суар», а чаще всего, как Ана, устремив взгляд в пустоту, глядя сквозь человека, уставившись в эту идиотскую «ничейную зону», которая проходит между моим лицом и лицом мужчины, углубившегося в «Фигаро». Но

именно поэтому Маргрит (а если я в целом прав, то в один прекрасный момент и Ана) должна была бросить рассеянный взгляд в окно... Да, Маргрит взглянула в окно, увидела мое отражение, и наши взгляды скрестились за стеклом, на которое тьма тоннеля наложила тончайший слой ртути, набросила черный колышущийся бархат. В этом эфемерном зеркале лица обретают какую-то иную жизнь, перестают быть отвратительными гипсовыми слепками, сотворенными казенным светом вагонных ламп, и — ты не посмела бы отрицать этого, Маргрит,— могут открыто и честно глядеть друг на друга, ибо на какую-то минуту взгляды освобождаются от самоцензуры. Я там, за стеклом, не был мужчиной, который сидел напротив Аны и на которого Ана не смела открыто смотреть в вагоне метро, но, впрочем, Ана недолго смотрела на мое отражение, какие-то секунды, меньше, чем Маргрит, ибо тогда, когда Ана, не остановив взор на мужчине, сидевшем напротив нее — ведь нехорошо же смотреть на мужчину в метро,— повернула голову к оконному стеклу, она почти тут же отвернулась от моего отражения, потому что я ждал этого момента, чтобы чуть-чуть раздвинуть губы в улыбке — вовсе не нахальной и не вызывающей,— ждал после того, как взгляд Маргрит птицей опустился на мои глаза в окне. Все это длилось долю минуты, но я успел уловить, что Маргрит заметила мою улыбку и что Ана была явно шокирована, хотя она всего лишь опустила голову и сделала вид, будто проверяет замок на своей сумке из красной кожи. Право, мне захотелось еще раз улыбнуться, хотя Маргрит больше не смотрела на меня, так как Ана перехватила и осудила мою улыбку. И поэтому уже не было необходимости, чтобы Ана или Маргрит смотрели на мое «потустороннее» изображение; да они и сами не собирались этого делать, занявшись изучением замка красной сумки Аны.

Как это и прежде бывало, во времена Паулы (во времена Офелии) и всех тех, кто с видимым интересом рассматривал замок на сумке, пуговицу или сгиб журнальной страницы, во мне снова разверзлась бездна, где клубком скрутились страх и надежда, схватились насмерть, как пауки в банке, а время стало отсчитываться частыми ударами сердца, сливаться с пульсом игры, и теперь каждая станция метро делалась началом нового, неведомого сюжета моей жизни, ибо такова была игра. Взгляд Маргрит и моя улыбка, мгновенная реакция Аны, занявшейся замком своей сумки, были торжественным открытием церемонии, которая иной раз начиналась вопреки всем законам разума, заставляя хвататься за самое слабое звено в нелепой цепи повседневных случайностей. Условия игры не были сложными, однако сама она походила на сражение вслепую, на беспомощное барахтанье в вязком болоте, где всюду, куда ни глянь, перед вами вырастает раскидистое дерево путей неисповедимых. Парижский метрополитен по всему своему экзотическому каркасу, по своим красным, желтым, синим и черным ветвям разбросал причудливые геометрические фигуры многих, но числом ограниченных станций. И это дерево живет двадцать из каждых двадцати четырех часов, наполняется бурлящим соком, капли которого устремляются в свои, определенные ответвления, одни выкатываются на «Шателе», другие входят на «Вожирар», третьи делают пересадку на «Одеоне», чтобы следовать в «Ла Мотт-Пике», две сотни, три тысячи, и кто знает, сколько вариантов пересадок и переходов закодировано и запрограммировано для всех этих живых частиц, внедряющихся в дерево там и выскакивающих тут, рассыпающихся по Галереям Лафайет, чтобы запастись либо пачкой бумажных салфеток, либо парой лампочек на третьем этаже магазина близ улицы Гей-Люссака.

Мои правила игры были удивительно просты, они были прекрас-

ны, безрассудны и деспотичны. Если мне нравилась женщина, если мне нравилась женщина, сидевшая напротив меня, если мне нравилась женщина, сидевшая напротив меня у окна, если ее изображение в окне встречалось глазами с моим изображением в окне, если улыбка моего изображения в окне смущала, или радовала, или злила изображение женщины в окне, если Маргрит увидела мою улыбку и Ана тут же опустила голову и стала усердно разглядывать замок своей красной сумки, тогда, значит, игра началась, независимо от того, как встречена улыбка — с раздражением, удовольствием или с видимым равнодушием. Первая часть церемонии на этом завершалась: улыбка замечена той, для которой она предназначена, а затем начиналось сражение в бездне, мучительная возня пауков в желудке, тревожная пульсация — от станции до станции — минут и секунд надежды.

Я думаю о том, как начался тот день: тогда в игру вошла Маргрит (и Ана), неделей же раньше — Паула (и Офелия); рыжеволосая девушка вышла на одной из самых каверзных станций, на «Монпарнас-Бьенвеню», которая, подобно отвратной многоголовой гидре, не оставляла почти никакого шанса на удачу. Я сделал ставку на переход к линии «Порт-де-Ванв» и тут же, у первого подземного развилка, понял, что Паула (что Офелия) направится к переходу на станцию «Мэрия Исси». Ничего не поделать, оставалось только взглянуть на нее в последний раз на перекрестке коридоров, смотреть, как она исчезает, как ее заглатывает лестница, ведущая вниз. Таково было условие игры: улыбка, замеченная в окне вагона, давала право следовать за женщиной и почти безнадежно надеяться на то, что ее маршрут в метро совпадает с моим, выбранным еще до спуска под землю; а потом — так было всегда, вплоть до сегодняшнего дня — смотреть, как она исчезает в другом проходе, и не сметь идти за ней, возвращаться с тяжелым сердцем в мир наверху, забиваться в какое-нибудь кафе и опять жить, как живется, пока мало-помалу через какие-то часы, дни или недели снова не одолеет жажда попытать счастья и потешить себя надеждой, что все совпадет — женщина и отражение в стекле, радостно встреченная или отвергнутая улыбка, направление поездов,— и тогда, наконец, да, наконец, с полным правом можно будет приблизиться и сказать ей первые, трудные слова, пробивающие толщу застоявшегося времени, ворох копошащихся в бездне пауков.

Когда мы подъехали к станции «Сен-Сюльпис», кто-то рядом со мной поднялся к выходу, сосед Аны тоже вышел, и она сидела теперь одна напротив меня и уже не разглядывала свою сумку, а, рассеянно скользнув взглядом по моей фигуре, остановила глаза на картинках, рекламирующих горячие минеральные источники и облепивших все четыре угла вагона. Маргрит не поворачивала головы к окну, чтобы увидеть меня, но это как раз и говорило о возникшем контакте, о его неслышной пульсации; Ана же была, наверное, слишком робка, или ей просто казалось дурацкой затеей глядеть на отражение лица, которое расточает улыбки Маргрит. Станция «Сен-Сюльпис» имела для меня очень важное значение, потому что, хотя еще оставалось восемь станций до конечной остановки «Порт-д'Орлеан», лишь три из них были пересадочными узлами и, только если бы Ана вышла на одной из этих трех, у меня появился бы шанс на возможность совпадения. Когда электричка стала притормаживать перед «Сен-Пласид», я замер, глядя в окно на Маргрит, надеясь встретиться с ней взглядом, а глаза Аны в эту минуту мирно блуждали по вагону, словно она была убеждена, что Маргрит больше не взглянет на меня и потому нечего больше и думать об этом отражении, которое ждало Маргрит, чтобы улыбнуться только ей.

Она не сошла в «Сен-Пласид», я знал об этом еще до того, как поезд начал тормозить, ибо собирающиеся выйти пассажиры обычно проявляют суетливость, особенно женщины, которые нервно ощупывают свертки, запахивают пальто или бегло оглядывают проход перед тем, как встать, чтобы не наткнуться на чужие колени, когда внезапное снижение скорости превратит человеческое тело в неуправляемый предмет. Ана равнодушно взирала на станционные рекламы, лицо Маргрит было смыто с окна светом наружных ламп, и я не мог знать, взглянула она на меня или нет, да и мое отражение тонуло в наплывах неоновых огней и рекламных афиш, а потом — в мельканий входящих и выходящих людей. Если бы Ана вышла на «Монпарнас-Бьенвеню», мои шансы стали бы минимальны. Как тут не вспомнить о Пауле (об Офелии), когда скрещение четырех линий на этой станции сводило почти к нулю мою возможность предугадать ее выбор. И все же в день Паулы (Офелии) я до абсурда был уверен в совпадении наших путей, я до самого последнего момента шел в трех метрах позади от этой неторопливой девушки с длинными рыжими волосами, словно припорошенными сухой хвоей, и, когда она свернула в переход направо, голова моя дернулась, как от удара в челюсть. Нет, я не хотел, чтобы теперь так было с Маргрит, чтобы вернулся этот страх, чтобы все это повторилось на «Монпарнас-Бьенвеню», и незачем было вспоминать о Пауле (об Офелии), прислушиваться к тому, как пауки в бездне начинают душить робкую надежду на то, что Ана (что Маргрит)... Но разве кто-нибудь откажется от наивных самоутешений, которые помогают нам жить? Я тут же сказал себе, что, возможно, Ана (возможно, Маргрит), выйдет не на «Монпарнас-Бьенвеню», а на одной из других остающихся станций, что, может быть, она не пойдет в тот переход, который для меня закрыт; что Ана (что Маргрит) не выйдет на «Монпарнас-Бьенвеню» (не вышла), не выйдет в «Вавене» — и она действительно не вышла! — что, может быть, выйдет на «Распай», на этой первой из двух последних возможных станций... А когда она и тут не вышла, я уже знал, что остается только одна станция, где я мог дальше следовать за ней, ибо три последующие переходов не имели и в счет не шли. Я снова стал искать взглядом Маргрит в стекле окна, стал звать ее из безмолвного и окаменевшего мира, откуда должен был долететь до нее мой призыв о помощи, докатиться мертвая зыбь; я улыбался ей, и Ана не могла этого не видеть, а Маргрит не могла этого не чувствовать, хотя и не смотрела на мое отражение, по которому хлестали светом частые лампы тоннеля перед станцией «Данфер-Рошро». Первый ли толчок буферов заставил вздрогнуть красную сумку на коленях Аны или всего лишь чувство досады взметнуло ее руку, откинувшую со лба черную прядь? Я не знал, но в эти три-четыре считанные секунды, пока поезд замирал у платформы, пауки особенно жестоко бередили мое нутро, предвещая новое поражение. Когда Ана одним легким и гибким движением выпрямила свое тело, когда я увидел ее спину среди пассажиров, я, кажется, еще бессмысленно оглядывался на окно, ища лицо Маргрит в стекле, ослепшем от света и мельканий. Затем встал, словно не сознавая, что делаю, и выскочил из вагона, и шел — воплощенная тень фигурки, семенившей по платформе,— пока вдруг не очнулся от мысли, что сейчас, у двух переходов, мне предстоит последнее испытание и будет вынесен приговор, окончательный и бесповоротный.

Понятно, что Ана (Маргрит) либо пойдет своим обычным путем, либо свернет, куда ей вздумается, я же, еще входя в вагон, твердо знал: если кто-нибудь окажется в игре и выйдет на «Данфер-Рошро», в мою комбинацию будет включен переход на линию «Насьон-Этуаль»;

равным образом, если бы Ана (если бы Маргрит) вышла на «Шателе», я имел бы право следовать за ней лишь по переходу к «Венсен-Нейи». На этом, решающем, этапе игра была бы проиграна, если бы Ана (если бы Маргрит) направилась к линии «Де Со» или к выходу на улицу. Все должно было решиться моментально, ибо на станции «Данфер-Рошро» нет, вопреки обыкновению, бесчисленных коридоров и лестницы быстро доставляют человека к месту назначения или — коль скоро речь идет о моей игре с судьбой — к месту предназначения. Я видел, как она скользит в толпе, как равномерно покачивается красная сумка — будто на заводной игрушке,— как она вертит головой в поисках табличек-указателей и, секунду поколебавшись, сворачивает налево. Но слева был выход прямо на улицу...

Я не знаю, как это выразить; пауки буквально раздирали мне нутро, но я честно вел себя в первую минуту и продолжал идти за ней просто так, машинально, чтобы потом покориться неизбежности и сказать там, наверху: что ж, иди своей дорогой. Но вдруг, на самой середине лестницы, я понял, что нет, что, наверное, единственный способ убить пауков — это преступить закон, нарушить правила хотя бы один только раз. Пауки, было впившиеся в мой желудок в ту минуту, когда Ана (когда Маргрит) пошла вверх по запретной лестнице, сразу притихли, и весь я внезапно обмяк, по телу разлилась усталость, хотя ноги продолжали автоматически преодолевать ступеньку за ступенькой вслед за ней. Все мысли улетучились, кроме одной: я все еще вижу ее, вижу, как красная сумка, приплясывая, устремляется наверх к улице, как черные волосы ритмично подрагивают в такт шагам. Уже стемнело, порывистый холодный ветер разметывал снег с дождем; я знаю, что Ана (что Маргрит) не испугалась, когда я поравнялся с ней и сказал: «Не может быть, чтобы мы так и разошлись, не успев встретиться».

Позже, в кафе, уже только Ана — ибо образ Маргрит поблек перед реальностью «чинзано» и сказанных слов — призналась мне, что ничего не понимает, что ее зовут Мари-Клод, что моя улыбка в окне вагона ее смутила, что она было хотела встать и пересесть на другое место, что потом не слышала моих шагов за своей спиной и что на улице — вопреки здравому смыслу — совсем не испугалась. Так говорила она, глядя мне в глаза, потягивая «чинзано», улыбаясь без всякого смущения, вовсе не стыдясь того, что не где-нибудь, а на улице и почти без колебаний приняла мое неожиданное предложение пойти в кафе. В минуты этого счастья, освежавшего брызгами прибоя, ласкавшего тополиным пухом, я не мог рассказать ей о том, что она сочла бы за манию или безумство, что, собственно, и было безумством — в обывательском понимании. Я говорил ей о ее непослушной пряди, о ее красной сумке, о ее пристрастии к рекламам курортов с горячими источниками, о том, что улыбался ей не потому, что я — скучающий неудачник или прирожденный донжуан; я желал подарить ей цветок, дать знак, что она мне нравится, что мне было хорошо, что хорошо ехать вместе с ней, что хорошо еще одну сигарету, еще рюмку «чинзано»... Ни одной секунды мы не фальшивили, мы вели разговор как старые знакомые, и как будто все так и надо, и смотрели друг на друга без малейшего чувства неловкости. Я думаю, что Маргрит тоже не испытывала бы ложного стыда, как и Мари-Клод, если бы ответила на мою улыбку в окне вагона, если бы так много не размышляла об условностях и предвзятостях, о «не отвечай», когда с тобой заговорят на улице и захотят угостить конфетами и пригласить в кино... А Мари-Клод тем временем уже отбросила всякую мысль о моей улыбке «только для Маргрит»; Мари-Клод и на улице и в кафе даже полагала, что это была хорошая улыбка,

и что незнакомец в метро улыбался Маргрит вовсе не для того, чтобы закинуть удочку в другой садок, и что моя нелепая манера знакомиться была единственно справедливой и разумной и вполне позволяла ответить «да» — да, можно вместе выпить рюмочку и поболтать в кафе.

Не помню, что я рассказывал о себе, вероятно, все, кроме своей игры, а, значит, в целом не так-то уж много. В один прекрасный миг мы вместе рассмеялись, кто-то из нас первым пошутил, а потом оказалось, что нам нравятся одни и те же сигареты и Катрин Денёв. Она разрешила мне проводить ее до дверей дома, протянула мне руку без тени жеманства и дала согласие прийти в то же самое кафе и в тот же самый час во вторник. Я взял такси и поехал к себе домой, впервые погрузившись в самого себя, как в какую-то неведомую и сказочную страну, повторяя себе, что «да», что Мари-Клод, что «Данфер-Рошро», и плотно смыкал веки, чтобы дольше видеть ее черные волосы, забавное покачивание головой при разговоре, улыбку. Мы никогда не опаздывали и подробно обсуждали фильмы, говорили о своей работе, выясняли причины некоторых наших идеологических расхождений. Она продолжала вести себя в моем присутствии так, словно каким-то чудесным образом ее вполне устраивает это наше общение — без лишних объяснений, без лишних расспросов, и, кажется, ей даже в голову не приходило, что какой-нибудь пошляк мог бы принять ее за потаскушку или за дурочку, но, вероятно, все же удивлялась тому, что я не стремился сесть с ней в кафе на один диванчик, что на протяжении всей улицы Фруадево ни разу не положил ей руку на плечи, избегая этого первого жеста интимности, и что, зная о ее домашней обстановке — она, в общем-то, жила одна, так как младшая сестра не слишком часто бывала в ее квартире на четвертом этаже,— не просил позволить мне подняться с ней наверх. Увы, она и не подозревала, что существуют пауки. Во время первых наших трех или четырех встреч они не терзали меня, затаившись в бездне, ожидая дня, когда я все осознаю... будто бы я не осознавал своего «проступка» и раньше, но были вторники, было кафе и была радость, что Мари-Клод уже там или что вот-вот распахнется дверь и влетит это темноволосое упрямое создание, которое, нимало о том не ведая, боролось против вновь проснувшихся пауков, против соблюдения всех (без малейшего исключения) правил игры, защищая меня одним лишь легким прикосновением руки, своей непокорной прядью, то и дело падавшей на лоб. В какой-то момент она, казалось, что-то поняла, умолкла и выжидательно смотрела на меня. Мне становилось все труднее совершать над собой насилие, чтобы продлить передышку, чтобы придержать пауков, снова начинавших бунтовать, несмотря на Мари-Клод, против Мари-Клод, которая все-таки ничего не понимала, сидела и молчала в ожидании. Нет — наполнять рюмки, и курить, и болтать с ней, до последнего отстаивая паучье междуцарствие; расспрашивать о ее немудреной жизни, о повседневных хлопотах, о сестре-студентке и всяких радостях бытия и так желать эту черную прядь, прикрывавшую ей лоб, желать ее самое, как конец чему-то, как действительно последнюю остановку на последних метрах жизни, но была бездна, была расщелина между моим стулом и этим диванчиком, где мы могли бы поцеловаться, где мои губы впервые прикоснулись бы к аромату Мари-Клод прежде, чем мы пошли бы, обнявшись, к ее дому, поднялись бы по лестнице, сбросили груз такой тяжелой одежды и такого тягостного ожидания.

И я ей обо всем рассказал. Как сейчас помню: склеп-вестибюль метро и Мари-Клод, прислонившуюся к стенке, а я говорю, говорю, зарыв лицо в горячий мох ее пальто, и вовсе не уверен, что мой рас-

сказ со всеми его словами доходит до нее, что она может понять. Я поведал ей все, изложил подробности игры, сообщил о ничтожных шансах на счастье, исчезавших вместе со столькими Паулами (столькими Офелиями), которые всегда избирали другие пути; о пауках, которые в конце концов возвращались. Мари-Клод заплакала, я чувствовал, как она дрожит, хотя словно еще пытается защитить меня, подставить плечо, прислонившись к мертвой стене. Она ни о чем меня не спросила, не захотела узнать ни «почему», ни «с каких пор»; ей в голову не приходила мысль о том, чтобы испортить раз и навсегда заведенный механизм, пойти против себя самой, против города и всех его табу. Только тихое всхлипывание, похожее на стоны маленького раненого зверька, звучало бессильным протестом против триумфа игры, против дикой пляски пауков в бездне.

В подъезде ее дома я сказал ей, что еще не все потеряно, что от нас обоих зависит, состоится ли наша «настоящая» встреча: теперь и она знает правила игры, и они упрощаются уже потому, что отныне мы будем искать только друг друга. Она сказала мне, что попросит две недели в счет отпуска и будет брать с собою книгу в метро, и тогда сырое, страшное время в этом подземном мире будет пролетать быстрее; что станет придумывать самые разные комбинации и ждать меня, читая книги или разглядывая афиши. Мы не хотели думать о несбыточности, о том, что, если и встретимся в одном вагоне, это еще ничего не значит; что на сей раз нельзя допускать ни малейшего самообмана. Я попросил, чтобы она ничуть не волновалась, спокойно ездила бы в метро и не плакала эти две недели, пока я буду ее искать. Без слов она поняла, что если этот срок истечет и мы не увидимся или увидимся, но коридоры уведут нас в разные стороны, уже не имеет смысла возвращаться в кафе или ждать друг друга возле подъезда ее дома.

У подножья выходившей на улицу лестницы, которую желтый свет лампочек протягивал ввысь, до самого окна той, воображаемой Мари-Клод, что спала в своей квартире, в своей постели, раскинувшись во сне, я поцеловал ее волосы и медленно отпустил ее теплые руки. Она не искала моих губ, мягко отстранилась от меня и, повернувшись ко мне спиной, пошла вверх по этой лестнице, по одной из тех многих лестниц, которые уводили их от меня, не давая ни шагу шагнуть вослед.

Я вернулся домой пешком, без пауков, опустошенный, но словно бы омытый изнутри новой надеждой. Теперь пауки мне были не страшны, игра начиналась заново, как не один раз прежде, но отныне с одной только Мари-Клод. В понедельник я спустился на станцию «Куронн» ранним утром и поднялся на «Макс Дормуа» поздним вечером, во вторник вошел на «Кримэ», в среду на «Филип-Огюст», точно соблюдая правила, выбирая линии с пятнадцатью станциями, четыре из которых были пересадочными пунктами, и, выходя на первой из них, знал, что мне следует идти к линии «Севр-Монрёй», а выходя на второй, направлялся к линии «Клиши-Порт-Дофин», не подчиняясь в выборе маршрутов никакой логике, ибо здесь и не могло быть никакой логики, хотя Мари-Клод, наверное, выходила поблизости от дома, на «Данфер-Рошро» или на «Корвизар», возможно, делала пересадки на «Пастер», чтобы ехать затем к «Фальгиер». Снова и снова раскидывало колдовское древо свои змеящиеся ветви, сплетало красные, синие, белые, пунктирные искушения. Четверг, пятница, суббота. Стоять, стоять на платформе, смотреть, как подходит поезд, семь или восемь вагонов, глядеть, как они замедляют ход, бежать в хвост поезда и втискиваться в последний вагон, но там нет Мари-Клод; выходить на следующей станции и ждать следующий поезд, проезжать

остановку и переходить на другую линию, смотреть на скользящие мимо вагоны — без Мари-Клод, опять пропускать один-два поезда, садиться в третий, следовать до конечной остановки, возвращаться к одному из пересадочных узлов, решать, что можно сесть только в четвертый поезд, прекращать поиски и подниматься наверх, чтобы пообедать, а затем делать одну-две затяжки горьким сигаретным дымом и снова возвращаться вниз, садиться на скамью и ждать второго, пятого поезда. Понедельник, вторник, среда, четверг — без пауков, ибо я все еще надеялся, ибо все еще сижу и жду на этой скамейке, на станции «Шмен-Вер», с этим блокнотом, в котором рука пишет только для того, чтобы изобрести какое-нибудь иное время, задержать шквал, несущий меня к субботе, когда все, вероятно, будет кончено, когда я вернусь домой один, а они опять проснутся и станут бешено терзать, колоть, кусать меня, требуя возобновления игры, других Мари-Клод, других Паул,— неизбежный пролог после каждого краха, раковый рецидив.

Но сегодня еще только четверг, станция «Шмен-Вер», наверху спускается на землю ночь, еще немного можно потешить себя не такой уж абсурдной мыслью, что во втором поезде, в четвертом вагоне может оказаться Мари-Клод, она будет сидеть у окна, вот она увидела меня и выпрямилась с криком, которого никто не может слышать, никто, кроме меня,— крик мне в лицо,— и я прыгаю в закрывающиеся двери, чтобы втиснуться в переполненный вагон, растолкать огрызающихся пассажиров, пробормотать извинения, которых никто не ждет и не принимает, и, наконец, остановиться у скамейки, занятой пакетами, зонтами и ногами, и Мари-Клод в ее сером пальто у самого окна: черная прядь чуть шевельнулась при резком рывке вагона, а руки, сложенные на коленях, едва заметно вздрогнули в призыве, которому нет названия, который я сейчас услышу, обязательно услышу. Не надо ни о чем говорить, да и невозможно ничего сказать сквозь эту непроницаемую стену отчужденных лиц и черных зонтов между мной и Мари-Клод. Остались три пересадочные станции, Мари-Клод должна выбрать одну из них, пройти по платформе, направиться к одному из переходов или к лестнице на улицу, и она ничего не знает об избранном мною пути, с которого я на сей раз не сойду. Поезд подходит к станции «Бастилия», но Мари-Клод сидит, люди входят и выходят, рядом с ней освобождается место, но я не шевелюсь, я не могу туда сесть, не могу вместе с ней волноваться до дрожи в коленках, а она, конечно, страшно волнуется. Вот остаются позади и «Ледрю-Роллэн», и «Фруадерб-Шалиньи»; Мари-Клод знает, что на этих, без всяких переходов, станциях я не имею права следовать за ней, и боится шелохнуться; главные ставки в игре будут сделаны на «Ролли-Дидро» или на «Домениль». Вот поезд подходит к «Рейи-Дидро», и я отвожу глаза, не хочу, чтобы она знала, не хочу, чтобы догадалась, что это не здесь. Когда поезд трогается, я вижу, что она сидит; нам остается последняя надежда: в «Домениле» только один переход и один выход на улицу — красное или черное, да или нет.

И тогда мы глядим друг на друга, Мари-Клод поднимает голову и смотрит мне прямо в лицо, смотрит в побелевшее лицо того, кто судорожно вцепился в поручень и не сводит глаз с ее лица, с лица без единой кровинки, с лица Мари-Клод, которая прижимает к себе красную сумку и встанет, как только поезд поравняется с платформой «Домениль»...

■

Э. Л. ДОКТОРОУ

Рэгтайм

РОМАН

Перевод с английского В. АКСЕНОВА

С теплым чувством посвящается
Роз Доктороу-Бак

Не торопись.
Играешь рэгтайм,
никогда
не спеши...

Скотт Джаплин

I

1

В 1902 году Отец построил дом на гребне холма, что на авеню Кругозора, что в Нью-Рошелл, что в штате Нью-Йорк. Трехэтажный, бурый, крытый дранкой, с окнами в нишах, с крыльцом под козырьком, с полосатыми тентами — вот домик. Солнечным июньским днем семейство вступило во владение этим отменным особняком, и даже несколько лет спустя им казалось, что все их дни здесь будут теплыми и ясными, как тот июнь. Лучшую часть своих доходов Отец извлекал из производства флагов, знамен, стягов и других атрибутов патриотизма, включая и фейерверки. На чувство патриотизма в ранние девятисотые можно было положиться. Президентом был Тедди Рузвельт. Население в огромных, по обыкновению, количествах собиралось для общественных вылазок на природу, на ритуал «жареная рыба», на парады, на политические пикники, не пренебрегая, однако, и сборищами в театрах, в конференц-залах, дансингах, где угодно. Похоже, не было ни одного мероприятия, на которое не слетались бы несметные рои народу. Поезда, пароходы и трамваи исправно перевозили публику с места на место. Таков был стиль, таков образ жизни. Дамы были гораздо основательнее тогда. С белыми зонтиками в руках они визитировали флот. Летом все носили белое. Тяжеленные теннисные ракетки были эллипсоидными. Отмечалось немало обмороков на любовной почве. Однако — никаких негров. Никаких иммигрантов. В воскресенье пополудни, а именно после обеда, Отец и Мать пошли наверх и закрылись в спальне. На диване в гостиной Дед как был, так и заснул. На крыльце устроился Малыш в матроске — сидя там, он успешно отмахивался от мух.

© E. L. Doctorow, printed by permission of International Creative Management in conjuction with Elaine Green Limited and Andrew Nurnberd Associates Limited.

У подножия холма Младший Брат Матери скакнул в трамвай и поехал к концу линии. Этот одинокий и отрешенный молодой человек со светлыми усиками будто бы нарочно был придуман для самотерзаний. В конце линии поджидало его пустое поле высокой болотной травы. Соленый воздух. Младший Брат, облаченный в белый костюм и непременное канотье, закатал брюки и пошел босиком по соленой слякоти. Вспугивал морских пернатых. Это было то время в нашей истории, когда Уинслоу Хомер продуцировал свою живопись. Особое освещение еще присутствовало тогда вдоль Восточного побережья. Хомер писал этот свет. Тяжелая нудноватая угроза холодно поблескивала на скалах и мелях Новой Англии. Необъяснимые кораблекрушения, смелые спасательные буксировки. Странноватые дела на маяках и в лачугах, гнездящихся в прибрежных сливовых зарослях. По всей Америке открыто гуляли секс и смерть. Женщины очертя голову умирали в ознобе экстаза. Богатеи подкупали репортеров, чтобы скрыть свои делишки. Журналы надо было читать между строк, что и делалось. Газеты в Нью-Йорке увлеченно занимались убийством знаменитого архитектора Стэнфорда Уайта. Убийца Гарри Кэй Фсоу, эксцентрический отпрыск железнодорожных властелинов, был мужем общепризнанной красавицы Эвелин Несбит, которая когда-то была любовницей жертвы. Роковая стрельба имела место в саду на крыше Мэдисон-сквер-гарден, впечатляющего здания длиной в целый квартал — желтый кирпич и терракота,— которое Уайт как раз сам и разработал в севильском стиле. Там как раз происходила премьера ревю «Мамзель Шампань», и, как только хор запел и затанцевал, эксцентрический отпрыск, одетый по случаю летней ночи в зимнее пальто, вытащил пистолет и трижды выстрелил знаменитому архитектору в голову. На крыше. Крики ужаса. Эвелин мгновенно и полностью отключилась. Она стала известнейшей натурщицей уже к пятнадцатилетнему возрасту. Нижнее белье белое. Муж взял себе в привычку пороть ее. Однажды ей случилось повстречаться с Эммой Голдмен, революционеркой. Та бичевала ее своим огненным языком. Очевидно, все же были негры уже. Были все ж таки иммигранты же. И хотя газеты трубили о Преступлении Века, Голдмен знала, что шел только 1906-й и впереди у нас было девяносто четыре года.

Младший Брат Матери был влюблен в Эвелин Несбит. Он пристально следил за скандалом, окружавшим ее имя, и полагал, что после смерти любовника и ареста мужа удивительное создание нуждается во внимании безденежного, но благородного молодого человека из средних классов. Он замкнулся на этой идее. Он отчаялся. В комнате его приколот был к стенке вырезанный из газеты рисунок Чарльза Дейна Гибсона, названный «Вечный вопрос». На нем была представлена Эвелин в профиль, в избытке ее волос, причем одна прядь падала, принимая форму перевернутого вопросительного знака. Упавший завиток затенял ее бровь и украшал потупленный глазик. Носик слегка вздернут. Губки чуть-чуть надуты. Длинная шея изгибалась словно птица, поднимающая крылья. Эвелин Несбит была причиной смерти одного и крушения другого, но не было ничего стоящего в жизни, кроме объятия ее тонких рук — о да!

Послеполуденная голубая дымка. Приливная вода просачивалась в его следы. Он нагнулся и поднял чудесную раковину, необычную для западного Лонг-Айленда. Она была розовая и янтарная, спирально закрученная в виде муфты. Соль подсыхала на его лодыжках, он стоял в солнечной дымке и, запрокинув голову, глотал морскую воду из этой раковины. Чайки вились над головой, трубя, как гобои, а за его спиной, скрытый высокой травою, предостерегающе звонил на Северной авеню трамвай.

На другом конце городка Малыш в матроске, вдруг потеряв покой, взялся измерять длину крыльца. Разумеется, пошло в оборот плетеное кресло-качалка. Малыш был в зените детской мудрости, которая никогда не предполагается взрослыми и, стало быть, проходит нераспознанной. Широчайшие познания он черпал в ежедневных газетах и постоянно следил за дискуссией между профессиональными бейсболистами и ученым, который объявил крученую подачу оптической иллюзией. Он чувствовал, что обстоятельства семейной жизни препятствуют его тяге к познанию. Вот, например, он возымел невероятный интерес к артисту-эскейписту Гарри Гудини. И что же? Его ни разу еще не взяли на представление. Гудини был гвоздем всех главных водевильных программ. Аудитория его — дети, носильщики, уличные торговцы, полицейские — словом, плебс. Жизнь его — абсурд. По всему миру его заключали в разного рода путы и узилища, и он убегал отовсюду. Привязан веревкой к столу. Убежал. Прикован цепью к лестнице. Убежал. Заключен в наручники и кандалы, завязан в смирительную рубашку, заперт в шкаф. Убежал. Он убегал из подвалов банка, заколоченных бочек, зашитых почтовых мешков, из цинковой упаковки пианино Кнабе, из гигантского футбольного мяча, из гальванического котла, из письменного бюро, из колбасной кожуры. Все его побеги были таинственны, ибо он никогда не взламывал своих узилищ и даже не оставлял их открытыми. Занавес взлетал, и он оказывался, всклокоченный, но торжествующий, рядом с тем, в чем предположительно он только что содержался. Он махал толпе. Он освободился из молочного бидона, наполненного водой, из русского тюремного вагона, сбежал с китайской пыточной дыбы, из гамбургской тюрьмы, с английского тюремного корабля, из бостонской тюрьмы. Его приковывали к автомобильным колесам, пароходным колесам, пушкам — и он освобождался. Он нырял в наручниках с моста в Миссисипи, Сену, в Мерсей и выныривал, приветствуя народ раскованными руками. В смирительной рубашке и вниз головой он свисал с кранов, с бипланов, с домов. Он был сброшен в океан в водолазном костюме с полным снаряжением, но без воздушного шланга. Убежал. Он был похоронен заживо, но на этот раз не смог освободиться, пришлось его спасать. Земля слишком тяжела, сказал он задыхаясь. Ногти кровоточили. Глаза забиты землей. В нем не было ни кровинки, он не держался на ногах. Помощник вытаскивал его. Гудини хрипел и бессвязно бормотал. И кашлял кровью. Его отпустили и отвезли в отель. Сейчас, через пятьдесят лет после его смерти, аудитория у подобных эскапад еще больше увеличилась.

Малыш на крыльце взирал на майскую муху, что пересекала навес таким образом, словно это путь на холм с Северной авеню. Муха улетела. С Северной авеню на холм поднимался автомобиль. Ближе, ближе и оказался не чем иным, как 45-сильным «поп-толидо рансбаут». Малыш сбежал по ступеням крыльца. Производя сильный шум, машина прошла мимо дома и отклонилась прямиком в телефонный столб. Малыш побежал в дом и воззвал наверх к родителям. Для начала проснулся Дед. Малыш побежал обратно на крыльцо. Шофер и пассажир стояли на улице, разглядывая машину. Большие колеса с пневматическими шинами и деревянными спицами, покрытыми черной эмалью. Медные фары перед радиатором и медные боковые лампы на крыльях. Обивка с кисточками и дверцы с каждой стороны. Никаких повреждений не замечалось. Шофер был в ливрее. Он поднял крышку капота. Гейзер белого дыма вырвался с дивным шипением.

Кое-кто поглядывал из ближних дворов. Однако Отец, прилаживая цепочку на жилете, уже спускался посмотреть, чем он может помочь. Владельцем машины оказался Гарри Гудини, знаменитый эскей-

пист. Он проводил день, путешествуя через Вустер и размышляя о покупке какой-нибудь собственности. Его пригласили в дом, пока радиатор охлаждался. Он удивил всех своими скромными, едва ли не занудными манерами. Он выглядел подавленным. Так оно, между прочим, и было: его успехи привлекли в водевиль сонмы конкурентов, и, следовательно, ему приходилось выдумывать все больше и больше опасных трюков. Невысокий, ладно скроенный и очевиднейший атлет: мускулы спины и рук более чем отчетливо определялись под твидовым костюмом, тоже скроенным весьма неплохо, хотя и несколько неуместным в этот жаркий день. Ртуть подбиралась к 90° Фаренгейта. У него были жесткие, непослушные волосы, разделенные посредине на пробор, и чистые голубые глаза, которые двигались без устали. Он был чрезвычайно почтителен к Матери и Отцу и говорил о своей профессии с некоторой неуверенностью, что их приятно поразило. Малыш пожирал его глазами. Мать велела подать лимонад. Гудини оценил это чрезвычайно. В гостиной было прохладно благодаря парусиновым навесам над окнами, да и сами окна были закрыты, чтобы не впускать жару. У Гудини возникло поползновение отстегнуть еще и воротничок, но он чувствовал себя здесь как бы в плену этой тяжелой квадратной мебели, драпировок и темных ковров, восточных шелков и абажуров зеленого стекла. Шкура зебры к тому же. Заметив взгляд Гудини, Отец мимоходом сообщил, что застрелил эту зебру на сафари в Африке. У Отца была весьма значительная репутация исследователя-любителя. В прошлом он имел честь быть президентом Нью-Йоркского клуба исследователей, куда вносил ежегодно лепту. В самом деле, через несколько дней он отбывал из дома, чтобы нести флаг своего клуба в третьей арктической экспедиции коммодора Пири. «Значит, вы собираетесь с Пири на Полюс?» — спросил Гудини. «С божьей помощью»,— ответил Отец, после чего сел в свое кресло и закурил сигару. Гудини чрезвычайно оживился. Он вышагивал взад-вперед и говорил о собственных приключениях, о турне по Европе. «Однако Полюс! — воскликнул он.— Это нечто! Вы, должно быть, в полном порядке, если вас выбрали для этого». Голубые его глаза обратились к Матери. «Поддерживать домашний очаг тоже не очень-то легкое бремя»,— сказал он. Не лишен шарма, нет-нет. Он улыбнулся, и Мать, крупная блондинка, потупилась. Гудини провел еще несколько минут, производя рукой мелкие ловкие фокусы с незначительными предметами, как бы специально для Малыша. Когда он взялся уходить, вся семья целиком провожала его до дверей. Отец и Дед пожали ему руку. Он прошел по тропинке под большущим кленом и по каменным ступеням спустился на улицу. Шофер ждал, машина была в порядке. Гудини вскарабкался на сиденье рядом с шофером и помахал рукой. Соседи глазели на него со своих дворов. Малыш, сопровождавший волшебника на улицу, теперь стоял перед «поп-толидо», глядя на собственное искаженное, макроцефальное отражение в медной фаре. Гудини подумал: вот пригожий пацанчик, светленький, как его мамочка, кучерявенький, быть бы ему чуть-чуть пожестче. Он перегнулся через дверцу и протянул руку. «До свидания, сынок».— «Предупреди эрцгерцога»,— вдруг сказал Малыш. После чего убежал.

2

Так уж случилось, что неожиданный визит Гудини оборвал родительский коитус. Увы, Мать не подавала теперь никаких знаков к возобновлению. Больше того, она ретировалась в сад. Дни проходили, время отъезда Отца приближалось, и он все время ждал с ее стороны молчаливого приглашения в постельку. Жизнь научила его, что любая собственная активность может сорвать все предприятие. У этого кря-

жистого мужчины были завидные аппетиты, но в то же время он чрезвычайно ценил несклонность жены отвечать его неделикатным потребностям. Тем временем все домашнее хозяйство подготавливалось к отъезду. Нужно было упаковать все его принадлежности, сделать массу распоряжений по бизнесу на время отсутствия, предусмотреть тысячи других деталей. Мать поднимала тыльную сторону ладони ко лбу и отбрасывала прядь волос. Никто в семье не был, конечно же, безразличен к тем опасностям, которые ждали Отца. Правда, никто и не думал останавливать его. Их брак, казалось, расцветал после его пространных отлучек. Вечером перед его отъездом за обедом рукав Матери смахнул ложечку со стола, и она покраснела. Когда дом погрузился в сон, Отец прошел в темноте в ее спальню. Он был торжественен и внимателен соответственно обстоятельствам. Мать закрыла глаза и зажала уши. Пот с отцовского подбородка падал на ее груди. Она начала. Она думала: пока, как мне кажется, это были счастливые годы, но впереди нас ждут беды.

На следующее утро все отправились на станцию проводить Отца. Присутствовал кое-кто из начальства, и заместитель Отца произнес короткую речь. Расплескались аплодисменты. Прибыл нью-йоркский поезд. Пять лакированных темно-зеленых вагонов, влекомых «Болдуином 4-4-0» с огромными колесами. Малыш наблюдал за смазчиком, который с масленкой копошился у бронзовых клапанов паровоза. Он почувствовал руку на своем плече, оглянулся и обнаружил рядом смеющегося Отца, который предлагал ему крепкое мужское рукопожатие. Дед был отстранен от перетаскивания багажа. С помощью носильщика Отец и Младший Брат Матери погрузили сундуки. Отец пожал молодому человеку руку. Он повысил его в должности и укрепил его положение в фирме. «Приглядывай за делами»,— сказал Отец. Младший Брат кивнул. Мать сияла. Она нежно обняла мужа, а тот поцеловал ее в щеку. Стоя на задней платформе последнего вагона, Отец ускользал, поднимая шляпу в прощальном приветствии, пока не скрылся за поворотом.

На следующее утро после завтрака с шампанским для прессы люди из экспедиции Пири выбрали швартовы, и их маленький, но крепенький корабль «Рузвельт» отошел от причала на Ист-ривер. Пожарные катера, выпускающие струи воды, развешивали вокруг радуги, раннее солнце поднималось над городом. Пассажирские лайнеры трубили в свои басовитые горны. Это продолжалось, пока «Рузвельт» не достиг открытого моря, и лишь тогда Отец убедился в реальности путешествия. Стоя у борта, он благоговейно, всеми костями, ощутил неизменное дыхание океана. Спустя некоторое время «Рузвельт» прошел мимо трансатлантической посудины, набитой по самую трубу иммигрантами. Отец смотрел, как шлепал по воде нос этой чешуйчатой широченной посудины. Ее палуба кишела людьми. Тысячи мужских голов в котелках-«дерби». Тысячи женских — в платках. Отец, персона нормальная и прочная, внезапно ощутил упадок духа. Странное отчаяние охватило его. Ветер крепчал, и небо затягивалось, и великий океан начал метаться и разламываться, являя на свет божий вздымающиеся плиты гранита и скользящие террасы сланца. Отец смотрел на иммигрантскую посудину, покуда не потерял ее из вида. Все же, подумал он, это плывут новые покупатели, им понадобится огромный магазин под американским флагом.

3

Большинство иммигрантов явились из Италии и Восточной Европы. Баркасами их доставляли на остров Эллис, где в оригинально орна-

ментированных красным кирпичом и серым камнем человеческих хранилищах их нумеровали, снабжали ярлыками, мыли в душе и размещали на скамейках в загончиках для ожидания. Прибывшие немедленно ощущали неограниченную власть иммиграционных властей. Чиновники лихо меняли имена, которые им трудно было выговорить, отрывали людей от их семейств, списывали в обратный путь стариков, близоруких, подонков общества и тех, кто им казался нахалами. Ослепляющая власть этих людей напоминала иммигрантам то, от чего они бежали. В конце концов они оказывались на улицах и кое-как притыкались в жилых кварталах. Ньюйоркеры их презирали. Такие грязные, неграмотные. Воняют рыбой и чесноком. Гноящиеся раны. Бесконечные несчастья. Никакой чести, работают почти бесплатно. Воруют. Пьют. Насилуют собственных дочерей. Убивают друг друга. Среди тех, кто их презирал, большинство составляли ирландцы второго поколения, чьи отцы были повинны в тех же грехах. Ирландские ребятишки таскали за бороды старых евреев и сбивали их с ног. С не меньшим успехом переворачивались тележки итальянских разносчиков.

В любое время года по улицам проезжали особые фургоны и подбирали тела доходяг. По ночам старые женщины в платках *«бабушкой»* отправлялись в морги искать своих мужей и сыновей. Трупы лежали на столах оцинкованного железа. От изножья каждого дренирующая трубка шла к полу. Вокруг края стола тянулся кульверт, и в этот кульверт непрерывно стекала вода, которая разбрызгивалась столь же непрерывно из крана над головой. Лица покойников были подняты вверх, в потоки воды, которая окатывала их подобно неукротимому механизму смерти, смерти в собственных слезах, так сказать.

Однако можно уже было кое-где услышать гаммы, уроки игры на пианино. Люди мало-помалу «пристегивались к флагу». Мостили улицы. Пели. Хохмили. Целые семьи ютились в одной-единственной комнате, и каждый работал: Мамка, Тятя и Малышка в передничке. Мамка и Малышка шили штанишки и получали семьдесят центов за дюжину. Брались за шитье, вылезая из постели, и прекращали только перед отходом ко сну. Тятя добывал пропитание на улицах. Время шло, и они решили познакомиться с городом. Однажды в воскресенье, охваченные дикой бесшабашностью, они потратили 12 центов на три билета и отправились трамваем в центр. Они шли по Мэдисон авеню и по Пятой авеню и глазели на особняки. Владельцы называли эти особняки «дворцами». Они правильно их называли, это и были дворцы, и все они были спроектированы Стэнфордом Уайтом. Тятя был социалист. Он смотрел на дворцы, и сердце его клокотало от социальной ярости. Приходилось, однако, спешить. Полицейские в высоких касках поглядывали на семейство. Им не очень-то нравилось видеть иммигрантов на этих широких пустых тротуарах в этой части города. «Побаиваются,— объяснял Тятя,— несколько лет назад один иммигрант застрелил стального магната Генри Фрика в Питтсбурге».

В семью пришел кризис вместе с письмом, в котором говорилось, что Малышка должна посещать школу. Это означало, что теперь им не свести концы с концами. Мамка и Тятя беспомощно отвели ребенка в школу. Она была зачислена и теперь ежедневно уходила. Тятя слонялся по улицам. Он не знал, что делать со своим «бизнесом вразнос». Ни разу бедолаге не удалось найти выгодное местечко у обочины. Пока он так плутал, Мамка сидела у окна со своими раскройками и крутила швейную машинку. Маленькая темноглазая женщина с волосами, разделенными посредине и собранными на затылке в некий крендель. Оставаясь в одиночестве, она обычно пела нечто своим тоненьким и довольно сладким голоском. Нечто без слов. Однажды по-

полудни она собрала, как обычно, законченную работу и понесла ее на Стэнтон-стрит, в склад на чердаке. Владелец склада пригласил ее к себе в контору. Он внимательно осмотрел работу и похвалил ее. Тут же и денежки отсчитал — долларом больше, чем следовало. Это просто потому, что вы такая хорошенькая, объяснил он. Улыбнулся. Чуть-чуть потрогал Мамкины груди. Мамка убежала, прихватив, однако, лишний доллар. В следующий раз все это повторилось. Она объяснила Тяте, что сильно увеличила выработку. Постепенно она привыкала к рукам своего работодателя. Однажды, получив двухнедельную плату, она позволила ему сделать с ней все, что он хотел, на раскройном столе. Он целовал ее лицо, соленое от слез, соленькое от слезок.

К этому моменту истории Джейкоб Риис, неутомимый газетчик и реформатор, стал писать о жилищах для бедняков. Страшная скученность. Ноль санитарии. Улицы завалены говном. Дети умирают от элементарнейшей простуды, от легкой сыпи. Умирают в кроватках, сделанных из двух кухонных стульев. Умирают на полу. Многие люди полагали, что грязь, голод и болезни — это просто следствия моральной дегенерации иммигрантов. Риис был не из этого числа, он верил в вентиляцию. Вентиляция, воздух и свет принесут здоровье. Он карабкался по темным лестницам, стучался в двери и вспышкой фотографировал нуждающиеся семьи. Очень просто: поднимаешь сковородку с магнием, суешь голову под капюшон, вспышка — щелчок! Ослепив семейство, он удалялся, а те, не осмеливаясь двинуться, надолго оставались в исходной позиции. Потом они начинали ждать от жизни чудесных изменений и трансформаций. Риис сделал цветную карту этнических групп Манхэттена. Скучный серый цвет был предоставлен евреям — это их любимый цвет, объяснил Риис. Красный — смуглым итальянцам. Голубой — экономным немцам. Черный — африканцам. Зеленый — ирландцам. Ну, а желтый, разумеется, коту-китайцу: кто, как не кошка, кроется в их жестокой хитрости и дикой ярости — лишь только тронь. Добавьте цветные штришки еще и для финнов, арабов, греков, для прочих, и вы получите сумасшедшее одеяло человечества, кричал Риис, взбесившееся одеяло нью-йоркского гуманизма.

Однажды Риис решил проинтервьюировать Стэнфорда Уайта, именитого архитектора. Он хотел бы узнать, строил ли когда-нибудь тот жилища для бедных. Какие у него идеи по части такого строительства, по части вентиляции, света. Уайта он нашел в доках наблюдающим за выгрузкой европейской архитектурной обстановочки. Риис как завороженный взирал на то, что появлялось из трюмов: целые фасады флорентийских дворцов и афинская атрия, камень к камню, все маркированные, живопись, скульптура, гобелены, резные и рисованные потолки, мраморные фонтаны, мраморные лестницы и балюстрады, изразцовые патио, паркетные полы и шелковые стенные панели, пушки, знамена, доспехи, арбалеты и другое древнее оружие, кровати, картины, пиршественные столы, клавикорды, бочки стекла, столового серебра и золота, фаянс и фарфор, церковный орнамент, ящики редчайших книг и табакерки. Уайт, здоровенный, полнокровный мужлан с рыжеватой, слегка седеющей щеткой волос, ходил вокруг, шлепая скатанным зонтиком по спинам тружеников. «Осторожно, вы, дурачье!» — покрикивал он. У Рииса были вопросы к знаменитости. Жилища для бедных — это была его тема. Однако сейчас перед ним предстал образ демонтированной Европы, расчищения древних земель от скученности, хаотического избытка, рождение новой эстетики в европейском искусстве и архитектуре. Сам он был датчанин.

В тот вечер Уайт отправился на премьеру «Мамзель Шампань» в сад на крыше Мэдисон-сквер-гардена. Это было в начале июня, а к концу месяца нахлынувшая волна зноя стала убивать новорожден-

ных по всем трущобам. Доходные дома раскалились, как топки, а у съемщиков не было даже питьевой воды. Водопроводные раковины в цокольных этажах домов высохли. Отцы семейств рыскали по городу в поисках льда. Конечно, растленный Таммани-Холл был уже разрушен реформаторами, но тем не менее деляги захватили поставку льда в свои руки и теперь толкали его маленькими кусочками по диким ценам. Многие выходили с подушками прямо на тротуары. Семьи спали на ступенях крылец и в дверях. Лошади падали и околевали на улицах. Санитарный департамент снаряжал ломовиков оттаскивать лошадиные трупы, но ломовиков не хватало, и трупы вздувались и лопались на жаре. Вывалившиеся кишки растаскивали крысы. И отовсюду из трущоб, над серым шмотьем, безнадежно висящим на веревках, поднимался запах жареной рыбы. Такая картина.

4

В удушающей летней жаре политики, алчущие переизбрания, приглашали своих сторонников на вылазки за город. К концу июля один из кандидатов провел парад по улицам Четвертого округа. Гардения в петлице. Оркестр играл Соза-марш [1]. Члены Ассоциации добровольного содействия следовали за оркестром, и вся процессия промаршировала к реке, где погрузилась в полном составе на пароход «Великая республика», который взял курс вдоль Лонг-Айленда к местечку Ржаное, как раз за Нью-Рошелл. Пароход, перегруженный едва ли не пятью тысячами активистов, ужасно кренился на правый борт. Солнце жгло. Пассажиры давились на палубах, стремясь ухватить глоток воздуха. Вода как стекло. В Ржаном все выгрузились и построились для следующего парада к Павильону, где традиционная жареная рыба была сервирована целой армией официантов в белых длинных фартуках. После церемонного ленча произносились речи из оркестровой раковины. Последняя была декорирована патриотическим многофлажием. Это роскошество было обеспечено отцовской фирмой. Были также знамена с именем кандидата, написанным золотом, и маленькие американские флажки на позолоченных палочках, поставленные как сувениры на каждый стол. Послеобеденный отдых Добровольное содействие провело, употребляя пиво, играя в бейсбол и бросая подкову. Луга вокруг Ржаного были усеяны мужчинами, дремлющими в траве, прикрыв свои лики своими «дерби». Вечером столы снова были сервированы, играл военный оркестр, а затем наступила кульминация всего празднества — показ фейерверка! Младший Брат Матери прибыл сюда, чтобы лично руководить этим делом. Как ему нравилось разрабатывать рисунки фейерверка! Честно говоря, это единственное, что интересовало его в их бизнесе. Ракеты взмывали, взрываясь в наэлектризованном вечернем воздухе. Сполохи сами по себе полыхали над проливом. Огромное колесо вращающихся огней, казалось, катило по воде. Женский профиль, будто новое созвездие, отчеканился в ночном небе. Ливни огней — красных, и белых, и голубых — падали, можно сказать, как звезды, и взрывались снова, можно сказать, как бомбы. Все ликовали. Когда фейерверк завершился, были зажжены факелы, чтобы отметить путь к пристани. На обратном пути старый пароход кренился на левый борт. Среди пассажиров был и Младший Брат, который вспрыгнул на борт в самый последний момент. Перешагивая через людей, спящих на палубе, он пробрался на нос. Он стоял там, подставив воспаленное огнем и

[1] Джон Филип Соза — автор патриотических песен типа «Звездно-полосатый флаг».

переживаниями лицо ночному бризу, пролетавшему над черной водой. Горящие глаза его были устремлены в ночь... Он думал об Эвелин.

К этому времени Эвелин Несбит была чрезвычайно занята ежедневными репетициями своих показаний на предстоящем процессе по убийству Стэнфорда Уайта. Ей приходилось иметь дело не только с самим Фсоу, которого она навещала почти ежедневно в городской тюрьме «Могилы», но также и с его адвокатами, которых было ни много ни мало, а несколько, но также и с его матерью, вдовствующей королевой из Питтсбурга, которая ее презирала, но также и с собственной матушкой, чьи самые алчные мечты о богатстве она давно уже превзошла. Пресса следовала за ней по пятам. Она старалась жить тихо в маленьком привилегированном отеле. Она старалась не вспоминать простреленную физиономию Стэнфорда Уайта. Еду ей приносили в комнаты. Она репетировала. Ко сну отходила рано, веря, что сон улучшает цвет кожи. Скуча-а-ала. Заказывала платья. Ключ к защите Гарри Кэй Фсоу состоял в том, что он как бы временно помешался из-за ее рассказа о юности, разрушенной в пятнадцатилетнем возрасте. Она была натурщицей, Ваша Честь, и начинающей актрисой. Стэнфорд Уайт пригласил ее в свои апартаменты в башне Мэдисон-сквер-гардена и угостил шампанским. В шампанском было кое-что лишнее, Ваша Честь. Когда она очнулась, извержение уайтовского вулкана лежало на ее бедрах словно глазировка на булочках.

Однако предполагалось все-таки, что не так-то легко будет убедить присяжных, что Гарри Кэй Фсоу свихнулся только из-за этой трогательной истории. Он был всегда склонен к насилию и творил дебоши в ресторанах. Гонял авто по тротуарам. Не чурался поползновений к самоубийству и однажды выжрал полную бутыль лауданума. Держал шприцы в серебряном ящичке. Подкалывался, стало быть. У него была привычка стискивать кулаки и бить ими в собственные виски. Он был властным и надменным собственником и до психоза ревнив. Перед их женитьбой он состряпал план, по которому Эвелин должна была подписать свидетельство о том, что Стэнфорд Уайт избивал ее. Она отказалась и пожаловалась Уайту. Тогда Гарри поволок ее в Европу, чтобы не беспокоиться уже, что Стэнфорд Уайт где-то ждет своей очереди. Мать Эвелин сопровождала ее в качестве дуэньи. Они отплыли на «Кронпринцессе Сесили». В Саутгемптоне Гарри откупился от мамаши и поволок Эвелин одну на континент. В конце концов они прибыли в арендованный заранее древний горный замок в Австрии — шлосс Катценштайн. В первую же ночь он стащил с нее платье, швырнул ее поперек кровати и приложился псовым хлыстом к ее ягодичкам. Вопли ее эхом разносились по коридорам и каменным лестницам. Немецкие слуги в своих каморках слушали эти дикие звуки, краснели, открывали бутылки «Гольдвассера» и совокуплялись. Ужасные красные рубцы обезобразили нежную плоть Эвелин. Она плакала и причитала всю ночь. Утром Гарри вернулся, на этот раз для разнообразия с ремнем для правки бритвы. Она была прикована к кровати на недели. Во время ее выздоровления он приносил ей стереоскопические слайды Шварцвальда и Австрийских Альп. Он был теперь изящен в любовных делах и особенно заботлив к нежным местечкам. Тем не менее она решила, что они, как говорится, не сошлись характерами. Она потребовала, чтобы ее отослали домой. Ее мать давно уже вернулась, когда она в полном одиночестве поплыла домой на «Кармании». В Нью-Йорке Эвелин немедленно отправилась к Стэнфорду Уайту, чтобы поведать ему о случившемся. Она показала ему следы истязания на внутренней стороне правого бедра. Боги, сказал Стэнфорд Уайт. Поцеловал пятнышко. Она пока-

зала ему небольшую пигментацию, желтенькое и пурпурненькое на левой ягодичке, там, где это загибалось к расселине. Как ужасно, сказал Стэнфорд Уайт. Поцеловал местечко. На следующее утро он послал ее к адвокату, который подготовил ее показания о драме в шлоссе Катценштайн. Эвелин подписала показания. Теперь, дарлинг, когда Гарри вернется, обрадуй его этим. Стэнни Уайт широко улыбался. Она выполнила все инструкции. Гарри Кэй Фсоу прочел показания, немедленно побледнел и тут же предложил жениться. Вот так хористочка иной раз может обстряпать дело лучше любой из девок «Флорадоры».

И вот теперь Гарри заклеймен позором и сидит в тюрьме. Его камера была в «Галерее убийц», на верхнем ярусе мрачных «Могил». Каждый вечер стража приносила ему газеты, так что он мог следить за подвигами своих фаворитов — команды «Питтсбург нейшнлз» и их звезды Хонуса Вагнера. Читая о бейсболе, он натыкался, конечно, и на собственное дело. Он проглядывал все газеты — «Уорлд», «Трибюн», «Тайм», «Ивнинг пост», «Джорнэл», «Геральд». Закончив чтение, он складывал газеты, подходил к решетке и колотил ими по прутьям, пока газетный жгут не распадался на части и не опадал, порхая и паря, на шесть этажей вниз через главную пещеру, или, если угодно, пролет тюрьмы, вокруг которого располагались ярусами камеры-клетки. Его поведение просто восхищало стражу. Не так уж часто они имели дело с людьми такого класса. Фсоу не очень-то был увлечен тюремной пищей, и поэтому ему приносили еду из «Дельмоникo». Зато он любил чистоту, и потому тюремщики ежедневно меняли ему белье — свежее каждое утро доставлялось его камердинером к воротам «Могил». Он недолюбливал, надо сказать, негров, и потому его заверили, что ни одного черного нет в окрестностях его камеры. Фсоу не был безразличен к любезности надзирателей. Свою благодарность он показывал не таясь и в самом безупречном стиле, комкая и разбрасывая по полу двадцатидолларовые купюры и смеясь над свиньями, что ползали у его ног и унижались, подбирая эту шелуху. Стража была счастлива. Репортеры набрасывались на них, когда они выходили из «Могил» в конце смены. Страшное возбуждение охватывало газетную братию, когда ежедневно пополудни прибывала Эвелин, которая, казалось, даже похрустывала в своем жакете с высоким воротником и в плиссированной юбке. Супругам тогда разрешалось прогуливаться по «Мосту вздохов» — стальному переходу между «Могилами» и зданием уголовного суда. Фсоу ходил каким-то ныряющим, голубиным шажком, походкой человека с повреждением мозга. У него были широкий рот и вылупленные кукольные глаза — внешность скрытого педа Викторианской эпохи. Иногда его видели дико жестикулирующим, в то время как Эвелин стояла, склонив голову, лицо в тени шляпы. Иногда он обращался к администрации с просьбой о комнате для консультаций. Надзиратель, дежуривший возле двери консультационной, основываясь на наблюдениях через «глазок», заявлял, что Фсоу иногда там внутри плакал, а иногда просто держал свою подругу за руку. Иногда он шагал взад-вперед и колотил себя кулаками в виски, пока она лишь молча взирала в зарешеченное окно. Однажды он потребовал доказательства ее преданности, впрочем, это оказалось не чем иным, как феллацио. Странным образом упершаяся в живот Фсоу широкополая шляпа Эвелин с пучком сухих цветов на тулье медленно оторвалась от ее прически. Потом он смел опилки с передка ее юбки и угостил ее несколькими банкнотами из своего бумажника.

Эвелин говорила репортерам, поджидавшим ее возле «Могил», что ее муж Гарри Кэй Фсоу невиновен. Процесс покажет, что мой

муж Гарри Кэй Фсоу невиновен, говорила она, садясь в электрический экипаж, предоставленный ей августейшей свекровью. Шофер закрывал за ней дверцу. Внутри экипажа она плакала. Уж кто-кто другой, а она-то хорошо знала о невиновности Гарри. Она согласилась свидетельствовать в его пользу за двести тысяч долларов. За развод она собиралась слупить и побольше. Пальчики ее вдруг начинали суетливо бегать по обшивке. Слезы высыхали. Странная горькая экзальтация охватывала ее сердце, и она наконец застывала с холодной победоносной улыбкой на устах. Она выросла в уличной пыли шахтерского городка в Пенсильвании. Она стала скульптурой-кич, которую Стэнни Уайт водрузил на вершину башни Мэдисон-сквер-гардена,— глория, обнаженная бронзовая Диана, лук натянут, лик в небесах.

По удивительному совпадению в этот момент нашей истории угрюмый романист Теодор Драйзер ужасно страдал от плохих рецензий и мизерной продажи своей первой книги «Сестра Керри». Он был разбит, не мог работать и стыдился смотреть людям в глаза. Он снял меблирашку в Бруклине и сидел там на деревянном стуле посреди комнаты. Однажды он решил, что стул смотрит в неверном направлении. Изъяв свое тело из стула, он взял последний двумя руками и повернул вправо, то есть приблизил его к истине. На минуту он подумал, что добился своей цели, но тут же жестоко разочаровался. Он еще раз повернул стул вправо. Посидел на нем немного, но снова почувствовал себя не в своей тарелке. Еще один поворот. В конечном счете он описал полный круг, но так и не нашел истинного направления. День угасал за грязным окном меблирашки. Всю ночь Драйзер поворачивал свой стул по кругу в поисках верной магистрали.

5

Не только надвигавшийся процесс Фсоу волновал общественность «Могил». Два надзирателя в свободное от работы время разработали ножные кандалы и объявили, что они превосходят стандартную экипировку. Они вызвали самого Гарри Гудини испытать их детище. Однажды утром волшебник прибыл в кабинет директора «Могил» и был там сфотографирован сначала пожимающим руку директора, затем в обнимку со смеющимися изобретателями. Перебрасывался остротами с репортерами. Раздал кучу бесплатных билетов. Тщательно рассмотрел новое изделие. Принял вызов. Конечно, он выберется из этих кандалов на предстоящем вечернем представлении на ипподроме Кейз, но сейчас — пресса, внимание! — он бросает свой собственный вызов: пусть его разденут и запрут в камере, а вещи положат снаружи; когда все уйдут, он исхитрится выйти из камеры и через пять минут явится в кабинет директора полностью одетый. Директор колебался. Гудини выразил удивление. Все-таки он, Гудини, принял вызов надзирателей без колебаний. Быть может, господин директор не уверен в собственной тюрьме? Репортеры взяли его сторону — еще бы! Зная, какой бифштекс сделают из него газеты, если он откажется соответствовать, директор согласился. Он верил в надежность своих клеточек. Стены его кабинета были бледно-зелеными. Фотографии матери и жены стояли на столе. Коробка сигар и графин ирландского виски. Добавьте к этому новый телефон. С говорилкой в одной руке и с наушником в другой директор выглядел весьма значительным перед прессой.

Некоторое время спустя совершенно обнаженного Гудини провели через шесть пролетов вверх в «Галерею убийц» на верхнем ярусе тюрьмы. Дирекция была не лыком шита: здесь было меньше клиен-

тов, и предполагалось, что камеры абсолютно надежны. Надзиратели заперли Гудини в пустой клетке. Его одежда аккуратной кучкой была сложена на галерее вне досягаемости. Затем стража и репортеры удалились и отправились по уговору в директорский кабинет. Гудини в различных укромных местах собственной персоны пронес маленькие стальные проволочки и кусочки пружины. Сейчас он провел ладонью вдоль подошвы левой ноги и из трещинки на мозоли, что на левой пятке, извлек полоску металла в четверть дюйма шириной и полтора дюйма длиной. Из густых его волос явилась на свет жесткая проволочка, которую он присобачил к железочке на манер ручки. Он просунул руку через решетку, вставил импровизированный ключ в замок и медленно стал крутить его по часовой стрелке. Дверь клетки качнулась и открылась. В этот момент Гудини осознал, что прямо напротив через мрачную пещеру камера ярко освещена и обитаема. Сидевший там заключенный пристально смотрел на него. Широкое плоское лицо его со свинячьим носом, растянутый рот и глаза, неестественно яркие и большие. Линия гладко зачесанных назад волос образовывала на лбу странный полумесяц. Иллюзионист Гудини подумал, что это лицо подставной куклы чревовещателя. Он сидел за накрытым скатертью столом с остатками шикарной жратвы. Пустая бутылка из-под шампанского горлышком была всунута в ведерко со льдом. Железная койка покрыта стеганым одеялом и разбросанными подушками. Шкаф эпохи Регентства стоял у каменной стены. С балки потолка свешивался абажур от Тиффани. Гудини не мог оторваться. Камера сверкала, как сцена, в вечном сумраке этой пещерной тюряги. Узник встал и махнул ему весьма величественным жестом, широкий рот еще более растянулся в подобии улыбки. Гудини быстро начал одеваться. Подштанники, брюки, носки, подвязки, обувь. Через пролет напротив узник приступил к раздеванию. Гудини надел нижнюю рубашку, сорочку, воротничок, завязал галстук, воткнул булавку. Щелчок — подтяжки! Теперь — пиджак! Узник был теперь гол, как только что Гудини. Он приблизился к решетке и в сокрушительно непристойной манере стал бить в нее бедрами и просовывать пенис. Гудини ринулся прочь по галерее.

Гудини решил никому не говорить об этой престраннейшей конфронтации. На торжестве по поводу его тюремного подвига он был непривычно тих и даже как бы подавлен. Даже очереди в кассы после газетных репортажей не оживили его. Эскапада с ножными кандалами, на которую понадобилось ему меньше двух минут, вообще не принесла никакого удовольствия. Прошли дни, прежде чем он догадался, что тот гротескный мим в «Галерее убийц» был не кто иной, как Гарри Кэй Фсоу. Люди, не уважавшие его искусства, глубоко огорчали Гудини. Он пришел к выводу, что все они без исключения принадлежат к высшим классам. Они разрушали смысл его жизни и заставляли чувствовать себя дураком. Чего греха таить, он был честолюбив, любое развитие техники лишало его покоя. В жалких рамках сцены он творил свои чудеса и вызывал благоговение низов общества, а тем временем настоящие мужчины начинали поднимать в воздух самолеты и разгоняли автомобили до скорости 60 миль в час. Явился такой деятель, как Рузвельт, и атаковал испанцев на холме Сан-Хуан, и послал в бой флот белых кораблей, дымивших на полнеба, флот боевых судов, белых, как его зубы. Богатые знали, что важно, а на Гудини они смотрели как на ребенка или придурка. Между тем бесконечная тренировка, которую он навязал сам себе, его стремление к совершенству в своем деле отражали американский идеал. Он поддерживал свой атлетизм. Не курил, не пил. Ни одного лишнего фунта. Мощь. Напрягая мускулы живота, он с улыбкой приглашал любого

желающего влепить ему панч любой силы. Колоссальная мускулатура, ловкость и профессиональная отвага. Для богатеньких же все это было чепухой.

Новинкой в его программе была эскапада, в которой он освобождался из банковского сейфа, а минуту спустя в этом же сейфе оказывался скованный наручниками его ассистент, которого публика только что видела на сцене. Гигантский успех. Однажды вечером перед представлением антрепренер сказал Гудини, что их приглашает сама миссис Стивезант-Рыбчик с 78-й улицы, приглашает выступить у нее на балу. Миссис Рыбчик принадлежала к Четырем Сотням. Она была знаменита своим остроумием. Представьте, однажды она дала «Бал детского лепета». Сейчас она устраивала бал в память своего друга Стэнфорда Уайта. Являясь другом, он был и архитектором ее дома. Он построил ей дом в стиле Дворца дожей. Дож, господа, это шеф городской управы в Генуе и в Венеции. У меня нет ничего общего с людьми этого сорта, сказал Гудини своему антрепренеру. Исполнительный антрепренер сообщил миссис Рыбчик, что мистер Гудини отсутствует в наличии. Она удвоила гонорар. Бал был первым событием нового сезона. Около девяти вечера Гудини подъехал к ее дому в наемном «пирс-эрроу». Его сопровождали антрепренер и ассистент. За ними следовал грузовик с реквизитом. Кортежу указали на задний подъезд.

Гудини не знал, что миссис Стивезант-Рыбчик кроме него пригласила еще полностью шоу из цирка Барнума и Бейли. Она любила ошарашить своих чистоплюев. Гудини был проведен в своего рода комнату для ожидания, где его вдруг окружила толпа уродцев. Все они знали Гудини и мечтали хотя бы дотронуться до него. Твари с чешуйчатой переливающейся кожей и кистями рук, прикрепленными прямо к плечам. Карлики с телефонными голосами. Сиамские близнецы-сестрички, тянувшие друг друга в разные стороны. Тяжеловес, никогда не снимавший страшные стальные круги со своих грудей. Гудини снял крылатку, цилиндр, белые перчатки и передал все это своему ассистенту. Затем упал в кресло. Чудища, шепелявя и плюясь, тянулись к нему.

Между тем комната сама по себе была очень хороша: с резным деревянным потолком и фламандскими гобеленами, изображавшими Актеона, разрываемого псами.

На заре своей, так сказать, карьеры Гудини работал в маленьком цирке на западе Пенсильвании. Чтобы вернуть самообладание, Гудини вспомнил этот цирк и призвал на помощь верность своему жанру. Тут одна карлица отделилась от остальной своры и заставила всех отступить на несколько шагов. Гудини узнал выдающуюся личность — Лавинию Уоррен, вдову Генерала Тома-Большой-Палец, самого знаменитого карлика всех времен. Лавиния Уоррен-Большой-Палец была одета в сногсшибательное платье, предоставленное ей миссис Рыбчик: предполагалась шутка над соперницей сегодняшней хозяйки миссис Уильям Астор, которая появлялась точно в таком же туалете прошлой весной. Лавиния-Большой-Палец и причесана была под леди Астор и украшена сверкающими копиями асторовских брильянтов. Лавинии было под семьдесят, она несла себя с достоинством. После их свадьбы, полсотни лет назад, она и Генерал Том были приняты в Белом доме президентом Линкольном с супругой. Гудини чуть не плакал. Лавиния больше не работала в цирке, но для этого вечера приехала в Нью-Йорк из Бриджпорта, где у нее был дом в старом стиле. Поддержание дома влетало в копеечку, потому вдова и взялась за эту малопригляднную работу. Она жила в Бриджпорте, чтобы быть поближе к могиле своего мужа, чья память была увековечена

монументальной колонной на кладбище Маунтейн-гроув. Рост ее — два фута. Она приблизилась к коленям Гудини. С возрастом ее голос стал ниже, и сейчас она говорила как нормальная двадцатилетняя девушка. Такие блестящие голубые глаза, серебряные волосы и чуднейшие лучики морщинок на белой коже. Она напомнила Гудини его маму. Ну-ка, малый, кинь пару-тройку фокусов для нас, сказала Лавиния.

Гудини позабавил цирковой люд простенькими трюками и ловкостью рук. Положил в рот бильярдный шар, закрыл рот, затем, естественно, открыл его — шар исчез. Тогда он снова закрыл рот и, открыв его, на этот раз вынул оттуда бильярдный шар. Воткнул швейную иглу в щеку и вынул ее изнутри. Раскрыл ладонь и произвел на свет живого цыпленка. Вытянул из уха поток цветного шелка. Уродцы пришли в восторг. Они аплодировали и смеялись. Гудини встал и заявил своему менеджеру, что не будет выступать для миссис Стивезант-Рыбчик. Антрепренер бросился с увещеваниями. Гудини распахнул дверь во внутренние покои. Блеск хрусталя ослепил его. Он был в огромном бальном зале Дворца дожей. Струнный оркестр наяривал с балкона. Бледно-красная драпировка обрамляла окна-фонари. Четыре сотни народу вальсировало на мраморном полу. Прикрыв ладонью глаза, Гудини увидел миссис Рыбчик собственной персоной. Бесценные перья поднимались над кучей ее волос, веревки жемчугов раскачивались на шее и бились на грудях, остроумие лопалось на ее губах, подобно пузырям эпилептика.

Несмотря на свои опыты, Гудини так и не развил в себе то, что мы называем «политическим сознанием».

Он не мог сделать выводов из своих оскорбленных чувств. И до конца дней своих так и не осознал своего предназначения, не мог представить себе свою жизнь как отражение революционных событий времени. Он был еврей. Настоящее имя — Эрих Байс. Он был страстно влюблен в свою древнюю матушку, жившую вместе с ним в типичном для Нью-Йорка кирпичном буром доме, так называемом «браунстоуне», на 113-й улице, Уэст. Как раз в Америку прибыл Зигмунд Фрейд, чтобы прочесть серию лекций в университете Кларка, в Вустере, штат Массачусетс, и, значит, Гудини предназначено было стать вместе с Элом Джолсоном[1] одним из великих бесстыдников-эдипов (движение XIX века, которое включало в себя таких людей, как По, Джон Браун, Линкольн и Джеймс Мак-Нейл Уистлер[2]). Конечно, Америка не сразу приняла Фрейда. Горстка профессиональных психиатров понимала его значение, но для большинства публики он был немец-перец-колбаса, эдакий умник, проповедующий свободную любовь и пользующийся научными словами специально для того, чтобы говорить «пошлости». По крайней мере десятилетие должно было пройти, пока Фрейд не отомстил и не увидел, как его идеи начали разрушать сексуальную жизнь в Америке — навсегда.

6

Фрейд прибыл в Нью-Йорк на ллойдовском лайнере «Джордж Вашингтон». Его сопровождали два последователя и помощника — Юнг и Ференци. На пристани их встретили два молоденьких фрейдиста, доктора Эрнест Джонс и Эй Эй Брилл. Компания обедала в Хаммерстайновском Саду-на-Крыше. Пальмы в кадках. Пианино и скрипка дуэтом играли «Венгерскую рапсодию» Листа. Фрейдисты без устали разговаривали вокруг Фрейда, то и дело поглядывая на него,

[1] Эл Джолсон — певец, исполнитель сентиментальных песенок.
[2] Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер (1834—1903) — живописец и график.

чтобы оценить его настроение. Он ел кефир. Брилл и Джонс играли роль хозяев. В последующие дни они показали Фрейду Центральный парк, музей «Метрополитен» и китайский квартал. Китайцы, как кошки, загадочно взирали на Фрейда из темных лавчонок. Стеклянные шкафы с орехами «литчи». Компания отправилась и в кинематограф — развлечение, вошедшее в моду по всему городу. Белый дым поднимался из ружейных стволов, мужчины, намазанные губной помадой и румянами, падали навзничь, сжимая свои грудные клетки. По крайней мере, думал Фрейд, это беззвучно. Шум — вот что угнетало его в Новом Свете. Ужасный грохот ломовиков, лязганье и скрежет трамваев, сигналы автомобилей. За рулем открытого «мэрмона» Брилл возил фрейдистов по Манхэттену. В одном месте на Пятой авеню Фрейд забеспокоился: ему показалось, что кто-то за ним наблюдает; подняв глаза, он увидел детей, глазевших на него с верхушки двухъярусного автобуса.

Брилл повез компанию в Нижний Ист-Сайд с его театриками, тележками разносчиков и надземными поездами. Устрашающая надземка грохотала мимо окон, за которыми, как можно было предположить, живут люди. Окна тряслись, тряслись и сами дома. Фрейд столкнулся с необходимостью облегчиться, но никто, очевидно, не мог им показать, где найти нужную общественную возможность. Пришлось зайти в ресторан и заказать сметану с овощами, чтобы Фрейд смог сбегать в сортирчик. Затем снова в авто; они подъехали к углу, чтобы понаблюдать, как работает уличный художник. Некий старик одними лишь ножницами вырезал из бумаги миниатюрные силуэтные портреты и брал за это гроши. В этот момент позировала старику красивая, хорошо одетая женщина. Легковозбудимый Ференци, маскируя свое восхищение прехорошенькой дамочкой, декларировал коллегам, что он потрясен и счастлив найти древнее искусство силуэта расцветающим на асфальтах Нового Света. Фрейд, сжав зубами сигару, не сказал ничего. Мотор работал вхолостую. Один лишь Юнг заметил Малышку в передничке, стоявшую чуть позади молодой леди и державшую ее за руку. Малышка глянула на Юнга, и бритоголовый Юнг, который начал уже к тому времени спорить по некоторым решающим проблемам со своим любимым ментором, посмотрел сквозь свои толстые в стальной оправе очки на чудное дитя и испытал то, что он обозначил бы как некий «шок узнавания», хотя и не мог объяснить, почему и что это такое. Брилл нажал педаль сцепления, и компания продолжила свой тур. Их конечной целью был Кони-Айленд, довольно далеко от города. Они прибыли туда под вечер и тут же включились в странствие по трем огромным развлекательным паркам — начали со стипль-чеза, затем попали в Страну Мечты и наконец, уже к ночи, прибыли в Луна-парк, к башням и куполам, очерченным электрическими пузырьками. Почтенные визитеры покатались на горбатых горках «ну-ка догони», а Фрейд и Юнг даже проплыли вместе в одной лодке через Тоннель Любви. День подошел к концу, лишь когда Фрейд устал и почувствовал приступ той дурноты, которая стала его недавно посещать в присутствии Юнга. Через несколько дней компания в полном составе отправилась в Вустер на лекции. Когда Фрейд закончил цикл лекций, его убедили совершить экспедицию к чуду естественной природы — Ниагарскому водопаду. Они прибыли туда пасмурным днем. Тысячи молодоженов стояли парочками, наблюдая великие каскады. Водяная пыль, подобно перевернутому дождю, вздымалась над местностью. С одного берега на другой была перекинута проволока, и по ней гулял какой-то маньяк в балетных тапочках и трико, с зонтиком-балансиром. Фрейд потряс головой. Позже компания зашла в Пещеру Ветров. Здесь на подзем-

ном переходном мостике гид отодвинул всю остальную публику назад, а Фрейда взял под локоть. Дайте-ка папаше пройти вперед, сказал гид. Пятидесятитрехлетний доктор решил в этот момент, что Америки с него достаточно. Вместе с учениками он отплыл назад в Германию на «Кайзере Вильгельме Великом». Он действительно не смог привыкнуть к пище и нехватке общественных возможностей. Он убедился, что путешествие разрушило ему и желудок и мочевой пузырь. В целом население показалось ему мощным, наглым и грубым. Вульгарное оптовое потребление европейского искусства и архитектуры, невзирая на период или страну, он нашел устрашающим. Он усмотрел в нашем беззаботном смешении сверхбогатства и сверхбедности хаос энтропической европейской цивилизации. Не без удовольствия он передохнул в своем тихом уютном венском кабинете. Америка — это ошибка, сказал он Эрнесту Джонсу, гигантская ошибка. К тому времени немало людей на этих берегах готовы были с ним согласиться. Миллионы безработных. Счастливчики, заполучившие работу, имеют наглость объединяться в союзы. Суды ликуют, полиция колотит профсоюзников по башкам, их лидеры в тюрьме, рабочие места заняты другими. Профсоюз — это дьявольский промысел. О рабочем человеке позаботятся не агитаторы, а христиане — те, кому господь в его бесконечной мудрости дал контроль над собственностью в этой стране. Если никто сему не внимал, вызывались войска. Оружие было пущено в ход повсеместно. В угольных копях шахтер получал доллар и шестьдесят центов при условии трех тонн ежедневной выработки. Компания держала его в своих лачугах и кормила из своих магазинов. Негры на табачных плантациях вкалывали по тринадцать часов в день, получая по шесть центов в час. Дети не страдали от дискриминации. Работодатели весьма ценили детвору. В отличие от взрослых они не жаловались. Эдакие эльфы, маленькие проказники. Существенной проблемой, конечно, была их выносливость. Они были проворнее взрослых, но к концу рабочего дня резко снижали производительность труда. В эти часы на консервных фабриках и заводах нет ничего легче, чем потерять пальцы, покалечить руку, сломать ногу. Детей, конечно, следует призывать к внимательности. В шахтах дети работали на откатке угля и иногда задыхались в штреках. Естественно, им рекомендовали в опасных случаях проявлять сообразительность. Одна сотня негров в год линчевана. Одна сотня шахтеров сгорела заживо. Одна сотня детей искалечена. Казалось, существовала квота на эти дела. Определенная квота и для смерти от истощения. Нефтяные тресты, банковские тресты, железнодорожные тресты, мясные тресты, стальные тресты — тресты повсюду. Стало модным почитать бедность. Во дворцах Нью-Йорка и Чикаго закатывали «балы нищих». Гости приходили, одетые в тряпье, ели из оловянных тарелок и пили из дешевых кружек. Залы были декорированы под шахты с креплениями из бревен, с рельсами и шахтерскими лампочками. Фирмам театральных декораций давали заказы на трансформацию садов в грязные фермы, а столовых — в хлопковые фабрики. Гости курили сигарные окурки, которые разносились на серебряных подносах. Артисты выступали в негритянском гриме. Одна чикагская аристократка пригласила гостей на хозяйственный двор. Гостей одели как мясников. Они пировали и танцевали, пока вокруг на блоках двигались окровавленные туши. Кишки вываливались на пол. Это, конечно, был благотворительный бал.

7

Однажды после визита в «Могилы» Эвелин Несбит случайно заметила через заднее оконце электрического экипажа, что впервые

никто из репортеров ее не преследует. Обычно Херстовские и Пулитцеровские псы гнали ее сворой.

Подчиняясь импульсу, она сказала шоферу свернуть к Ист-Сайду. Слуга мамани Фсоу позволил себе нахмуриться. Эвелин как бы не заметила. Машина шла по городу, мотор жужжал. Вторая половина дня. Тепло. Черный «детройт электрик» на жестких резиновых шинах. Через некоторое время Эвелин увидела разносчиков и тележки Нижнего Ист-Сайда.

Темноглазые лица заглядывали в экипаж. Мужчины улыбались — золотые зубы из-под усищ. Дорожные рабочие сидели в жаре на обочине тротуара и обмахивались своими «дерби». Мальчишки в брючатах-«гольф» неслись рядом с машиной, таща на своих плечах увесистые грузы. Эвелин видела магазинчики с вывесками на иврите. Древние буквы напоминали какие-то сооружения из костей. Пожарные лестницы на домах были похожи на ярусы в тюремных блоках. Дряхлые одры в своих ярмах тоже поднимали головы, чтобы взглянуть на леди. Старьевщики ворочали двухколесные тележки с хламом, женщины торговали хлебами из корзин. Все смотрели на леди. Шофер нервничал. На нем была серая ливрея с черными кожаными отворотами. Он вел сверкающий экипаж сквозь узкие грязные улицы. Девочка в передничке и в ботиночках с высокой шнуровкой, сидя на краю тротуара, копошилась в какой-то мерзости, играла. Малышка с грязной рожицей. «Остановите машину»,— сказала Эвелин. Шофер обежал вокруг и открыл ей дверцу. Эвелин ступила вниз, на улицу. Она присела. У девочки были прямые черные волосы, охватывающие ее голову будто шлем. Оливковая кожа и глаза — темно-карие, почти черные. Она взирала на Эвелин без всякого любопытства. Никогда прежде Эвелин не видела столь красивое дитя. Вокруг ее запястья была обмотана какая-то бечевка, она была к чему-то привязана. Эвелин встала и, проследив направление бечевки, увидела лицо явно тронутого старика с обкорнанной седой бородой. Конец веревки был обмотан вокруг его талии. На нем был вытертый пиджак. Один рукав оторван. Однако же воротничок с галстуком. Он стоял на тротуаре перед тележкой со щитом, обтянутым черным бархатом, к которому приколоты были силуэтные портреты. При помощи одних только маленьких ножниц, кусочка бумаги и капли клея он мог запечатлеть ваш образ, вернее, его контуры. Все произведение на темном фоне и в рамочке стоило лишь пятнадцать центов. Пятнадцать центов, леди, сказал старик. Почему вы привязываете малышку за веревку, спросила Эвелин. Старик выпучился на ее наряд, потом захохотал, затряс головой и забормотал что-то непонятное. Он отвернулся от леди. Между тем вокруг остановившегося авто собралась толпа. Высокий рабочий выступил вперед и уважительно снял шапку перед тем, как перевести Эвелин то, что наговорил тронутый старик. «Звиняюсь, миссус, так Малышка есть не украденная из него». Эвелин чувствовала, что переводчик кое-что дипломатично смягчил. Старый художник с горьким хохотом выпятил подбородок в сторону Эвелин, очевидно продолжая свои недипломатичные высказывания. «Он говорит, богатая леди не бываеть знать, что девочки в трущобах есть украдены каждый день из их родителей и проданы в рабство». Эвелин была потрясена. «Этому ребенку не больше десяти»,— сказала она. Старик тогда стал кричать и показывать через улицу на какой-то жилой дом, поворачивался, и показывал на угол, и тыкал через плечо на другой угол, и все кричал. «Звиняюсь, миссус,— сказал высокий рабочий,— замужние женщины, дети... эти мерзавцы на кого угодно наложат лапу. Они их спортят, так? опозорят, так? звиняюсь, женщина становится бродяжкой, ведь верно? Как раз на этой самой

улице такие есть позорные дома, миссус».— «Где же родители ребенка?» — резко спросила Эвелин. Старик сейчас обращался к толпе, колотил себя в грудь, вздымал палец в небо. Женщина в черной шали качала головой и постанывала от сочувствия. Старик сорвал шапку и потащил себя за волосы. Даже высокий рабочий забыл переводить, так он был тронут происходящим. «Звиняюсь, миссус, этот человек есть отец ребенка.— Он слегка подергал художника за оторванный рукав.— Собственная жена, чтобы им кушать, предлагала себя, а он ее турнул из дома и сейчас плачет, как по покойнице, звиняюсь. Его волос стал белый за один месяц. Он имеет тридцать два года возраст, звиняюсь, миссус».

Старик, всхлипывая и кусая губы, повернулся к Эвелин и увидел, что она тоже глубоко тронута. Все стоявшие сейчас на углу на какой-то момент разделили его несчастье — Эвелин, ее шофер, рабочий, женщина в шали, зеваки. Потом кто-то двинулся дальше. Отошел другой. Толпа рассеялась. Эвелин вернулась к Малышке, еще сидевшей на краю тротуара. Она присела, глаза ее увлажнились, она заглянула в лицо Малышке, которая и не думала плакать. «Эй, тыквочка»,— сказала Эвелин.

Так внезапно Эвелин погрузилась в жизнь тридцатидвухлетнего одряхлевшего художника и его дочери. У него было длинное еврейское имя, которое ей не под силу было произнести, и она стала называть его так, как звала Малышка: Тятей. Тятя был президентом Социалистического содружества художников Нижнего Ист-Сайда. Гордый человек. Эвелин обнаружила, что невозможно приблизиться к нему иначе, как заказав силуэт. За две недели старик произвел сто сорок силуэтных портретов Эвелин Несбит. За каждый она платила ему 15 центов. Иногда она заказывала портрет Малышки. Тятя произвел их около сотни и потратил на них больше времени, чем на портреты благородной леди. Потом Эвелин попросила сделать двойной портрет — она с Малышкой. Старик тогда посмотрел ей прямо в лицо, страшное иудейское осуждение, казалось, вспыхнуло в его глазах. Тем не менее он сделал то, о чем его просили. Время шло, и для Эвелин стало ясно, что хотя люди и останавливаются поглазеть на работу старика, мало кто изъявляет желание увековечиться. Он начал создавать все больше и больше сложных силуэтов, полнофигурных и с фонами: Эвелин, Малышка, трудолюбивые ломовые лошади, пятеро мужчин в жестких воротничках, сидящие в открытой машине. Своими ножницами он умудрялся показать не только очертания, но и структуру предметов, настроение персонажей, характеры, отчаяние. Большинство этих вещей сейчас находится в частных коллекциях. Эвелин приезжала на уголок ежедневно и проводила там столько времени, сколько могла. Она одевалась так, чтобы по возможности не привлекать внимания. Следуя полезным урокам своего мужа Фсоу, она платила шоферу огромные деньги за его благодушие и сочувствие. Хроникеры светских сплетен тем временем связывали ее исчезновение с каким-то безрассудным романом, по крайней мере дюжина мужчин пристегивалась к ее имени. Чем меньше ее видели, тем пышнее разрасталась клевета. Ей было все равно. Она ускользала к своей новой любви на Нижний Ист-Сайд. Она покрывала голову шалью, а на корсет надевала траченный молью черный свитер — преданный шофер прятал эти вещички под ковром в ее экипаже. Она подходила к Тяте, позировала для очередного силуэта, а глаза ее ликовали, пировали, глядя на малое дитя на другом конце веревки. Она будто бы рассудок потеряла. Все это время у нее не было ни одного мужчины, если не считать безумного мужа Гарри Кэй Фсоу. Впрочем, она заметила тайного воздыхателя, молодого че-

ловека с высокими скулами и светлыми усиками. Он следовал за ней повсюду. Впервые она увидела его на Тятином углу: он топтался на другой стороне улицы и немедленно отвернулся, поймав ее вызывающий взгляд. Она знала, что свекровь наняла частных детективов, но он был слишком застенчив для сыщика. Ясно, что он разузнал что-то о ее повседневной жизни, но не решался даже приблизиться, такой застенчивый. Его внимание не пугало ее, напротив, она чувствовала себя даже как бы под некоторой защитой. Восхищение его было очевидным, и это как будто бы соответствовало интенсивности ее собственных чувств в это время. Ночами она грезила о Малышке и просыпалась с мыслями о ней. Планы на будущее фейерверками вспыхивали в ее сознании и осыпались, чтобы снова взлететь. Она была полна тревоги, измучена, возбуждена и безотчетно счастлива. Конечно, она будет свидетельствовать в пользу мужа и сделает это как надо. Конечно, она надеялась, что его признают виновным и присудят к пожизненному заключению.

Малышка в передничке брала ее за руку, но ни разу не сказала ей ни слова. Тятя, прямо скажем, тоже был не особенно разговорчив. Больше Эвелин уже никогда не слышала никаких сетований или жалоб. Она понимала, что старик с его гордыней давно выкинул ее куда-то вовне, ибо он даже не ощущал, что ее внимание к Малышке было ему подмогой. Однажды Эвелин пришла позировать и — вот тебе на! — не нашла на углу ни папы, ни дочки. К счастью, она уже разузнала, где они живут — на Хестер-стрит, за общественной баней. Она поспешила туда, не смея даже думать, что́ могло случиться. Хестер-стрит кишела торговцами овощами, фруктами, цыплятами, хлебами, тележками, покупателями, мусорными баками, постельным бельем, свисающим с пожарных лестниц,— этим она кишела, если всем этим можно кишеть. Эвелин полетела по железным лестницам, часто дыша взбежала в исключительно вонючий коридор. Тятя и Малышка жили в двух маленьких комнатках на задах. Она постучала. Постучала снова. Дверь приоткрылась. Щель. Цепочка. «Что случилось? — выдохнула Эвелин.— Дайте мне войти»

Тятя был скандализирован: вот так событие — он перед дамой в одной лишь рубашке, в штанах на подтяжках и в шлепанцах. Он настоял, чтобы дверь осталась открытой, несмотря на вонючий сквознячок, дувший из лестничной клетки. Суетливо он прибрал свою лежанку, бросив сверху какое-то лоскутное одеяло. Малышка лежала на медной кровати в другой комнате. У нее был жар. Комнаты освещались свечкой, так как единственное окно в спальне упиралось в глухую стену. Эвелин подумала, что вся эта квартира не больше ее платяного шкафа. Когда ее глаза привыкли к полумраку, она определила, что здесь царит скрупулезная чистота. Ее приход совершенно сшеломил художника. В колеблющемся мрачном свете он вышагивал взад-вперед, не зная, что предпринять. Схватил сигарету, нервно затягивался, держа ее большим и указательным пальцами, ладонью кверху — на европейский манер. Эвелин настаивала: она побудет с ребенком. Он может спокойно трудиться. Все будет хорошо. В конце концов он согласился, может быть только лишь для того, чтобы избавиться от жуткого напряжения в связи с ее присутствием. Схватив свой стенд, обтянутый черным бархатом, и деревянный чемодан с принадлежностями искусства, он ринулся прочь. Эвелин закрыла за ним дверь. Заглянула в буфетик — несколько чашек и тарелок, что за бедная посуда, откуда такое. Затем она обследовала содержимое комода, постельное белье, внимательно рассмотрела выскобленный добела обеденный стол и стулья. Кучка незаконченных штанишек лежала возле швейной машины с узорчатой железной педалью. Вот след

матери. Эвелин вдруг почувствовала что-то вроде родства с пропавшей беспутной Мамкой. В окне спальни отражалась свеча. Медная маленькая кроватка светилась. Девочка смотрела на Эвелин из подушек не улыбаясь и не говоря ничего. Эвелин сняла шаль и свитер и положила эти вещи на стул. В упаковочном ящике, находившемся возле кровати в роли ночного столика, плотно стояли книги на идиш. Были здесь и англоязычные книги по социализму, на обложках которых могучие пролетарии, взявшись за руки, маршировали вперед, к будущему. Ни один из них не был похож на хилого седовласого Тятю. В квартире не было ни портретов, ни фотографий. Где же зеркало? Боже, здесь не было даже зеркала. В первой комнате Эвелин нашла оцинкованный тазик. Затем принесла с первого этажа ведро воды, подогрела ее на угольной плите, слила в таз и, взяв таз и тоненькое накрахмаленное полотенце, вошла в спальню. Малышка обкрутила вокруг себя и одеяло, и пододеяльник, и простыню. Эвелин мягко все это с нее сняла и посадила девочку на край кровати. Потом она стала снимать с нее ночную сорочку, вбирая в себя, будто солнечную энергию, теплые испарения детского тела. «Теперь встань в тазик»,— сказала она и, присев, стала купать Малышку, черпая ладонями воду и нежно протирая смутлые плечики, налитые коричневые орешки сосков, пушистую мягкую попку, худенькие бедра, гладкий склон пузика и малое ее девчачество. Вода с горячего тельца дождем стекала в лохань. Потом Эвелин насухо вытерла девочку полотенцем и надела на нее свежую ночную сорочку, которую нашла в комоде. Сорочка оказалась настолько велика, что Малышка стала смеяться и даже немного шалить. Эвелин разгладила простыню, взбила подушки, устроила девочку в постели и попробовала ее лоб — он был прохладен. Глаза Малышки поблескивали в сумраке. Однако пир для Эвелин еще не кончился. Она стала расчесывать ее черные волосы и трогать ее лицо. Она склонилась над ней, и тут руки Малышки обвились вокруг ее шеи и губы прикоснулись к ее губам.

В этот день Эвелин Несбит решила похитить Малышку, а Тятю, стало быть, предоставить его собственной судьбе. Старый художник никогда не спрашивал ее имени и ничего о ней не знал. Все можно было сделать в два счета. Однако вместо этого дерзостного плана Эвелин почему-то с удвоенной энергией ринулась в семейную жизнь; ежедневно являлась с едой, с бельем, тащила все, что можно было протащить через цензуру мучительной гордыни старика. Ей хотелось стать одной из них. Она втягивала Тятю в разговор. Она научилась даже прострачивать на машинке штанишки. Часами она жила как женщина из еврейских трущоб, а потом из условленного места фсоусовский шофер отвозил ее в отель, и всякий раз она была в отчаянии. Она была так поглощена любовью, что забыла даже о своем любимом и главном занятии: перестала следить за собой и не понимала, к примеру, что случилось с ее глазами, почему она так часто моргает, словно пытаясь очистить склеру от каких-то пятен. Между тем глаза ее постоянно были на мокром месте, а голос слегка охрип от набухания связок. Эвелин Несбит постоянно выделяла влагу счастья.

8

Однажды Тятя пригласил Эвелин на митинг, устроенный Социалистическим содружеством художников Нижнего Ист-Сайда совместно с семью другими организациями. Предстояло важное событие. Среди ораторов гвоздем программы будет не кто иная, как Эмма Голдмен. Тятя детально объяснил, что, хотя он неизменно противостоит Голдмен, поскольку она есть анархист, а он есть социалист, он также

неизменно отдает должное ее личной храбрости и целеустремленности, и вот именно поэтому он пошел на некоторого рода временное соглашение между социалистами и анархистами, хотя бы на один вечер, тем более что собранные средства пойдут бастующим швеям и стачечникам-металлистам Мак-Киспорта, штат Пенсильвания, а также анархисту Франсиско Ферреру, которого собираются казнить в Испании за подстрекательство к всеобщей стачке. За пять минут Эвелин была погружена в бодрящую лингвистику радикального идеализма. Она, конечно, не осмелилась признаться Тяте, что для нее социализм и анархизм еще пять минут назад ничем не отличались друг от друга и что скандально известная дама-оратор пугает ее. Она закуталась в шаль, взяла за руку Малышку, и они поспешили за Тятей, который мощно теперь вышагивал к Рабочему Собранию на 14-й улице, Ист. Разок она все же обернулась, чтобы посмотреть, тащится ли, как обычно, за ней ее застенчивый воздыхатель, и он, конечно же, тащился на полквартала сзади — худая физиономия в тени соломенного канотье.

Темой Эммы Голдмен на этот раз был Ибсен, великий драматург, давший нам своим творчеством великолепное оружие, отточенный инструмент для радикального иссечения общества. Низкорослая и, скажем прямо, малопривлекательная толстуха с тяжеловатой мужской челюстью. Очки в роговой оправе настолько увеличивали ее глаза, что, казалось, она полна ярости и ярится в адрес всего, к чему обращает свой взор. Ошеломляющая витальность, звенящий голос. Для Эвелин впоследствии было облегчением узнать, что Эмма Голдмен, по существу,— просто женщина, маленькая женщина, чье сознание захвачено и унесено величавой, как река, ораторией могущественных идей. Из-за жары и возбуждения, царившего в зале, Эвелин развязала свою шаль и опустила ее на плечи. Присутствовало не меньше сотни людей, они сидели на лавках и стояли вдоль стен, а Эмма Голдмен вещала из-за стола в глубине зала. Напротив нее в дверях стояло несколько полицейских, и в какой-то момент сержант прервал ее, сказав, что она нарушает, что она по заявке должна говорить о драме, а вместо этого толкует все время об Ибсене. Зал разразился хохотом и кошачьим концертом. Сержант испарился. Эмма Голдмен, однако, не присоединилась к веселью: по собственному опыту она знала, как действуют смущенные силы порядка. Она увеличила темп и накал своей речи, глаза ее рыскали по залу, раз за разом останавливаясь на алебастровом лице Эвелин Несбит, которая сидела между Тятей и Малышкой в первом ряду — на почетных местах, полагавшихся Тяте по его статусу президента Социалистического содружества художников Нижнего Ист-Сайда. «Любовь свободна!» —воскликнула Голдмен. Те, кто понимает, что фру Альвинг заплатила слезами и кровью за их духовное пробуждение, отвергают брак как навязанное, никчемное и пустое издевательство. Кое-кто в аудитории, включая Тятю, запричитал. Нет! Нет! Товарищи и братья, неужели вы, социалисты, можете игнорировать двойные путы целой половины человечества? Вы думаете, что общество, которое грабит ваш труд, не навязывает вам своего отношения к женщине? Оно отвергает свободу и этим оно влечет вас в путы своих предрассудков. Все реформаторы говорят сейчас о белом рабстве, но если белое рабство — это проблема, почему же брак не проблема? Существует ли связь между институтом брака и институтом борделя? При этом слове крики: Позор! Позор! — вспыхнули в зале. Тятя ринулся к своей дочери, зажал ей уши ладонями и огласил воздух воплями протеста. Голдмен воздела руки, призывая к спокойствию. Товарищи, давайте спорить, но давайте соблюдать декорум, чтобы у полиции не было

предлога прервать нас. Слушатели, повернувшись к дверям, увидели там уже не меньше дюжины полицейских. Посмотрите правде в глаза, быстро продолжала Голдмен, женщины не могут голосовать, не могут любить того, кого хотят любить, у них нет возможностей для развития их сознания и духовной жизни, товарищи, у них нет ничего! Но почему? Неужели наш гений только в наших матках? Неужели мы не способны писать книги, создавать науку, творить музыку, философию, способствовать улучшению человечества — в конце концов, просто-напросто распоряжаться своими собственными жизнями в духовных бурях бытия? Неужто наша судьба только в физической стороне жизни? Здесь среди нас сидит сегодня одна из самых блистательных женщин Америки, женщина, которую капиталистическое общество принудило искать свой гений исключительно в сексе, и она сделала это, товарищи, да с таким размахом, что Пирпонт Морган и Джон Ди Рокфеллер могли бы позавидовать. И что же? Ее имя стало скандальным, в то время как их имена произносятся с великим почтением любовниками — законодателями этого общества. Эвелин похолодела. Она хотела натянуть шаль на голову, но боялась привлечь к себе внимание. Она сидела сжавшись, глядя в собственные колени. У оратора хотя бы хватило такта не смотреть в ее сторону, пока она все это провозглашала. Аудитория вывертывала себе шеи, пытаясь определить, о ком говорит Голдмен, но вдруг была отвлечена криками из глубины зала. Фаланга синих мундиров ломилась в дверь. Вопль. И сразу зал превратился в ад кромешный. Собственно говоря, так обычно и завершались выступления Эммы Голдмен. Полиция валила по проходу. Анархистка спокойно собирала бумаги в портфель, Эвелин Несбит почувствовала на себе взгляд Тяти и повернулась прямо к свирепому блеску его карающих глаз. Он смотрел на нее как на букашку, которую хоть и надо раздавить, но противно. Старое его лицо словно бы опало в сетке ужасающих новых морщин, он будто был при последнем издыхании, но глаза из глубин древнего черепа отчетливо переводили то, что он шептал на идиш искривленными губами: «Жизнь моя, ты осквернена курвами». Схватив за руку Малышку, он исчез в толпе.

Эвелин не могла двинуться. Свет померк в ее глазах. Рука блуждала в поисках опоры. Знакомый голос тут сказал ей прямо в ухо: «Сюда, идите за мной»,— и она почувствовала чью-то стальную хватку. Это была стальная хватка самой Голдмен. Она повлекла ее в маленькую дверцу позади стола президиума, и перед тем, как скрыться за этой дверью, Эвелин, исторгнув из своего слабого горла слабенькую безадресную жалобу, оглянулась и увидела свою блондинистую молодую тень, которая, потеряв обычную застенчивость, яростно пробивала себе путь к ней, к ней. «Я на этом набила руку»,— сказала Эмма Голдмен, таща ее вниз по темной лестнице. Ничего особенного, обычный вечер. Лестница вывела их за угол от главного входа в зал. Полицейский фургон прошел мимо, звоня в колокол, и завернул на другую улицу. Пошли, сказала Эмма Голдмен и повела Эвелин в противоположном направлении. Когда Младший Брат Матери вывалился, наконец, на улицу, он увидел две женские фигуры под фонарями, пересекающие улицу в двух кварталах отсюда. Он поспешил за ними. Вечер прохладный. Шея в поту — б-р-р. Парусиновые брючата хлопали по ветру. Он приблизился к женщинам на полквартала и несколько минут шел на таком расстоянии. Внезапно они свернули и поднялись по лестнице в какой-то кирпичный дом. Он бросился сломя голову и, подбежав, увидел, что это меблирашки. Младший Брат Матери вошел внутрь и тихонечко поднялся по лестнице, не зная, какую комнату искать, но в полной уверенности, что найдет. На вто-

ром этаже он прянул в какую-то затененную нишу. Мимо с тазиком в руках деловито протрусила в туалетную Эмма Голдмен. Он услышал звук льющейся воды и увидел, что дверь одной из комнат открыта. Это была маленькая комнатенка. Заглянув в дверь, он увидел Эвелин Несбит, сидевшую на кровати, лицо в ладонях. Рыдания сотрясали ее тело. Увядшая сирень — такие были стены. Одна лишь только ночная лампочка у кровати давала свет. Услышав, что Голдмен возвращается, Младший Брат бесшумно метнулся вдоль комнаты и скользнул в шкаф. Дверь шкафа он, конечно, оставил слегка открытой.

Голдмен ухнула таз с водой на ночной столик и помахала вафельным полотенчиком. «Бедная девочка,— вздохнула она,— бедное дитя. Почему бы мне не освежить тебя чуть-чуть? Я — нянька, ты знаешь, именно как нянька я и зарабатываю на жизнь. Я следила за твоим делом по газетам. С самого начала я почему-то восхищалась тобой. Я не могла понять почему». Она расшнуровала сапожки Эвелин и стащила их. «Почему бы тебе не поднять ножки на постель? Ну вот, вот так». Эвелин легла на подушки. Сгибами кистей она терла глаза. Потом взяла полотенце из рук Голдмен. «Ах, я ненавижу слезы. Слезы так уродуют». Зарыдала в полотенце. «Все-таки ты,— продолжала Голдмен,— ведь ты лишь умная проституточка, ничего больше. Ты покорно приняла условия, в которых оказалась, и в них ты восторжествовала. Но что это была за победа? Победа проститутки. И чем же ты утешилась? Ты утешилась в цинизме, в унижении, в презрении к мужчинам. Почему же, думала я, я питаю столь сильное сестринское чувство к этой женщине? Ведь я же всегда отвергала всякое порабощение! Я была свободна. Дралась всю жизнь, чтобы быть свободной. Ни один мужчина не пролез ко мне в постель без любви. Я всегда сама брала их по любви, как свободное человеческое существо, мы всегда были равны в постели, любовь и свобода — в равных пропорциях. Я, может быть, переспала с большим числом мужчин, чем ты. А? Я любила больше, чем ты. Спорим? Пари это шокировало бы тебя, если бы ты до конца узнала, насколько свободной я была, в какой свободе я прожила свою жизнь. Потому что, как все шлюхи, ты не любишь свободы, ты любишь собственность. Ты — творение капитализма, чья этика так уродлива и лицемерна, что твоя красота становится не более чем разменной монетой, да еще к тому же фальшивой, бессмысленная и холодная красота».

Вряд ли другие слова могли так быстро остановить слезы Эвелин. Она опустила полотенце и теперь взирала на маленькую приземистую анархистку, которая, ораторствуя, мерила комнату взад-вперед. «Так почему же я чувствовала столь тесные узы между нами? Ты — воплощение всего, что я презираю в женщине. Когда я увидела тебя на моем митинге, я была готова поверить в мистическую подоплеку событий. Ты явилась потому, что в круговращении вселенной твоя жизнь должна была пересечься с моей. Сквозь грязь и низменную суть твоего существования сердце привело тебя к анархическому движению».

Несбит покачала головой. «Боюсь, что вы не понимаете»,— сказала она. Слезы снова наполнили ее глаза. Она стала рассказывать Голдмен о крошке в передничке, о Тяте и о своей тайной жизни в трущобах. «И вот теперь я потеряла их,— сказала она,— пропал мой постреленок». Горькие рыдания. Голдмен уселась в кресло-качалку возле кровати и положила руки на колени. «Олл-райт, если бы я не указала на тебя, твой Тятя не убежал бы, но что из того? Не волнуйся. Истина лучше лжи. Если ты отыщешь их снова, тебе не нужно будет ничего скрывать, между вами установятся честные отношения. А не найдешь,

ну что ж, быть может, так будет лучше. Кто-то из нас живет настоящей жизнью, а кто-то лишь винтик в судьбе другого, лишь повод для чужой судьбы. Но кто и как? Ответа найти мы не можем. Такова моя точка зрения. Ты знаешь, в моей жизни был момент, когда я пошла на улицу продавать свое тело. Я никому до тебя не говорила об этом. К счастью, во мне тогда опознали новичка и прогнали домой. Это было на Четырнадцатой улице, вот именно на Четырнадцатой. Я дрожала от страха и прикидывалась то проституткой, то просто прогуливающейся девицей, и, конечно, никого мне не удалось одурачить. Сомневаюсь, что имя Александра Беркмана что-нибудь тебе говорит.— Эвелин покачала головой.— Когда нам с Беркманом было чуть за двадцать, мы были любовниками, но прежде всего мы были революционеры. Тогда случилась стачка в Питтсбурге. На стальном заводе мистера Карнеги. Ну-с, мистер Карнеги порешил раздавить профсоюз. С этой целью он прежде всего драпанул на отдых в Европу и поручил своему главному подхалиму, этому презренному подонку Генри Клею Фрику, доделать все за него. Последний импортировал целую армию «пинкертонов», то есть скэбов, то есть штрейкбрехеров. Рабочие протестовали против сокращения заработной платы. Завод стоял на берегу реки Мононгахилы, и «пинкертоны» прибыли водным путем и высадились прямо к заводу. Решающая битва. Настоящая война. Когда это кончилось, оказалось, что десять человек убиты, а раненых дюжины и дюжины, не счесть. «Пинкертоны» отступили. Тогда у Фрика появилась возможность обратиться за помощью к правительству, и он окружил рабочих частями милиции штата. Вот к этому моменту мы с Беркманом и решились на наше attentat[1]. Мы готовы были отдать наши сердца осажденным трудящимся. Мы внесем в их борьбу революционный запал. Мы убьем Фрика. Однако мы жили в Нью-Йорке, и у нас не было ни гроша. Нужны были деньги на железную дорогу, ну и на пистолет, конечно. Вот тогда-то я и надела вышитое белье и отправилась на Четырнадцатую улицу. Один старик дал мне десять долларов и прогнал домой. Остальные деньги я одолжила. Однако я продалась бы, я сделала бы это, если бы пришлось. Для attentat. Для Беркмана и революции. Вернее — наоборот: для нее и для него. Я обняла его на станции. Он собирался застрелить Фрика и не пощадить собственной жизни. Я долго бежала за отходящим поездом. Увы, денег на второй билет не хватило. Он сказал: для этого дела достаточно и одной персоны. Он вломился в кабинет Фрика в Питтсбурге и шарахнул по ублюдку три раза. В шею. В плечо. Еще куда-то. Кровь. Фрик дергался на полу. Вбежали люди и отобрали пистолет. Он выхватил нож. Ножом Фрика в ногу. Они отобрали нож. Он сунул что-то себе в рот. Они пригвоздили его к полу. Разжали ему челюсти. Капсула гремучей ртути. Все, что ему нужно было сделать,— разжевать капсулу, и тогда взорвалась бы вся комната и все присутствующие. Они запрокинули ему голову. Вытащили капсулу. Они из-би-ли его до потери сознания».

Эвелин села в кровати, подтянув ноги к груди. Голдмен уставилась в пол. «Восемнадцать лет он провел в тюрьме,— сказала она,— и часть этого срока в одиночке, в настоящей темнице. Как-то раз я навестила его. На большее меня не хватило, после этого я ни разу не была там. Ну, а ублюдок Фрик между тем выжил и стал героем, публика отвернулась от трудящихся, и стачка была сорвана. Говорили, что мы отбросили американское рабочее движение на сорок лет назад. Один почтеннейший анархист, мистер Мост, поносил Беркмана и меня в своей газете. Тогда я хорошенько подготовилась к очередному митингу, я купила себе настоящий конский хлыст. Я высекла Моста на

[1] Покушение, нападение *(франц.)*.

митинге перед всеми, а потом сломала хлыст и швырнула ему в лицо. Беркман вышел только в прошлом году. Облысел. Пожелтел как пергамент. Мой любимый, мой юноша ходит скрюченный в три погибели. Глаза как шахты. Конечно, сейчас мы только друзья, наши сердца уже не бьются в унисон. Что он вынес в той тюрьме, я могу, знаешь, только себе представить. Мрак, сырость, связывают, швыряют на пол в собственные испражнения». Рука Эвелин потянулась к пожилой женщине, Голдмен взяла ее и сильно сжала. «Мы обе знаем, правда, что это значит, когда твой мужчина в тюрьме, а?» Две женщины смотрели друг на дружку. Несколько секунд молчания. «Конечно, твой — извращенец, паразит, кровосос, грязный, отвратительный сибарит», - сказала Голдмен. Эвелин рассмеялась. «Безумный хряк,— сказала Голдмен,— вывернутые и сморщенные поросячьи мозги». Теперь они обе смеялись. «О да, я ненавижу его»,— вскричала Эвелин. Лицо Голдмен как будто отражало теперь чувства Эвелин. «Однако есть же какая-то связь, ты видишь, наши души сообщались, наши жизни соприкасались, словно ноты в гармонии, в общей судьбе человечества, мы — сестры. Ты понимаешь это, Эвелин Несбит? — Она встала и прикоснулась к ее лицу.— Ты улавливаешь это, моя красоточка?»

Пока она это провозглашала, глаза ее изучающе осматривали Эвелин. «Как, ты носишь корсет? — Эвелин кивнула. - Какой позор! Взгляни на меня, даже при моей фигуре я не ношу ничего фундаментального, я ношу только легкие, свободно струящиеся вещи, потому что уважаю свое тело и даю ему свободу дышать и жить. Я была права, ты.— *их* творение. Тебе нужен корсет не больше, чем лесной нимфе». Она взяла Эвелин за руки и посадила на край кровати. Пощупала талию. «Боже! Это же сталь! Твоя талия зашнурована туже, чем кошель с деньгами. Встань!» Эвелин послушно встала, и Голдмен не без определенного медицинского опыта быстро расстегнула и сняла с нее блузку. Затем упала юбка, и Эвелин вышла из нее. Голдмен развязала тесемки нижней юбки и сняла ее прочь. Легкий корсет подпирал грудь Эвелин, к нему были присобачены полоски, уходившие вниз — между бедрами. Корсет был зашнурован на спине. «Хохма в том, что во всех семейных очагах по всей Америке тебя полагают распутницей,— говорила Голдмен, расшнуровывая корсет и стягивая его вниз.— Выйди из этого». Эвелин послушалась. Ее белье прилипло к телу, отпечатывая на нем рисунок корсета. «Дыши,— скомандовала Голдмен,— подними руки, выпрями ноги и дыши». Эвелин подчинилась. Голдмен взялась за ее белье и потянула через голову. Потом присела и стянула с нее панталончики. «Выйди из них». Эвелин, естественно, вышла. Теперь она была полностью обнажена, если не придираться к черным вышитым чулочкам на эластичных подвязках. Голдмен, однако, скатала и их вниз, и Эвелин вышла из своих чулочков. Правда, она еще закрывала руками груди. Голдмен теперь поворачивала ее медленно вокруг оси — серьезная, нахмуренная инспекция. «Люди добрые, удивительно, что у тебя еще осталось хоть какое-то кровообращение». Тело Эвелин Несбит и впрямь было испещрено глубокими, словно рубцы, следами ее туалета. «Женщины — самоубийцы»,— сказала Голдмен. Отвернула одеяло. Вынула из близстоящего бюро пузатенький докторский баул. «Такое фантастическое тело, и взгляни, что ты делаешь с ним. Ложись». Эвелин присела на кровать, глядя, что же появится из баульчика. «Ложись на живот»,— скомандовала Голдмен. Она вынула бутылочку и стала вытряхивать содержимое бутылочки себе в пригоршню. Эвелин легла на живот, и Голдмен начала нашлепывать густую жидкость на те места, где красные шрамы оскорбляли чудеснейшую плоть. «О-о,— жалобно вскричала Эвелин.— Жалит!» — «Дубящее средство, первейшая штука для восста-

новления циркуляции»,— объяснила Голдмен, растирая Эвелинскую спину, Эвелинские ягодицы, Эвелинские бедра. Хозяйка чудеснейшей плоти визжала, а сама плоть корчилась в муках при каждой аппликации. Эвелин зарыла лицо в подушки, чтобы заглушить стенания «Знаю, знаю,— приговаривала Голдмен,— потом ты скажешь спасибо». Казалось, что под мощным растиранием плоть сейчас прорвет кожу. Эвелин трепетала, ягодицы ее сжались под ошеломляющим холодом астрингента. Ноги вжимались друг в дружку. Теперь Голдмен вынула из баульчика бутыль массажного масла и стала смягчать Эвелинские плечики, шею и спину, Эвелинские ляжечки, икры и подошвы. Постепенно Эвелин расслаблялась, божественная плоть теперь лишь слабо ответно трепетала под вдохновенным искусством Голдменских рук. Голдмен втирала масло в кожу, пока тело не приобрело естественный бело-розовый цвет и не стало пошевеливаться с некоторым уже подобием самоощущения. «Перевернись»,— последовала команда. Волосы Эвелин рассыпались теперь вокруг нее на подушках. Глаза ее были закрыты, а губы растягивались в безотчетной улыбке, ну а Голдмен тем временем рьяно массировала груди, живот, ноги. Ступни Эвелин изогнулись, как у балерины на пуантах. Таз вздымался из постели, как бы ища чего-то в воздухе. Голдмен отвернулась к бюро, чтобы взять новую порцию смягчающего, когда молодка начала играть на простынях, словно волна в море. В этот момент стены исторгли жуткий, неземной крик, двери шкафа открылись, и оттуда вывалился Младший Брат Мамы — лицо его дергалось в пароксизме священного умерщвления... плевки раскаленной джизмы... некое подобие серпантина... крики экстаза и отчаяния...

9

В Нью-Рошелл Мать целыми днями терзалась по поводу своего братца. Раз или два он звонил по телефону из Нью-Йорка, но не сказал ни почему он пропал, ни где он пребывает, ни когда он вернется. Только мямлил что-то невразумительное. Она метала громы и молнии, но все безрезультатно. Через несколько дней она решилась на чрезвычайный шаг — пойти и обследовать его комнату. Как всегда, там было опрятно. Машинка для натяжки теннисных ракеток на столе. Парные весла в козлах у стены. Он сам всегда следил за своей комнатой, и там не было ни пылинки даже сейчас, в его отсутствие. Щетка для волос — на бюро. Слоновой кости рожок для обуви. Маленькая раковина в форме муфты с прилипшими зернышками песка. Этого Мать прежде не замечала. К стене была приколота картинка из журнала — портрет этой твари Эвелин Несбит работы Чарльза Дейна Гибсона. Он ничего не взял с собой, рубашки и воротнички лежали в комоде. Она виновато покинула комнату. МБМ был странный молодой человек. У него никогда не было друзей. Он был одинокий и какой-то бесчувственный, если не считать постоянной лени, которую он либо не мог спрятать, либо и не собирался. Мать знала, что Отец находил эту лень и вялость несколько тревожащими. Тем не менее он продвинул МБМ в бизнесе и облек его весьма большой ответственностью.

Она не могла, увы, поделиться своей тревогой с Дедом, который произвел этого мальчика на свет божий, увы, в слишком позднем возрасте и к этому времени почти полностью отстранился от практического, увы, восприятия жизни. Деду было за девяносто. Бывший профессор греческого и латыни, он обучил этим мертвым языкам целые поколения епископальных семинаристов в колледже Шэйди-Гроув, что в центральном Огайо. Деревенский классицист. Мальчиком он зна-

вал Джона Брауна в округе Гудзон, в Западном заповеднике, и готов был рассказывать об этом двадцать раз на день всякому, кто готов был слушать. После отъезда Отца Мать все чаще вспоминала старую усадьбу в Огайо. Каждое лето там, казалось, чревато было каким-то обещанием, и будто знаки этого обещания взлетали из-под стогов краснокрылые скворцы. Обстановка в доме была местного изготовления, прочная и разумная. Сосновые стулья с высокими спинками. Широкие половицы деревянных полов закреплялись болтами. Она любила тот дом. Они играли с Младшим Братом на полу у камина. Она всегда верховодила в этих играх. Зимой лошадка Бесси запрягалась в санки, колокольчик привязывался на хомут, и они скользили по толстому мягкому снегу Огайо. О, она помнила Брата, когда он был младше ее сына. Она заботилась о нем. В дождливые дни они забирались с якобы таинственными целями на сеновал, в блаженную утробу, где внизу под ними топотали, храпели и ржали кони. На воскресные утренники она надевала розовое платье и чистейшие белые панталончики и направлялась в церковь. Взволнованное сердцебиение. Ширококостная девочка с высокими скулами и узким разрезом серых глаз. В Шэйди-Гроув она прожила всю жизнь, за исключением четырех школьных лет в Кливленде. Она всегда предполагала, что выйдет замуж за одного из семинаристов. Бац — в последний ее школьный год на горизонте появился Отец. Он как раз путешествовал по Среднему Западу с целью завязывания полезных контактов для дальнейшего развития своего патриотического бизнеса. Дважды во время своих успешных путешествий он посетил ее в Шэйди-Гроув. Когда они поженились и она отправилась к нему на Восток, она, конечно, не преминула взять с собой и престарелого своего папу. Позднее и Братец присоединился к ним в Нью-Рошелл, ибо был совершенно неспособен к самоопределению. И вот сейчас, в эту пору жизни, одна в своем модерном доме с чудеснейшими жалюзи — на вершине холма, на фешенебельной авеню Кругозора, с маленьким сынишкой и древним папашей на руках, она чувствовала себя оставленной предательской расой мужчин, и яростный ветер ностальгии настигал ее ежедневно и еженощно, внезапно и каждый час. Письмо из Республиканского инаугурационного комитета приглашало фирму назвать ее цену на декорации и фейерверки для январского парада и бала, когда мистер Тафт должен заместить мистера Рузвельта. Исторический момент для всего предприятия, а Отец и Младший Брат шляются неизвестно где. Она выбежала в сад, пытаясь взять себя в руки. Был поздний сентябрь, хризантемы, сальвии и бархатцы были в полном цвету, покачивались полновесно и удовлетворенно. Сцепив руки, она пошла вдоль ограды. Сверху, из окошка, за ней наблюдал Малыш. Он обратил внимание, как ее движения с некоторым отставанием переходили в движения ее одежд. Край юбки колыхался из стороны в сторону, бередя листья травы. У Малыша в руке было папино письмо, отосланное с мыса Йорк в северо-западной Гренландии. В Соединенные Штаты письмо было доставлено вспомогательным кораблем «Эрик», который в Гренландии сгрузил тридцать пять тонн китового мяса для псарни коммодора Пири. Мать сняла копию с этого письма, после чего оригинал был отправлен в мусор, ибо он весьма отчетливо попахивал дохлятиной. Малыш, разумеется, вытащил письмо из мусора и сделал его своим достоянием. По прошествии времени пальцы мальца растерли сальные пятна по всей бумаге. Письмо теперь чудесно просвечивало каждым своим фибром.

Мальчик смотрел, как его мама выходит из пятнистой колеблющейся тени кленов и как ее золотые волосы, кучей собранные на голове в непринужденном стиле ежедневного невроза, вспыхивают словно

солнце. Вот она остановилась, будто прислушиваясь к чему-то. Вот она поднесла ладони к ушам и медленно опустилась на колени перед клумбой. Потом она вдруг начала скрести пальцами землю. Малыш соскочил с окна и понесся вниз. Он промчался через кухню и вылетел в заднюю дверь. Тут он увидел впереди горничную-ирландку, на бегу вытиравшую руки о фартук.

Мать что-то нашла. На коленях у нее был какой-то кулек, и она счищала с него грязь. Горничная испустила вопль и перекрестилась. Малыш пытался разглядеть этот кулек, что же это за штучка, но горничная и Мать копошились теперь вокруг него на земле, счищая грязь, и он никак не мог между ними просунуться. Лицо Матери так побелело и было освещено таким интенсивным страданием, что он не узнал эту почитаемую им, холеную и обильную красотой женщину, а вместо нее предстал перед ним какой-то иной, древний измученный лик с обтянутыми костями. Когда кулек отчистили от грязи, он увидел новорожденного. Глазки и ротик его были еще забиты землей. Крошечный и морщинистый. Коричневый бэби, туго стянутый одеяльцем. Мать высвободила его ручонки. Он слабо пискнул, и обе женщины просто-напросто забились в истерике. Горничная ринулась к дому. Малыш бежал сбоку от мамы и смотрел, как коричневые ручонки бессильно болтались в воздухе.

Женщины вымыли бэби в тазике на кухонном столе. Это был еще окровавленный, неомытый мальчик. Горничная обследовала пуповину и сказала, что ее перегрызли. Младенца запеленали в полотенца, и Мать побежала звонить доктору. Малыш пристально смотрел, дышит ли бэби. Да, дышит и двигается. Маленькие пальчики хватали полотенце. Головка поворачивалась, как будто он хотел увидеть кого-то своими закрытыми глазами.

Когда доктор прибыл на своем «форде», его провели на кухню. Он прижал стетоскоп к крошечной костлявой груди. Он открыл младенцу рот и всунул палец ему в глотку. Ну, народ, сказал он и покачал головой. Уголки рта у него вздрагивали. Мать описала ему обстоятельства печального сюрприза, как она услышала писк, идущий прямо из-под ног, из земли, и в первый момент подумала: что за бред. «А если бы я наступила»,— задумчиво пробормотала она, глядя в сторону. Доктор спросил горячей воды. Извлек инструменты из сумки. Горничная сжала пальцами крестик, висевший у нее на шее, на цепочке. В дверях позвонили, и Малыш побежал в переднюю. Прибыла полиция. Мать заново объяснила все обстоятельства, на этот раз без задумчивости. Полицейский попросил разрешения воспользоваться телефоном. Телефон помещался на специальном столике в передней. Полицейский снял свой шлем, взял говорилку, поднял наушник. Подмигнул Малышу.

Через час в подвале дома в соседнем квартале была найдена черная женщина. Это оказалась прачка, которая работала где-то по соседству. Она сидела в полицейской санитарной машине, когда Мать вынесла ребенка. Взяв ребенка на руки, она заплакала. Мать была потрясена ее юностью. Детское лицо, простодушная красивая шоколадка. Грубо обстриженные волосы. Рядом с ней была медсестра. Мать отступила на тротуар. «Куда вы ее отправите?» — спросила она доктора. «В дом призрения,— сказал тот.— В конечном счете ей придется предстать перед судом».— «Какие же обвинения?» — спросила Мать. «Ну, попытка убийства, я бы сказал».—«У нее есть семья?»— спросила Мать. «Нет, мэм,— включился полицейский.— Насколько мы знаем, никого». Доктор надвинул на глаза котелок, направился к своей машине и положил чемоданчик на сиденье. Мать глубоко вздохнула. «Я беру ее на поруки, — сказала она.— Пожалуйста, проводите ее в дом».

Ни советы доктора, ни увещевания полиции не заставили ее передумать.

Так молодая негритянка и ее дитя возникли на верхнем этаже дома. Мать сделала несколько телефонных звонков, отменила свою работу на собрании Лиги жен. Взад-вперед — по гостиной. Ужасная ажитация. Вот сейчас-то она прочувствовала отсутствие мужа. Кляла себя за готовность, с какой всегда одобряла его путешествия. Вот сейчас-то нет никакой возможности дать ему знать о новых заботах семьи. До следующего лета ни одного звука не дойдет сюда из Арктики. Она поглядывала на потолок, как будто пыталась увидеть что-нибудь насквозь. Негритянская девчонка и ее бэби принесли в дом запашок беды, сквознячок хаоса, и теперь это ощущение поселилось здесь, будто своего рода порча. Это страшило ее. Она подошла к окну. Каждое утро прачки поднимались на холм от трамвайной линии на Северной авеню и здесь рассеивались по домам. Бродячие садовники-итальянцы подстригали лужайки. Ледовщики понукали своих лошадок, и те натягивали упряжь, чтобы доставить сюда, на холм, колотый лед.

При взгляде на закат в тот вечер можно было подумать, что солнце у подножия холма катится по невидимому желобу Кроваво-красное солнце. Поздно ночью Малыш проснулся и увидел свою мамулю, сидевшую рядом с кроватью и глядевшую на него. Золотые волосы ее были убраны. Большие ее груди мягко коснулись его руки, когда она потянулась поцеловать его.

10

Между тем Родитель писал домой ежедневно в течение долгих зимних месяцев — неотправленные эти письма стали принимать характер дневника. Таким путем он как бы размерял беспрерывное течение мрака. Члены экспедиции жили с удивительным комфортом на борту «Рузвельта». Зимнее обледенение поднимало судно на его якорной стоянке до тех пор, пока оно плотно не засело грецким орехом в светящихся льдах. Пири жил, конечно, наиболее комфортабельно. В каюте у него было даже механическое пианино. Крупный мужичище с тяжелым торсом и рыжей с проседью шевелюрой — Пири. Длинные усы. В предыдущей экспедиции он потерял пальцы на ногах и теперь ходил странноватой шаркающей походкой, не отрывая ног от земли. Именно такой обрубленной ступней он педалировал и свой проигрыватель. У него были валики с музыкой Виктора Герберта и Рудольфа Фримля, дикая мешанина песен Боудоин-колледжа и вальсов Шопена, в том числе «Минутный вальс», который Пири выкачивал своим обрубком за сорок семь секунд. Однако зимние месяцы не прошли вхолостую. Были вылазки на охоту — добывали мускусного быка; строили сани и базовый лагерь в девяноста милях от якорной стоянки — на мысе Колумбии, откуда и должен был произойти рывок через Ледовитый океан к Полюсу. Каждому участнику пришлось научиться править собачьей упряжкой и строить шалаши-йглу. За тренировками наблюдал помощник Пири негр Мэтью Хенсон. Пири к этому времени после ряда экспедиций разработал систему. Все материалы и конструкция саней, провиант и банки для провианта, способ закрепления тюков и нижнее белье, способы упряжки собак, типы ножей и оружия, сорта спичек, способы хранения спичек, очки-консервы против слепящего блеска снегов и так далее. Пири любил обсуждать свою систему. В основе своей — то есть в том, что касается собак, саней, меховой одежды, взаимоотношений с местной фауной,— Пириева система просто-напросто воспроизводила эскимосский образ жизни. Отец с удивлением осознал это в один прекрасный день. Эскимосы вообще привлека-

ли его. Однажды ему случилось увидеть, как Пири на палубе распекал одного из эскимосов за то, что тот не сделал предписанной работы должным образом. Шаркая после этого мимо Отца, он сказал ему: «Они — дети, и с ними следует обращаться как с детьми». Наш Родитель был склонен согласиться с коммодором, вообще в этом вопросе наблюдалось некоторое единодушие. Десять лет назад он сражался на Филиппинах под знаменами генерала Ленарда Эф Вуда против повстанцев Моро. Нашим коричневым братикам нужен хороший урок, говорил штабной офицер, втыкая булавочки в карту кампании. Разумеется, эскимосы первобытны. Эмоциональные, мягкие, они вполне заслуживают доверия, несмотря на некоторую проказливость. Хохочут и поют, хохочут и поют. Глубочайшей зимней ночью, когда дикие штормы срывали камни с утесов, и ветры свистели бешеным бандитом, и царил вокруг такой опустошающий холод, что Отцу казалось — его кожа горит, Пири с товарищами обращались к теоретическим обоснованиям системы и этим как бы защищались от страхов. Эскимосы, у которых не было системы, но которые просто жили на своих свирепых просторах, очень страдали. Порой их женщины безотчетно разрывали на себе одежды и бросались в черные бури, вопя и катаясь по льду. Мужья силой удерживали их от попыток к самоубийству. Отец держал себя под контролем благодаря своим записям. Это тоже была своего рода система, система языка и концепции. Сие предполагало, что человеческие существа актом свидетельствования как бы поддерживают существование других времен и территорий, чем то место и время, в котором они пребывают постоянно.

Увы, в этой скованной льдом ночи существовала еще некая сила, что хватала тебя за горло. Эскимосские семьи жили на корабле, лагерями, в трюмах и на палубах. Увы, они не очень-то были застенчивы в своих совокуплениях. Увы, сожительствовали они даже не раздеваясь, через отверстия в мехах, издавая к тому же при этом рычание и крики свирепой радости. В этом было что-то такое, чего даже Родитель не смог описать в своем дневнике, разве что чем-то вроде кода. Он вспомнил о Родительнице, об ее ухоженности и интеллигентской привередливой сдержанности в этих делах и гневно воспротивился столь примитивному шквалу размножения.

Весна пришла все-таки, и однажды утром Мэтью Хенсон показал Отцу на корму. На южный склон неба проник тоненький лучик света. В последующие дни тьма перестала быть однородной, теперь можно было различить разные виды темноты, и это становилось все более и более определенным. В конце концов однажды утром кроваво-красное пятно встало над горизонтом, не круглое, но в виде изуродованного эллипса, как будто нечто новорожденное. Все были счастливы. Розовый, зеленый и желтый цвета славы лежали теперь на снежных вершинах, и весь открытый волшебный мир предлагал себя тому, кто сможет взять. Небо постепенно голубело, и Пири сказал, что пришло время покорить Полюс.

За день до выхода экспедиции Отец вместе с Мэтью Хенсоном и тремя эскимосами отправились на птичий базар. С мешками из тюленьей кожи за плечами они карабкались по скалам и собирали яйца, этот арктический деликатес, дюжину за дюжиной. Птицы взлетали с великим шумом — казалось, что кусок скалы поднялся в воздух. Отец никогда не видел столько птиц сразу. Преобладали глупыши и гагарки. Эскимосы шли, растянув между собой сети, и птицы, с ходу взлетая, запутывались в них. Сети подтягивались за углы и превращались в мешки, полные жалобно чирикающих пернатых тварей. Нехитрая охота; когда мужчины поймали столько, сколько могли унести, они спустились вниз и сразу перебили всю свою добычу. Глупышу, размером

с чайку, скручивали шею. Удивительнейшим образом убивалась безобиднейшая гагарка. Простое нажатие пальцем на крохотное сердчишко. Отец с увлечением наблюдал это дело, а потом попробовал и сам. Он взял гагарку в кулак, а большим пальцем другой руки мягко надавил на бьющуюся грудку. Головка упала, птаха околела. Эскимосы обожали гагарятинку и обычно солили эту живность в тюленьих мешках.

На обратном пути к лагерю Отец и Мэтью Хенсон обсуждали то, что вся экспедиция обсуждала до посинения: кому предоставит коммодор честь идти с ним на Полюс. Перед отходом из Нью-Йорка Пири довел до сведения каждого: он сам и только он один откроет Полюс, их слава будет, так сказать, вспомогательной. «Я потратил жизнь, чтобы приблизиться к этому моменту, и я возьму его сам». Отец полагал, что это вполне понятная точка зрения. У него была некоторая неуверенность любителя перед профессионалом. Но вот Мэтью Хенсон был как раз тем человеком, который считал, что, кроме эскимосов, на Полюсе с коммодором будет еще кто-то, и он, Мэтью Хенсон, предполагал — не примите за дерзость,— что это будет именно он сам, Мэтью Хенсон. Отец, конечно, понимал, что у Хенсона есть все основания. Он сопровождал Пири в предыдущих экспедициях, да и сам был проницательным великолепным полярным исследователем. Он управлял собаками не хуже любого эскимоса, знал, как починить сани, как разбить лагерь,— могучий негр, он похвалялся многими искусствами. И все же Отец безотчетно противился этой идее и, сдерживая непонятное раздражение, спросил негра, почему он так уверен, что выберут его. Они остановились на краю огромной снежной долины. В этот момент солнце пробилось через облачность и вся земля вспыхнула, будто зеркало. «Ну,— пробормотал Мэтью Хенсон, улыбаясь,— ну, я просто знаю, сэр».

На следующий день экспедиция выступила. Она была разбита на партии, включавшие каждая одного или двух полярников, нескольких эскимосов, упряжку собак и пять саней. Каждая партия посменно в течение недели шла впереди, пробивая след остальным. В конечном счете, каждый должен был оставить здесь семь шкур и отправиться назад, к Большой земле, для того чтобы Пири и его мальчики сохранили силы для последней сотни миль. Так действовала «система». Это была работенка — пробивать след! На ней можно было сломать хребет. Пионеры без продыху махали ледорубами, подтаскивали сани на вздымавшиеся торосы и тормозили их на почти отвесных спусках. На каждых санках было шестьсот фунтов снаряжения и провизии. Когда они ломались, приходилось разгружать их и скреплять сломанные части голыми руками. Вокруг были водяные разводы. Льдины сталкивались с пушечным грохотом, под ногами постоянно был какой-то угрожающий шум, как будто это рычал сам океан. Какие-то необъяснимые туманы закрывали солнце. Порой ничего не оставалось делать, как только ползти по тонким простынкам свежеформирующегося льда: желающих остаться на дрейфующей льдине не замечалось. Погода была постоянной мукой, ветер резал как бритва при пятидесяти или шестидесяти градусах ниже нуля, и сам воздух, казалось, изменил свою физическую природу, оседая в легких нерастворимыми кристаллами. Каждый выдох украшал или, если угодно, обезображивал толстым слоем инея бороды и меховые капюшоны. Все члены экспедиции были обуты в предписанную системой мягкую обувь из тюленьей кожи, одеты в медвежьего меха штаны и анораки из меха карибу, но даже эти земные материалы становились хрупкими на морозе. Солнце теперь стояло над горизонтом круглые сутки. К концу дневного пути — что-нибудь около пятнадцати миль изнурительных усилий — пионеры раз-

бивали лагерь, строили шалаши-иглу для идущих сзади, кормили собак, распутывали обледеневшие стропы, разжигали спиртовки, чтобы приготовить чай, и наваливались на мороженый пеммикан и крекеры. Весь март экспедиция Пири медленно шла на север. Отряды один за другим поворачивали назад, теперь в их обязанность входило пробивать обратную колею — и как можно тщательнее — для оставшихся. Пири ежедневно измерял пройденный путь и тут же занимал иглу, построенное для него Хенсоном. Последний тем временем возился с собаками, чинил сломанные полозья, готовил ужин, управлялся с эскимосами, что становилось, между прочим, с каждым днем все труднее. Пири установил, что основные достоинства эскимосов — лояльность и послушание, грубо говоря, те же достоинства, что он искал и в собаках. Когда пришло время для финального рывка, Пири и в самом деле выбрал Хенсона, последний же отобрал эскимосов, самых лучших, по его разумению, ребят, самых преданных коммодору. Остаток партии был отослан домой.

Отец отправился назад уже давно. Он был пионером в самую первую неделю. Увы, он не показал себя самым стойким членом экспедиции, и произошло это вовсе не из-за недостатка храбрости, как Пири объяснил ему, прежде чем отправить домой, но из-за склонности к быстрому обморожению. Левая пятка Отца, к примеру, замерзала ежедневно, невзирая на все его попытки уберечь ее от беды. Каждый вечер в лагере он оттаивал ее, и она дьявольски болела; он тщательно лечил эту свою несчастную пятку и закутывал ее, но утром всякий раз она замерзала снова. Такая же участь постигла одно из его колен и небольшую зону на руке. Кусочки нашего Родителя замерзали совершенно неожиданно, без всякой подготовки, и Пири объяснил ему, что он — не единичный случай, такова судьба многих полярников, и тут ничего невозможно сделать. Он был действительно довольно славный, этот коммодор, и наш Родитель ему нравился. Коротая бесконечную зиму на борту «Рузвельта», они выяснили, что оба являются членами одного и того же братства по колледжу, а это, как можно догадаться, довольно прочные связи. И все же после трудов всей жизни Пири был одержим одной лишь страстью — достичь своей цели. Общество Отца отвалило коммодору весьма приличную сумму, но за это оно было вознаграждено: их человек поднялся до 72 градусов 46 минут, что тоже вполне прилично и почетно. Перед разлукой Отец преподнес коммодору американский флаг, изготовленный на его фабрике для предстоящего события. Чистый шелк и хороший размер, а в сложенном виде — не более носового платка. Пири поблагодарил и спрятал флаг в глубине своих мехов, а затем, напомнив об опасных полыньях, отправил Отца в обратное путешествие к «Рузвельту» в компании трех неуживчивых эскимосов.

И вот наконец Пири на расстоянии дня пути от заветной цели. Безжалостно подгоняя Хенсона и эскимосов, он не давал им спать и часа на стоянках. Солнце теперь сверкало ярко, небеса были чисты; бывало, и полная луна появлялась в голубом небе и огромные ледяные бедра земли вздрагивали и вздымались к ней. Утром 9 апреля Пири вдруг дал знак остановиться. Он приказал Хенсону построить из снега укрытие, пока будут делаться измерения. Затем он завалился на живот со всем своим хозяйством — сковородкой ртути, секстантом, бумагой, карандашом — и рассчитал свою позицию. Удовлетворения не было. Он прошел еще немного дальше по льдине и снова определился. И снова без удовлетворения. Весь день Пири шагал по льдине: милю туда, милю сюда и все искал верную точку. Он делал несколько шагов к северу, и вдруг оказывалось, что он идет к югу. Увы, на этой водянистой планете море скользило и не желало фикси-

роваться в исторические моменты. Он не мог найти точное место, чтобы сказать — вот эта плешка, вот здесь Северный полюс. Тем не менее не было никаких сомнений, что они побывали на нем. Расчеты, сложенные вместе, были неопровержимы. Трижды «ура», мой мальчик, сказал он Хенсону и приказал поднять флаг. Хенсон и эскимосы кричали «ура», но их не было слышно в вое ветра. Зато флаг замечательно струился и щелкал. Пири позировал Хенсону, а затем и сам сфотографировал своих спутников. На снимках мы видим пять закутанных в меха фигур и флаг, водруженный на палеокристаллизовавшемся холмике. Можно предположить, что холмик этот и есть Северный полюс, реальная шишечка, как на глобусе. Из-за света лица на снимках неразличимы — лишь черные пятна, обрамленные мехом.

11

Между тем дома ветер перемен прошелестел над Соединенными Штатами. Президентский офис, притащив туда все свои триста тридцать два фунта, занял Уильям Говард Тафт. По всей стране мужчины критически посмотрели на себя в зеркало. Обычно они за стойками в салунах выдували огромное количество пива, поглощали гигантские ломти хлеба и массу ливерной колбасы. В рутинном обеде августейшего Пирпонта Моргана было не менее семи перемен блюд. К завтраку ему подавали бифштексы, котлеты, яйца, блинчики, вареную рыбу, булочки, масло, фрукты и сливки. Жратва была заклятием успеха. Персона, несущая впереди себя свое пузо, считалась на вершине благополучия. Дамы попадали в больницу с разрывом мочевого пузыря, с одышкой, с ожирением сердца и воспалением спинного мозга. Общество устремлялось на воды, к серным источникам, но и там прием слабительного оказывался лишь поводом для новой обжираловки. Великая Америка пердела на весь мир. Все это стало меняться, когда Тафт въехал в Белый дом. Его вступление в этот мифический для американцев офис как бы перегрузило и потянуло вниз воображение общества. Огромная фигура нового президента была апофеозом этого стиля — дальше уже некуда. Впоследствии мода пошла другим путем, и тучность стала уделом бедных.

В этом отношении, как, впрочем, и во всех других, Эвелин Несбит была впереди своего времени. Хотя прежний ее главный любовник Стэнфорд Уайт был толстым кряжистым стилягой, а муж Гарри Кэй Фсоу тоже был основательно пухловат, нынешний избранник, Младший Брат Матери, оказался тоненьким и пружинистым, как молодое дерево. Они занимались любовью вдумчиво и медлительно, втягивая друг друга в извилистые поиски таких состояний оргазма, после которых уже и поговорить-то было не о чем и ни к чему. Вот это было характерно для Эвелин; она никогда не могла сопротивляться тому, кто был столь мощно на нее нацелен. Некоторое время они с Младшим Братом потратили на тщетные поиски Тяти и Малышки по Нижнему Ист-Сайду. Квартира на Хестер-стрит была покинута. Эвелин снята ее и некоторое время горестно прокуковала у окна. Она притрагивалась к вещам, к одеялу, к тарелке, будто слепец, читающий пальцами. Иногда она впадала в отчаяние, и тогда МБМ брал ее для утешений на узенькую медную кроватку.

Во время процесса Гарри Кэй Фсоу Эвелин фотографировалась перед зданием суда. Внутрь фотографов не пускали, и там на нее нацеливались художники. Скрипели стальные перья. Она занимала свидетельское место и повествовала о том времени, когда ей было пятнадцать, когда она сидела, болтая ножками, в кресле красного бархата, а у богача-архитектора перехватывало дыхание при виде ее лодыжек. Она была решительной и голову держала высоко. Одета с

безупречным вкусом. Этот процесс создал первую секс-богиню в американской истории. Две группы общества четко осознали это. В первой были бизнесмены, производители одежды, творцы мод, частично уже вовлеченные в показ так называемых «движущихся картин». От них не укрылось то, что газеты с лицом Эвелин на первой полосе распродавались мгновенно. Они понимали, что возникает момент иллюзорности, когда сногсшибательные поступки, совершенные определенными личностями, становятся для публики важнее жизни. Появились индивидуальности, в которых воплощалась извечная тяга человеческих существ к исключительности. Бизнесмены, естественно, хотели в создании подобных медиумов не зависеть от случая, но полагаться на собственный опыт и размах. Если они осилят это, монеты посыплются в кассы. Итак, именно Эвелин Несбит вдохновила деловой мир на создание системы кинозвезд и стала моделью для всех секс-богинь, от Зеды Бары до Мэрилин Монро. Вторая группа, понимавшая значение Эвелин, состояла из ведущих профсоюзников, анархистов и социалистов, которые совершенно безошибочно напророчили, что она станет большей угрозой интересам трудящихся масс, чем стальные и угольные короли. Примеры были не за горами. В Сиэттле Эмма Голдмен, выступая в местной секции ИРМа определила Эвелин Несбит как дочь рабочего класса, чья жизнь должна стать уроком для всех дочерей и сестер этого класса, если они не хотят сделаться утехой толстосумов. Тогда мужчины в аудитории начали острить, хохотали, выкрикивали сальности, а между тем это были воинственные рабочие, с настоящим радикальным самосознанием. Голдмен тогда написала Эвелин: «Я часто задаюсь вопросом, почему массы позволяют кучке людей эксплуатировать себя. Ответ прост: потому что они отождествляют себя с ними. Таща в кармане газету с твоей мордашкой, работяга идет домой к своей жене, изнуренной рабочей кляче со вздутыми венами, и мечтает он не о справедливости, но о богатстве».

Эвелин терялась от таких соображений. Она продолжала свидетельствовать так, как подрядилась. Она даже появлялась с семейством Фсоу и при помощи взглядов и всяких жестов создавала образ преданной супружницы. Она изображала Гарри как жертву неудержимой тяги постоять за честь своей юной невесты. Она играла безупречно. Скрип, скрип — рисовальные перья. Сутяги в очках и целлулоидных воротничках подталкивали вверх холеные усы. Все в зале суда были одеты в черное. Она раньше и не предполагала, что существует такой огромный аппарат законников, посвятивших свою жизнь этим немыслимым условностям. Судьи, и адвокаты, и приставы, и полицейские, и распорядители, и присяжные — все они как бы полагали, что этот процесс устроен для них. Скрип, скрип — рисовальные перья. В коридорах между тем ждали психиатры, готовые немедленно засвидетельствовать невменяемость подсудимого. Он не разрешал, однако, воспользоваться этой линией защиты, решительно ей противостоял. Августейшая мамаша хотела заставить его пойти на это, ибо боялась, что в противном случае он отправится на электрический стул, но он решительно противостоял. Эвелин наблюдала за ним. Есть ли в мире хоть что-то, способное смягчить это бешеное сердце. Гарри на скамье подсудимых явно следил за выражением своего лица и старался как бы иллюстрировать происходящее. Когда он слышал что-нибудь забавное, он мягко улыбался. Грустные вещи опечаливали его. При упоминании имени Стэнфорда Уайта мохнатые его брови топорщились. Он показывал как бы, что готов к раскаянию, но к раскаянию с высоко поднятой головой. И даже с внутренней убежденностью в своей правоте. Полностью сконцентрированный, спокойный и куртуазный — идеал разумности.

Однажды Эвелин пришло в голову, что Гарри, возможно, и в самом деле любит ее. Она была потрясена. Она попыталась нащупать истину в их отношениях, в роковом, так сказать, треугольнике. Впервые она очень остро ощутила потерю Стэнни. Уж он-то наверняка нашел бы истину. Хотя бы похохотал, хотя бы пошутил в своей манере. Похотливый старый «ходок» имел чувство юмора. Она могла вывести его из себя с тем же успехом, как она сводила с ума Гарри, но ей всегда легче дышалось в обществе Стэнни Уайта. Он мог забыть о ней и отправиться что-нибудь строить, тогда как Гарри никогда не забывал о ней, потому что ему больше нечего было делать. Просто богач. О, как отчаянно она нуждалась сейчас в человеке, которому могла бы раскрыть душу, но этот единственный в мире человек погиб. О, он погиб из-за нее. На голубой веленевой бумаге с выпуклыми буквами «Миссис Гарри Кэй Фсоу» она написала письмо Эмме Голдмен в Калифорнию, где та собирала средства для защиты боевых братцев Макнамара, обвиненных во взрыве редакции «Лос-Анджелес таймс». Что мне делать? «Не переоценивай свою роль во взаимоотношениях этих двух типов»,— таков был ответ.

Тем временем на процессе настала очередь присяжных, однако они не смогли вынести вердикт. Назначен был новый процесс. Эвелин свидетельствовала снова. Те же слова, те же жесты. Когда, наконец, все кончилось, Фсоу был отправлен под стражей в госпиталь криминальной психиатрии. Почти немедленно его адвокаты начали переговоры о разводе. Эвелин была готова на это. Ее цена — миллион. Вдруг на сцене появились частные детективы с доказательствами ее неверности, ей инкриминировали связь с Младшим Братом Матери и какими-то еще другими лицами, и вскоре развод был по-тихому завершен выплатой двадцати пяти тысяч. И вот Эвелин сидит на кровати в своих апартаментах, которые теперь придется оставить, и не отрываясь смотрит на ночные туфельки, которые держит в руке. Нежности МБМ почему-то в данном случае ее не разогревают. Она вспомнила, как Эмма Голдмен говорила ей в свой последний приезд: «Ты получишь от Фсоу лишь то, что он захочет тебе дать. Таков закон богачей, они извлекают выгоду из каждого отданного гроша. Каждый доллар, полученный тобою, обернется его доходом. Тебя оставят с такой суммой денег, которую ты быстро и понапрасну потратишь и станешь снова нищенкой, с чего и начала». Она поняла теперь — это правда.

12

А что же с нашим Тятей и Малышкой? После того злополучного митинга старый художник целые сутки не пил — не ел, бесконечно курил сигаретки и мрачно сетовал на свою жестокую судьбу. И всякий раз, как он взглядывал на свою крошку, перед ним словно бы раскрывалось ее горькое будущее, сулящее быстрый конец ее дивной красоте, и он всякий раз заливался слезами и прижимал дитя к своей груди. Малышка же тем временем, сохраняя полное спокойствие, работала по дому, готовила нехитрую еду, и движения ее так напоминали ему утраченную жену, что в конце концов он не выдержал. Побросав какие-то пожитки в замшелый чемодан и обвязав его веревкой, он схватил Малышку за руку, и они отправились куда глаза глядят, с единственной лишь целью — никогда не возвращаться в эту квартиру на Хестер-стрит. На углу они погрузились в трамвай № 12 и отправились на Юнион-сквер. Там они пересели в № 8 и поехали на север по Бродвею. Теплый вечер, все стекла в трамвае опущены. Улицы забиты экипажами и авто. Перекликающиеся сигналы. Трамваи шли сцепками,

над ними похрустывающие дуги рассыпали пучки искр, и казалось, что искры те слетают с наэлектризованных небес, к тому же и огромные бесшумные молнии матово озаряли темнеющий Бродвей. Тятя не имел, признаться, понятия, куда они направляются. Малышка крепко держала его руку. С необычным, каким-то торжественным выражением она взирала на бесконечный бродвейский парад. Мужчины в шляпах-канотье, синих блейзерах и белых брюках, белоснежные летние женщины. Светящиеся пузырьки вывесок на водевильных театрах. Все подпрыгивает и крутится, и по периферии зрачков Малышки будто бы крутится маленький огонек. Через три часа они оказались уже в Бронксе и ехали на север по Вебстер авеню. Луна спряталась, резко похолодало. Трамвай быстро скользил вдоль широкого пустынного бульвара, остановки были редкие. Потом появился огромный, поросший травой пустырь, в разных местах которого виднелись группы строящихся домов. В конце концов огни города совсем исчезли, и в тесных контурах за окном Малышка распознала большущее кладбище, поднимающееся по склону холма. Памятники и склепы под холодным ночным небом напомнили девочке судьбу ее мамочки. Впервые она обратилась к своему Тяте с вопросом — куда же мы едем. Он опустил окно, прервав струю холодного ветра. Они остались последними пассажирами в вагоне. «Ша,— сказал Тятя,— спи, детка». Временами для спокойствия он ощупывал свои сбережения — тридцать долларов, рассованные по карманам и в обувке. Вон, вон из Нью-Йорка, проклятого города, разбившего жизнь. В те дни нашей истории в городах существовала высокоразвитая система рельсового сообщения. Можно было преодолеть огромные расстояния, посиживая на жестком сиденье из плетеного камыша и лишь временами меняя маршрут. У Тяти не было никакой конечной цели, он решил просто-напросто ехать до конца каждого маршрута и там пересаживаться.

Поздно ночью они пересекли городскую черту в Маунт-Верноне и здесь выяснили, что следующий трамвай отправится только утром. Ночлег они нашли в каком-то маленьком парке, в раковине оркестра. Утром прекраснейшим образом освежились и помылись в общественном заведении. С восходом солнца погрузились в красно-желтый трамвай, вожатый которого приветствовал их весьма дружелюбно. Тятя заплатил ему никель за себя и два цента за Малышку. На задней площадке вагона штабелем стояли ящики с мокрыми и блестящими квартами молока. Тятя спросил, нельзя ли купить штуку. Вожатый посмотрел на него, потом на Малышку и сказал: «Да берите сколько надо», а на предложенные деньги не обратил внимания. Он дергал бечевку, колокол звонил, трамвай кренился на поворотах. Вожатый пел. Эдакий цветущий толстопузый тенор. На поясе у него висела разменная машинка. Через некоторое время они въехали в Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк, и двинулись вверх по Главной улице. На улицах здесь было довольно много экипажей, солнце поднималось все выше, жизнь кипела. Вожатый объяснил Тяте, что если ему нужно проехать дальше, то следует сделать пересадку на углу Северной авеню на Береговую линию Почтового тракта. Тятя и Малышка вышли на этом, стало быть, углу и принялись ждать. Мимо них прошли Мать и Малыш. Малышка посмотрела на Малыша. Кучерявенький. Матроска, темно-синие штанишки, белые носочки, лакированные туфельки. Он держал за руку свою маму и, проходя мимо древнего Тяти и Малышки, глубоко заглянул последней в глаза. Тут подошел трамвай Береговой линии Почтового тракта. Тятя, сжав девочкино запястье, резво бросился к ступенькам. Трамвай уходил, а Малышка все смотрела с задней площадки на Малыша, пока он не исчез из виду. Его глаза запомнились ей как голубые с желтыми и зелеными пятнами, раскраска школьного

глобуса. Вверх по Почтовому тракту, по берегу пролива трамвай подошел к границе штата Коннектикут. В Гринвиче Коннектикутском они пересели на другой маршрут и через города Стэмфорд и Норуок подъехали к Бриджпорту, где похоронен был Том-Большой-Палец. Они научились теперь угадывать приближение конечной остановки маршрута: кондуктор выходил в проход и переворачивал спинки пустых сидений. В Бриджпорте — новая пересадка. Рельсы оттуда повернули в глубь континента. Ночевку они устроили в Нью-Хейвене Коннектикутском. На этот раз они отдыхали, как порядочные, в меблирашках, а завтракали за табльдотом. Перед тем, как спуститься к завтраку, Тятя зверским образом вычистил штаны и пиджак и даже повязал вокруг вытертого воротничка галстук бантом. Он стал увереннее. Малышка же надела чистый передничек. В меблирашках жили главным образом университетские студенты, и завтрак прошел в обществе этих гусей в золотых очках и свитерах. После завтрака старый художник с дочкой возобновили свое путешествие. Вагон компании «Спрингфилд трэкшн» довез их до Нью-Британа, а потом к городу Хартфорду. Улицы последнего были настолько узки, что, казалось, из окна трамвая можно дотронуться до стен дощатых домов. Потом они вылетели на пригорок и помчались к Спрингфилду Массачусетскому. Большущий деревянный вагон раскачивался из стороны в сторону. Ветер летел им в лицо. Быстрее, быстрее по краю просторных полей, где птицы взлетали при приближении и опадали при удалении. Малышка наблюдала коров, поскакивавших в травах гнедых лошадей, и все это — озаренное солнцем. Тонкий слой меловой пыли ложился на лицо девочки, скрывая ее румянец, затеняя глаза и замутняя ее яркие губки, и Тятя даже в какой-то момент вздрогнул, увидев вместо своей чудной крошки маску зрелой женщины. А вагон все грохотал по рельсам и уже не звонил, а трубил в пневматический гудок всякий раз, подходя к перекресткам. На одной остановке вдруг масса пассажиров заполнила сиденья и проход. Малышка оглядывала всех с любопытством. Тятя вдруг понял, что она счастлива. О, она любит путешествия. Держа одной рукой чемодан, другой он обнял девочку. Он вдруг поймал себя на том, что улыбается. Ветер дул в лицо и забивал рот. Вагон так кидало из стороны в сторону, что казалось, сейчас он вылетит с рельсов, но никто не праздновал труса, а напротив, все смеялись. И Тятя смеялся. Вдруг он увидел за окном деревню своей юности, несколько *верст* [1] отсюда, за лугом. Церковь со шпилем на горе. Ребенком он тоже любил подолгу ехать — в больших двуколках под летним лунным светом. Когда повозки сталкивались, детишки валились в кучу-малу друг на друга. Он глядел теперь в окно и на пассажиров трамвая и впервые после приезда в Америку думал о том, что здесь, может быть, можно — что бы вы думали? — жить. В Спрингфилде они купили хлеба и сыру и погрузились в современный темно-зеленый вагон вустерского трамвая. До Тяти тут дошло, что они добрались уже чуть ли не до Бостона. Он подсчитал свои расходы, и вышло что-то около трех с половиной долларов. Трамвай жужжал. Высоченные ели отбрасывали длинные тени. Промелькнул широкий спокойный поток и посредине одинокий гребец на парновесельной лодке. Промелькнуло огромное мокрое, роняющее струи и капли мельничное колесо, медленно поворачивающееся над ручьем. Тени сгущались. Малышка заснула. Тятя держал чемодан на коленях и безотрывно смотрел в окно и на поворотах видел впереди рельсы, сверкающие под лучом мощной головной фары.

---

[1] Автор употребляет в тексте русские слова, которые мы выделяем курсивом. *(Прим. перев.)*

13

О, шпалы, шпалы, железные пути. Футурологам модных журналов будущее виделось где-то в конце параллельных рельсов. Существовали тогда и локомотивы дальнего следования, и пригородные электрички, и трамваи, и надземки,— и все это протягивало по стране свои стальные полосы, которые перекрещивались, создавая ткань неутомимой работящей цивилизации. В Бостоне и Нью-Йорке появились даже подземные дороги, новые стремительные сабвеи, перевозившие тысячи всякого люда каждый день. Новый транспорт имел такой успех на Манхэттене, что возник даже спрос на ветку к Бруклину. Из этого спроса выросло и новое инженерное чудо — конструкция тоннеля под Ист-ривер из Бруклина в Бэттери. Кроты-проходчики, работая за гидравлическим щитом, выносили на поверхность речной грунт дюйм за дюймом и по мере своего движения устанавливали и соединяли секции железобетона. Камера проходчиков была заполнена сжатым воздухом, накаченным с поверхности. Опасная работа. Мужички, работавшие эту работу, почитались героями. Дамоклов меч всегда висел над ними — опасность так называемого «выхлопа», когда сжатый воздух находил в крыше тоннеля слабое место и вырывался наружу с безобразной яростью. Однажды вот случился «выхлоп», да еще такой взрывной силы, что засосал четырех рабочих из тоннеля и выстрелил ими сквозь двадцать футов ила и сорок футов воды в воздух, куда они взлетели на гребне гейзера. Только один из четырех выжил. Заголовки в газетах. Гарри Гудини, кушая утренний кофе, ознакомился с репортажами, быстро оделся и помчался в центр, в больницу Бельвю, где, как сообщалось, и находился единственный уцелевший. «Я Гарри Гудини,— сказал он в регистратуре,— я должен видеть этого «крота». Сестрицы, сидевшие за столом, стали совещаться, а он тем временем, бросив вороватый взгляд на схему больницы, побежал вверх по лестнице. «Это невозможно, вы не имеете права»,— говорила, следуя за ним, сестрица — твердыня порядка, но он вышагивал через зал, полный больных и умирающих людей. Полосы славного утреннего солнца протянулись из высоких грязных окон через палату подобно контрфорсам. Виноградной гроздью скучилась вокруг кровати семья геройского «крота» — жена, старая мать в платке, рослые сыновья. Тут же находился и доктор. Пострадавший был забинтован от макушки до пят. Загипсованные руки и нога поддерживались на вытяжении. Каждые несколько минут вся эта куча бинтов и гипса испускала слабый, как будто бы притворный стон. Гудини прочистил горло: «Я, Гарри Гудини, с поклоном к семейству, я спасаюсь для пропитания, эскейпизм — это моя профессия, так я зарабатываю деньги. Однако позвольте мне сказать, что я никогда не сделал ничего такого, что позволило бы мне хотя бы приблизиться вот к этому». Он показал глазами и подбородком на постель. Семейство взирало на него без всякого выражения на флегматичных славянских лицах. Бабушка, не отрывая от Гудини глаз, сказала что-то не по-нашему, как бы вопрошая о чем-то, и один из сыновей почтительно ей что-то ответил и назвал имя Гудини. «Я хотел бы выразить уважение»,— сказал Гудини. Плоские лица, тяжелые брови, широко посаженные глаза — все продолжали на него смотреть, не оставляя ему никаких шансов на ответную улыбку. «Как вы сюда прошли?» — спросил доктор. «Я только на минутку,— не по существу ответил Гудини,— я только спрошу его кое о чем».— «Вы бы лучше ушли»,— сказал доктор. Гудини повернулся к семейству. «Я хотел бы узнать, что он чувствовал и что он делал, чтобы достичь поверхности. Он оказался единственным. Это не может быть просто так. Он что-то сделал особенное. Мне очень важно это

знать, вы же понимаете.— Он вынул бумажник, извлек оттуда несколько купюр.— Думаю, это вам не помешает, прошу, возьмите, от чистого сердца». Семейство взирало на него без движения. Слабый звук долетел с постели. Один из сыновей наклонился и подставил папаше свое большое ухо. С минуту послушав, он кивнул. Затем подошел к другому сыну и что-то сказал ему. Здоровенные хлопцы, выше шести футов, груди как бочки. «Без грубостей»,— сказал доктор. Гудини вдруг почувствовал, что его подняли за локти и несут по проходу через палату. Ноги его болтались в воздухе. Он решил не сопротивляться, хотя отлично владел приемами самообороны и мог бы расшвырять этих орясин в один момент, но как-никак это все же была больница, ну.

Гудини шел по улицам. Уши горели от унижения. На нем была шляпа с опущенными полями, тугой двубортный полосатый пиджак, рыжеватые брючки и коричневые с белым штиблеты. Быстрое движение сквозь нью-йоркские толпы. Исключительная гибкость. Он думал о сцене, которой ему никак не удавалось достичь, сцене, называемой «реальный мир». При всех своих достижениях он оставался все же не более чем трюкачом, иллюзионистом, самым обыкновенным волшебником. В чем был смысл его жизни, если люди, покидая театр, тут же забывали о нем? А газетные заголовки кричали: «Коммодор Пири достиг Северного полюса». Вот номер на сцене реального мира, и он заносится в книгу истории.

Гудини решил сконцентрировать свои усилия на подвигах во внешней среде. Во время очередного турне он освободился из заколоченного и перевязанного веревками ящика, опущенного в замерзшую Детройт-ривер. В Бостоне и Филадельфии его тоже топили в замерзших реках. Для этих номеров он тренировался в собственной ванне, куда ледовщик наваливал колотого льда. Но что, скажите, от этого изменилось? Тогда он решил отправиться в Европу. Между прочим, он начинал свою карьеру именно в Европе, и именно оттуда ему удалось прорваться в круг американского водевильного бизнеса. Странным образом он иногда чувствовал, что европейцы лучше понимают его, чем соотечественники. За несколько дней до отъезда он устроил концерт в пользу старых колдунов и ветеранов сцены. Он хотел порадовать их новой эскападой. Ну, конечно, он нанял целую команду санитаров из Бельвю, они вышли на сцену и забинтовали его с ног до головы. Потом они запеленали его в целую кучу простынь и прикрутили к больничной койке. Ну, конечно, потом они вылили на него целые потоки воды, чтобы простыни стали потяжелее. И конечно же, он выбрался из всей этой муры. Ну, театральные старцы, конечно же, обалдели от восторга. Но он удовлетворен не был.

Гудини отправлялся в Европу на «Императоре», огромном германском судне с фигурой на носу — странная штука на современном трехтрубном пассажирском лайнере, не правда ли. Фигура — имперский орел с когтями, погруженными в земной шар. Миссис Вайс, древняя матушка Гудини, пришла проводить его на пирс. Маленькая аккуратненькая женщина в черном. Он поцеловал ее, ну конечно, обнял ее, потом поцеловал ей руки и пошел вверх по сходням. Потом, конечно, он бросился назад и принялся снова целовать ее, держал ее лицо в своих ладонях и целовал свою мамочку в глаза. Она кивала и пошлепывала его. Он взбежал, наконец, окончательно на палубу и стал махать. Без конца махал сначала просто рукой, потом кепкой. Уже вполне было смехотворно махать с середины реки, уже очевидно было, что мамочка его не видит, а он все махал и кричал, пока огромный лайнер вытаскивали буксирами на внешний рейд. Он-то еще долго мог ее видеть на пирсе, маленькую черную фигурку, хрупкую свою доро-

гую, любимую старую леди. Она всегда радовалась, что у нее такой преданный сын. Однажды явился, попросил ее подставить передник и вывалил ей в передник пятьдесят сверкающих золотых долларов. Хороший мальчик. На извозчике она вернулась домой на 113-ю улицу и стала ждать его возвращения.

Гудини начал свое европейское турне в театре «Ганза» в Гамбурге. Аудитория кипела энтузиазмом. Газеты посвящали ему целые полосы. Каждый вечер поклонники осаждали служебный вход театра. Он старался поскорее от них избавиться. Никогда еще он не чувствовал такого горького разочарования. Почему он посвятил свою жизнь бессмысленному делу, увеселению толпы? Однажды случилось ему увидеть демонстрацию французской летательной машины «Вуазен». Это был красивый биплан, эдакий хрупкий ящичек с тремя деликатно закрепленными велосипедными колесами. Авиатор поднимал его над гоночным треком, летал по кругу, а затем приземлялся на внутреннем поле ипподрома. На следующий день этот подвиг был подробно описан в газетах. Гудини не стал долго раздумывать. Уже через неделю у него был новенький «Вуазен». Конечно, это обошлось ему в пять тысяч долларов, но... В полный комплект входил и французский механик, который обучал искусству летания. Гудини приспособил для этого дела армейский плац за чертой города. Между прочим, во всех странах, где он когда-либо играл, он всегда накоротке сходился с военщиной. Солдаты повсюду, между прочим, обожали его. Каждое утро он отправлялся на плац, садился в свой «Вуазен», а француз читал ему лекцию о функциях разных рычагов и педалей. Аэроплан управлялся большущим рулевым колесом, установленным в вертикальной позиции и прикрепленным стволом к рулю направления. Пилот восседал на маленьком сиденье между двумя крыльями. Позади него был мотор, а позади мотора — пропеллер. Сделан был «Вуазен» из дерева, а крылья покрыты туго натянутой и отлакированной материей. Распорки, соединяющие двойные крылья, тоже были покрыты этой материей. Все вместе напоминало воздушного змея. Гудини распорядился, чтобы его имя было написано заглавными буквами как на верхних крыльях, так и на нижних. Он не мог дождаться первого полета. Терпеливый механик, однако, тщательно муштровал его в различных операциях, потребных для того, чтобы вздымать машину ввысь, удерживать ее в полете, ну и, между прочим, чтобы приземлять ее. Каждый вечер Гудини выходил на подмостки театра, а каждое утро мчался на летные уроки. Наконец пришло утро, когда красные рассветные небеса были чисты и ветер, по оценке механика, соответствовал всем кондициям; в это утро они вытолкали аппарат из-под навеса и развернули его носом на север. Гудини вскарабкался в пилотское сиденье, повернул кепи козырьком назад и натянул потуже. Сжал руль. Предельная концентрация, суженные глаза, мощно выставленная вперед челюсть — таков был в этот момент Гудини. Кивнул механику, который уже раскручивал деревянный пропеллер. Мотор взревел. Это был 80-сильный «энфилд» — у братьев Райт, конечно, было, вы знаете, что-то похуже. Боясь дохнуть, Гудини дросселировал мотор, ставил его в нейтральное положение, снова дросселировал. Наконец он поднял большой палец — поехали! Механик вынырнул из-под крыльев. Аппарат медленно двинулся вперед. Гудини дышал все чаще и чаще, пока «Вуазен» набирал скорость. Вдруг — толчок, и Гудини ощутил, что чувствительные крылья как бы обрели собственное самосознание, словно бы нечто сверхъестественное внезапно присоединилось к его предприятию. Машина поднималась над землей. Ему казалось, что он грезит. Усилием воли он обуздал свои эмоции, сурово скомандовал себе держать крылья на одном уровне, дрос-

селировать в зависимости от скорости полета. Лечу! Он работал педалями, наклонял руль, и машина послушно набирала высоту. Наконец он осмелился глянуть вниз: земля была не менее чем в пятидесяти футах. Он больше не слышал скрежета мотора позади себя. Ветер бил в лицо, и он вдруг обнаружил, что кричит, как вы думаете, во все горло. Скрепляющие проволоки, казалось, пели, крылья над и под пилотом кивали, покачивались и как бы играли в своем удивительно чувствительном самосознании. Велосипедные колеса медленно и бесцельно вращались в потоках ветра. Он пролетел над купами деревьев. Добившись уверенности, он положил аппарат в труднейший маневр — в поворот. «Вуазен» описал широкий круг над армейским плацем. Гудини увидел механика, салютующего ему обеими руками. Хладнокровно он выровнял крылья и начал снижение. Жесткий толчок при приземлении несколько обескуражил его, но когда аппарат остановился, он жаждал только одного — быть снова в небе.

Во время последующих полетов Гудини оставался в воздухе уже минут по десять-двенадцать. Это было уже некоторой дерзостью — летать на пределе горючего. Временами ему казалось, что он как бы плывет как бы подвешенный прямо-таки к облакам. Он мог видеть сверху целые деревни, гнездившиеся по германской равнине, он как бы преследовал свою тень, скользившую вдоль исключительно ровных германских дорог, очерченных изгородями. Однажды он взлетел так высоко, что увидел даже, вы не поверите, средневековый силуэт Гамбурга и поблескивающую на солнце Эльбу. Он чертовски гордился своим аэропланом. Он жаждал творить историю летания. Молодые офицерики из местных казарм все чаще и чаще наведывались на плац, чтобы увидеть полеты Гудини. Некоторых из них он знал уже по имени. Однажды комендант, тот самый, что столь любезно разрешил Гудини пользоваться армейским плацем, с не меньшей любезностью спросил, не захочет ли Гудини прочесть несколько лекций молодым офицерам об искусстве летания. Волшебник согласился с готовностью. Он приспособил к этим лекциям свое расписание. Ему нравились молодые офицеры, в высшей степени интеллигентные и почтительные. Они смеялись его шуткам и не смеялись над его отнюдь не идеальным немецким — казалось, просто не замечали его.

Однажды утром после полета Гудини направлял уже свой аппарат к навесу, когда заметил стоявший в ожидании штабной «мерседес» и в нем офицеров императорской германской армии. Он не успел вылезти из самолета, когда с откидного сиденья «мерседеса» вскочил комендант, церемонно отдал честь и почему-то официально спросил, не может ли Гудини снова поднять «Вуазен» для демонстрационного полета. Гудини глянул на двух основательных мужчин, сидевших на заднем сиденье авто в кольчугах из медалей и крестов. Они ему кивнули. На переднем сиденье рядом с шофером сидел сержант в шишастой каске. На коленях у него лежал карабин. В этот момент закрытое белое ландо «даймлер» медленно приблизилось к штабному автомобилю. Медные части его были отполированы выше всяческого совершенства, и даже белые деревянные спицы на колесах были ослепительно чисты. Флаг с золотой каемкой трепетал на правом крыле. Пассажиров ландо Гудини не смог разглядеть. «Конечно,— сказал он,— что за вопрос». Он приказал механику залить бак и через несколько минут снова был в воздухе и произвел несколько торжественных кругов над полем. Как, должно быть, он выглядел с земли, как! Какое упоение! На высоте ста футов он прожужжал прямо над машинами, а потом снизился до пятидесяти, покачал крыльями и помахал рукой. Кто бы там ни сидел в этом шикарном авто, он летал для них, пожалуйста, не жалко.

Когда он приземлился, его пригласили в большой «даймлер». Шофер открыл дверцу и вытянулся по стойке «смирно». Внутри оказался эрцгерцог Франц-Фердинанд, наследник австро-венгерского трона. Он был облачен в полевую форму австрийской армии, а на сгибе руки держал шлем с плюмажем. Волосы его были пострижены щеткой, верхушка башки совершенно плоская. Огромные торчащие вверх навощенные усищи. Эрцгерцог туповато взирал на Гудини из-под тяжелых век. Рядом с ним сидела его жена графиня Софи, величавая матрона, деликатно позевывавшая под прикрытием белой руки в перчатке. Франц-Фердинанд, похоже, не очень-то отчетливо сознавал, кого ему представляют. Он поздравил Гудини с изобретением аэроплана.

II

14

Вернувшись в Нью-Рошелл и пройдя под своими любимыми кленами, Родитель увидел Родительницу с чернокожим младенцем на руках. Цветная девчонка одна куковала в мансарде. Меланхолия обессилила ее, она не могла уже приподнять свое дитя. День-деньской она сидела неподвижно, глядя, как солнце зажигает бриллиантами окна домов, как стекла сияют, а потом угасают. Отец посмотрел на нее в открытую дверь. Она не шевельнулась. Он странствовал по своему собственному дому и повсюду как бы находил приметы своего собственного отсутствия. Сынишка, точно настоящий студентик, обзавелся письменным столиком. Чу, не арктический ли ветер свистит? Нет, это горничная Бригита тянет через ковер в гостиной новомодный электрический всасывающий очиститель. Престраннейшим предметом оказалось, надо сказать, зеркало в ванной. Оно явило ему изможденное бородатое лицо доходяги. Бритвенное зеркальце на «Рузвельте» было гораздо снисходительнее. Какое жалкое тело, торчащие ребра и ключицы, жалкое, ранимое, белое с пятнами, экий костлявый таз. Ночью в постели Мать держала его и старалась согреть всю малость его некогда могучей спины, она старалась как бы завернуть его всего себе внутрь, убаюкать и во сне растопить его страшную обледенелость. Им обоим было очевидно, что на этот раз он пропадал слишком долго. Внизу Бригита ставила пластинку на виктролу, крутила ручку, а потом рассаживалась в гостиной, курила сигарету и слушала песенку Джона Маккормака «Я слышу, ты зовешь меня». Она делала все, чтобы потерять свою работу. Проку теперь от нее было не больше, чем почтения. Мать связывала это с появлением в доме цветной девушки. Отец полагал, что планета попросту съехала на несколько градусов с оси морали. Приметы морального скоса он видел теперь повсюду, и это бесило его. В его собственной конторе ему сказали, что его собственные швеи присоединились к профсоюзу. В висевших на нем пиджаках и брюках он казался себе еще более бесформенным, чем в полярных мехах. Арктические подарки. Он привез сыну пару моржовых клыков и китовый ус с эскимосской резьбой, а жене шкуру белого медведя. Вытаскивание из дорожного сундучка арктических сокровищ — тетрадки журнала, заскорузлые странички, подписанная фотография коммодора Пири, наконечник гарпуна, несколько банок неиспользованного чая — превратилось в молчаливое посмешище: пожитки дикаря. Семья стояла и смотрела, как он ползает вокруг сундучка. Ему нечего было им сказать. Северная арка мира мраком и холодом еще сжимала его плечи. Ведь не расскажешь же, как, дожидаясь на борту «Рузвель-

та» возвращения коммодора, он слушал вой ветра и сжимал с любовью и благодарностью грешное и грязное, воняющее рыбой тело эскимоски. Он прижимался своим телом к подванивающей рыбине, вот что он там делал. Он даже в уме не осмеливался произнести старое доброе англосаксонское слово по отношению к этому делу. Сейчас в Нью-Рошелл ему казалось, что от него несет рыбьей печенкой, что он дышит рыбой, что рыба застряла в ноздрях. Он драил себя до красноты. Он заглядывал в глаза Матери, ища там догадку. Вместо этого он находил в них странное любопытство и сострадание. Она относилась к нему будто к какому-то иному существу. Каждую ночь после его возвращения они спали вместе, и это было удивительно. Да, некоторым образом она была уже не столь сокрушительно скромна, как прежде. Она ловила его взгляды. Она расплетала волосы перед сном. Однажды ночью ее рука совершила путешествие по его груди вниз под рубашку. Он решил, что у бога в копилке наказания столь затейливые, что предугадать их невозможно. Он поворачивался к ней и видел, что она готова. Он стонал. Она тянула к себе его лицо, и ее руки не чувствовали его слез.

Тем не менее дом с широкими окнами, скошенными углами уверенно, будто корабль, вплывал из сумерек в каждый новый день. Сверкающим ноябрьским утром Отец взирал на свой дом из сада. Опавшие листья, подернутые морозом, лежали вокруг, как застывшие волны. Дул ветер. Прихрамывая, он огибал дом и возвращался. Он думал о предстоящем докладе в Нью-Йоркском клубе исследователей. Конечно, он предпочел бы посиживать в гостиной, подставив ранимые свои ступни маленькому электрообогревателю. В семье все относились к нему как к выздоравливающему. Сын приносил ему бульон. Мальчик весьма вырос и уже потерял частично свою детскую пухлость. Он становился полезным членом семьи и интересным собеседником. Весьма толково обсуждал явление кометы Галлея. Отец порой чувствовал себя ребенком рядом с ним, таким взрослым.

В газетах появились сообщения об африканском сафари Тедди Рузвельта. Великий консерватор свалил в свои ягдташи семнадцать львов, одиннадцать слонов, двадцать одного носорога, восемь гиппопотамов, девять жирафов, сорок семь газелей, двадцать девять зебр, а разных там антилоп куду, канна, импал, разных там диких кабанов и бородавочников не счесть.

Бизнес, несмотря на отсутствие Отца, оказался в полном порядке. Мать могла теперь бойко говорить на такие темы, как «оптовые цены», «изобретения», «реклама». Она ведь взяла на себя все руководящие функции. Она произвела некоторые изменения в процедуре расчетов и заключила контракты с четырьмя новыми агентами в Калифорнии и Орегоне. Отец проверил все ее деяния и был весьма удивлен. На ее ночном столике лежали теперь книги типа «Сражающаяся леди» Молли Эллиот Сивелл или памфлет на тему о семейных путах, принадлежащий перу Эммы Голдмен, анархистки-революционерки. Внизу, в мастерской, отец обнаружил своего шурина, сгорбившегося над чертежным столом МБМ терял свои блондинистые волосы. Он был бледен и худ и еще более отстранен от окружающих, чем когда-либо. Самым примечательным было то, что он проводил теперь за работой двенадцать-пятнадцать часов в день. Он взял под свою эгиду именно фейерверковый отдел предприятия и теперь разрабатывал целые дюжины новых ракет, огненных колес и необычные огненные хлопушки, запакованные не в цилиндрический, а в сферический контейнер. Запал торчал из этой штуки, словно стебель, и, стало быть, штучку по праву назвали Бомба-Вишенка. Однажды утром двое мужчин в черных пальто и котелках явились на испытательное поле Младшего Брата за

трамвайным кольцом, в высоких травах. Отец стоял на небольшом пригорке на краю болота. В пятидесяти ярдах от пригорка, на пятачке ссохшейся грязи, Младший Брат готовился к демонстрации. Он оговорил с Отцом, что первое возгорание будет обычным, а вот второе как раз и окажется Вишенкой. И вот он встал и, отойдя на несколько шагов, поднял руку. Отец услышал, как слабенько пукнула хлопушка. Дымок тут же рассеяло ветром. Младший Брат вернулся на прежнее место, нагнулся и потом снова отошел назад, на этот раз более поспешно. Теперь он поднял обе руки. Ну и взрыв — просто бомба! Чайки от неожиданности закружились в воздухе, а Отец услышал звон в ушах как после контузии. Он был обеспокоен: Младший Брат подбежал к нему, пылая румянцем, со странным блеском в глазах. Отец высказал предположение, что, пожалуй, взрыв несколько мощноват в том смысле, что он чересчур силен. «Прошу понять меня правильно, но я не хотел бы производить ничего, что могло бы повредить глаза хоть одному ребенку». МБМ ничего не ответил, но вернулся на свой пятачок и поджег запал еще одной Вишенки. На этот раз он остался рядом. С приподнятым вверх лицом он похож был на человека, собирающегося принять душ. Вытянул руки. Бомба взорвалась. Он снова нагнулся и снова выпрямился. Еще один взрыв. Птицы описывали широкие круги, паря над проливом, пикируя и взмывая в потоках ветра.

Молодой человек был в растерзанных чувствах. Эвелин Несбит охладела к нему. Она даже становилась враждебной, когда он слишком уж настойчиво домогался ее любви. Наконец она просто-напросто отчалила с каким-то профессиональным танцором рэгтайма. Они собирались вместе выступать на сцене — так она сообщила в небрежной записке. Братишка привез в свою комнату в Нью-Рошелл деревянный ящик, заполненный ее силуэтными портретами, и пару бежевых атласных туфелек, выброшенных ею, Эвелин. Незабываемое — однажды она стояла в этих туфельках и в белых вышитых чулочках и более ни в чем, руки на бедрах, вот так стояла и вдруг посмотрела на него через плечо. После своего возвращения он целыми днями лежал на кровати. Временами он хватал и сжимал себя так, как будто старался вырвать весь куст с корнями. Шагая по комнате, он зажимал ладонями уши и громко гудел, чтобы не слышать ее голоса. Он не мог смотреть на проклятые силуэты. Зарядить бы сердце порохом и взорвать! Как-то на рассвете он проснулся с ее запахом в ноздрях. Из всех терзаний памяти это было самым ужасным, самым непереносимым. Он ринулся вниз и швырнул силуэты и атласные туфельки в мусорный бак. Потом он побрился и отправился на фабрику флагов и фейерверков.

Силуэтные портреты были спасены и восстановлены до полной кондиции его маленьким племянником.

15

Мальчик копил разный утиль словно сокровища. Мда-с, он постигал мир весьма своеобразно, он жил совершенно скрытой интеллектуальной жизнью. Он заглядывал в отцовские арктические дневники, но не пытался их прочесть, пока автор не утратил к ним интереса. То, чем пренебрегали, приобретало в его уме какое-то особенное значение. Очень тщательно он изучил все силуэты и, выбрав один из них, повесил на дверцы внутри своего гардероба. Это была наиболее частая модель неизвестного художника — маленькая девочка с волосами будто шлем и как бы готовая побежать в любой момент. На ней были разбитые шнурованные сапожки и спущенные чулочки, дитя

бедности. Остальные силуэты Малыш спрятал на чердаке. Он был весьма восприимчив не только к выброшенным предметам, но также и к разным происшествиям, к разным совпадениям. В школе он почти не занимался, но дела его там шли хорошо, так как почти ничего от него и не требовали. Его учительница, дама с тщательно уложенными волосиками, обучала ребят декламации и хлопала в ладоши, пока они тренировались в изображении различных крючков и извилин, что предполагало развитие хорошего почерка и стиля. Дома Малыш выказывал живейший интерес к книжкам «Моторизованные мальчишки» и «Еженедельник Дикого Запада». Эти его вкусы семейство находило, скажем так, не исключительными, но это как раз и успокаивало всех. Мать подозревала, что он странный ребенок, но ни с кем не делилась этими подозрениями, даже с Отцом. Любые указания на ординарность сына как-то успокаивали ее. Она жалела, что у него нет друзей. Отец был еще явно не в форме, а Младший Брат был столь мучительно озабочен самим собой, что оставался лишь Дед, который как раз и культивировал в мальчике то, что можно было назвать странностью или просто самостоятельностью духа.

Старичина был худ и сутул, да еще и подпахивал плесенью, может быть, потому, что гардероб его весьма обветшал, а от любых новых вещей он категорически отказывался. Вечно слезящиеся глаза. Сидя в гостиной, он читал внуку наизусть куски из Овидия. Это были истории о людях, превратившихся в животных, деревья или статуи. Истории метаморфоз. Женщины оборачивались подсолнухами, пауками, летучими мышами, птицами; мужчины становились змеями, свиньями, камнями и даже «легкими дуновеньями». Мальчик не знал, что он слушает Овидия, да это и не имело значения. Дедушкины байки внушали ему, что формы жизни неуловимы, летуче-изменчивы и в принципе все, что угодно, в мире может быть чем угодно иным. В своих повествованиях старик часто без предупреждения соскальзывал с английского в латынь и обратно, и это лишний раз убеждало мальчика в том, что ничто в мире не застраховано от изменчивости, даже язык.

Малыш воспринимал своего дедушку тоже чем-то вроде утильного сокровища. Он принимал на веру все эти истории и полагал, что можно даже было бы проверить это на практике. Доказательства нестабильности как людей, так и вещей окружали его повсюду. Он мог прищуриться на гребенку, лежащую на бюро, и она соскальзывала и падала на пол. Он мог подумать, глядя на окно, что в комнате становится холодновато, и рама опускалась сама собой. Ему очень нравились «движущиеся картинки» в театре на Главной улице в Нью-Рошелл. Он знал принципы фотографии, но видел также, что «движущиеся картинки» основаны на способности людей, животных и предметов как бы отдавать частицу самих себя, носителей тени и света, оставшегося позади. С увлечением он крутил виктролу, крутил какую-нибудь пластинку, любую, снова и снова, как будто для того, чтобы испытать прочность повторяемого явления.

Потом он взялся изучать самого себя в зеркале, будто бы ожидая, что некие изменения произойдут у него на глазах. Конечно, он не мог заметить, что стал выше за несколько месяцев и что волосы у него потемнели. Родительница, естественно, полагала, что его интерес к зеркалу — проявление народившегося мужского тщеславия. Да, конечно, он уже вырос из детских штанишек, думала она не без удовольствия. В действительности же он продолжал торчать у зеркала, так как открыл, что при помощи этого предмета может как бы раздваиваться. Он пристально смотрел на себя до тех пор, пока не оказывалось, что две особи смотрят друг на дружку, и даже невозможно сказать, какая

из них реальная. Возникало ощущение потери тела. Он как бы утрачивал собственную персону. Головокружительное чувство отделения от самого себя, миг бесконечности. Он погружался в этот процесс настолько, что не мог из него выйти, хотя сознание оставалось ясным. Приходилось полагаться только на вмешательство извне — шум или изменение света в окне, которое отвлекло бы внимание и помогло воссоединиться в целое.

Ну, а собственный его папка, самоуверенный здоровяк, который вдруг исчез, а вернулся изнуренным, бородатым, пришибленным? Ну, а дядюшка, теряющий свои дивные волосики и миловидность? Как-то у подножья холма отцы города снимали покрывало с бронзовой статуи какого-то старого голландского губернатора, свирепого на вид мужлана в квадратной шляпе и сапожищах с пряжками. Семейство присутствовало на церемонии. В городе, в парках, имелись и другие статуи, и Малыш знал их все. Он был уверен, что статуи есть продукт метаморфозы людей и лошадей. Однако даже ведь и статуи не оставались неизменными, они меняли свой цвет, теряли свои частички и кусочки.

Ясно, что мир постоянно составляет и пересоставляет сам себя в бесконечном процессе неудовлетворенности.

Зима явилась исключительно холодная и сухая, и пруды в Нью-Рошелл стали идеальными катками. По субботам и воскресеньям Мать, Младший Брат и Малыш катались в парке по Сосновой авеню, соединявшейся с их авеню Кругозора. Младший Брат катался сам по себе, длинными торжественными и изящными шагами, руки за спиной, голова опущена. Мать в меховой шапочке и черном длинном пальто, руки в муфте, каталась со своим сынишкой, который держал ее за локоток. Она надеялась отвлечь его от одиноких занятий взаперти. В самом деле, веселые сцены: взрослые и дети скользят по льду, длинные цветные шарфы развеваются на их шеях, носы и щеки пунцовы. Народ валится на лед и друг на дружку, хохочет, прыгает. У собак разъезжаются лапы, когда они бегают за детьми. Вжик-вжик — лезвия по льду. Некоторые семьи катают своих старших в креслах на полозьях и со всем почтением. Ах, какая потеха! Глаза Малыша следили, однако, только за следами конькобежцев, как они резко проступали на льду, как быстро бледнели и через несколько мгновений пропадали.

16

Эта зима застала Тятю и его дочку в заводском городишке Лоуренсе, штат Массачусетс. Они прибыли сюда прошлой осенью, наслышавшись, что здесь есть работа. Тятя теперь стоял перед ткацким станком пятьдесят шесть часов в неделю, а зарабатывал меньше шести долларов. Они жили в деревянном бараке на холме. Там и печки-то не было. У них была одна комнатенка, окна глядели в проулок, куда обитатели выбрасывали мусор. Маленькой девочке, ей-же-ей, нетрудно здесь пасть жертвой низких элементов, уверяю вас. Он решил не записывать ее в школу — здесь было легче избежать склонности властей к всеобщему образованию — и заставлял сидеть дома в его отсутствие. После работы он брал ее на часок погулять по темным улицам. Она стала задумчивой. Плечики держала прямо и выступала будто взрослая женщина. Почему-то очень ярко он видел ее будущее созревание, и это мучило его. Кроме всего прочего, девочке нужна мать, когда приходит время, вы согласны? Что же, ей в одиночку придется *проходить все эти тяжкие* изменения, а? Конечно, можно было бы жениться, но как она примет чужого человека — вот вопрос. Быть может, это худшее, что можно придумать, ей-же-ей.

Унылые деревянные жилища тянулись бесконечными рядами. Жили тут одни лишь европейцы — итальянцы, поляки, бельгийцы, евреи из России. Дружба народов здесь явно не процветала. Однажды крупнейшая из мануфактур — Американская шерстяная компания — выдала конверты с урезанным жалованьем, и некое подобие судороги прошло по цехам. Несколько итальянцев бросили свои станки и помчались по мануфактуре, призывая к стачке. Расшатывали решетки и в окна вываливали глыбы угля. Бунтовщиков становилось все больше, ярость растекалась повсеместно, вскоре станки были остановлены по всему городу. Нерешительных было мало. За три дня текстильное производство в Лоуренсе было полностью развалено.

Тятя ликовал. Что ж, нас хотели умертвить голодом, заморозить до смерти, говорил он дочери, что ж, теперь мы будем расстреляны. Однако вскоре из Нью-Йорка прибыли многоопытные деятели ИРМа, и стачка была организована должным образом. Сформированный из представителей разных этнических групп комитет обратился к рабочим с воззванием: никакого насилия. Взяв с собой дочку, Тятя присоединился к тысячам бунтарей, окружавших фабрику — массивное кирпичное здание, протянувшееся на несколько кварталов. Они волоклись рядами под серым холодным небом. Водители трамваев, идущих в центр, высовывались посмотреть на молчаливое многотысячное шествие под снегом. Над ними обвисали обледеневшие провода городских коммуникаций. Милиция нервничала у городских ворот. Они-то, гады, все были в теплых пальто.

Конечно, происходило множество инцидентов. Одну работницу застрелили на улице. Оружие было только у полиции и милиции, но за соучастие в убийстве, естественно, были арестованы рабочие лидеры Этторе и Джиованетти. Их посадили в тюрьму до суда. В воздухе пахло провокацией. Тятя пошел на станцию — встречать тех, кто заменит в комитете Этторе и Джиованетти. Гигантская толпа. Из поезда вышел Большой Билли Хейвуд, знаменитейший из всех «уобли» [1]. Он был «западник» и носил широкополый «стэтсон», который тут же был им снят для приветствия толпы. Ура, ура! Хейвуд, подняв руки, призвал к тишине. Он говорил. Завораживающий голос. «Здесь нет других иностранцев, кроме капиталистов!» — вскричал он. Площадь обезумела. Потом все дружно маршировали по улицам и пели «Интернационал». Малышка впервые видела своего Тятю таким вдохновленным. Ей нравилась стачка, потому что не надо было сидеть дома. Она держала его за руку.

Борьба нарастала неделю за неделей. Комитеты помощи открыли кухни в каждой округе. «Это не благотворительность,— объяснила выдавальщица Тяте, когда он, получив порцию еды для Малышки, отказался от своей.— Боссы хотят вас ослабить, но вы должны быть сильнее. Люди, которые помогают нам сейчас, завтра будут нуждаться в нашей помощи». Пикетчики на своих постах заматывались шарфами, топтались, прыгали на снегу. Малышкина накидочка была поношенна и сквозила как решето. Тятя вызвался рисовать плакаты в агитационном комитете стачки, и теперь они могли не выходить на холодные улицы. Плакаты получались очень красивыми. Ответственный товарищ, однако, сказал, что они никуда не годятся. Искусство нам ни к чему, пояснил он. Нам нужно то, что направляет ярость масс. Нужно поддерживать пламя борьбы. Тятя стал рисовать пикетчиков — окоченевшие фигуры по колено в снегу. Он рисовал семьи, скученные в жалких лачугах. Он писал тексты: «Все за одного, один за всех». Дело пошло лучше. К вечеру он забирал обрезки бумаги,

[1] Так называли функционеров ИРМа — Индустриальных Рабочих Мира.

перья и тушь и дома, чтобы отвлечь Малышку от всех этих бед, забавлял ее силуэтными рисунками. «Вот вам, мисс, трамвайная сценка, пассажиры входят и выходят». Ах, она это обожала. Разложила рисунок на подушке и смотрела на него с разных углов. Он вдохновлялся. «Вот вам, мисс, трамвай с нескольких позиций, вы держите все это вместе, а потом щелкаете страничку за страничкой, и вот, пожалуйста: трамвай как бы приближается к вам, как бы останавливается, и люди как бы входят и выходят». Его собственный восторг не уступал Малышкиному. Она взирала на него со столь безоблачным счастьем, что его начала бить творческая лихорадка: творить для собственного ребенка — вот счастье. Он притащил домой еще больше бумажных обрезков. Воображение — его мисс на коньках. За две ночи он сделал сто двадцать силуэтов на страничках величиной с ладонь. Затем соединил их шнурком. «Итак, вы можете, мисс, теперь, отщелкивая страничи вашим маленьким большим пальчиком, видеть самое себя уносящейся на коньках и возвращающейся, выписывающей «восьмерку», кружащейся в пируэте и наконец предлагающей публике очаровательный поклон, каково?» У Тяти глаза были на мокром месте, когда она осыпала его благодарными счастливыми поцелуйчиками. Неужели он ничего не сможет сделать для своей дочурки, кроме этих пустых забав? Неужели у них нет ничего в будущем, кроме нереальных надежд? Она вырастет и проклянет его имя.

Тем временем стачка стала популярной. Репортеры прибывали ежедневно со всей страны. Приходила и помощь из других городов. И все-таки появилась нарастающая слабина в стачечном фронте. Многодетным было нелегко сохранять боевой дух. Возник план отправить детей в другие города на харчи в семьи сочувствующих. Сотни семей в Бостоне, в Нью-Йорке, в Филадельфии выразили готовность их принять. Многие прислали деньги. Стачечный комитет внимательно проверял каждый вариант в отдельности. Родители отправляемых детей подписывали специальную форму. Эксперимент начался. Состоятельные дамы прибыли из Нью-Йорка, чтобы сопровождать первую сотню детей. Каждый ребенок проходил медицинский контроль и получал комплект новой одежды. Они прибыли на Центральный вокзал в Нью-Йорке, словно некая религиозная армия. Их встречала огромная толпа, и у каждого в этой толпе остался в памяти, словно снимок, вид детей, держащихся за руки, с решимостью, без улыбок глядящих прямо перед собой и как будто видящих ужасную судьбу, которая уготовила им индустриальная Америка. Шум в прессе стоял невероятный. Владельцы мануфактур в Лоуренсе уразумели, что из всех стратегических уловок стачечного комитета крестовый поход детей был для них самым опасным. Если допустить продолжение этого дела, национальные чувства качнутся к работягам и тогда придется принимать их требования. Это означало зверское увеличение жалованья до восьми долларов в неделю. Кроме того, работяги стали бы получать приплату за сверхурочную работу и за увеличение скорости станков. Кроме того, и это главное, они не понесли бы никакого наказания за свою стачку. Это было немыслимо. Мануфактурщики-то ведь лучше знали, кто является слугами цивилизации, источниками прогресса и процветания. Во имя блага всей страны и американской демократической системы они решились больше не допускать этих ребячьих шествий.

Тятя в это время мучился сомнениями. Конечно, для Малышки ничего не было бы лучше, как провести сейчас несколько недель в устроенной семье. Ее бы там и кормили как полагается, отогрелась бы, бедняжечка, почувствовала бы вкус нормальной жизни в семье. Но он не мог перенести разлуку с ней. Одна лишь мысль об этом ужасала его. Он отправился поговорить о своих сомнениях с одной женщи-

ной в комитете помощи. Та заверила его, что у них есть множество чудесных семей из рабочего класса, добровольцы с незапятнанной репутацией. «Я был социалистом всю мою жизнь»,— сказал Тятя. «Вот именно,— кивнула женщина,— можете не волноваться».— «Еврейские семьи?» — спросил Тятя. «Найдутся и такие». Ох, он никак не мог заставить себя подписать бумагу. «Мы проверили каждую семью, буквально собирали досье — легкомыслие в таком деле, конечно же, невозможно. Доктор прослушает вашу дочку, уже это одно — вещь стоящая. А горячая пища? Однако самое главное — она узнает, что у ее отца в мире есть друзья. Впрочем, никто вас не принуждает, конечно. Посмотрите через плечо, какая за вами очередь».

Тятя подумал: «Вот оно — рабочее братство в действии, а я размышляю, как жалкий буржуйчик из *местечка*». Он подписал бумагу.

Неделю спустя он провожал Малышку на станцию. В числе двух сотен детей она отправлялась в Филадельфию. На ней была новая накидка и теплая шапочка, закрывающая уши. Он украдкой бросал на нее взгляды. О, как красива. Прямо-таки королевская осанка. Новые вещички радовали ее. Он старался быть небрежным с ней, чтобы не страдать. Она не сказала ни словечка против, когда узнала, что ей предстоит оставить папу. Конечно, это облегчает дело, но если для нее это так легко сейчас, чего же ждать от такого ребенка в будущем? Между тем у Малышки были такие резервы характера, которых нервный Тятя не мог и предположить. Люди обращали на нее внимание. Тятя гордился, хотя и трусил немного. В зале ожидания было столпотворение матерей и детей. «Подходит!» — завопил кто-то, и толпа повалила к дверям. Поезд подходил, шипя и пыхтя в белых парах.

Вагон, резервированный для детей, был в конце состава. Это был поезд линии Бостон — Мэйн с локомотивом «Болдуин-4-6-0». Все двинулись по платформе, во главе процессии выступали дипломированные няни из Филадельфийского женского комитета. «Не забывай вести себя как следует,— напутствовал Тятя дочку.— Если тебя о чем-то спрашивают, тут же что-нибудь отвечай. Говори громко, чтобы тебя услышали». Тут он заметил за углом вокзала на улице длинный ряд милиции в касках, с ружьями на груди. Процессия вдруг остановилась и попятилась. Какое-то смятение возникло впереди. Раздались крики, там и сям неизвестно откуда появились полицейские, толпа неожиданно закружилась в диком круговороте. Изумленные пассажиры выглядывали из окон, а полицаи начали отделять матерей от детей. Они волокли женщин по платформе, пинали их и бросали в армейские грузовики, загодя приготовленные в конце платформы. Дети бросились врассыпную. Женщина с окровавленным ртом. Пар из локомотива, как клочья тумана. Спокойный звон колокола. Другая женщина появилась перед Тятей. Она держалась за живот и пыталась что-то сказать. Тятя поднял дочку и швырнул ее в ближайший вагон. Женщина упала. Тятя подхватил ее под мышки и потащил к скамье. Тут он привлек внимание какого-то полицая, и тот обрушил свою дубинку ему на голову и на плечи. «Что вы делаете?» — вскричал Тятя. Он не понимал, чего хочет от него этот маньяк, но тот гнался за ним и бил без устали. Наконец Тятя упал.

Распоряжение для этой полицейской акции было дано городским шерифом, который категорически запретил детям покидать Лоуренс Массачусетский. Для их же собственной пользы. Теперь несмышленыши ползали на коленях по платформе среди своих распростертых и окровавленных родителей Некоторые бились в истерике. За несколько минут полиция очистила платформу, грузовики отъехали, милиция отмаршировала, и на поле боя остались лишь избитые рыдающие взрослые и плачущие дети. Там был и Тятя. Чтобы собраться с силами, он

схватился за какой-то столб и попытался встать. Он был не совсем в себе. Ему казалось, что он слышит звуки из прошлого. «Тятя, Тятя»,— звал его голос Малышки. Вдруг он осознал, что на платформе как-то неестественно светло. Поезд ушел! Как будто кто-то хлестнул его кнутом, и он тут же пришел в себя. «Тятя, Тятя!» — звал ее голос. Последний вагон отошедшего поезда был уже за платформой, но почему-то еще не двигался. Он побежал к нему. «Тятя! Тятя!» Тут, конечно, поезд начал медленно двигаться. Тятя побежал по шпалам. Он бежал спотыкаясь, с протянутыми руками. Схватился за перила смотровой площадки в хвосте поезда. Поезд набирал скорость. Ноги отрывались от земли. Шпалы под ним уже сливались в темную несущуюся полосу. Он то пытался коснуться ногой полотна, то подтягивал колени и, наконец, повис, просунув голову между прутьями решетки, словно узник, алчущий свободы.

17

Тятю спасли два кондуктора. За руки и за штаны они втащили его на смотровую площадку, но прежде им пришлось при помощи рычага вытаскивать его пальцы из решетки. Малышка оказалась в поезде, и он, не обращая внимания на окружающих, сгреб ее в жадные объятия и зарыдал. Потом он заметил пятна крови на ее новой одежонке. «Куда ты ранена,— страшно закричал он,— куда ты ранена?» Она покачала головой и пальцем показала на него самого. Тогда до него дошло, что он испачкал ее своей собственной кровью. Она текла из его головы, скальп был разодран, и седые волосы становились черными прямо на глазах.

Оказавшийся, по счастью, в поезде доктор облегчил Тятины страдания и сделал ему укол. После этого он не очень-то отчетливо представлял происходящее. Он спал поперек двух кресел, сунув руки под голову. Он чувствовал или сознавал, что поезд движется, а дочь сидит напротив. Она смотрела в окно. Они были единственными пассажирами в специальном вагоне до Филадельфии. Иногда до него долетали какие-то неразличимые голоса, но он никак не мог побудить себя понять их. В то же время он совершенно отчетливо видел Малышкины глаза, в которых медленно продвигались снежные холмы. Таким образом он и проехал до Бостона, а потом до Нью-Хейвена, через Вустерское Ржаное и Нью-Рошелл, через паровозные поля Нью-Йорка, через реку в Нью-Джерси и наконец в Филадельфию.

Здесь два наших беженца нашли скамью на станции и на ней провели ночь. Тятя был еще не в себе. К счастью, в кармане у него оказалась часть недельной получки, отложенная в уплату за квартиру. Малышка сидела рядом на отполированной скамье и с интересом наблюдала петлянье людишек по огромной станции. Был ранний час, и уборщик, толкая огромную щетку, обихаживал мраморный пол. Как обычно, казалось, что Малышка абсолютно спокойна и полностью принимает новую обстановку. У Тяти же голова раскалывалась. Распухшие руки зудели. Он не знал, что делать. Мысли отсутствовали. Однако они были теперь в Филадельфии.

Утром он подобрал выброшенную газету. На первой полосе был подробный отчет о полицейском терроре в Лоуренсе Массачусетском. Обнаружив вдруг в кармане сигареты, Тятя закурил и стал читать. Передовица призывала федеральное правительство расследовать это возмутительное бесчинство. Было ясно теперь, что стачечники победили. Ну и что дальше? Ему послышалось клацанье ткацких станков. Шесть долларов с мелочью в неделю. Нет-нет, эта страна не даст ему ни дохнуть, ни выдохнуть. Нет никакого смысла возвращаться в Лоу-

ренс, ни малейшего. Плевать на оставшиеся пожитки, на это тряпье, плевать. «Что у тебя тут с собой?» — спросил он у дочки. Она показала ему содержимое своего ранца: исподнее бельишко, гребешок, щетка, шпильки, подвязки, чулки и книжки с силуэтами его собственного производства — трамвай и фигуристка. Быть может, с этого момента Тятя начал ощущать, как его жизнь неумолимо отделяется от судьбы рабочего класса. «Я ненавижу машины»,— заявил он своей дочери. Он встал, и она встала, они взялись за руки и пошли искать выход. Да, кто спорит, ИРМ выиграл, но что он выиграл — несколько грошей в получку. Будет ли он теперь владеть мануфактурой? Хотите знать ответ? Нет, не будет.

Совершив утренний туалет в общественных уборных, они позавтракали в станционном кафе булочками и кофе, а затем провели весь день, шляясь по улицам Филадельфии. Милое дело — разглядывать витрины, а если ноги замерзнут, можно зайти в универмаг отогреться. Это был огромный торговый центр, все проходы которого кишели покупателями. Малышку заинтересовали проволочные ящички, что двигались по тросу над прилавками. В них перемещались деньги и чеки — от приказчика к кассиру и обратно. Приказчик дергал за ручку — и коробочка снижалась ему в руки, дергал другую — и коробочка уплывала вверх. А манекены-то, манекены, похожие на разросшихся кукол в атласных тогах и широкополых шляпах, украшенных перьями белой цапли. «Одна такая шляпка, и поцелуйте ваше недельное жалованье»,— сказал Тятя.

Позже, на другой улице, они увидели длинный ряд зданий с платформами, прямо к которым подходили железнодорожные рельсы. Витрины оптовых компаний представляли мало интереса, однако Малышка вдруг застыла у одной из них, где за грязным стеклом были выставлены безделушки, изобретения Франклинской компании новинок, высылающей товар по почте. В это время бизнесмены стали извлекать доход из так называемых «новинок», пустив на поток разного рода дубовые шуточки и «магические трюки». Резиновые розы для лацкана, брызгающие струйками воды; коробочки с чихательной пудрой; телескопы, оставляющие черный кружок вокруг глаза; взрывающиеся колоды карт, стеклянные прессы, в которых идет снег, если их потрясти; магические кольца, резиновые египетские танцовщицы; сонники; взрывающиеся сигары; взрывающиеся спички; взрывающиеся самописки; взрывающиеся часы; взрывающиеся яйца.

Тятя смотрел на эту витрину гораздо дольше Малышки, а когда она потянулась уйти, он, напротив, ввел ее внутрь. Он снял шляпу и обратился к мужичку в полосатой рубашке с резинками на рукавах. «Ну-ну,— дружелюбно сказал тот,— дайте-ка глянуть». Тятя вытащил из Малышкиного ранца книгу с фигуристкой. Он держал книгу на расстоянии вытянутой руки и щелкал страницами. Маленькая фигуристка катила прямо на вас, а потом удалялась, выписывала «восьмерку», кружилась в пируэте, отвешивала грациозный поклон. Брови у хозяина поползли вверх. «Дайте-ка мне попробовать».

Часом позже Тятя вышел с двадцатью пятью долларами наличными и с контрактом еще на четыре книжки по двадцать пять долларов каждая. Франклинская компания новинок собиралась начать выпуск этих «кинокнижек». «Пошли,— сказал Тятя своему единственному ребенку,— мы снимем сейчас комнату в хорошем квартале, накупим еды и примем ванну».

18

Итак, жизнь нашего художника влилась теперь в поток американской энергии. Работяги бастовали и умирали, но на городских улицах

свободный предприниматель готовил в ведре с горящими углями сладкий картофель и продавал его тут же за пару грошей. Улыбчивый шарманщик тоже имел свою булку с маслом. Фил-Скрипач в перчатках с обрезанными пальцами и в дождь и в вёдро выпиливал свою житуху под окнами особняков. Фрэнки-Чистоган пялил зенки на дочек уолл-стритовских деляг, увлекающихся конным спортом. По всему континенту купцы нажимали большие круглые клавиши кассовых машин. Очень ценилось тождество. Каждый город желал иметь свой фонтанчик бельгийского мрамора, дабы вкушать рядом мороженое и содовую воду. Дантист Паркер повсюду предлагал совершенно безболезненно вылечить зубы. В Хайленд-Парке, штат Мичиган, первый автомобиль модели «Т» шатко съехал с конвейерной линии в траву под ясными небесами. Черный и нескладный коробок, высоко стоящий над землей. Изобретатель смотрел на него издали. Котелок-«дерби» на затылке. Челюсти пережевывают соломинку. В левой руке карманные часы. Работодатель множества людей, среди которых порядочно иностранцев, он твердо верил, что большинство человеческих существ тупы и неспособны к достойной жизни. Он изобрел и разработал идею разбивки рабочих операций на простейшие элементы так, чтобы любой олух мог их производить. Вместо того чтобы обучать каждого сотням всяких манипуляций, связанных с постройкой автомобиля, вместо того чтобы таскаться туда-сюда за разными деталями, почему бы этому каждому не стоять на одном месте, делая одну и ту же операцию снова и снова, между тем как детали будут проплывать мимо него на движущихся ремнях. В этом варианте мы совершенно независимы от умственных способностей трудящегося. Человек, который всовывает винт, не накидывает на него гайку, так говорил изобретатель своим сотрудникам. Человек, который накидывает гайку, не закручивает ее. Идея этих движущихся поясов озарила его однажды на бойне, где он увидел, как коровьи туши, висящие на стропах, проплывают над головами мясников. Он передвинул языком соломинку из одного угла рта в другой и посмотрел на часы. Часть его гения состояла в том, что он казался своим сотрудникам и своим конкурентам не таким смекалистым, как они сами. Носком ботинка он повозился в траве. Ровно через шесть минут идентичный автомобиль появился на съезде, задержался на один момент, словно показываясь холодному утреннему солнцу, а потом скатился вниз и стукнулся в задок первача. До этого Генри Форд был простым производителем машин. Сейчас он испытал такой мощный экстаз, какого до него не сподобился ни один американец, не исключая и Томаса Джефферсона. Он заставил машину повторять саму себя до бесконечности. Производители работ, менеджеры и помощники ринулись к нему с рукопожатиями. На их глазах были слезы. Он выделил шестьдесят секунд на выражение чувств, а затем отослал всех по рабочим местам. Он знал, что можно внести еще множество улучшений, и он был прав. Контролируя скорость конвейера, он может контролировать уровень выработки. Он вовсе не хотел, чтобы рабочий горбатил больше, чем надо. Каждая секунда должна быть необходима для работы, но ни одной секундой больше. Исходя из этих принципов, Форд установил конечную задачу индустриального производства — не только части продукции должны быть внутризаменяемы, но и люди, выпускающие эту продукцию, должны быть внутризаменяемы. Вскоре он начал выпускать три тысячи «тачек» в месяц и продавал их во множестве. Ему предстояло прожить долгую и активную жизнь. Он любил животных и птиц и среди своих друзей называл Джона Бэрроуза, старого натуралиста, изучавшего жизнь скромных лесных тварей — суслика и енота, крапивника и черноголовой синицы чикади.

19

Достижения Форда не вознесли его, однако, на вершину пирамиды, ибо вершина была уже занята другим человеком.

Конторы компании Джей Пи Моргана помещались в № 23 по Уолл-стрит. Однажды утром великий финансист приехал на работу одетый, как обычно, в темно-синий костюм, черное пальто с каракулевым воротником и цилиндр. Ему нравилось быть слегка старомодным. Когда он вышел из лимузина, автомобильная штора упала к его ногам. Один из нескольких банковских служащих, бросившихся ему навстречу, распутал штору и повесил ее с внутренней стороны дверцы. Шофер рассыпался в благодарностях. Тут еще и переговорная трубка слетела со своего крючка, и другой служащий водрузил ее на место. Престраннейшие падения каких-то никчемных предметов, почему-то привлекшие особое внимание автора. Пока Морган маршировал в свой банк, помощники, подручные и даже некоторые из клиентов вились вокруг, как птицы. Морган постукивал тростью с золотым набалдашником. Это был один из дней семьдесят пятого года его жизни. Дородный шестифутовый мужчина с большой головой в редких седых волосах, с белыми усами и яростными глазами, посаженными столь близко друг к дружке, что можно было предположить некоторую психопатологию. Благосклонно принимая почтительные поклоны служащих, он прошагал в свой кабинет, скромную комнату со стеклянными стенами на основном этаже банка, откуда он был виден каждому, да и этот каждый, между прочим, чувствовал на себе его глаз. Он отдал шляпу и пальто. Воротничок крылышками и галстук-фуляр. Водрузившись за столом, он не обратил в это утро внимания на депозитные счета, с которых обычно начинал свой день, но сказал помощникам: «Я хочу познакомиться с этим жестянщиком, ну как его, этого малого, Форд».

Он почувствовал в размахе фордовских дел жажду власти, столь же имперской, сколь его собственная. Это был первый знак того, что он может быть не одинок на этой планете. Пирпонт Морган был классический американский герой. Человек, рожденный в исключительном достатке, тяжким трудом и безжалостными кулаками преумножил семейный капитал за пределы всякой видимости. Он контролировал 741 директорат в 112 корпорациях. Однажды он предоставил заем правительству Соединенных Штатов, что спасло данные Штаты от банкротства. Мановением руки, а также ввозом сотни миллионов в золотых слитках он остановил панику 1907 года. В собственных поездах и яхтах он пересекал все границы и повсюду в мире чувствовал себя как дома. Монарх невидимой транснациональной империи капитала, чей суверенитет был признан повсюду. Он был своего рода ниспровергателем, оставлявшим королям только их территории, но забиравшим у них железные дороги и корабельные линии, банки и тресты, заводы и прочие полезные вещи. Годами его окружали компании друзей, дружков, знакомых, которых он всех в грош не ставил. Он был бесконечно разочарован. Повсюду мужчины склонялись перед ним, а женщины себя позорили. Лучше чем кто-либо он знал холод и опустошение неограниченного успеха. Обычные проявления ума и инстинкт сделали его за последние пятьдесят лет сверхвыдающейся личностью в делах разных стран, но он думал о человечестве в целом. Была, впрочем, одна вещь, напоминавшая всем — и ему в первую очередь — о его человеческой природе: хроническая кожная болезнь, колонизировавшая его нос и превратившая этот орган в своего рода гигантскую клубнику, подобную премированным сортам калифорнийского волшебника-селекционера Лютера Бэрбанка. Это огорчение яви-

лось к нему, когда он был еще молодым мужчиной. Он становился все старше и богаче, а нос все больше. Он научился одним взглядом осаживать людей, которые глазели на *это*, но сам всю жизнь ежедневно, вставая, экзаменовал *это* в зеркале, находя, разумеется, *это* отвратительным, но в то же время испытывая странное удовлетворение. Ему казалось, что всякий раз, когда он делал удачные приобретения, или манипулировал закладными, или захватывал новую отрасль индустрии, еще одна почечка на *этом* лопалась и распускалась в ярко-красном цветении. Его любимой историей в литературе было сочинение Натаниэла Готорна «Родимое пятно», которое повествовало об исключительно прелестной женщине, чья красота была бы полной, если бы не маленькая родинка на щеке. Ее муж, ученый, разработал средство для того, чтобы избавить ее от этого несовершенства. Она выпила лекарство — и что же: родинка стала исчезать, но когда ее последние смутные очертания растаяли и кожа очистилась, дама тут же умерла. Морган считал свой чудовищный нос прикосновением господа, знаком вечности. Это было его самое твердое убеждение.

Однажды он устроил обед в своей резиденции на Мэдисон авеню в честь дюжины самых могущественных персон Америки. Он полагал, что собранная вместе энергия их умов может выгнуть стены его дома. Рокфеллер напугал его известием о своем хроническом запоре и о том, что большинство идей приходит к нему теперь в туалете. Карнеги задремал над своим бренди. Гарриман исторгал банальности, вздор. Собранной вместе элите не о чем было говорить. Это устрашило Моргана. Сердце дрогнуло. Электрические ветры вселенской пустыни прошли через его мозг. А ведь он приказал слугам увенчать лавровыми венками эти черепушки. Без исключения, вся дюжина могущественнейших американцев выглядела ослами, более того, ослиными жопами. Единственное, что в них было, это помпезность, уверенность, что богатство дает им право на значительность. Их бабы боялись улыбнуться. Настоящие ведьмы. Они сидели на своих солидных драпированных задницах, груди нависали над декольте. Ни единой унции смысла. Ни огонька в глазах. Верные супружницы больших человеков. Сознание своего значения высосало всю жизнь из их телес. Не показывая своих чувств, Морган спрятался за привычное свирепое выражение. Был призван фотограф. Вспышка — торжественный момент зафиксирован.

Погрузившись на «Океаник», лайнер компании «Белая звезда», он сбежал в Европу. Ну, понятное дело, он объединил «Белую звезду», «Красную звезду», «Американ», «Доминион», «Атлантический транспорт» и «Лейленд» в одну компанию со 120 океанскими судами, потому что презирал всяческое рвачество на море, как и на суше. Ночью он стоял опершись на борт парохода, слушая взбухание и опадание тяжелого океана, чувствуя его близость, но не видя его. Море и небо были неразличимы в темноте. Нечто вроде чайки вымахало вдруг из мрака, должно быть, привлеченное его носом, и село на поручень невдалеке. «Мне нет равных»,— горько сказал Морган этой птице. Недискутабельная истина. Так или иначе, он катапультировал себя за пределы мировой системы ценностей. Этот факт, однако, как бы накладывал на него священную ответственность поддерживать иллюзии в мужчинах по всему миру. Масса ответственности. Для епископальной братии он построит собор святого Иоанна Богослова на 110-й улице в Нью-Йорке. Для собственного семейства он всегда будет обеспечивать видимость благопристойной домашней тягомотины. Ради благополучия своей страны он будет жить, как ни одному гранду не снилось, обедать с королями, скупать искусство в Риме и

Париже или появляться столь гармонично в окружении красивых спутниц в Экс-ле-Бене.

Короче, Морган держался в образе. Половину каждого года он проводил в Европе, величественно передвигаясь из одной страны в другую. Трюмы его кораблей были заполнены коллекциями живописи, редких манускриптов, первых изданий, бронзы, нефрита, автографов, гобеленов, кристаллов. Он вглядывался в глаза рембрандтовских бюргеров и прелатов Эль Греко, тщась найти в них царство истины, свет которой поверг бы его на колени. Палец его копался в иллюстрированных текстах средневековых библий, будто стараясь извлечь оттуда истинную пыль Божьего Града. Он чувствовал: если есть в природе некое высшее знание, то надо его искать в прошлом. Он был полностью убежден в банкротстве настоящего. Он сам и был настоящим. Он нанимал экспертов для поисков искусства прошлого и ученых мужей, которые толковали бы ему древние цивилизации. Все дальше и дальше уходил он от фламандских гобеленов. Римская скульптура. Акрополь. Камешки из-под ног. Отчаянные изыскания неизбежно вели его к цивилизации Древнего Египта, где знали, что вселенная неизменна и за смертью тут же следует возобновление жизни. Он был увлечен. Какой поворот в размышлениях! Тут же была основана египетская археологическая экспедиция музея «Метрополитен». Он не пропускал мимо своего внимания ни одной стелы, ни одного амулета или сосуда с потрохами. Он лично отправился в Долину Нила, где солнце никогда не устает вставать в ослепительном сверкании, а река с не меньшим усердием затопляет берега. Морган врубался в клинопись. Однажды вечером он покинул свой отель в Каире и отправился на спецтрамвае за семь миль к Великим Пирамидам. В ясном синем свечении луны он услышал от местного гида некую мудрость, отнесенную к Осирису Великому. Есть священное племя героев, компания богов, которые совершенно регулярно рождаются в каждом веке, чтобы вести за собой человечество. Эта идея потрясла его. Чем больше он думал, тем более осязаемо он это ощущал. Именно тогда, вернувшись в Америку, он стал думать о Генри Форде. У него не было иллюзий, что Форд — джентльмен. Напротив, он считал его деревенщиной, невежественным, как полено. Однако он находил в фордовском умении использовать людей что-то от фараонов. Не только это, впрочем: изучая фотографии производителя автомобилей, он находил в нем необычайное сходство с Сети Первым, отцом великого Рамсеса, наиболее сохранившейся мумией из откопанных в некрополе Фив, что в Долине царей.

20

Резиденция Моргана в Нью-Йорке находилась на Мэдисон авеню, северо-западный угол 36-й улицы — величественный дом бурого кирпича. К нему примыкала беломраморная библиотека, которая была построена для размещения тысяч книг и произведений искусства, собранных во время его путешествий. Разработано это было в стиле итальянского Возрождения Чарльзом Маккимом, партнером Стэнфорда Уайта. Мраморные блоки были подогнаны без раствора. Снег казался темнее мраморных стен, как заметил Форд, когда прибыл сюда на ленч. Все звуки города были приглушены снегом. У дверей резиденции дежурил полицейский. На углах торчали зеваки с поднятыми воротниками — всегда они ошивались возле дома великого человека.

Морган заказал легкий ленч. Вдвоем без особых разговоров они вкушали авокадо, суп из черепахи, «монтраше», седло барашка, «шато латур», свежие помидоры и эндивии, пирог с ревеневым вареньем, залитый густым кремом, и кофе. Волшебный сервис: блюда

появлялись и исчезали, слуги действовали так незаметно, будто все это и не человеческих рук дело. Форд жевал отлично, но к вину не притронулся. Финишировал раньше хозяина. Вполне откровенно пялился на Моргановский носище. Нашел на скатерти хлебную крошку и деликатно поместил ее на кофейное блюдце. Пальцы его праздно терли золотую тарелку.

Завершив ленч, Морган предложил Форду проследовать в библиотеку. Они вышли из столовой и прошли через приемную, где сидело несколько человек в надежде перехватить хоть несколько мгновений Джона Пирпонта. Это были его юристы. Они должны были обсудить с хозяином предстоящий визит в Комиссию палаты представителей по делам банков и финансам. Морган отмахнулся, когда они вскочили ему навстречу. Был здесь также делец-искусствовед в сюртуке, только что прибывший из Рима. Последний встал, только чтобы поклониться.

Ничто из этого не ускользнуло от Форда. Он был человеком домотканых вкусов, однако вовсе не отвергал того, что он полагал императорским двором, отличавшимся от его собственного лишь по стилю. Морган привел его в огромную Западную комнату библиотеки. Здесь они уселись по разные стороны высоченного, в человеческий рост, камина. «Подходящий день, чтобы посидеть у огня»,— сказал Морган. Форд согласился. Были предложены сигары. Форд отверг. Он заметил, что потолок позолочен. Стены затянуты красным дамастом. Забавные картины за стеклом в тяжелых рамах — портреты желтоватых душевных людей с золотыми нимбами. В те времена никто, кроме святых, не мог заказать себе портрета. Мадонна с младенцем. Пальцы Форда пробежались по подлокотнику красного плюша.

Морган дал ему освоиться. Он попыхивал сигарой. Наконец он заговорил. «Форд,— сказал он грубовато,— у меня нет интереса к вашему бизнесу или к дележу доходов, нет и ничего общего с вашими конкурентами». Форд кивнул. «Недурные новости»,— сказал он с хитреньким блеском в глазах. «Тем не менее я восхищаюсь вашими делами,— продолжал хозяин,— и хотя меня подташнивает при мысли, что теперь любой монголоид, зажавший несколько сот долларов, может иметь авто, я признаю, что будущее — за вами. Вы еще молодой человек — пятьдесят или что-то в этом роде? — и, возможно, вы лучше меня понимаете, что надо заниматься специально мобилизацией людских масс. Я потратил всю жизнь на стягивание капиталов и гармоническую комбинацию отраслей индустрии, но я никогда не считал, что использование рабочей силы может являться само по себе чем-то гармоническим и объединяющим, независимо от предприятия, где это происходит. Разрешите мне задать вам вопрос. Когда-нибудь вам приходило в голову, что ваша сборочная линия не только признак индустриального гения, но и проекция органической истины? Куда ни кинь, внутризаменяемость частей — это закон природы. Индивидуумы участвуют в создании своих видов и своих генов. Все млекопитающие воспроизводятся одним и тем же путем, у них одна и та же система питания, пищеварения, циркуляции, те же самые органы чувств. Очевидно, нельзя сказать, что млекопитающие имеют внутризаменяемые части, как ваши автомобили, но именно схожесть позволяет классифицировать их как млекопитающих. И внутри видов — к примеру, человек — законы природы действуют таким образом, что наши различия возникают на базе нашей схожести. Таким образом, индивидуализацию можно сравнить с пирамидой, которая завершается лишь после водружения верхнего камня».

Форд варил мозгами. «Окромя евреев»,— пробормотал он. Моргану показалось, что он ослышался. «Простите?» — «Евреи,— сказал

Форд.— Эти ни на кого не похожи. Они-то могут вашу теорию спустить в сортир». Он улыбнулся.

Морган молчал. Он курил сигару. Огонь потрескивал в камине. Ветер бросал заряды снега в окна библиотеки. Морган заговорил снова: «Время от времени я подряжаю ученых мужей помочь мне в философских изысканиях, я надеюсь прийти к какому-то заключению о жизни, которое вне досягаемости человеческих масс. Я предлагаю разделить плоды моих изысканий. Надеюсь, вы не столь наглы, чтобы считать ваши достижения результатом только ваших собственных усилий. Если же вы рассматриваете свой успех именно таким образом, я предупредил бы вас, сэр, об ужасной цене, которую вам придется заплатить. Вы сядете на мель, окажетесь на краю мира, и ни один человек не появится перед вами в пустоте небесного свода. Вы верите в бога?» — «Это уж мое личное дело»,— сказал Форд. «Отлично-отлично,— сказал Морган,— я и не ожидал, что человек вашего склада может охватить такую общую идею. Вы, может быть, нуждаетесь во мне больше, чем вы думаете. Предположите, что я мог бы доказать существование всеобщих законов приказания и повторения, которые дают смысл всей деятельности на этой планете. Предположите, я мог бы продемонстрировать вам, что вы являетесь инструментом перенесения в наш современный мир тенденций человеческого тождества, которые подтверждают старейшую мудрость в мире».

Морган внезапно встал и вышел из комнаты. Форд повернулся на стуле. Старик стоял в дверях и энергичным жестом поманил его к себе. Форд пошел за ним через центральный холл библиотеки в Восточную комнату, стены которой были покрыты книжными полками. Там были два верхних яруса с променадами, стекло и полированная медь, так что можно было, невзирая на высоту, легко вытащить любую книжицию. Морган прошел к дальней стене, нажал корешок какой-то книги, и тогда часть полок отъехала в сторону, открыв проход, через который свободно мог пройти человек. «Прошу вас»,— сказал он Форду и, проследовав за ним в маленькую комнату, нажал кнопку, после чего полки встали на место.

В комнате стоял скромняга-стол, круглый и полированный, два стула с высокими спинками и шкаф со стеклянным верхом для демонстрации манускриптов. Морган включил настольную лампу под зеленым абажуром. «Ни одна душа не заходила еще сюда вместе со мной»,— сказал он. Включил торшер, и стеклянный шкаф осветился снизу. «Подойдите, сэр»,— сказал он. Форд увидел за стеклом древний пергамент, покрытый латинской каллиграфией. «Перед вами фолио одного из первых текстов розенкрутцеров,— сказал Морган,— «Химическая свадьба христианина Розенкрутца». Вы знаете, кто такие были настоящие розенкрутцеры, мистер Форд? Это были христиане-алхимики в Рейнском Пфальцграфстве при курфюрсте Фридрихе Пятом. Мы говорим сейчас о начале семнадцатого века, сэр. Эти великие и добрые люди провозглашали идею таинственного и благого начала, живущего в каждой эпохе в определенных людях, чья задача — приносить пользу всему человечеству. По-латыни это звучит как prisca theologia и обозначает тайную мудрость. Странная вещь, но эта вера была не только у розенкрутцеров. Мы знаем, что в Лондоне в середине того же столетия существовало общество, называвшееся «Невидимая коллегия». Его члены были носителями того же благого начала, о котором я говорю. Вы, конечно, ничего не знаете о писаниях Джордано Бруно, а между тем вот здесь имеется образчик — страница, написанная его собственной рукой. Мои грамотеи проследили все это дело, как хорошие сыщики, и выяснили существование этой идеи и тайных обществ, поддерживавших ее, в большинстве культур Ренессанса, в

средневековье и в Древней Греции. Надеюсь, вы не потеряли нить моей мысли? Первейшее записанное упоминание об особых людях, рождающихся в каждом веке, с их prisca theologia для облегчения страданий человечества, пришло к нам из греческого перевода трудов египетского жреца Гермеса Трисмегистуса. Именно Гермес дал имя этому оккультному знанию — герметика.— Толстым указательным пальцем Морган припечатал еще один участок стекла на своем шкафу, где виден был кусок розового камня с еле заметными геометрическими начертаниями.— Это, сэр, быть может, образчик подлинного письма Гермеса, сделанного клинописью. А теперь разрешите мне вас спросить. Почему вы полагаете, что идея, имевшая хождение в каждом веке, при всех цивилизациях, исчезла в нынешние времена? Только потому, что век науки вышвырнул этих людей и их мудрость за пределы видимости? Я отвечу вам: подъем механической науки, все эти Ньютоны и Декарты, был великим заговором мировой дьявольщины — заговором, чтобы разрушить наше представление о реальности и нашу уверенность в существовании среди нас трансцендентально одаренных персон. Тем не менее они есть среди нас. В каждом веке они среди нас. Они возвращаются, вы понимаете? Они возвращаются!»

Морган пылал от возбуждения. Он показал Форду в дальний угол комнаты, где тот увидел еще какой-то предмет мебели — что-то прямоугольное, покрытое бархатом с золотом. Морган зажал угол этого покрывала в кулак и, со свирепым триумфом глядя на своего гостя, сдернул его и швырнул на пол. Форд обследовал эту штуку. Стеклянный чемоданище, запаянный свинцом. Внутри был саркофаг. В комнате слышалось только жесткое взволнованное дыхание старика. Саркофаг был сделан вроде бы из алебастра, а на верхушке имелось изображение того приятеля, который лежал там внутри. Изображение сделано золотым листом, красной охрой и синей краской. «Вот это, сэр,— проговорил Морган хрипло,— это гроб великого фараона. Египетское правительство и весь археологический мир уверены, что он находится в Каире. Если бы узнали, что я завладел им, поднялся бы шум на весь мир. У этой вещи буквально нет цены. Мои египтологи обеспечили полную сохранность от действия воздуха. Под маской, которую вы видите, мумия великого фараона Девятнадцатой династии Сети Первого, извлеченная из храма Карнака, где она пролежала больше трех тысяч лет. Я покажу это вам со временем. Дайте мне только увериться, что зрелище великого владыки будет представлять для вас интерес».

Моргану необходимо было восстановить силы. Он подтянул стул и сел к столу. Медленно его дыхание приходило в норму. Форд сел напротив и со всем почтением к физическим трудностям преклонного возраста тихо взирал на собственные ботинки. Коричневые зашнурованные ботинки, купленные по каталогу Эл Эл Бина. Отличная, удобная обувь. «Мистер Форд,— сказал Морган,— я хочу пригласить вас в экспедицию по Египту. Это, знаете ли, место, сэр! Оттуда все пошло. У меня будет пароход, построенный специально для плавания по Нилу. Вы поедете? Это не потребует от вас никаких затрат. Мы должны дойти до Луксора и Карнака, до Великой Пирамиды в Гизе. Нас так мало, сэр. Мои деньги привели меня к дверям определенных криптов, расшифровали священные иероглифы. Почему же нам не получить удовлетворение от познания того, кто мы есть и что такое вечная благая сила, которую мы воплощаем?»

Форд сидел слегка ссутулившись. Его длинные руки лежали на ручках кресла, будто сломанные в запястье. Он оценивал все то, что было сейчас сказано. Посмотрел на саркофаг. Наконец, когда он ре-

шил, что все понял, он торжественно кивнул и заговорил в ответ: «Если я вас правильно понимаю, мистер Морган, вы тут толкуете о перевоплощении. Ну, хорошо, дайте-ка я вам теперь скажу кое-что об этом. В молодые годы у меня был уж-жасающий кризис вот здесь, в душе, я так подумал, что у меня нет призвания к тому, что я делаю. Кремешок-то во мне был олл-райт, выдержка была, но я был обычный деревенский мальчик, дальше своей хрестоматии ничего не видел. Вообще-то я знал про все, как что работает. Бывало, посмотрю на что-нибудь и сразу говорю, как это работает, а может, даже и покажу, как заставить эту штуку работать лучше. Однако интеллектуалом я не стал, вы понимаете, просто не было терпенья к этим позолоченным словечкам».

Морган слушал, боясь пошевелиться.

«Ну, что дальше,— продолжал Форд,— дальше случилось мне вытянуть где-то маленькую книжонку «Вечная мудрость восточных факиров», так, значит, называется, а выпущена Франклинской компанией новинок, что в Филадельфии, штат Пенсильвания. И в этой книженции, которая стоила мне двадцать пять центов, я нашел все, в чем нуждался, чтоб успокоить свою башку. Перевоплощение — это единственное, во что я верю, мистер Морган. Я лично свой гений объясняю, значит, таким образом: некоторые из нас живут чаще, чем другие. Так вот, видите, вы тратили свои денежки на разных грамотеев и путешествия ради того, что я уже знал. И я вам вот еще что скажу, в благодарность за угощение: я вам, пожалуй, одолжу почитать свою книжонку. Чего вам суетиться со всеми этими латинскими штуками, таскать мусор ведрами из Европы, строить пароходы, чтоб плавать по Нилу и искать то, что вы по почте получите за два куска?»

Мужчины смотрели друг на друга. Морган откинулся на стуле. Кровь ушла из его лица, и ярость в глазах померкла. Когда он заговорил, это был голос слабого старика. «Мистер Форд,— сказал он,— если моя теория выживет после соприкосновения с вами, значит, она выдержала последнее испытание».

Тем не менее лед тронулся. Через год после этого экстраординарного свидания Морган совершил путешествие в Египет. Хотя Форд и не поехал с ним, он признал возможность своего священного происхождения. Вместе они основали самый секретный и эксклюзивный клуб в Америке — «Пирамида», единственными членами которого были они сами. Клуб финансировал определенные поиски, которые упорно продолжаются и по сей день.

(Окончание следует)

ЭДНА О'БРАЙЕН

Рассказы

Перевод с английского Е. Элькинд

Коврик

Я встала коленями на новенький линолеум и ощутила этот странный запах. Он был густой и липкий. Впервые он возник, связавшись с чем-то определенным в моем представлении, когда мне было девять лет. Впоследствии я узнала, что так пахнет льняное масло, но и теперь еще, если меня врасплох застанет этот запах, я могу вдруг почувствовать какое-то волнение и легкую грусть.

Я выросла на западе Ирландии. В фермерском доме из дикого камня. Дом этот перешел к отцу по наследству от его отца. Отец у нас был из семьи зажиточных «долинных» фермеров, мать — из бесплодного, ветром продутого края холмов, стоящих над широким озером. Детьми мы играли в рощице рододендронов — густо разросшихся, перепутанных и поломанных коровами, вечно чесавшимися о стволы,— вокруг дома и у дороги. Дорога за воротами была в таких колдобинах, что проезжавшие машины, виляя, то и дело забирали прямо на пашню.

Но хоть вокруг все приходило в запустение и поросло чертополохом и крестовником, войдя в дом, незнакомец бывал поражен. Пускай отец растрачивал бесцельно свои дни, глядя, как с крыш сараев оползают шиферные плитки,— этот крепкий приземистый «долинный» дом из камня был отрадой и гордостью моей матери. Он всегда сиял чистотой. Он был битком набит вещами: мебелью, фарфоровыми собачками, кружками «Тоби»[1], кувшинами, подносами, настенными дорожками и всякой всячиной. В каждой из четырех спален были картины религиозного содержания и золоченые завитушки резьбы над камином. В каминах разложены были бумажные веера или крышки коробок из-под шоколадных конфет. А на каминных полках точно так же шли тесным рядом восковые цветы, статуэтки святых, неисправные будильники, витые раковины-пепельницы, фотографии, овальные подушечки для булавок...

Отец мой был щедр, неразумен и до того бездеятелен, что это можно было объяснить разве каким-то органическим недостатком. В тот год, когда мне было девять лет и я впервые познала этот странный запах, отец продал еще одну лужайку на покрытие очередного

[1] Кружка для эля в виде толстяка в треуголке. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

долга,— и в первый раз за много лет в руках у мамы оказалась кругленькая сумма.

Однажды мама очень рано вышла из дому, чтобы не упустить автобус, уходящий в город, и целый день ходила по жаре, разглядывая в магазинах линолеум. Вернувшись вечером и с облегченьем сбросив туфли на высоких каблуках, она сказала, что купила восхитительный линолеум: оранжевые шашечки по бежевому полю.

В назначенный день к нашим воротам доставлены были четыре огромных рулона, и Хики — помощник у нас на ферме — запряг в телегу лошадь, чтобы подвезти их к дому. Мы все пошли за ним — такое возбуждение охватило нас. Телята потянулись за телегой, решив, наверное, что их покормят у дороги. Они то отбегали в сторону широкими скачками, то прибегали снова, теснясь и напирая друг на друга. Был теплый, тихий день. Явственно долетали звуки машин и голоса соседских собак, а коровьи лепешки на дороге были сухие и бурые, как табачное крошево.

Мама толкала и тянула больше всех, пока рулоны водворили наконец на место. Она рано смирилась с тем, что ее удел в жизни — *такая* работа.

Должно быть, она подкупила Хики, пообещав выделить ему куриц для продажи, и он остался настилать с нами линолеум (обыкновенно он уходил в деревню пропустить пинту-другую портера). Мама, конечно, всегда сохраняла газеты; она сказала, что чем больше положить их под линолеум, тем дольше он прослужит. Стоя на четвереньках, она вдруг подняла лицо — усталое, красное, счастливое — и сказала:

— Помяни мое слово: когда-нибудь тут еще будет ковер.

Сколько мы вымеряли и спорили, пока уложили линолеум в трудных местах: у камина, оконных ниш и дверных проемов... Хики сказал, что без него мать провалила бы все дело. За разговорами и спорами забыли, что меня давно уж следовало отослать в постель. Папа провел на кухне возле печки целый вечер, пока мы возились. Потом он вышел и сказал, что нами сделана огромная работа.

— Огромная работа! — сказал он.

У него все это время была мигрень.

Следующий день, видимо, приходился на субботу, потому что я все утро сидела в зале, любуясь на линолеум, вдыхая его запах, считая оранжевые шашечки. Предполагалось, что я вытираю пыль. По временам я поправляла штору — смотря по тому, как менялось положение солнца,— а то мог бы поблекнуть оранжевый цвет.

Залаяли собаки, и у дома слез с велосипеда почтальон. Я выбежала и увидела, что он несет нам пухлую посылку. Мама была на ферме — возилась с курами. Как только он уехал, я пошла сказать ей.

— Посылка? — удивилась мама.

Она чистила кормушку, собираясь задать птице корму. Куры путались под ногами, влетали в ведра и стремительно вылетали, клевали мамины руки.

— Бечевка как из упаковочной машины,— проговорила мама.— Кто у нас мог послать посылку?

Самообладание никогда не изменяло ей.

Я сказала, что на пакете марка со штампом Дублина, это сообщил мне почтальон, а внутри что-то шерстистое, черное — бумага в уголке была надорвана, и я робко всунула туда палец.

Подходя к дому, мама отерла руки пучком высокой травы:

— Может, в Америке все-таки не забыли нас?

Маму, едва ли уж о чем-нибудь мечтавшую, ласкала мысль, что нас все-таки не забудут родственники, эмигрировавшие

в Америку. Ферма была довольно далеко от дома — оставшуюся часть пути мы бежали. При всем волнении рачительность, присущая маме, заставила ее распутать каждый узелок шпагата на посылке и свернуть его, на случай если пригодится. Она была щедрейшей женщиной на свете, но бережливо сохраняла бечевки, газеты, свечные огарки, индюшечьи перья, коробочки из-под пилюль...

— Господи... — благоговейно произнесла она, отвертывая последний лист бумаги и обнажая черный прикаминный коврик из овечьей шкуры.

Мы извлекли его; он имел форму полумесяца и занял собой весь кухонный стол. Мама утратила дар речи. Натуральный овечий мех — толстый, мягкий, роскошный! Она оглядела подкладку, рассмотрела фирменный ярлычок на изнанке, прогладила пальцами сгибы бумаги в поисках какой-нибудь записки, но не нашла никаких указаний на отправителя.

— Дай мне очки,— сказала она.

Мы снова осмотрели адрес и почтовый штемпель. Пакет ушел из Дублина два дня тому назад.

— Позови отца,— сказала она.

Он был в постели: у него разыгрался ревматизм. Коврик или другое что — отец потребовал четвертую чашку чая, прежде чем смог встать.

Мы отнесли черный овчинный коврик в залу и положили на новый линолеум перед камином.

— Как замечательно подходит, правда? Замечательное сочетание цветов,— сказала мама.

Комната вдруг сделалась уютной. Мама отошла немного и оглядела ее с удивлением и какой-то подозрительностью. Мама всю жизнь надеялась, но никогда по-настоящему не верила, что дела у нас могут пойти хорошо. Девятилетняя, я знала о жизни своей матери вполне достаточно: могла благодарить создателя, что она наконец-то получила что-то, чего ей хотелось, и ей не надо было выбивать это своим трудом. У мамы было круглое матово-бледное лицо и странно-неуверенная, робкая улыбка. Подозрительность скоро исчезла, а улыбка появилась. Тот день был одним из самых счастливых в ее жизни. Я помню его, как помню день, который был, по-моему, самым несчастным: когда судебный пристав год спустя пришел описывать наше имущество. Я рисовала себе, как она сидит в этой преображенной комнате за чаем в воскресенья — без фартука, каштановые волосы уложены в прическу, спокойная, красивая. За окнами рододендроны — пускай запущенные и поломанные — цветут багряно и ало, а около камина — новый коврик на густо пахнущем линолеуме. Неожиданно она обняла меня, как будто мне она была обязана всем этим; птичий корм присох к ее рукам, и от них исходил так хорошо знакомый мне мучнистый запах...

Несколько дней потом она подолгу билась над загадкой коврика, и мы должны были ломать над этим голову с нею вместе. Послал его, конечно, человек, знающий ее вкусы и ее желанья, иначе разве мог бы он остановить свой выбор именно на том, что нужно. Она писала письма в разные концы — дальним родственникам, знакомым, людям, которых не видала годы.

— Ну, не иначе кто-то из *твоих* приятелей,— говорила она отцу.

— А что ж, вполне возможно. Я знавал много порядочных людей в свое время,— отвечал он.

Она имела в виду — иронически, конечно,— то множество чужих людей, которых он поил чаем. Больше всего на свете он любил в хорошую погоду или в день скачек, стоя у ворот, вступать в беседу с про-

ходящими и в заключение притаскивать кого-нибудь к нам в дом — угощать чаем и крутыми яйцами. У него был особый дар приобретать приятелей.

— Скорее всего так оно и есть,— говорил он, радуясь, что может приписать коврик своим заслугам.

Теплыми вечерами мы сидели у камина (в камине этом за все время моего детства ни разу не было огня) и у коврика, слушая радио. И то и дело мама или папа припоминали очередного возможного отправителя посылки. До воскресенья мама разослала уйму писем: переселившемуся в Дублин земляку, которому отец мой подарил борзого щенка, получившего потом медаль; священнику, которого расстригли и который жил потом у нас неделю, с маминой помощью набираясь мужества, чтобы предстать перед своей семьей; иллюзионисту, который попросил у папы золотые часы и с того времени уже не появлялся; фермеру, некогда продавшему нам туберкулезную корову и отказавшемуся взять ее обратно...

Недели шли. В субботы коврик вытаскивали и выбивали, новый линолеум натирали до блеска. Однажды, возвратясь из школы раньше обычного, я увидала в окно, что мама молится, стоя коленями на коврике. Я никогда раньше не видела, чтобы она молилась так вот — среди дня. Отец назавтра собирался ехать по соседству смотреть лошадь, которую рассчитывал купить задешево,— наверняка мама молилась, чтобы он сдержал свое обещание: не брал в рот спиртного. А то он мог бы начать пить запоем и застрять на неделю.

Утром отец уехал, с тем чтобы заночевать у родственников. Я забиралась на ночь к маме в большую медную кровать, когда он спал не дома. Открыв глаза, я вдруг увидела пламя свечи и маму, торопливо надевающую джемпер.

— Отец вернулся? — удивилась я.

Нет. Но она лежала и думала все это время и теперь должна сказать одну вещь Хики, иначе не сомкнет глаз до утра. Двенадцать еще не било — может, он не спит.

— Я не хочу здесь оставаться, в темноте,— сказала я.

Она уже была у лестницы. Я выскочила из-под одеяла и пошла за ней. Светящиеся стрелки на стенных часах показывали без четверти двенадцать. Взглянув наверх с площадки, я увидела, что мама подошла к комнате Хики и нажала на дверную ручку.

«Станет он открывать ей сейчас!» — пришло мне в голову.

Он не пускал к себе даже средь бела дня и, уходя на ферму, запирал дверь своей комнаты. Однажды мы проникли к нему через окно и нашли там такой ералаш (выходной костюм на полу, рубашка в ведре с грязно-бурой водой, перекисшая пахта в бидоне, велосипедная цепь, сломанное Святое сердце и куча сношенных, покоробленных старых ботинок), что мама зареклась входить туда еще раз.

— Кой черт?.. — донесся голос Хики.

Потом раздался глухой стук. Наверное, он повалил что-то, пока искал карманный фонарик.

— Если завтра будет погода, займемся торфом,— сказала мама.

Хики выразил удивление, что его подняли с постели в такой час ради того, чтобы сообщать уже известные вещи: они договорились о торфе за чаем.

— Открой дверь,— сказала она.— Есть новости насчет ковра.

Он приоткрыл дверь самую малость:

— Кто его прислал?

— Эти типы из Балинслоу,— сказала она.

«Эти типы» было ее определение для некой парочки, явившейся к нам в дом несколько лет назад,— молодой девушки и более зрелого

мужчины в коричневых шоферских перчатках. Папа тогда почти сразу же отправился куда-то с ними в их машине. Когда они вернулись час спустя, я поняла из разговора, что ездили к местному доктору, которого отец мой близко знал. Девушка была сестра настоятельницы монастырской школы, где учились мои сестры. Вернувшись, она плакала. Я догадалась тогда — а может быть, позднее,— что это было связано с ее беременностью и она ездила с папой к врачу, чтобы удостовериться в своем положении и предпринять шаги к вступлению в брак. Пойти к врачу, который принимал в их местности, она бы не могла; отец же, без сомненья, рад был оказать услугу настоятельнице, потому что не всегда мог платить за учение моих сестер. Мама вынесла им на подносе чай — никаких вам пышных приемов с фарфоровыми чашками и скатертью ручной работы — и сухо попрощалась, когда они уезжали. Безнравственные люди вызывали у нее гадливость.

— Ну молодцы они, что не забыли,— сказал Хики, с птичьим присвистом втягивая воздух сквозь сжатые зубы.— Как вы узнали это?

— Просто догадалась,— сказала мама.

— Гос-с-поди! — Хики со страшным стуком захлопнул дверь и так яростно кинулся на кровать, что завыли пружины.

Мама несла меня по лестнице — у меня совсем закоченели ноги — и говорила, что Хики на редкость невежливый человек.

Когда на следующий день отец вернулся домой трезвым, она сказала ему о своей догадке и вечером написала письмо настоятельнице. Через обычный срок пришел ответ — со вложенными для меня образками и пелеринками,— где говорилось, что ни настоятельница, ни ее замужняя сестра не посылали нам никакого подарка. Девушка, видимо, все-таки вышла за того, в шоферских перчатках.

— Итак, загадка остается на всю жизнь,— сказала мама, выколачивая коврик о перила; зажмурила глаза от пыли и примирилась с тем, что разгадать эту загадку невозможно.

Но четыре недели спустя, когда мы наверху переменяли белье на постелях, в дверь с черного крыльца постучали.

— Поди узнай, кто там,— сказала мама.

Это был наш однофамилец, живший в деревне,— он всегда приходил занимать что-нибудь: осла, косилку или хотя бы лопату.

— Мать дома? — спросил он, и я, поднявшись до половины лестницы, позвала ее.

— Я к вам за ковриком,— сказал он.

— За каким ковриком? — спросила мама.

Никогда еще не была она так близка ко лжи. Она запнулась и слегка покраснела.

— Мне говорили, у вас тут новый коврик. Так вот, это коврик наш — сестра жены послала его нам еще когда, а мы его так и не получили.

— Чего-чего? — сказала мама саркастически.

Он был несмелый и, как говорили, до того безрукий, что звал жену из сада, если надо было налить чашку чая. Моя мама, должно быть, надеялась отпугнуть его.

— Коврик, который почтальон принес тут как-то утром и отдал вашей меньшенькой,— кивнул он на меня.

— Ах, этот,— сказала она, немного огорошенная тем, что сведения его получены от почтальона.

Потом в каком-то озарении надежды — или безумия — спросила, какого цвета был пропавший коврик.

— Черная овечья шкура,— сказал он.

Сомнений больше не могло быть. Все существо ее словно осело: плечи, желудок, голос — все.

— Он тут,— сказала она отчужденно и пошла по коридору к зале.

— Поскольку мы однофамильцы и все прочее... почтальон нас перепутал,— сказал он мне с глупым видом.

Мама знаком велела мне оставаться на месте: боялась, как бы он не пошел за ней и не узнал, что коврик был у нас в употреблении.

Он был скатан и перевязан посередине бечевкой, когда она его вынесла. Она глядела, как человек удаляется с ним по дорожке, и плакала — не так из-за потери (хотя потеря была огромна), как из-за того, что могла быть настолько наивной: поверить в желанье другого доставить ей, наконец, радость.

— Век живи — век учись,— сказала она, по привычке распуская тесемки фартука. Потом неторопливым и размеренным движением опять затянула их, более крепким узлом.

Ирландская пирушка

Мэри боялась, как бы не лопнула изношенная передняя шина. В камере был прокол, и уже второй раз Мэри останавливалась и накачивала ее, доходя до неистовства, потому что у шланга не было наконечника и приходилось зажимать это место рукой, обернув его носовым платком. С тех пор как Мэри себя помнила, она накачивала велосипедные шины, возила на телеге торф, чистила хлева, делала то, что полагалось мужику. Отец и два ее брата служили по найму в лесничестве, так что она и мать не брезговали никакой работой: на их руках было трое малолеток, птица, поросята, сепаратор. Ферма была в гористой части Ирландии, и жизнь давалась нелегко.

Но в тот студеный вечер раннего ноября Мэри была свободна. Она ехала по горной дороге между двух полос облетевшего терна, с удовольствием думая о вечеринке. Хотя ей уже минуло семнадцать, она еще ни разу не была на вечеринке. Приглашение пришло только сегодня утром, от миссис Роджерс из «Коммершл-отеля». Миссис Роджерс передавала через почтальона, что ждет ее под вечер непременно. Сначала мать не соглашалась отпустить Мэри. Очень уж много дел скопилось дома, еще не наварили овсяной размазни, и у одного из близнецов болело ухо, похоже было, что он проплачет всю ночь. Мэри спала с двумя годовалыми близнецами и иногда боялась, что заспит их — так мала была постель.

Она упрашивала мать пустить ее.

— На что это тебе? — сказала та.

Мать полагала, что забавы только выбивают человека из привычной колеи, приохочивая к чему-то недоступному. В конце концов она сдалась, главным образом из-за того, что миссис Роджерс, хозяйка «Коммершл-отеля», была влиятельная женщина и обижать ее не стоило.

— Пущу, только если поспеешь утром к дойке. Да смотри не теряй головы,— предупредила она (Мэри должна была заночевать в местечке, у миссис Роджерс).

Она заплела волосы, и, когда начала потом расчесываться, темные тугие волны побежали по плечам. Ей разрешили надеть черное кружевное платье, когда-то присланное из Америки и не принадлежавшее никому в частности. Мать покропила ее святой водой, довела до конца

лужайки и наказала ни под каким видом не пробовать спиртных напитков.

Счастливая, Мэри тихонько двигалась в объезд колдобин, забранных тонким льдом. Температура не подымалась выше нуля в этот день. Земля задубела. Если так пойдет дальше, скот придется держать в стойлах и кормить сеном.

Дорога поворачивала, поднималась и петляла, с ней вместе поворачивала и петляла Мэри, взбираясь на один холм и съезжая по откосу к следующему. У спуска с Большого Холма слезла с велосипеда — тормоза были ненадежны — и по привычке оглянулась на свой дом. Он был единственным с той стороны, на гребне: беленый, маленький, с купой деревьев вокруг и усадебкой позади, которую у них называли огородом. Были там гряды ревеня, и кусты, над которыми вытряхивали заварочный чайник, и полоска травы, куда летом ставили цыплячий загон, перенося его с потравленного места каждые несколько дней. Мэри отвернулась. Теперь ничто не мешало ей думать о Роуленде. Он появился в их крае два года тому назад — примчался с бешеной скоростью на мотоцикле, обдав пылью цедильные марли, развешенные для просушки на изгороди. Остановил машину и спросил, как ехать. Квартировал он у миссис Роджерс в «Коммершл-отеле», а в горы поднялся, чтобы увидеть озеро, известное своими красками. Оно быстро меняло цвет — могло быть синим, зеленым и черным на протяжении одного часа. Перед закатом оно нередко делалось каким-то винным, словно в нем была не вода, а красное бургундское.

— Туда,— сказала она незнакомцу, показывая вниз, на озеро с маленьким островком посередине (он просто повернул машину раньше времени).

Холмы и крошечные поля круто спускались к берегу. Почва холмов изобличала свою скудость валунами. Поля были распаханы, стояла середина лета; во рвах пульсировал кроваво-красный ток фуксий, а молоко скисало через пять часов после того, как его наливали в чаны.

— Тут очень экзотично,— сказал он.

Сама она не интересовалась видами. Она только закинула лицо к высокому небу и увидала ястреба, повисшего над ними в воздухе. Это было как пауза в ее жизни — ястреб над ними, совершенно неподвижный; тут как раз вышла ее мать взглянуть на приезжего. Он снял свой шлем, сказал учтиво: «Здравствуйте». Представился — Джон Роуленд, английский художник, живущий в Италии.

Потом — она не помнит точно, как уж это получилось,— вошел с ними в их кухню и сел к столу пить чай.

Два долгих года минуло с тех пор; она ни на один день не переставала верить — может быть, как раз вечером... Развозчик почты говорил: какой-то необычный гость ждет ее в отеле. Мэри была так счастлива. Болтала, обращаясь к своему велосипеду, и казалось ей, счастье ее странным образом светится в перламутре холодного неба, и в остывших полях, заплывающих к вечеру синью, и в окошках коттеджа, который стоял у дороги. Отец и мать были богаты и беспечны, у маленького брата не болело ухо, плита на кухне не дымила. Мэри то и дело улыбалась, воображая, как предстанет перед *ним* — подросшая и теперь уже с развитой грудью; и в платье, которое хоть куда. Позабыв об изношенной шине, она вспрыгнула на седло и закрутила педали.

Пять уличных фонарей уже горели, когда она въехала в местечко. В тот день приводили на ярмарку скот, и главная улица была заляпана коровьим навозом. Городские позакрывали снизу окна деревянными

ставнями и баррикадами из досок и бочек. Кое-кто вышел с ведром и шваброй отскабливать кусочек тротуара перед своим домом. По улицам бродили коровы, мыча, как это делают они обычно в чужом месте. То тут, то там пьяненький фермер с палкой пытался опознать где-нибудь в уголке свою скотину.

Из-за окна распивочного зала в «Коммершл-отеле» долетали громкий говор мужчин и нестройное пение. Молочное стекло не позволяло различить сидящих, и Мэри видела лишь движущиеся очертания голов. Отель был обветшалый, желтую краску на стенах следовало обновить — это не делалось со времени, когда в местечко приезжал Де Валера [1], в последнюю предвыборную кампанию пять лет тому назад. Де Валера тогда взошел по лестнице, сел наверху в приемной, дешевой шариковой ручкой написал в книге автографов свою фамилию и выразил миссис Роджерс соболезнование по поводу недавней смерти ее мужа.

Мэри хотела прислонить велосипед к портерным бочкам у окна распивочной и по трем каменным ступеням войти в холл, но тут щеколда двери из распивочной внезапно стукнула — и Мэри, бросившись за угол, побежала вдоль стены, чтобы какой-нибудь отцов знакомый не вздумал говорить потом, что она шла через пивную. Она вкатила велосипед в сарай и подошла к отелю с черного хода. Там было отперто, но она все же постучала.

Две городские девчонки подскочили на стук к двери. Одна — Дорис О'Байрн, дочь шорника. Единственная Дорис во всем местечке. Снискавшая себе известность этим обстоятельством и еще тем, что один глаз у нее был голубой, а другой — карий. Она училась здесь на курсах стенографии и машинописи и собиралась заделаться секретаршей какой-нибудь знаменитости — а то так и в правительстве, в Дублине.

— О господи, я думала, это правда кто,— произнесла она, увидев Мэри — прелестную, зардевшуюся, с бутылкой сливок в руке.

Еще одна девчонка! Девчонок в этом крае пруд пруди. Говорят, это связано с известковой водой — подобное преобладание девчонок в новых поколениях. Розовокожих и с соответствующими глазами — и длиннокудрых и статных, как Мэри.

— Войди сюда или останься там,— сказала Эйсн Дагэн, вторая из подбежавших на стук.

Это должно было изображать остроту, но обе они недолюбливали Мэри. Их раздражали безответные зануды-горцы.

Мэри вошла, держа бутылку сливок, которые мать посылала миссис Роджерс в знак внимания. Поставила их на кухонный стол и сняла пальто. Девчонки подтолкнули друг друга локтем при виде ее платья. В кухне был застарелый запах коровьего хлева и жареного лука.

— Где миссис Роджерс? — спросила Мэри.

— Обслуживает постояльцев,— наглым голосом сказала Дорис, как о чем-то ясном даже дураку.

Два старика сидели за столом и ели.

— Никак не прожуешь, зубов нет,— обратился один к Дорис.— Натуральная подметка,— продолжал он, протягивая ей подгорелый кусок мяса.

Глаза у него были водянистые и по-детски моргали. «Не выцветают ли глаза от времени, как колокольчики в кувшине?» — подумалось Мэри.

— За это я платить не буду,— объявил он Дорис.

---

[1] В то время президент Ирландии.

Чай и жаркое стоили в «Коммершл-отеле» пять шиллингов.

— Пожуйте, вам полезно,— поддразнила его Эйсн.

— Не прожуешь одними деснами,— повторил старик.

Обе девчонки захихикали. Старик, казалось, был польщен, что рассмешил их, он закрыл рот и чавкнул раза два кусочком мягкого магазинного хлеба. Эйсн смеялась до того, что вынуждена была сжать зубами кухонное полотенце. Мэри убрала пальто и через весь отель пошла к распивочной.

Миссис Роджерс шагнула из-за стойки ей навстречу.

— Мэри! Хорошо, что ты пришла, от тех двух никакого толку, все хиханьки... Итак, во-первых, надо приготовить наверху приемную. Вытащить все оттуда, кроме пианино. У нас будут танцы и прочее.

Мгновенно Мэри поняла, что ее пригласили для работы, и покраснела от стыда и разочарования.

— Все затолкать в дальнюю комнату, весь антураж,— говорила миссис Роджерс, а Мэри думала о своем кружевном платье и о том, что мать не позволяла надевать его даже на мессу в воскресенье.

— Надо начинить и поставить гуся,—продолжала миссис Роджерс и стала объяснять, что вечеринку устроили в честь местного чиновника по делам акциза и таможни, который подает в отставку, потому что жене выпал выигрыш в тотализаторе. Две тысячи фунтов. Она живет за тридцать миль отсюда на краю Лимерика,— а он тут ночевал в отеле с понедельника по пятницу, ездил домой только на субботы и воскресенья.

— Меня здесь ждет один человек... — сказала Мэри, задрожав от мысли, что сейчас услышит его имя в устах постороннего.

«В какой он комнате и там ли он сейчас?» — гадала она.

В воображении она уже всходила по расшатанным ступеням, стучала — и слышала движение за дверью.

— Один человек? — Миссис Роджерс посмотрела озадаченно.— А! Этот парень из каменоломни спрашивал тут про тебя. Говорит, видел один раз на танцах. Чудной какой-то. Ни рыба, ни мясо.

— Какой парень? — проговорила Мэри, чувствуя, как радость утекает у нее из сердца.

— Как бишь его?.. — сказала миссис Роджерс и обернулась к шумно подзывавшим ее мужчинам, сидевшим над пустыми стаканами.— Сейчас иду, сейчас...

Дорис и Эйсн помогали Мэри вытаскивать тяжелые предметы из приемной. Поволокли через площадку лестницы буфет, и одно колесико прорвало линолеум. Мэри прошиб пот: пришлось держать более тяжелый край, Дорис и Эйсн оказались на противоположной стороне вдвоем. И это, чувствовала Мэри, не случайно: они ели конфеты, не предлагая ей, и, как она заметила один раз, кривлялись за ее спиной, осмеивая платье. С платьем тоже было полно хлопот — его легко было испортить. Стоило одной ниточке кружев зацепиться за шероховатость доски или портерной бочки — и можно завтра не идти домой. Вынесли лакированную бамбуковую этажерку, столик, разные безделушки и ночной горшок без ручки, где было несколько полузасохших гортензий. Пахли они ужасно.

Почем такой песик в окошке,
вот этот, с вертлявым хвостом?..—

пропела Дорис, держа перед собой фарфоровую белую собачку, и поклялась, что всего барахла в этом «салоне» не наберется и на десять фунтов.

— Ты чего, Дор, не снимешь бигуди, пока не соберутся гости? — спросила ее Эйсн.

— О черт! — сказала Дорис.

На ней был целый набор приспособлений для завивки: белые ершики, какими чистят трубки, металлические зажимы, розовые пластмассовые валики... Свои бигуди Эйсн только что сняла, и крашенные перекисью волосы ее — сплошь в мелкий завиток — торчали устрашающе. Мэри невольно вспомнилась линяющая курица, когда она пытается взлететь. Эйсн, бог с ней, была незадачливая девушка — косая, зубы росли криво, рот был почти безгубый. Словно ее собрали наспех. Не повезло бедняжке.

— Возьми это,— сказала Дорис, протягивая Мэри груду пожелтелых счетов, сколотых стержнями.

Возьми то! Сделай это! Они гоняли ее, как прислугу. Мэри обмела пианино — верх и бока, желтые и черные клавиши, потом — вокруг, потом — стенную обшивку. Пыль, толсто покрывающая все предметы, слежалась в плотную пленку — от сырости, которая ощущалась в комнате. Вечеринка! С тем же успехом можно было сидеть дома; там, если ходишь за телятами и поросятами, нету хоть грязи, а простой навоз.

Дорис и Эйсн развлекались, наугад тыча пальцами в клавиатуру; переходили от зеркала к зеркалу. В приемной висело два зеркала, еще одно — пятнистое и тусклое — было створкой каминной ширмы. Две остальные створки являли изображение водяных лилий на черном холсте, но, как и у всего, что находилось в этой комнате, вид у них был обшарпанный.

Внизу вдруг поднялась возня и крики.

— Чего это там? — спросили друг у друга Эйсн и Дорис.

Отправились смотреть, и Мэри вышла следом. Перегнувшись через перила, увидели, что с улицы забрел молоденький бычок и, скользя разъезжающимися ногами по кафельному полу, ищет, как ему выйти обратно.

— Пугать не надо, слышишь, чего говорю, пугать не надо ее,— говорил беззубый старик парню, старавшемуся отогнать черного бычка к выходу.

Два других парня затеяли спор на пари, наложит бычок на пол или нет, но в это время появилась миссис Роджерс и выпустила из рук стакан с портером. Бычок, пятясь и крутя головой, вышел из холла тем же путем, что и зашел.

Эйсн и Дорис обняли друг друга, ослабев от смеха; потом Дорис отшатнулась от перил, боясь, как бы кто-нибудь из парней, увидев бигуди, не поднял ее на смех. С упавшим сердцем Мэри возвратилась в комнату. Устало отодвинув к стене стулья, начала мести линолеум, на котором будут танцы.

— Она там ревет,— сказала Эйсн подруге (они закрылись в ванной, прихватив с собой бутылку сидра).

— Бог мой, какой же она чудик в этом платье,— сказала Дорис.— А длина-то, длина!

— Это материно платье,— сказала Эйсн (недавно она восхищалась им, в отсутствие Дорис, и спрашивала Мэри, где она его купила).

— Чего она плачет? — громко недоумевала Дорис.

— Рассчитывала, что тут будет один парень. Помнишь, стоял в отеле позапрошлым летом, еще который с мотоциклом?

— Он еврей,— сказала Дорис,— видно по носу. Бог мой, она бы его убила своим платьем, он бы подумал: это пугало на огороде.

Дорис выдавила угорь возле рта и, подтянув болтавшееся бигуди, добавила:

— А волосы у нее тоже не свои — видно, что завитые.

— Я не люблю, когда такие черные — как у цыганки,— сказала Эйсн, приканчивая сидр.

Они засунули бутылку под разъеденную ванну.

— Возьми мятную конфетку — отбивает запах,— сказала Дорис, дыша на зеркало и думая, удастся ли ей закрутить с этим О'Тулом из каменоломни, который должен был прийти на вечеринку.

В комнате рядом Мэри перетирала стаканы. Слезы бежали по ее лицу, и оттого она не зажигала света. Она уже предвидела, как будет проходить этот вечер: все станут в круг и примутся за гуся, который тушится сейчас на торфяной плите. Мужчины будут напиваться, девчонки хихикать. Покончив с едой, начнут танцевать, петь и рассказывать страшные случаи про покойников, а завтра ей придется встать чуть свет, чтобы поспеть домой к ранней дойке. Держа стакан в руке, она приблизилась к темневшему окну и посмотрела на запачканную улицу, вспоминая, как танцевали они тогда с Джоном на горной дороге — без музыки, только биенье сердец и звучание счастья.

Он зашел к ним в тот летний день выпить чаю и — это было предложение ее отца — остался на четыре дня: помог управиться с сеном, промазал каждую машину на ферме. Он понимал в машинах. Укрепил разболтавшиеся щеколды и дверные ручки. Мэри застилала по утрам его постель и каждый вечер приносила кувшин дождевой воды из бочки, чтобы он мог умыться. Она выстирала клетчатую рубашку, в которой он приехал, и оголенная спина его в тот день облупилась под солнцем. Мэри смазала ее молоком. То был его последний день у них. Когда поужинали, он предложил поочередно прокатить на мотоцикле всех детей — кроме малолеток. Ее очередь оказалась последней, она чувствовала, что он специально так устроил,— хотя, быть может, ее братья более настойчиво желали прокатиться первыми. Никогда не забыть ей этой поездки. Мэри вся разгорелась от изумления и радости. Он ей сказал, что она хорошо сидит на мотоцикле, и, когда можно было отнять руку от руля, касался ободряюще ее сцепленных пальцев. Солнце катилось к западу, и цветы дрока полыхали желтым. Целые мили ехали в молчании; она сжимала его живот в несмелом и неистовом объятии влюбленной девочки, и все время, пока ехали, казалось, что въезжают в золотое марево. Он увидел озеро в полном его великолепии. На пятой миле, у моста, сошли и сели на известняковую гряду, толсто затканную мхами и лишайниками. Она сняла с шеи у него клеща и прикоснулась пальцем к чуть заметной точке, откуда клещ отсосал капельку крови. Тогда-то они и танцевали. Звенели жаворонки и бегущая вода. Сено лежало на полях зеленое, неграбленное — воздух был полон его сладостью. Они танцевали.

— Милая Мэри,— сказал он, серьезно глядя ей в глаза. Глаза у нее были зеленовато-карие. Он признался ей, что не может любить ее, потому что любит уже свою жену и детей, и вообще он сказал: — Ты еще слишком юная и слишком чистая.

На следующий день, уезжая, он просил разрешения прислать ей кое-что по почте, и она получила это двенадцать дней спустя: сделанный тушью портрет девушки, очень похожей на нее, только пострашней.

— Ну и подарок! — сказала ее мать, ждавшая золотого браслетика или брошки.— С этим ты далеко не уедешь.

Они повесили портрет в кухне на гвоздь, но, провисев там некоторое время, он свалился, и кто-то — вероятно, ее мать — употребил его вместо совка для пыли. С тех пор это стало его назначением.

Мэри хотела сохранить портрет, убрать в комод, но не отваживалась на такое. В семье у них были сдержанны и строги, и только если кто-то умирал, могли дать волю чувствам или слезам.

«Милая Мэри»,— сказал *он* ей. Он не прислал ни одного письма. Еще два раза было лето, два раза зацветала фитолакка и семена крестовника разлетались по ветру, деревья в лесничестве стали на фут выше. В Мэри жила уверенность, что он вернется, и гложущее опасение, что этого не будет.

— «Ах, дождичку не разойтиться, не разойтиться! Откуда взяли старики, что дождичку не разойтиться, не разойтиться?..» — пел наверху в отеле Броган, в чью честь устраивали вечеринку.

Расстегнув коричневый жилет, он сидел, развалившись на стуле, в приемной и говорил, что им тут задали сегодня настоящий пир. Гусь с выползающей картофельной начинкой был внесен на блюде и поставлен посреди стола. В сервировку вошли, кроме того, сосиски, до блеска вытертые стаканы донышками вверх, тарелочки и вилки на каждого.

— Ужин а-ля фуршет,— определила это миссис Роджерс.

В шикарных домах Дублина, она читала своими глазами в газете, помешаны на этих ужинах — когда встают, чтоб есть, и пользуются только вилкой.

Мэри внесла ножи на случай, если кто окажется в затруднении.

— Америка на дому! — сказал Хики, подкладывая в дымящий камин торфа.

Дверь из бара на улицу заперли на засов, ставни закрыли, и под взглядами восьми приглашенных миссис Роджерс принялась разрезать гуся. Потом стала отдирать крылышки и ножки, то и дело вытирая руки кухонным полотенцем.

— Держи, Мэри, это для мистера Брогана, он ведь почетный гость.

Мистер Броган получил значительную часть гусиной грудки и еще пупырчатой кожи в придачу.

— Не забывай сосиски, Мэри,— сказала миссис Роджерс.

Мэри должна была делать все — раздавать порции, накладывать начинку, спрашивать, кто желает бумажные тарелочки, а кто простые. Миссис Роджерс запаслась бумажными тарелочками, полагая, что это изысканнее.

— Я скушал бы сейчас молоденькую девочку,— сказал Хики.

Мэри удивило, что городские настолько бесцеремонны и грубы. Она даже не улыбнулась, когда он схватил ее за палец. Лучше была бы дома. Она знала, что там теперь делают: ребята — за уроками, мать печет каравай из непросеянной муки, днем никогда не остается времени на выпечку; отец скручивает сигареты и говорит сам с собой. Джон научил его скручивать сигареты — с тех пор он каждый вечер скручивает четыре штуки и все их выкуривает. Отец у нее хороший человек, только суровый. Через какой-нибудь час прочтут «Аве Марию» и разойдутся спать — ритм жизни в доме у них никогда не нарушался, свежий хлеб всегда делался суховатым к утру.

— Десять,— сказала Дорис, прислушиваясь к бою часов.

Вечеринка началась поздно. Мужчины задержались на пути из Лимерика, где проходило состязание борзых: сбили поросенка, так хотели поскорей доехать. Он бродил по дороге, а машина выскочила из-за угла; его раздавило мгновенно.

— Сроду не слыхивал такого визга,— сказал Хики, потянувшись к аппетитному гусиному крылышку.

— Захватить бы его сюда,— сказал О'Тул. Он работал в каменоломне и не имел дела с поросятами и фермерами. Был долговяз, мосласт, с пронзительно зелеными глазами и лицом напоминал борзую. Патлы его так отливали червонным золотом, что казались крашены-

ми, а в действительности выцвели на солнце. Ему не дали до сих пор еды.

— Хорошее обхождение с гостем! — сказал он.

— Мэри, бог мой, ты ничего не положила мистеру О'Тулу! — сказала миссис Роджерс, подталкивая Мэри сзади, чтобы она двигалась быстрее.

Мэри отвалила на бумажную тарелочку увесистый кусок, и О'Тул поблагодарил ее и сказал, что они еще станцуют, позже. На его взгляд, она была куда смазливее этих никчемных городских: высокая, поджарая, как и он сам, с черными неподстриженными волосами, которые на чей-то взгляд, может, висят и не по моде, а для него так очень даже подходяще, он любит длинные волосы и простодушных девчонок. Если бы позже можно было залучить ее в какую-нибудь из комнат, где никто не помешает... Чудные у нее глаза такие, если присмотреться, глубокие и бурые — как есть болотная трясина.

— Задумайте желание,— сказал он и протянул ей дужку.

Она задумала сначала полететь в Америку на самолете, но сразу же перерешила: выиграть много денег и купить отцу с матерью дом у шоссейной дороги, в долине.

— Это ваш брат-епископ? — отлично зная, что это он, спросила Эйсн у миссис Роджерс про портрет священника с безвольным подбородком, висящий в раме над камином.

Мэри и не заметила, когда начертила буквы «Дж» на пыльном стекле портрета, и теперь ей казалось, что все видят их и понимают, как они там появились.

— Да, это он, бедняжка Чарли,— гордо отвечала миссис Роджерс и уже собралась развить эту тему, когда Броган неожиданно запел.

— Дайте же человеку спеть, вы что? — цыкнул О'Тул на Эйсн и Дорис, которые уселись вдвоем в продавленном кресле и всё шутили, что оно вот-вот развалится.

В кружевном платье Мэри дрожала. Было промозгло, хотя Хики растопил камин на славу. Комнату не отапливали с тех времен, когда Де Валера поставил в книге автографов свою подпись. От каждого предмета поднимался пар.

О'Тул спросил, желает ли спеть кто-нибудь из дам. Их было пять: миссис Роджерс, Мэри, Дорис, Эйсн и Кристалина — местная парикмахерша, которая для вечеринки освежила красно-рыжий цвет своих волос и говорила все, что пища для нее здесь слишком тяжела (гусь жирный, непроваренный, не нравится ей что-то яркость его мяса; она любит деликатные блюда — кусочек холодной цыплячьей грудки под пикантным соусом). Настоящее имя ее было Кармел, но, сделавшись парикмахершей, она переменила его на Кристалину и стала из шатенки красно-рыжей.

— А вы, я чувствую, поете. Правильно я угадал? — спросил О'Тул у Мэри.

— У них там в горах разговаривать-то не умеют,— сказала Дорис.

Мэри почувствовала, как лицо ее из матового делается красным. Она не стала говорить им... но фамилию отца однажды напечатали в газете, потому что он увидал куницу в молодых посадках; и дома у них пользуются вилкой и ножом, когда едят, а кухонный стол покрывают клеенкой и держат банку с кофе на случай, если кто зайдет. Она не стала говорить им ничего. Только нагнула голову, показывая, что не будет петь.

В честь брата-епископа О'Тул поставил «Далеко в Австралии»: миссис Роджерс попросила. Звуки со скрипом и скрежетом вырывались из граммофонной трубы, и Броган сказал, что и то мог бы спеть это лучше.

— Господи, суп-то мы забыли! — вскричала вдруг миссис Роджерс, бросая вилку и устремляясь к двери. Запланировано было начать угощение с супа.

— Я помогу,— сказала Дорис, впервые за весь вечер поднимаясь с места, и они пошли вниз за кастрюлей темного супа из гусиных потрохов, с утра кипевшего на слабом огоньке.

— Итак, нам нужно по два фунта с каждого мужчины,— сказал О'Тул, пользуясь отсутствием миссис Роджерс, чтобы покончить с деликатным денежным вопросом (договорились внести по два фунта на вино; дамы не должны были платить: их пригласили для создания приятной, элегантной атмосферы и, разумеется, для помощи).

О'Тул пошел по кругу с кепкой, и Броган сказал, что, если вечеринка в его честь, с него причитается пятерка.

— С меня причитается пятерка, но вы, я думаю, на это не пойдете,— сказал он и протянул два фунта.

Хики, сам О'Тул и длинный Джон-Семга, ни разу за все время не раскрывший рта, тоже положили деньги. О'Тул передал их миссис Роджерс, когда та вернулась, и предложил «засечь, чтоб не было усушки».

— Большое всем спасибо,— сказала она, засовывая их за чучело совы, стоявшее на каминной полке, под бдительным взглядом епископа.

Миссис Роджерс наполнила бульоном чашки, и Мэри поручили раздавать их. Жир каплями расплавленного золота плавал на поверхности.

— Теперь мне крышка, моя мартышка,— сказал Хики, беря свою чашку из рук Мэри; потом попросил у нее кусок хлеба, поскольку совершенно не привык есть суп без хлеба.— Послушай, Броган,— обратился он к богатому приятелю,— теперь, когда ты человек со средствами, куда ты денешь свои деньги?

— Правда, куда? — сказала Дорис.

— Ну, например,— ответил Броган, подумав,— мы сделаем некоторые преобразования в доме...

В доме у Брогана никто из присутствующих не был: дом находился в Адере, за тридцать миль отсюда, на краю Лимерика. Никто не видел также и его жены, которая, как надо было понимать, жила там постоянно и держала пчел.

— Какие преобразования? — спросил кто-то.

— Обставим, например, гостиную и разобьем цветник.

— А еще что? — спросила Кристалина, думая о всех шикарных платьях, которые накупила бы за эти деньги. Платьях и безделушках.

— А потом,— сказал Броган, опять подумав,— может, даже съездим в Лурд. Не знаю еще, как получится.

— Руку дала бы себе отсечь ради поездки в Лурд! — сказала миссис Роджерс.

— И возвратилась бы опять с двумя,— сказал Хики, но никто не обратил на него внимания.

О'Тул налил четыре неполных стакана виски и, отступив немного, проверил уровень во всех стаканах — мужчин всегда ужасно волновала возможная несправедливость при распределении спиртного. Затем расставил бутылки с крепким портером по шесть штук в четырех местах стола и показал каждому из кавалеров, где то, что ему причитается. Для дам был приготовлен джин и апельсиновая.

— Мне только апельсиновой,— сказала Мэри.

— Не будьте такой паинькой,— сказал О'Тул и, когда Мэри отвернулась, подлил ей в стакан джину.

Выпили за здоровье Брогана.

— За Лурд,— сказала миссис Роджерс.

— За Брогана,— сказал О'Тул.

— За меня,— сказал Хики.

— Холера тебе в бок,— сказала Дорис, немного захмелевшая от приложения к сидру.

— Не знаю, как насчет Лурда,— сказал Броган,— а вот гостиную обставим обязательно и разобьем цветник.

— У нас тут есть гостиная,— сказала миссис Роджерс,— и ни одна душа туда не ходит.

— Пойдем в гостиную, Дорис,— обратился О'Тул к Мэри, накладывавшей гостям желе из эмалированного тазика; более подходящей посуды для этого не нашлось.

Желе было красное со взбитым белком, но что-то, видно, сделали не так, потому что оно расползалось. Мэри накладывала его в блюдца и думала о том, как все неряшливо и грубо тут, на вечеринке, нет даже настоящей скатерти — только хлорвиниловая пленка — и нет салфеток. А этот тазик с желе... В нем, может, перед этим умывались?

— Теперь пусть кто-нибудь расскажет интересный случай,— сказал Хики, начавший уставать от разговоров о цветниках и гостиных.

— Я расскажу,— извергнулся из своего молчания длинный Джон-Семга.

— Идет,— сказал Броган, потягивая попеременно из стакана с виски и стакана с портером (так только и получаешь удовольствие от выпивки, поэтому-то в барах он предпочитал бы покупать себе спиртное сам, а не страдать от чьей-то скаредности).

— А интересный случай? — спросил Хики.

— Про моего брата,— сказал длинный Джон.— Про Патрика.

— Ну нет уж, хватит этой ерунды,— сказали вместе Хики и О'Тул.

— Нет, пусть расскажет, дайте ему рассказать,— сказала миссис Роджерс, ни разу, правда, не слыхавшая про этот случай.

— Был у меня брат Патрик,— начал длинный Джон.— И вот он, значит, умер. Сплоховало сердце.

— Пресвятая дева, неужто опять это? — сказал Броган, припоминая, о чем пойдет речь.

Но Джона-Семгу не остановили непочтительные замечания мужчин.

— Стою я один раз в сарае, с месяц, как похоронили Патрика, и вижу, выходит он из стены и идет по двору.

— Ой, что бы с тобой было, доведись тебе такое? — обратилась Дорис к Эйсн.

— Дайте ему договорить,— сказала миссис Роджерс.— Говори, Джон-Семга.

— Идет он, значит, на меня. Что ж, думаю, теперь мне делать? Был сильный дождь — вот я и говорю брату: «Спрячься, а то промокнешь».

— А он? — в волнении спросила одна из девушек.

— Пропал,— сказал Джон-Семга.

— О господи, дайте немного музыки,— сказал Хики (он слушал эту историю в девятый или десятый раз, в ней не было ни начала, ни конца, ни середины).

Поставили пластинку, и О'Тул пригласил Мэри танцевать. Он делал массу дополнительных движений и подскоков, время от времени испуская залихватское: «Юпи-и-и!» Броган и миссис Роджерс танцевали тоже, и Кристалина сказала, что пошла бы, если б ее пригласили.

— Давай-давай, выше коленки, Братец Кролик,— говорил О'Тул Мэри, скача по комнате и задевая ножки стульев. Мэри чувствовала

себя как-то странно: голова кружилась, кружилась, а под ложечкой было приятное щекочущее ощущение — хотелось лечь навзничь и вытянуть ноги. Это было совсем незнакомое ощущение, и оно пугало ее.

— Пойдем в гостиную, Дорис,— сказал О'Тул, направляя ее в танце к двери и выводя прямо в холодный коридор, где неуклюже чмокнул в губы.

В комнате, откуда они вышли, Кристалина начала плакать. Так действовало на нее вино — она или начинала плакать, или разговаривала с иностранным акцентом, спрашивая при этом: «Почему это я говорю с иностранным акцентом?» На сей раз она плакала.

— В жизни нет радостей, Хики,— говорила она, уронив голову на руки, а ее блузка ползла вверх, выскальзывая из-под корсажа.

— Каких радостей? — спрашивал Хики (он получил спиртного сколько ему требовалось и еще вытянул фунтовую бумажку из-за совы, когда никто не видел).

Эйсн и Дорис сели по бокам длинного Джона, напрашиваясь в гости к нему на тот год, когда поспеет сахарная слива. Джон-Семга жил совсем один в некотором отдалении от местечка и выращивал фрукты. Он был чудаковат и нелюдим и каждый день, зиму и лето, купался в горной речке у себя за домом.

— Старая супружеская пара,— говорил Броган, обхватив рукой миссис Роджерс и принуждая ее сесть, потому что запыхался от танца.

— Я уношу с собой прекраснейшие воспоминания о всех вас,— сказал он и, садясь, притянул ее к себе на колени.

Она была грузная женщина, с каштановыми прядями волос неравной густоты, когда-то бывшими другого цвета.

— В жизни нет радостей,— рыдала Кристалина; из граммофонной трубы вылетела очередь трескучих звуков, и с лестничной площадки вбежала Мэри, спасаясь от своего партнера О'Тула.

— Я дело говорю,— сказал он и подмигнул.

О'Тул стал первым задираться и скандалить.

— Теперь, дамы и господа, анекдотик для смеха, желаете?

— Валяй,— сказал Хики.

— Вот, было, значит, три парня: Пэдди из Ирландии, Пэдди из Шотландии и Пэдди из Англии. И позарез им требовалось...

— Только без сальностей,— оборвала миссис Роджерс, не давая ему брякнуть лишнее.

— Какие еще сальности? — обиделся О'Тул.— Сальности?!

И он потребовал объяснений.

— Здесь девушки,— сказала миссис Роджерс.

— Ах, девушки,— хмыкнул О'Тул, хватая бутылку со сливками, которые забыли подать к желе, и опрокидывая ее над развороченными остатками гуся.

— Эй, эй, приятель,— сказал Хики, отбирая у него бутылку.

Миссис Роджерс сказала, что сейчас самое время расходиться спать, поскольку вечеринка, видимо, уже окончена.

Гости должны были заночевать в отеле. Отправляться домой было поздно, к тому же миссис Роджерс не хотела, чтобы кто-то видел, как они, пошатываясь, выходят от нее в такой час. Полиция следила за ней в оба, не стоило лезть на рожон, по крайней мере до конца рождества. Места ночлега распределили заранее, было три свободные комнаты. Одна — комната Брогана, которую он занимал всегда. Троим оставшимся мужчинам предстояло разделить другой просторный номер; женшинам, включая и миссис Роджерс, отводилась комната за приемной.

— Слезай — приехали! Постельная улица, простынный переулок,— сказала миссис Роджерс, заслоняя решеткой догорающий огонь, и вытащила деньги из-за совы.

— Подсластить... — сказал О'Тул, поливая на этот раз портером блюдо из-под гуся, и Джон-Семга пожалел, что не остался у себя. Ему представился белый день и купание в речке за домом из дикого камня.

— Омывание,— вслух произнес он, смакуя и самое слово, и мысль о холодной воде, приходящей в соприкосновение с телом.

Он мог бы обходиться без людей, люди — хламье. Вспомнил сережки на дереве перед окном, сережки в феврале — беленькие, как снег... А кому нужны люди?

— Кристалина, подъем! — говорил Хики, надевая ей туфли на ноги и похлопывая по икрам.

Броган поцеловал четырех девушек на сон грядущий и через лестничную площадку проводил до двери в комнату. Мэри рада была ускользнуть, пока О'Тул не видит; он сильно буйствовал, и Хики пытался его урезонить.

За дверью Мэри перевела дух; о том, что сюда задвигали мебель, она начисто забыла. Устало принялись освобождать проход. Комната была так заставлена, что негде было повернуться. Вдруг Мэри испуганно напряглась: с лестницы долетали выкрики и пение О'Тула. В апельсиновую ей тогда подмешали джин, теперь она не сомневалась в этом, потому что поднесла ладонь ко рту и ощутила запах своего дыхания. Она нарушила зарок, положенный причастием, нарушила слово; не будет ей за это счастья.

Вошла миссис Роджерс и сказала, что для пятерых кровать тесна, и потому сама она поспит одну ночь на диване.

— Лягте валетом,— сказала она, предупредив, чтобы не обламывали резных завитушек и не болтали до утра.— Спокойной ночи, благослови господь,— и миссис Роджерс притворила дверь снаружи.

— Мило устроила,—сказала Дорис,— всех запихнула сюда... И куда она подалась, интересно?

— Можно взять бигуди? — спросила Кристалина.

Для Кристалины не было на свете ничего важней волос. Она и замуж не пошла бы — ведь тогда нельзя будет оставить на ночь бигуди. Эйсн сказала, что и за миллион не согласилась бы накручивать сейчас волосы, так ее разморило, и, раскинув руки, плюхнулась на стеганое одеяло. Она была потливая и шумная девица, но Мэри предпочитала ее двум остальным.

— А, вот вы где! — сказал О'Тул, толкнув их дверь.

Девушки всполошились и потребовали, чтобы он сейчас же вышел, потому что они готовятся ко сну.

— Пойдем в гостиную, Дорис,— обратился он к Мэри и поманил ее согнутым указательным пальцем. Он был пьян и потому никак не мог поймать ее взглядом, знал только, что она где-то там.

— Иди проспись, ты пьян,— сказала Дорис, а он вдруг на секунду выпрямился и попросил, чтобы она не говорила за других.

— Идите спать, Майкл, вы устали,— сказала Мэри. Она старалась говорить спокойно, потому что он мог выкинуть любой фортель.

— Пойдем в гостиную, слышишь? — сказал он, ухватив Мэри за кисть, и потянул к двери.

Мэри вскрикнула, а Эйсн сказала, что размозжит ему голову, если он не отпустит девчонку.

— Дай-ка мне тот горшок, Дорис! — крикнула она, и тут Мэри начала плакать, испугавшись, что разразится скандал.

Мэри не выносила скандалов. Однажды отец с соседом крупно

поспорили при ней из-за межи — Мэри так и не могла забыть этой истории; оба тогда хлебнули лишнего по случаю ярмарки.

— Ты тронулась или рехнулась? — сказал О'Тул, заметив, что она плачет.

— Даю две секунды,— предупредила Эйсн, нацелясь поднятым горшком на обалделое лицо О'Тула.

— Подобрались вы тут бесчувственные вороны сонные... вороны...— сказал О'Тул.— Нет, чтобы приобнять мужчину.— И, понося их, каждую в отдельности, он вышел.

Они с большой поспешностью закрыли дверь и приперли ее шкафом, чтобы О'Тул не вломился, когда будут спать.

Оставшись в одних комбинациях, легли; Мэри и Эйсн головами в одну сторону, а между лицами у них — ноги Кристалины.

— У тебя волосы хорошие,— шепнула Эйсн Мэри — единственно приятное, что смогла придумать.

Прочли молитву, пожелали друг другу спокойной ночи и, приладившись поудобней, затихли.

— Эх ты,— сказала Дорис,— в уборную я так и не сходила.

— Теперь не сходишь,— сказала Эйсн,— дверь загородили.

— Я сдохну, если сейчас не выйду,— сказала Дорис.

— И я,— сказала Кристалина,— столько выдули апельсиновой.

Мэри казалось диким, что они говорят так. В ее семье не обсуждали подобные вопросы, шли просто за плетень, и все тут. Однажды фермерский рабочий видел, как она в кустах присела,— и с того дня она ни разу не заговорила с ним, не подавала и виду, что узнаёт.

— Если взять этот старый горшок?.. — продолжала Дорис.

А Эйсн села на кровати и сказала, что не останется в комнате, если тут будут ходить на горшки.

— Что-то надо ведь приспособить,— сказала Дорис.

Она к этому времени встала и включила свет. Подняла горшок к голой лампочке под потолком и разглядела, что он худой.

— Приспособь его,— хихикнула Кристалина.

С лестницы донеслись шаги, потом захлебывающийся кашель, и О'Тул, бранясь и чертыхаясь, забахал кулаком об стену. Мэри сжалась под простыней, благодарная остальным за то, что они рядом. В комнате смолкли.

«Я побывала на вечеринке. Теперь я знаю, как это»,— думала Мэри, заставляя себя уснуть.

Она слышала звук — вроде шума бегущей воды, но непохоже было, что на дворе дождь. Позже она задремала, а на заре услышала, как хлопнула внизу входная дверь, и порывисто села. Надо было не опоздать домой к ранней дойке, и Мэри встала, взяла в руки туфли и платье и, отодвинув шкаф, протиснулась в приоткрытую дверь.

На лестничной площадке и в уборной расстелены были газеты, стоял тяжелый терпкий запах. В холл из-под двери бара натек портер. О'Тул, не иначе, открыл краны пяти портерных бочек — каменный пол бара и расположенный ниже коридор были сплошь залиты черным портером. Миссис Роджерс оторвет кому-то голову. Мэри надела свои туфли на высоком каблуке и, осторожно выбирая, куда ставить ногу, направилась к выходу. Она ушла, не выпив даже стакана чаю.

Вывела по проулку велосипед. Передняя шина спустила до конца. Мэри накачивала ее минут тридцать. Шина так и осталась сплющенной.

Иней, как ослепительное чудо, пал на улицу, на спящие окна и шиферные крыши прижатых друг к другу домов. По волшебству преобразил загаженную улицу в белую и чистую. Мэри не ощущала разбитости, а с легким сердцем человека, вырвавшегося на свободу, чуть

оглушенная полубессонной ночью, впитывала красоту этого утра. Она шла быстро, временами оборачиваясь поглядеть на след от велосипеда и от туфель, тянувшийся по белизне дороги.

Миссис Роджерс проснулась в восемь и, путаясь в широченной ночной рубашке, вылезла из теплой постели Брогана. Мгновенно почуяв неладное, она кинулась вниз, увидела на полу бара и в коридоре портер и побежала будить остальных.

— Дом залит портером, полный запас вина весь, до последней капли, на полу! Мария, матерь божия, за что караешь?! Вставайте!

Она забарабанила в дверь, вызывая девушек по именам.

Те протирали сонные глаза, зевали и садились на постели.

— Эта ушла,— сказала Эйсн, глядя на пустую часть подушки, где была голова Мэри.

— У, деревенская хитрюга! — сказала Дорис, когда в своем тафтовом платье спустилась взглянуть на потоп.— Если мне теперь убирать все это в таком платье, я сдохну.

Но миссис Роджерс уже принесла швабры и ведра и взялась за дело. Дверь бара распахнули настежь и стали выплескивать портер на улицу. Собаки подходили и слизывали его, а Хики, который к тому времени поднялся и сошел по лестнице, стоял и говорил, что это просто безобразие—пустить на ветер столько доброго вина. На белом инее оно протаяло широкую площадку и обнажило на земле навоз, оставшийся после вчерашней ярмарки. Виновник преступления О'Тул успел до света скрыться; Джон-Семга ушел плавать, а Броган нежился в постели наверху, ловя последние минуточки тепла, и размышлял о радостях, которые теряет, покидая навсегда «Коммершл-отель».

— А где миледи в кружевах? — спросил Хики, почти не помня лица Мэри, но ясно представляя себе рукава черного платья, окунавшиеся в тарелки.

— Смылась, пока мы спали,— сказала Дорис.

Единодушно согласились, что от Мэри толку было мало и приглашать ее не стоило.

— Она-то и довела О'Тула,— сказала Дорис,— вперед закадрила, а после натянула нос.

А миссис Роджерс поклялась, что сам О'Тул или папаша Мэри, но кто-то еще дорого заплатит за погибшее вино.

— Она теперь небось уж дома,— сказал Хики, стараясь нашарить в кармане окурок (была непочатая пачка, но если вытащить, все станут запускать туда пальцы — а платил-то он).

В полумиле от дома Мэри сидела на берегу.

«Если бы только у меня был милый, чтобы не так пусто жить...» — думала она, постукивая острым каблуком о лед и глядя на причудливые сетки трещин, расходящиеся от проломов.

Бедняги птицы не могли добыть себе пищи, так прохватило землю морозом. Мороз выбелил инеем каждый уголок по всей Ирландии; лежал невиданным соцветием на ветках, на берегу реки, откуда в своей волосатой наготе нырял длинный Джон-Семга, на плугах, зимовавших под открытым небом; на каждом каменистом поле и на всей грязи и неприглядности мира.

Поднявшись, Мэри пошла дальше и думала о том, что же сказать ей матери и братьям и все ли вообще вечеринки такие. Она была теперь на Большом Холме, уже был виден дом — коробочка, белевшая у края света,— он ждал Мэри, чтобы принять ее под свою кровлю.

ЯН КОЗАК

Гнездо аиста

РОМАН

Перевод с чешского Л. Лерер и И. Бернштейн

IX. Когда настала пора делить хлеб

1

Павел с Канадцем вышли из хлева. На разогретом жарким солнцем дворе стояла телега, с которой только что сгрузили рожь. Повсюду валялась солома, пучки колосьев, высыпавшиеся из них перезрелые зерна. В эти знойные послеобеденные часы Трнавку охватила мертвая тишина. С того дня, как вернулась делегация, никто из новых членов кооператива не появлялся в поле.

У Павла пощипывало в глазах от пота, осы жалили ему голову и шею.

— Прочти еще раз,— сказал Канадец и, вынув из кармана размноженную на ротаторе, измятую, влажную листовку, протянул ее Павлу.

Павел знал текст почти наизусть, но перед его глазами стояла только последняя фраза: «Мы вам препятствовать не станем». Эта фраза была набрана прописными буквами и завершалась несколькими восклицательными знаками: «МЫ ВАМ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ НЕ СТАНЕМ!!!»

Он читал всю речь полностью в братиславской «Правде», там речь не заканчивалась этой фразой, было продолжение, но в листовке оно отсутствовало. Листовка была адресована «Всем крестьянам», и вместо подписи на ней стояло: «Речь президента Антонина Запотоцкого в Кличаве 2 августа 1953 г.»

Сегодня утром листовки обнаружили в каждом доме Трнавки. Они были расклеены на всех заборах. на стволах орехов посреди площади. Мать принесла одну из них еще на рассвете, когда растапливала печку, и швырнула отцу в постель. Тот скомкал листовку и выбросил. Мать подняла, аккуратно разгладила ее и снова сунула ему, когда он сел завтракать.

— Не нравится мне это,— сказал Канадец.

— Почему? — вяло спросил Павел.— Тут ведь нет ничего такого, о чем бы не говорилось у нас всегда.

Окончание. Начало см. в № 7, 8 за 1978 г.

Он тоже не знал, что и думать. Так же как и Петричко, и Иван, как все в Трнавке. Содержание листовки его удивило. Читая ее, он ощутил неприятный холодок на спине.

— Это им будет на руку! — сказал Канадец.— Но я не вижу тут ни капли здравого смысла. А листовка часом не фальшивка?

— Нет, все было напечатано в «Правде».

— Значит, какая-то странная тактика, которую придумали наверху, и от нее нам не поздоровится. Да пошли они знаешь куда?! — сказал он презрительно.— С самого начала следовало ожидать, что у нас исхитрятся все испоганить.

— И что же ты собираешься делать? — спросил Павел.

— Что угодно, только не поднимать руки вверх.

Павел, разморенный усталостью и солнцепеком, задумчиво глядел вдаль. Ему было лень даже пошевельнуть языком.

— Ладно. Давай запрягать,— сказал он после минутного молчания. Губы его искривила усмешка.— А что, твоя не придет?

— Мальчишка у нас заболел,— сказал Канадец, настороженно взглянув на Павла.

— А если бы он не заболел? Если бы не лежал в постели?

— Да иди ты к черту,— разозлился Канадец и сплюнул.

Иван, весь взмыленный, вышел со двора Зитрицкого и побрел по пыльной, прокаленной солнцем площади, а мужики и бабы молча наблюдали за ним. Стоя на крылечках, они провожали его взглядом.

По другую сторону ручья бежал Йожко. Он жестикулировал, пытался что-то объяснить Ивану, но тот не понимал его.

Чего они хотят от меня? — думал он. Тишина вызывала у Ивана беспокойство. Его не покидало чувство, что в деревне следят за каждым его шагом и он не может никуда укрыться. А теперь во все глаза смотрели за ним не только деревенские, а еще и эти несчастные портреты. Первым вывесил в окне портрет президента Бошняк. Теперь они висели повсюду. Ивану казалось, что и Запотоцкий тоже не спускает с него глаз.

Около дровяного сарая, возвышавшегося над низким забором, стоял Войник — ровесник Ивана — и прибивал к дощатой стене портрет президента. Фотография была вырезана из старой, измятой газеты.

— Ферко? И ты тоже? — сказал Иван.— Что это тебе взбрело в голову?

— Что тут особенного, если я хочу повесить портрет президента? — спросил Войник.— У тебя дома разве нет его?

— Но ты его вывесил только сейчас, а это кое-что означает. Ну и чего ты этим достигнешь? Ведь ты же член партии,— со вздохом сказал Иван.

— Я люблю и уважаю нашего президента. А ты разве нет?

Иван повернулся и побрел дальше.

У пожарного сарая стояло несколько женщин, громче всех говорила Зузка Тирпакова. Иван всмотрелся в их лица. Ждут меня, понял он. Определенно ждут меня. Он направился к ним, но почувствовал, что походка его вдруг стала какой-то скованной.

— Вот он! — крикнула Зузка.

— Уж не на работу ли вы собрались, бабоньки? — неловко попробовал он пошутить.— Половина нашего зерна уже отправилась в тартарары. Но это же не значит, что надо бросить на поле другую половину урожая. Никому от этого проку не будет.

Мы могли бы договориться, мысленно убеждал он себя. Я же их

давно знаю. В эту пору у них всегда работы по горло, даже на сон времени не хватает. Мы могли бы договориться и спасти то, что еще можно спасти.

— И мы так думаем, что оставлять зерно гнить на корню — не дело. Вот и ждем тебя,— сказала Зузка.

— Я вижу.

Иван бросил огрызок груши и вытер о штаны пальцы.

Зузка насмешливо, с вызовом глядела ему в лицо. Олеярова подошла к нему и, схватив его за плечи, крикнула:

— Читай! Тут все написано! Пан президент разрешает нам вести хозяйство, как мы хотим, а вы нам мешаете.

Ах, вот оно что! Значит, вернуть ваш скот и каждый снова на свое поле. И все будет по-старому. Иван с горечью вспомнил, как в прошлом году, когда уводили в кооперативный хлев коров, он был уверен, что победа близка и что всем теперь в деревне жить станет лучше. Но за этот год выяснилось, что людей не так-то просто переделать.

— Что же ты молчишь! — накинулась на него Зузка.— Ведь о тебе речь идет. Или двинуть тебе, чтоб язык развязался?!

Иван вдруг увидел Пишту Гунара, который стоял неподалеку, прислонившись к стволу ореха, рядом с ним — Эмиль. В прищуренных глазах Эмиля блеснула насмешка. В ту же минуту Иван услышал какой-то шум за своей спиной и оглянулся. От заборов и калиток бежали люди. Возле ручья появился старый Хаба.

— Сволочи! — завизжала Штенкова.— Уморили нашу корову! Кто нам даст другую?!

— А мы-то тут при чем? — Иван снова огляделся вокруг.— Послушайте, надо убрать урожай, пока не полегли хлеба. Соберем урожай, а потом договоримся.

Наверное, все еще можно исправить, думал он. Уберем урожай, а там пусть себе уходят, кто хочет. Если мы допустили какую-то ошибку, ее надо исправить Может, и в самом деле разумнее всего сделать то, что говорит Запотоцкий. Эта статья... У него просто не укладывалось в голове, как такое могло появиться в газете. Если обо всех этих изменениях предварительно не поставили в известность. Никто к ним не приехал из района, их не вызывали в Горовцы. Разве так можно? Да еще в самый разгар жатвы.

— Сперва надо убрать урожай,— повторил Иван,— тогда уж проведем собрание и договоримся.

— Да ты что тут агитируешь?! — набросилась на него Зузка.— Хватит нам ваших собраний! Они вам нужны, только чтобы мы на них голосовали за собственные похороны!

— Вот мы и проводим сейчас собрание,— крикнул Гунар.

— Нет,— стоял на своем Иван.— Уберем урожай, тогда и договоримся. Иначе кулаки при разделе урожая облапошут вас как миленьких. У них ведь и лошади, и телеги.

— Бог свидетель, бóльших пиявок, чем вы, я не видела! — кричала Штенкова.— Господи, они ведь только сосали, а вы сразу все жилы перегрызаете.

— Я же сказал вам, что мы все решим по-хорошему. Но сначала уберем урожай...

— У вас для этого было достаточно времени.— Бошняк заговорил тихо, но с угрозой в голосе.— Вы что-то слишком долго с нами договариваетесь.

И тут вперед вышел Хаба, красный и надутый, как индюк. Все перед ним расступились. Он впился в Ивана маленькими глазками.

— Так ты думаешь, что без вас мы не сумеем навести порядок

в Трнавке? Об этом можешь не беспокоиться. Мы теперь побеспокоимся о порядке. А ваш грабительский порядок разнесем в щепки.

Штенкова и Олеярова размахивали кулаками и выкрикивали какие-то угрозы, но он не понимал ни слова, стоял как оглушенный, с него ручьями лил пот.

— Нет, вы слышали, что он сказал? — визжала, перекрывая все голоса, Зузка.— Он думает выйти сухим из воды. Как бы не так!

Ее глаза горели. Она подскочила к Ивану и, размахнувшись, ударила его по лицу. Он поднял было руку, но сдержался.

И тут он увидел Эмиля.

Эмиль, подвернув штаны, босой, шел прямо на него с вилами наперевес. Иван понял, что еще минута — и Эмиль проткнет его вилами. Он уже видел блеск их зубьев...

Отскочив в сторону, Иван уперся в стену сарая. Весь сжавшись, он с силой оттолкнулся от нее, перепрыгнул через ручей и пустился бежать. Рукоятка вил ударила его в плечо.

— Коро-о-о-овы! — завопил кто-то визгливо.— В хле-е-е-в!

Выводя из хлева лошадей, Павел услышал крик, доносившийся с площади. Шум все приближался. Потом на дороге показалось облако пыли. Сухая глина приглушала топот бегущих ног, доносились резкие и хриплые голоса:

— Гнать их взашей! Вон из деревни!

— Скоро они все окочурятся! А пока дава-ай в хлев!

Павел оцепенел, сжимая в руках поводья. Он продолжал так стоять и тогда, когда толпа ворвалась во двор. Впереди всех бежали Зузка и Пишта Гунар, за ними Штенко.

— Запирай хлев! — схватив вилы, крикнул Павлу Канадец.

Павел всей тяжестью тела налег на ворота.

Черт возьми, да поднажми же,— говорил он себе. Он напрягся, нажал изо всех сил на тяжелые дубовые ворота и соединил их створки.

Краем глаза Павел видел Канадца, стоявшего, широко расставив ноги, между телегой и воротами хлева: он преграждал дорогу к хлеву. Павел слышал хриплый крик Канадца:

— Стой!!

— Да не бойся, ударь! — кричала Зузка Пиште.— Двинь этому безбожнику!

Пишта Гунар ринулся было вперед, но заколебался, увидев нацеленные на него вилы и грозное лицо готового на все Канадца.

Наконец тяжелый засов поддался усилиям Павла, и он услышал стук железа о камень. Павел вскочил, схватил грабли и рукояткой огрел по спине коня, который стоял ближе к нему. Конь взвился на дыбы. Другой конь испуганно ударил копытом о колеса телеги, рванулся, и оба они, громко заржав, кинулись вперед. Пишта отлетел в сторону и растянулся в пыли. Толпа с ревом расступилась. И вдруг стало тихо. Только лошади бешено скакали по широкой дороге, которую они проложили себе среди нападающих, волоча за собой вожжи.

— Здорово сработано! — крикнул Канадец.

Втянув голову в плечи, он бросился в хлев. Следом за ним вбежал Павел.

— Полюбуйся на них! — сказал Канадец, когда Павел запер изнутри на задвижку дверь.

— Ворота долго не выдержат.

— И ты возьми вилы,— предложил Канадец.— И первому, кто ворвется, проткнем брюхо. Цельсь прямо в брюхо.

Коровы испуганно мычали, дергали головами, топтались на месте, гремя цепями. Ворота дрожали и скрипели под натиском толпы. Сперва Павлу казалось, что он слышит стук кулаков, но потом ворота загрохотали от ударов камней. Проникавшие через щели полоски солнечного света то удлинялись, то укорачивались — казалось, в ворота втыкали острые белые клинья, которые пронизывали полумрак хлева. В полосах света в какой-то дикой пляске кружилась пыль.

— Мы ничего не сможем сделать,— сказал Павел.

Канадец удивленно поднял на него глаза.

— Да, черт возьми, мы тут совершенно бессильны,— повторил Павел.

Раздался треск и сильный грохот. Канадец вытянул голову.

— Они бьют в ворота телегой! Ну и дела! Уже совершенно расшатали их.

Снаружи оттаскивали телегу, чтобы снова ударить ею по воротам.

Серебряный клин придвинулся совсем близко к ним и плясал у их ног на полу. Павел слышал, как бешено колотится его сердце. Под самым потолком он увидел крохотное оконце.

— Давай живо! — шепнул он Канадцу, разбежался и ухватился за перегородку стойла.

Канадец не двигался с места.

— Скорей! — крикнул Павел.— Да беги же, черт возьми! Через минуту будет поздно.

Граблями он выбил стекло. Наконец и Канадец последовал за ним, все еще не выпуская из рук вилы.

Павел пролез в окошечко, соскочил вниз и бросился было бежать. Но, оглянувшись, увидел, что Канадец никак не может протиснуться в узкое окошко; он вернулся, схватил его за руки и с трудом стащил вниз.

— Ну и отъел ты себе задницу.— Павла душил нервный смех.— А где твои вилы?

— Тьфу ты черт! Там остались. В этом проклятом окошке.— Канадец плюнул с досады.

— Надо было сперва их бросить. А теперь давай-ка поскорее отсюда! Ну, пошевеливайся!

Они бежали через заросли крапивы, продирались через кусты шиповника и сирени. За их спиной снова раздался страшный удар и вслед за ним треск дерева и грохот падающих ворот. Канадец оглянулся.

— Слышишь? — спросил он, задыхаясь.

— Слышу. Не глухой.

Со стороны хлева доносился рев толпы, мычание перепуганного скота.

— Коли в солому! — донесся до них крик Штенко.

— Слышишь? — снова спросил Канадец.

Павел, положив ему на плечо руку, спросил не без ехидства:

— А там тебе быть сейчас не хотелось бы? Может, мы бы им всыпали, а?

— Ну и балда же ты! — сплюнул Канадец.— Может, тебя зло берет, что мы выбрались оттуда?

Павел промолчал, внимательно огляделся по сторонам. Они поползли вдоль длинной изгороди графского сада, потом побежали обратно по направлению к деревне. В конце концов они продрались через кусты и вышли на дорогу, ведущую к национальному комитету.

— Коровы!..— крикнул Канадец, как только он пыхтя поднялся по лестнице в национальный комитет.— Эти сволочи нас там...

Иван приложил к губам палец и жестом пригласил их к столу.

Петричко сидел прислонившись к стене и прижимал к уху трубку.

— С кем он говорит? — тихо спросил Канадец.

— С Горовцами,— шепнул Иван,— с районным комитетом партии.

— Так устрой это, пожалуйста, Эвжен,— сказал Петричко в трубку.— А еще для верности дай мне Бриндзака... Что? Нет, я не положу трубку. Хорошо, подожду.

Павел едва расслышал эти слова — так стучала у него в висках кровь.

2

Чтобы успокоиться, Павел закурил сигарету и вдруг почувствовал, что локоть его стиснули пальцы Ивана.

— Ты видишь их? Посмотри!

Иван осторожно высунулся из окна. Над площадью поднималось облако пыли. Из бывшего графского хлева, из хлевов Хабы и Зитрицкого выбегал скот. Трнавчане словно опьянели — лица у всех горели, голоса звучали грубо и визгливо. Животные, мужчины, женщины, дети метались по площади, во дворах, огороженных заборами.

Олеяр с женой гнали через мостик двух коров. Прямо под окном прошли, ведя скотину, Резеш и Марча. Пишта Гунар шел рядом со своей коровой, подталкивая ее и чуть не приплясывая. Штенко, размахивая увесистой дубиной и злорадно ухмыляясь, поглядел на окна национального комитета.

— Этот сукин сын ведет корову Гудака,— прохрипел за спиной Павла Канадец.— Он забрал ее вместо своей, что сдохла. Это была лучшая из кооперативных дойных коров.

Потом Павел увидел Шугая. Тот стоял под низкими ветвями одного из орехов на берегу ручья, озаренного солнцем, и смотрел в сторону национального комитета, растерянно топчась на месте.

Разве Павел мог представить год назад, что увидит из окна национального комитета такую картину. Вот она, охотничья засада! Он посмотрел на Канадца.

Канадец живет еще вчерашним днем, подумал Павел. Он не может оторваться от прошлого. И остальные тоже. Петричко, отец, Бриндзак. А как Сойка? У него от этих перемен наверняка голова пошла кругом. Эх...

Внезапно показались из-за чисто побеленного и ярко освещенного солнцем церковного фасада коровы.

— Видишь, откуда выходят коровки? Похоже, идут с обедни. Теперь и нам не мешало бы причаститься. Слушай, Иван. Ты не хочешь исповедаться? — спросил Канадец.— Может, послать за священником?

— В Трнавке теперь Хаба священник,— сказал Иван.— Снова его вынесло на поверхность.

Хаба стоял посредине площади и что-то говорил, размахивая руками. Рядом с ним стояли Бошняк, Микулаш Тирпак и несколько женщин. Возле ворот Эмиля Матуха столпилось с десяток мужиков.

— Дерьмо и всякий мусор всегда выносит на поверхность,— сказал Канадец.

— И кого там только нет, кто только не всплыл вместе с ними,— заметил Павел.

— Вот я и смотрю. А тебе не кажется, что именно этого и следовало ожидать?

— Ничего мне не кажется.

Павел продолжал смотреть в окно.

Хаба вытер вспотевший лоб и решительным шагом направился через площадь к другой группе людей.

— А мне вот кажется, что мы зря бездействуем,— сказал Канадец.— Интересно, для чего у нас существуют органы безопасности? Для чего милиция и армия?

— Наверное, для того, чтобы снести головы тем, кто кричит внизу на площади,— ухмыльнулся Павел.

— Нет, тем, кто их подбил на это,— возразил Канадец.— Когда мы устраивали демонстрации против правительства, жандармы нас разгоняли и сажали. Если бы мы тогда позволили себе то, что они теперь, нас бы давно перестреляли. Не понимаю, трусим мы, что ли? — И обращаясь к Ивану, спросил: — А это не ловушка? Чтобы они головы повысовывали, а мы по ним стукнули? Такое я бы еще понял.

— Нет, этого не будет,— сказал Иван спокойно.— Такую политику мы проводить не станем.

— Жаль. Это было бы то, что надо,— сказал Канадец.— Всегда они нас травили, как псы зайцев.

Народу тем временем на площади все прибывало. Одни уже отвели коров в хлева и снова вернулись, другие все еще стояли тут вместе со своей скотиной. Дорога к национальному комитету оказалась закупоренной, как горлышко бутылки, и шум все нарастал.

— Господи, помоги нам! — раздался чей-то крик.— У них, похоже, есть оружие, раз они засели там.

На лестнице послышались шаги; из толпы, теснившейся внизу, неслись выкрики:

— Не лезь туда! Подожди! У них оружие!

— Эй, вы, трусы, вылезайте-ка!

— Что происходит? — спросил Петричко, не отходя от телефона.

— Они идут сюда,— сказал Канадец.

— Хорошо бы поджечь эту ихнюю казарму — и дело с концом!— кричал внизу Штенко.

По спине Павла побежали мурашки.

В эту минуту под окном кто-то громко сказал:

— Эй, вы там! Сейчас же объявите о роспуске кооператива. Все равно уже никакого кооператива нет, но все-таки объявите официально.

Это говорил старый Хаба.

— Слышишь? — Иван снова сжал Павлу локоть.— Он требует официального подтверждения, что кооператив приказал долго жить.

— Может, послать Шугая с барабаном, чтобы он оповестил всех об этом? — предложил Канадец. Потом, повернувшись к Петричко и глядя на него в упор, спросил:— Так где же твоя милиция? Куда девался Бриндзак?

Петричко все еще прижимал трубку к уху. Скоро из Горовцов пришлют помощь. Теперь уже выбора нет, думал он. Дырку в кувшине надо заткнуть, иначе вытечет все вино. Бриндзак даст приказ КНБ. Их не должно быть слишком много — хватит четырех-пяти парней. Всего четыре парня — и мы изолируем зачинщиков. Вернем в кооперативное стадо скот и установим порядок. Еще можно все спасти. Скорее бы появились эти четверо парней из КНБ. Трнавка увидит тогда, что мы не одни, что они сражаются не только с нами... Это, конечно, удар для нас, но ведь мы же знали, что путь будет нелегким. Разве в России было мало врагов, мало трудностей? А у нас дорога одна! И хотя все эти события для нас — удар, мы выдюжим. Только бы пришло подкрепление.

А почему бы ему не прийти? Ведь одно из важнейших завоеваний революции в том и состоит, что у нас есть свои вооруженные силы. Они прибудут. Хотя, судя по всему, там, наверху, происходит что-то непонятное. Ну и пусть. Наверху уже бывало всякое... Но Бриндзак не из тех, кто предает.

И Петричко ждал, когда же на площади раздастся шум подъезжающих машин. Он ждал этой минуты, как ждут, когда же наконец взойдет солнце. Они, наверное, уже в пути, говорил он себе.

Ему показалось, что шум толпы внизу становится все сильнее.

— Вылезайте, трусы! Откройте! Откройте и впустите нас! Откройте немедленно и объявите о роспуске кооператива! — раздался из толпы чей-то сильный мужской голос.

Голос был знаком Петричко.

— Кто это так разошелся? — спросил он.— Опять Хаба?

— Бошняк,— сказал Иван.

— А говорит, будто Хаба!

Петричко всматривался в лица окружавших его товарищей. Все надежны, подумал он. Никто бы из них не мог... Он испытующе поглядел на Ивана, потом долго и внимательно на Павла.

Наконец в трубке что-то затрещало.

— Алло-о-о! — закричал Петричко, еще сильнее прижимая трубку к уху и прикрывая другое ухо свободной рукой.

Отозвался женский голос. Павлина, подумал он. И сразу же услышал голос Бриндзака. Но только он собрался задать ему вопрос, как в телефоне что-то треснуло, зашипело, потом стало тихо.

— Алло-о-о-о! Черт возьми, что такое?!

Петричко дул в трубку, словно хотел прочистить ее, но телефон молчал.

— Что случилось? — спросил Иван.

Все с напряжением ждали ответа.

— Перерезали провод.

Они все еще растерянно смотрели друг на друга, когда в окно ударил первый камень. Стекло со звоном разбилось, и еще не отзвучал этот звон, как в окно снова полетели камни.

Петричко вскочил.

— А ну быстрей ко мне! — крикнул он Канадцу, уперся в стенку тяжелого дубового шкафа.— Подвинем его к окну.

Иван и Павел стали помогать ему.

Шкаф было нелегко тащить по неровным доскам пола. Кипы бумаг на нем закачались и посыпались на пол. Его все же пододвинули вплотную к окну. В комнате стало темно. В заднюю стенку шкафа с грохотом ударил камень.

— Вот сволочи! Еще два-три таких камня — и шкаф разлетится в щепки! — бурчал Канадец.

— Поджечь бы их, а потом и остальных выловить,— раздался женский крик.

Павел узнал голос Зузки.

— Что ты думаешь делать? — спросил он Петричко.

— Держаться, пока они не приедут,— ответил Петричко низким, грудным голосом.

— А приедут ли они вообще? — спросил Канадец.

— Посмотрим,— сказал Петричко.— Мы-то пока еще здесь.

— Это я знаю. Но я же слышу, как орут эти паразиты! — прохрипел Канадец.

Рев под окном усилился, камни градом обрушились на окна и двери дома.

Павел поднял палочку от барабана Шугая, которая валялась на полу среди бумаг и осколков стекла.

Иван, прильнув к щелке между оконной рамой и стенкой шкафа, пытался разглядеть, что делается на площади.

К ним долетали только приглушенные обрывки фраз. И вдруг шум, доносившийся снаружи, пронзил отчаянный женский вопль. Кто-то взбежал по ступенькам. Потом повис на ручке двери, тяжело навалился на филенку.

— У-би-ли! Имре нашего убили!

Наступила мертвая тишина.

Петричко, Иван и Павел с ужасом глядели на Канадца. Это был голос его жены.

Лицо Канадца стало желтым, как у покойника. Крючковатый нос вдруг словно вытянулся. На впалых, заросших щеках выступили капельки пота. Руки беспомощно повисли. Он хватал ртом воздух. Убили Имре, сына...

Канадец вдруг очнулся. Одним прыжком подскочил к двери, повернул ключ и выбежал. Следом за ним кинулся Павел. Он слышал, как за ними бегут Петричко и Иван.

В глаза Павлу ударило солнце, уши заложило от дикого крика на площади. Разъяренная, ревущая толпа сразу поглотила их.

3

Павел хотел добраться до леса. Он петлял вдоль заборов, миновал сарай Штефанича. Здесь уже было тихо — шум с площади почти не доносился. За садом Гунара шла заросшая кустарником межа кооперативного картофельного поля, а сразу за ним — лесистый холм. Там уже не догонят.

Глаза жгло, Павел чувствовал, что припадает на левую ногу, но боли не ощущал. Удивительно, столько били — и ничего не болит.

Павел бежал задыхаясь, и вдруг сильный удар по темени оглушил его. Павел пошатнулся, но еще успел увидеть лицо Пишты Гунара, нырнувшего в кусты; Павел упал на колени и повалился наземь, ткнулся лицом в пыльную траву.

На него обрушилась неправдоподобная тишина. Он не чувствовал ни боли, ни страха. Он лежал на сухой, пахучей траве, ощущая лишь пустоту. Потом издали до него донеслось странное, непрекращающееся жужжание. Казалось, над его головой пролетает реактивный самолет. Высокий, прерывистый звук пронизал его мозг.

Медленно, напрягая все свои силы, Павел открыл глаза. Ощущение было такое, словно сквозь густой туман постепенно пробивается утренний свет, медленно, очень медленно рассветает; только через несколько минут он увидел во всем его ярком сиянии летний день. Прямо перед глазами среди пыльной зелени вертелась полосато-желтая спинка осы. Оса ползала по упавшей груше, шевеля своим жалом. И Павел понял, что жив.

Солнечные лучи падали на его спину и голову, и Павлу казалось, что они расплавят ему череп. Он прикоснулся ладонью к темени и нащупал липкие, склеившиеся волосы. Рана горела. От боли он зажмурил глаза.

Заварил кашу, так расхлебывай, говорил он себе. Но теперь уже все позади, все кончилось. Тяжелая дубинка у Пишты Гунара. А это в самом деле был он? Тебе не изменяет память? Нет, не изменяет, это был действительно Пишта.

Павел не испытывал страха, не было ему и стыдно от того, что

он тут валяется. Не чувствовал он и горечи, никого не упрекал в том, что не уехал отсюда раньше. Даже нисколько не злился на Пишту Гунара. Ему даже стало легче. Это было что-то вроде искупления и очищения. Конец. Полное освобождение. Вот теперь ты свободен, Павел, осел ты несчастный!

Он снова открыл глаза и приподнялся на локтях, пытаясь превозмочь боль. Павел протер глаза. Из раны текла кровь, все тело покрылось испариной.

Павел смотрел на поле, которое казалось ему бескрайним. Далеко за полем темнел лес. Солнце освещало склоны холмов, от которых веяло покоем и безопасностью. А чуть в стороне Павел увидел изгиб ручья, огород с грядками фасоли, пугало, хлев, замшелую крышу. Они показались ему очень знакомыми, как будто когда-то он был уже тут.

Во дворе торчал колодезный журавль. И Павел подумал, что умрет от жажды, если не выпьет сейчас воды. Он поднялся и побрел, как будто нес на себе тяжелый груз. Во дворе он поскользнулся и, падая, ухватился за каменный, раскаленный солнцем край колодца. Но заглянув внутрь колодца, почувствовал приятную прохладу. Он наклонился, схватил цепь бадьи... и тут увидел ее.

Анна выходила из хлева. Она вела на веревке двух коров Хабы, которых ее отец в суматохе отвел к себе. Она отправилась за ними, как только в деревне немного поутихло, но когда прибежала к родителям, ни отца, ни матери дома не было. Обмотав веревку вокруг запястья, она другим ее концом подстегивала коров.

Павел наблюдал за нею без волнения, даже с каким-то удивительным ощущением пустоты и легкости. Как будто это был не он, и смотрел он на нее как на незнакомого человека, деловито отмечая ее движения. Казалось, в нем умерли все чувства.

Теперь ей уже не надо прятать этих коров у отца, подумал он. Возможно, ее послал за ними Дьюри, теперь им нечего таиться.

Затем он, так же отчужденно и холодно, как бы освободившись от всего личного, осознал, что перед ним та самая Анна, с которой он совсем недавно предавался любви.

Увидев его, Анна застыла, руки ее одеревенели. В глазах — удивление и испуг. Она отступила на шаг, потом еще на шаг, прижалась к стене.

— Это ты? — наконец проговорила она.— Матерь божья, пресвятая дева! Что с тобой? Кто это тебя? — Руки у Анны повисли, но веревку она не выпустила, словно срослась с нею. Павел наклонился и припал к бадье. Он пил шумно, жадно, как будто уже сто лет не видел воды. Потом поднял голову и сказал:

— Полей мне...

Анна стояла, окаменев.

— Ну же, пошевеливайся,— сказал Павел.

Он уже хотел сам приподнять бадью, когда Анна, наконец, очнулась. Она выпустила веревку. Их руки встретились.

— Наклонись ниже, Павел,— сказала она и выплеснула ему на голову воду.

Боль была такой резкой, будто его хлестнули колючей проволокой. Вода запенилась у него на макушке. Ледяная струя, казалось, проникала через кровавую рану до самого нутра. Павел стиснул зубы, лед превратился в раскаленные угли. Но когда вода потекла под рубашку, дошла до пояса и бедер, ему стало легче.

— Полей еще,— попросил он, не поднимая головы.

— Тебе очень худо? — спросила она глухо.— Почему ты там был с ними? Почему ты вообще с ними?

— К черту, давай воды! — оборвал он ее.— Видишь, мы немного пошутили.

Она молча взяла бадью и направила тоненькую струйку на голову.

— Вы немного пошутили! — поправился Павел.

Ему уже стало легче. Так вот почему Анна здесь. Он вспомнил, как в прошлом году отец вел этих коров Хабы от Олеяров в кооперативное стадо и как причитала ее мать там, у мостика. А она сама три дня назад, когда пришла к нему на пастбище, говорила, что коровы эти не ихние.

— Значит, и ты тоже уводишь? — спросил он, вкладывая в эти слова всю иронию, на какую был способен. Но вопрос его прозвучал скорее грустно, голос был усталый и равнодушный.

Она, не понимая, смотрела ему в лицо.

— Я говорю, что и ты уводишь скот,— повторил Павел. Он не пытался ничего объяснять.

— А что с Имре?.. Что вы с ним сделали?

В ее глазах вдруг вспыхнул веселый огонек.

— Ничего не сделали. Вы же иначе оттуда не вылезли бы!

Теперь он не понял.

— Что?! — У него перехватило дыхание.— Так, значит...

Она громко захохотала. Смех, казалось, клокотал в ней. Глаза лихорадочно блестели. Павел смотрел на нее и не мог прийти в себя от изумления. Так, значит, Канадка... Значит, это она бросила последний камень, свела-таки с нами счеты. Канадка — хитрая баба, всегда сумеет найти выход из положения. Так это ее он должен благодарить за то, что теперь у него уже все позади...

— Анна...

В эту минуту на дороге раздался топот бегущих ног и крик.

— Держи его! — орал кто-то.

— Я ему покажу кооператив! Тебе еще мало, старый черт? — кричал другой, задыхаясь.

Вдоль забора бежал, наклонив голову, Демко. Павел видел, как двое накинулись на него и повалили на землю. Он видел все это как будто издалека, но очень ясно, отчетливо. Взлохмаченная голова Демко снова показалась над штакетником. Он закрывал руками лицо, а оба преследователя, пригнувшись, прыгали вокруг него. Демко собрался с силами и навалился всей тяжестью тела на одного из них. В нем Павел узнал Штенко.

Павел глядел на эту сцену без всякого волнения, как будто все, что он видел вокруг, происходило на киноэкране.

Он поднял лежавшее на земле полено и направился к забору. Анна не спускала с Павла глаз. В одной руке она держала веревку, а другой судорожно зажимала себе рот, пытаясь унять смех. И вдруг смех оборвался. Анна вытаращила глаза от изумления и ужаса. Она пронзительно завизжала:

— Дьюри, берегись!

На нижнем краю площади показался старый Копчик. Рубашка прилипла к телу, штанины брюк были разодраны. Он весь сгорбился и еле передвигал ноги. Колени у него дрожали, в боку кололо. Но он мог теперь хоть перевести дыханье.

Ты удирал от них, словно какой-то паршивый козел, словно несчастный заяц, говорил он себе. И надо же было наткнуться в поле на Олеяра и Эмиля Матуха. Олеяр был с этой своей ведьмой Бернардой.

Как только они увидели, что он жнет пшеницу, тут же набросились на него.

Копчику было стыдно — как же это он побежал от них; особенно унизительным казалось ему то, что, петляя между рядами пшеницы, он потерял шляпу.

Копчик окинул взглядом площадь. Черт возьми, что же происходит? Вот проклятье! Он закашлялся. Если ты боишься, старина, тебе лучше податься в лес. Или спрятаться у цыган. Никакой лес не укроет тебя так, как цыгане. Лучше всего податься в Тополины. Петричко во время войны прожил там три недели, а жандармы рыскали по холмам. Каждый день проходили мимо, но так и не нашли. К цыганам! У них надо прятаться, если боишься.

На противоположном конце площади показался Тирпак. Рядом с ним шел Резеш, скручивая цигарку. Копчик заметил, что оба наблюдают за ним.

— Что вы, подлюги, можете мне сделать? — бормотал он.

Он шел им навстречу спокойно, чуть покачиваясь.

— Ну, наработался сегодня? — насмешливо спросил Резеш, остановившись у своего дома. Марча приникла к забору.

— Зайди, махнем по стаканчику. Заходи, пьянчуга,— сказал Тирпак.

Копчика трясло от ярости, он прошел мимо, даже не взглянув на них. Вдруг он услышал чьи-то шаги. Оглянулся. И тут ему плеснули что-то в лицо. На мгновенье он, казалось, потерял зрение, стал задыхаться. Но, пересилив себя, протер рукавом ослепленные глаза, затем губы и увидел Тирпака, державшего в руках ушат, из которого капала моча. Копчик весь промок. От одежды шла такая сильная вонь, что он едва дышал. Его затошнило.

— Вот тебе! Это все ваше, кооперативное! Пей! — орал Тирпак.

Резеш молча ухмылялся.

Копчик пошел дальше. Он задыхался от вони, глаза слезились, желудок сводило. Он так ослаб, что каждый шаг давался ему с трудом. «Держись, хоть минуту еще продержись»,— шептал он. Ему казалось, что он упал в выгребную яму и весь, до самого нутра, пропитался чем-то отвратительным и кислым.

Копчик шел медленно, не теряя достоинства, но добравшись до своего дома, привалился к стволу старой груши за сараем и схватился обеими руками за живот. Его вырвало.

— Ну и мерзавцы,— бормотал он, в бешенстве сбрасывая с себя штаны и рубашку, пропитанные вонючей желтой жидкостью.

4

— Значит, я недаром молилась. Бог справедлив,— сказала Марча.

Разгоряченная, счастливая, она звонко смеялась, кидая в телегу охапки перевясел. Марча даже помолодела от счастья.

А давно ли она говорила: «Они ведь все могут».

Резеш запрягал телегу и слегка похлестывал Дунцу ремнем по коленям, чтобы она чуть отступила к дышлу. Пока кобыла, повернув к нему голову, подавалась назад, он заглянул через оконце в хлев. Разглядеть отсюда ничего нельзя было, но он знал, что там, внутри, лежат на соломе или стоят все его коровы.

Жофка, Контеса, Гизела и Гермина снова вместе с Графиней чавкали у корыта, наполняя хлев живым теплом.

Эй, как вы там? — мысленно спрашивал он, и взгляд его теплел. Вот вы снова дома. Снова вернулись ко мне. Вы здорово отощали, но не беда. Главное, вы снова дома, вы снова мои. Очень вы грязные ста-

ли, но и это не страшно. Марча вас вечером хорошенько почистит. Вы уже получили самое лучшее, что я только мог для вас достать. Зато утром... Вы только дождитесь утра — чудесное пастбище будет снова вашим, потому что теперь все будет как прежде. Слава богу, вы все это выдержали. У республики не хватило бы денег заплатить мне за вас.

И исполненный гордости, Резеш высоко поднял голову.

— Ну и досталось же Копчику,— сказала Марча.

— Ничего! Просто глотнул малость своего же дерьма,— сказал он.— Теперь уж с кооперативом мы покончили.

Марча подошла к нему сзади и обняла его за плечи.

— Мишо, теперь все снова будет как прежде?

— Да, только мы очень задержались с обмолотом. Надо было начать хоть недели на две раньше. Так что давай приниматься за дело! Нечего рассиживаться! — сказал он грубовато и в то же время ласково.

Он еще раз огляделся, заметил дорожку из свежего коровьего навоза, ведущую к хлеву, и когда лошадь в яблоках, запряженная вместе с Дунцей в телегу, тихо заржала, почувствовал, как в нем снова пробуждается вера в жизнь и желание жить.

Он взял кнут, вскочил на телегу, и они выехали со двора.

Трнавка словно вымерла. Лишь на площади, вобравшей в себя весь зной, в тени орехов отдыхали гуси, и в пыли перед воротами Эмиля Матуха топтался кабан. Да слышно было, как кто-то второпях отбивает косу.

Проезжая мимо школы, Резеш заметил у окна учителя, тот, увидев его, отпрянул в сторону.

Резеш погнал лошадей. До Жебрацкой грушки было почти три километра. Дунца так и рвалась вперед. За последними крестьянскими дворами все шире открывался простор полей и все выше, много выше, чем обычно, становилось небо, и Резеш подумал: снова начинается жизнь! Начинается все-таки... Сегодня в нем каждая жилка звенела радостью. Он наслаждался этим чувством, потому что со времени поездки в Прагу где-то в глубине души у него таилось беспокойство. Ему не хотелось вспоминать об этой поездке...

Пока поезд шел по родным местам и в вагоне сидели крестьяне из соседних деревень, все было в порядке. Они — делегаты — хоть и волновались, но, находясь в своем окружении, чувствовали себя героями, сильными, отважными. Однако по мере того, как поезд увозил их все дальше на запад, что-то начало меняться от станции к станции. За окном как будто была та же теплая летняя ночь, но в слепящих отблесках пламени коксовых печей и домен открывался другой мир. Михала поразило, что и ночью на заводских дворах не прекращается жизнь. Поток искр в освещенных дворах, на подъездных путях составы с грузами — вагоны и платформы с железными балками и строительным лесом, с углем и машинами, длинный ряд цистерн. А на воротах и фасадах заводских корпусов, на копрах шахт, над крышами цехов, над складскими зданиями сверкали пятиконечные звезды, серп и молот. И люди в их купе сменились. Там, куда они ехали, ничего не знали о бедах Трнавки. Разговоры, которые велись вокруг, касались совсем других тем; Михал в этом металлическом грохоте колес как-то терялся...

Когда же рассвело, он увидел, что и поля тут другие. Кое-где они, правда, тоже заросли сорняком, но зато в других местах были хорошо возделаны, и на них трудились люди. Над молотилками поднималась густая пыль. Вокруг телег и мешков с зерном не прекращалось движение. Он так напряженно всматривался в эту знакомую картину и вслу-

шивался в этот близкий ему ритм труда, что вдруг заерзал у своего окна, будто почувствовав колотье остей за влажным от пота воротником. Ему казалось, что он слышит, как ржут кони... По дороге полз трактор, тащил прицеп с бидонами молока. И снова — товарный состав, подъездные пути, грузовики, набитые какими-то ящиками. И всюду работают люди.

Бошняк, сидевший напротив Михала, тоже приуныл, обмяк. Куда девалась его обычная самоуверенность! Эмиль притворился, что спит, хотя все время притопывал ногами, они, видно, занемели у него. Им не хотелось ни есть, ни разговаривать. Казалось, они все глубже проникают на чужую территорию и вокруг них все теснее сжимается вражеское кольцо.

Через четырнадцать часов пути они вышли в Праге. Отродясь Резеш не видел такого скопления народа. Толпа поглотила их. Люди непрерывным потоком двигались по улицам, останавливались у витрин магазинов, перебегали через рельсы чуть не перед самым носом дребезжащих трамваев, сновали между проезжающими машинами. Все трое чувствовали себя совершенно потерянными в этом человеческом муравейнике. На большой, просторной площади они остановились возле группки людей, рассматривавших у входа в редакцию газеты фотовитрину, запечатлевшую бои в Корее, а рядом на карикатурах был изображен генерал Макартур с окровавленными руками. Какой-то человек в спецовке, кативший по тротуару огромный рулон газетной бумаги, сказал: «Ну и задали же перцу этим бандитам — будет им наука!» Он произнес это с такой гордостью, словно имел к этому прямое отношение, словно он сам помогал остановить американцев и вынудил их к отступлению.

Михал взглянул на Бошняка и увидел, как тяжело тот дышит, просто задыхается, он даже расстегнул воротник рубахи.

Их все больше охватывало уныние, они все яснее осознавали, как мало они здесь значат. А когда Михал на той же площади увидел конную статую перед зданием с зеленым куполом, им овладела мучительная тоска. У коня были крепкие ноги, ноздри его раздувались, во всем его теле играла буйная сила. Конь напомнил Михалу жеребца Шагью, к которому он водил своих кобыл; и ему захотелось тут же повернуться и уехать обратно в Трнавку.

Все трое почувствовали облегчение, когда в Граде передали свое заявление человеку, который их принимал, и тот сказал им, что жалоба их будет рассмотрена и чтобы они возвращались домой. Передавал жалобу Бошняк — язык у него во рту с трудом ворочался, а когда они завершили свою миссию, снова почувствовали себя потерянными и кем-то преданными среди этой чужой городской жизни. Они не стали задерживаться в Праге и тут же сели в поезд. Михал никак не мог понять: одна страна — и такая разница! Эта разница все время била в глаза, оглушала, угнетала. Только когда они стали приближаться к родным местам и за окном показались пожелтевшие, пустые, заросшие сорняками поля, к ним вернулся боевой дух. Михал понимал, что это дико и бессмысленно испытывать чувство облегчения от того, что поля тут пусты и мертвы, ведь за время их отсутствия ничто не изменилось, но он знал: что-то должно произойти. А когда они сели в ожидавшую их бричку Хабы и когда в Трнавке забили в набат и соседи окружили их, облегчение сменилось ликованием. Они вернулись, их жалоба будет рассмотрена. Надо выждать. У Михала снова взыграл боевой дух, их желания скоро осуществятся. Но все же на дне его души шевелился какой-то червь сомнения. Никому, даже Марче, он не признался в этом.

Зато теперь его охватила огромная, буйная радость. Наконец-то все будет снова как прежде.

— Но-но! Пошли, милые,— покрикивал он на лошадей.

Горячий воздух был насыщен запахом зрелых хлебов, ему казалось, что он слышит хруст пересохшей соломы. Сейчас его не беспокоило, что колосья кое-где почернели и поле заросло сорняками.

Семейство Хабы уже было в поле. Резеш весело поздоровался с ними и снова щелкнул кнутом. Он ехал на свое самое дальнее поле, где у дороги торчала одинокая старая груша. С незапамятных времен она служила границей между его полем и полем Зитрицкого. Потом его соседом стал кооператив, и Резеш сам помогал там сеять. Издали он смотрел на серовато-зеленую развесистую крону груши и ощущал на губах вкус ее мелких терпких плодов. Ему был знаком шум ее листьев и мелодия дождя, стучавшего по ее ветвям. Он часто отдыхал в ее тени в полдень с отцом или с Марчей, и они ели здесь, пока распряженные лошади жевали овес.

С волнением приближался он к старому дереву.

X. *Ох, вы, безумцы!*

1

Петричко уже несколько часов дожидался Бриндзака. Когда их выманили из национального комитета, он вдруг очутился во дворе у Плавчана, вскочил на чей-то велосипед, прислоненный к забору, и выехал задворками на узкую тропинку в поле. У него были разбиты губы, он сплевывал кровь, текущую из десен, но ехал быстро. Он спешил обогнуть деревню и попасть на шоссе раньше, чем приедут товарищи из Горовцов, чтобы вместе с ними вернуться в Трнавку. Петричко уже подъехал к перекрестку, откуда шла дорога на Жабяны, но на ней не было видно ни души. Так он добрался до самых Горовцов. У моста толпились люди. Они оживленно разговаривали, на берегу Лаборца было полно голых ребятишек, которые весело перекрикивались и брызгались. За автобусом мирно вздымалась пыль. Наконец, он поставил велосипед во дворе районного комитета. У входа милиционер проверил его документы, и он вошел. Ни Бриндзака, ни Сойки не было, пришлось ждать.

На улице давно уже стемнело, из помещения во двор падала полоса света. Распухшие губы Петричко одеревенели, в деснах на месте выбитых зубов он чувствовал жжение. Но тяжелее всего ему было от сознания, что время идет, а ничего не предпринимается, и он не знал, что теперь происходит в Трнавке. Революция в опасности. Эта мысль неотвязно преследовала его. Сердце, казалось, сжимает железный обруч. Петричко беспокойно шагал взад и вперед по комнате.

Павлина Подставская сварила ему кофе.

Он сел у окна в углу приемной и стал понемногу отхлебывать из чашки. Но от кофе ему стало еще хуже. Резкая боль в деснах усилилась, и они снова стали кровоточить.

Трезвонили телефоны. У Павлины был длинный список разных поручений, все время кто-то приходил, что-то спрашивал. В Мальчицах, Оборине и Фалькушовцах тоже разбирали обобществленный скот. Значит, и там, значит, и в других местах началось. В один и тот же день. И в Чичаве тоже, снова в Чичаве...

Петричко совсем растерялся. Революция в опасности.

Наконец появился Бриндзак.

Он пришел вместе с Галушкой, одетым в форму поручика НКБ, и с начальником районного отдела милиции Гашпаром.

— Заходи,— сказал Бриндзак,— все нам расскажешь.

Бриндзак выглядел осунувшимся, на нем, как всегда, были широкие вельветовые штаны, клетчатая рубаха и старые пыльные ботинки. Он пристально посмотрел на губы Петричко.

— Возьми машинку,— сказал он Павлине.

Она теперь часто переносила свою пишущую машинку к нему в кабинет. В приемной было очень беспокойно, она то и дело вскакивала, звонили телефоны, а люди, ожидавшие приема, сидели у нее чуть ли не на голове. Уже несколько дней она слышала только злые, хриплые голоса. Бриндзак нервничал. Павлина почти физически ощущала вокруг себя атмосферу неуверенности. Теперь она печатала на машинке то, что Петричко рассказывал о Трнавке, и его рассказ приводил ее в отчаяние. Сколько раз она говорила себе: не твоего ума дело, знай себе, стучи на машинке. Но не думать, а только стучать на машинке она не могла.

Павлина ждала, рассматривая рыжее пятно на зеленом сукне стола: это было пятно от пролитого кофе. Тогда при Гойдиче она пыталась его оттереть, но только размазала, и образовался еще беловатый круг. Гойдич. Она бы отдала год жизни за то, чтобы теперь тут сидел он. Павлина ни разу не видела его с тех пор, как он ушел, и однажды, расхрабрившись, пошла его навестить. Ей хотелось сделать ему сюрприз и посмотреть на его новую квартиру. Но Гойдича не было дома. Квартира на Гедвабной улице, куда его переселили, оказалась маленькой и сырой каморкой. Павлина с ним так и не увиделась, но из-за этого визита у нее были неприятности. И откуда Бриндзак узнал?

Собственно говоря, это даже нельзя было назвать неприятностями. Он только дал ей понять, что ему известно о ее попытке увидеться с Гойдичем. Презрительно улыбаясь, он пристально смотрел на нее глазами-щелочками. Оставшись одна, Павлина расплакалась. Разве она совершила что-то недозволенное? Разве она не болеет за их дело? Никогда бы она не стала тут работать, если бы не верила в него.

Другие девушки давно гуляют у Лаборца, а она все еще сидит тут. Сколько раз она здесь ночевала, когда ей приходилось стучать допоздна на машинке или дежурить у телефона. Только по воскресеньям она была свободна. По воскресеньям она убирается дома и готовит отцу и братьям — матери у нее давно нет.

Павлина встала и зажгла лампу.

Бриндзак на нее никогда не кричал. Только, прищурясь, скажет что-нибудь приглушенным голосом, а у нее деревенеют губы от страха и пересыхает во рту. Она презирала его и боялась. Ей не стало легче, когда она поняла, что такие чувства он вызывает не у нее одной.

Павлина слышала, люди уже шептались о том, что сняли Врабела. Секретаря областного комитета. Так значит... У нее даже дух захватило, когда она подумала об этом. И снова принялась стучать на машинке, рассеянно слушая Петричко.

— Не-ве-ро-ят-но.

Она подняла голову и поглядела на Бриндзака. Да. Невероятно, мысленно повторила она вслед за ним. Можешь считать, что и ты... Она знала: снятие Врабела ставит под угрозу и положение Бриндзака.

Даже кровь прилила к лицу от этой мысли.

— Не-ве-ро-ят-но.

Бриндзак сидел, позвякивая связкой ключей. Вот тебе на! Они собирались ехать с Сойкой в Трнавку. Вышли, и уже в коридоре он

узнал эту новость. Ее привез из области инспектор Кордяк: Врабел снят.

Еще, правда, областной комитет не собирался, но вопрос о его снятии был решен наверху. Центральный Комитет... Так... Сектантские перегибы при коллективизации — искривление политической линии партии. Говорят, прибудет подкрепление для улучшения политической работы в области. Пришлют сюда людей из Братиславы и из Праги? Гм... Перегибы. А теперь кто-то приедет выправлять линию. Ведь это же полный разгром партии. Хотя в области кое-кто, конечно, потирает руки. Как же иначе. Не-ве-ро-ят-но. Совершенно невероятно. Паршивцы, трусы, но я изворачиваться не стану. Так и знайте. Малая Москва, говорите? А Хаба там уже снова на коне. Кто его знает лучше меня? Уж я бы его отполировал до блеска. А вместо этого сижу и жду, пока они нам всыпят.

— А ты что на это скажешь? — повернулся он к Галушке.

— У меня на этот счет свои инструкции,— ответил тот, пожимая плечами, и обратился к Петричко:

— Они еще не выкрасили дом священника или церковь в желтый цвет? Теперь кое-где так делают. Это значит: мы подчиняемся Риму, а не вам.

— И это все, что ты можешь сказать? — спросил Бриндзак Галушку.— Мне не до шуток.

— А ты насчет меня не строй планов,— сказал Галушка.— Ничего такого я делать не стану. У меня свои инструкции.

Он говорил осторожно и мягко, но не пытался скрыть самолюбивого удовлетворения от того, что может возразить Бриндзаку.

Тут дело в принципе. Не буду я посылать своих людей по деревням, чтобы они сторожили, пасли и доили скот, думал он. И не могу я сажать людей под твою диктовку. У меня из-за этого уже были неприятности. Но теперь все позади.

Не-ве-ро-ят-но. Раньше он не позволял себе так со мной разговаривать, подумал Бриндзак. Я этого не потерплю. Пока я здесь, на этом месте, развязывать руки классовому врагу не позволю.

— Мой тебе совет, хорошенько подумай,— сказал он.

— В Трнавке мы, конечно, расследование проведем,— заверил Галушка.

Его душила ярость, Бриндзак давно уже стоял у него поперек горла. Что уставился на меня? Да иди ты к черту со своей вечной подозрительностью! Подожду, пока придут указания сверху, а пока все как следует проверю. Да. Там у Петричко можно кое-что предпринять. Нападение на общественников, насильственный угон кооперативного стада, нападение на местные органы государственной власти, повреждение телефонной связи. Да. Там мы сделаем все, что возможно. В Чичаве мы тогда скот сами снова собрали, а к чему это привело? Сегодня в полдень кооператив там распустили. Вся деревня проголосовала за его роспуск. Единогласно. Черт возьми, а что бы ты там предпринял?

Петричко слышал, как рядом с ним Бриндзак покашливал.

— Но одно ты все-таки сделаешь,— сказал Бриндзак.

— Слушаю тебя,— ответил Галушка.

Гашпар, который все это время внимательно наблюдал за обоими, завертел головой.

— Я пошлю сейчас же эти записи в область, чтобы там знали, что тут делается после этого несчастного выступления Запотоцкого. А ты пошлешь своих ребят,— продолжал Бриндзак.— Пусть разъезжают по району, чтобы их всюду видели.

— Хорошо,— сказал Галушка.— Это можно, это мы сделаем.

Он повернулся на каблуках и вышел. Бриндзак и Петричко посмотрели ему вслед. Гашпар молчал. Павлина вспыхнула от волнения.

Петричко уже понял, что скот они не соберут, и на душе у него стало горько. А ты думал, что на твоей улице праздник. Говорил, что старые порядки в Трнавке приказали долго жить. Ты хотел людей вести под уздцы, как доброго коня, который сам боится взойти на холм, хотя за этим холмом лежит зеленый луг и он мог бы на нем порезвиться. Там растет для этого коня самый лучший овес и есть родник с кристально чистой водой. Но конь дрожит, и спина у него взмокла от страха. И не хватает у него разума, чтобы самому пойти туда. И вполне естественно, что нам пришлось огреть его веревкой и тащить под уздцы. Петричко никак не мог понять, почему этот конь вдруг заартачился. Почему, когда оставалось совсем немного до вершины, до того великолепного луга, он испугался и понес? Ох и глупец же ты! Зачем же ты позволил коню сбросить упряжку?

Губы у него распухли и стали твердыми, левая щека отекла.

— Интересно, чего ты добьешься, если парни из КНБ будут только разъезжать и ничего больше? Разве это поможет делу?

— Я бы все сделал иначе,— сказал Бриндзак.— Я бы вытравил всех саботажников, как крыс, если бы было можно. Но теперь, оказывается, повсюду полно таких гадин. Что и говорить, дело дрянь. Когда вышла эта злосчастная статья, мы изъяли из продажи все газеты. И приняли меры, чтобы их никто не распространял. Врабел...

Бриндзак посмотрел на Петричко. Нет, тот еще ничего не знает, подумал он. Потом, будто вдруг что-то вспомнив, повернулся к Павлине — она стояла, держа бумаги в руке,— и молча протянул ей ключи.

— Выпей малость,— сказал он Петричко.— Да, поймали вас в ловушку.

Петричко посмотрел на Павлину. У нее так дрожали руки, что, наливая вино, она расплескала его.

Он провел рукой по разбитым губам и тихо сказал:

— Теперь мне ясно, скот нам уже не собрать.

2

Мать снова намочила полотенце в ледяной воде и осторожно положила его Павлу на голову. Он лежал на постели одетый, вода стекала с полотенца и расползалась розовыми пятнами по подушке. Рана у него продолжала кровоточить.

— Больно?

— Ужасно жжет. И душно здесь.

В комнате стоял чад. Мать растапливала печку хворостом, руки у нее тряслись, какая-то веточка выпала и медленно тлела на полу.

— Сейчас открою дверь, погоди.— Она рылась у стола в мешочках с травами — искала ромашку.

Запах ромашки смешался с дымом и наполнил всю комнату. Этот запах был ему приятен, от него веяло домашним теплом и покоем, и он напоминал ему детство. И все же Павел обрадовался, когда мать открыла дверь. Он глубоко вдохнул свежий воздух и прислушался.

Было тихо.

Все кончено, думал Павел. Он понимал, почему мать закрыла в такую жару дверь. Она не хотела, чтобы их кто-нибудь видел или слышал, не хотела сейчас напоминать деревне об их существовании.

Когда Павел с поленом в руке подошел к забору и Анна закричала, Дьюри обернулся, отпустил Демко и ошеломленно уставился на Павла. Лицо у него перекосилось, глаза налились кровью, и он бро-

сился на Павла. Павел едва держался на ногах, но полено в руке сжимал крепко.

Потом на дороге кто-то заорал:

— Стойте! Слышите! Ни с места!

Это был лесник.

— Если кто шевельнется — пристрелю! — сказал он, целясь из дробовика то в Дьюри, то в Штенко. Его голос не оставлял никакого сомнения в том, что лесник и впрямь нажмет спуск.— А ну, мотай отсюда в разные стороны!

— Убери палец с курка! Ружье-то на взводе,— сказал Штенко.

— А ну проваливайте, а то стрелять буду.

Штенко и Дьюри переглянулись, но не уходили. Дуло дробовика было по-прежнему нацелено на них. Мимо, как во сне, прошла Анна. Коровы вели ее сами, она только держалась за веревку. Первым двинулся Демко. И тут же присел на бревно у забора, чтобы передохнуть немного. Левый глаз у него распух, заплыл и посинел.

Увидев Анну с коровами, Дьюри торжествующе и презрительно посмотрел на Павла, по щекам и лбу которого текла кровь.

— Гони их домой,— крикнул он Анне,— гони туда, где им и положено быть.

Он был уверен — теперь уж не нужно ничего скрывать, все будет опять как прежде. И тоже ухватился за веревку.

Когда они ушли, Демко поднялся.

— Эх, мне бы воды холодной.

— Выпьешь дома. Пойдем, побудешь у нас,— сказал Павел.

Поддерживая друг друга, они, пошатываясь, пошли по шоссе. Мать, увидев их, выбежала навстречу и втащила обоих в дом.

Только в комнате Павел выпустил из рук полено, которое всю дорогу сжимал в руке, и повалился на кровать. И мать принялась ухаживать за ним.

Павел пролежал, наверное, с полчаса и не заметил, когда пришел отец. Он слышал, как яростно тот ругался. Помывшись и надев чистую одежду, отец вскоре ушел вместе с Демко.

Боль в голове не проходила, но Павел старался превозмочь ее. У него теперь было время обдумать все, что произошло. Отдельные картины так и стояли перед его глазами.

Он снова слышал крик Анны: «Дьюри, берегись!» Идиот, а на что, собственно, ты рассчитывал? С минуту она колебалась, в глазах ее мелькнуло сочувствие. Может быть, даже что-то большее, чем сочувствие. Может быть. Но потом, ощутив в руке веревку, на которой вела коров, Анна снова стала Хабовой. Ох и глупец же ты!

Анна сама пришла к нему на пастбище. Ей недоставало чего-то, вот она и пришла. Дурак, и ты чуть не поверил ей. Проклятая, гнусная жизнь. Неужели я так никогда и не поумнею? Она теперь Хабова, берет все, что ей надо.

Павел злился и проклинал себя.

— Намочи полотенце,— попросил он мать.

— Сейчас, Палко.

Мать была встревожена. Она все время что-то шептала посиневшими губами. Павел боялся, как бы она не заплакала.

— Что там в деревне? — спросил он.

— Не знаю,— вздохнула мать.— Не думай об этом. Лежи.— Она наклонилась к нему и сменила примочку. В ее неловких движениях ощущалась нежность. Когда она своими натруженными, с распухши-

ми суставами, руками прикладывала к его лбу полотенце, он видел, как смягчился ее взгляд.

— Не беспокойся ни о чем. Теперь уже все позади. Теперь ты уедешь, сынок. Тебе уже ничто не помешает.

— Верно. Теперь уже ничто не помешает,— почти равнодушно согласился он.

— Разве я не была права? — шептала она, быстро шевеля губами.— Матерь божья, такие мучения! Зачем тебе это было нужно, Палко? Я ведь тебе говорила: не попадись в ловушку, сынок. Но ты словно оглох, уж не знаю, что на тебя нашло,— причитала она.—Я словно наперед знала все, что с нами случится. А ты только теперь начал кое-что соображать. Вы все сами подставляли головы под удар. Слава богу, хоть череп тебе не проломили. Теперь ты выберешься, наконец, из этой заварухи.

Да, выберусь, подумал он. Уеду. А куда? В Глинное на стройку химкомбината? К Гойдичу? Он горько усмехнулся. Хоть к черту на рога, мне теперь все равно. Клетка разбита, дорога свободна.

Павел услышал шаги, а затем шепот, но продолжал неподвижно лежать, усталый и отупевший. Мокрое полотенце надвинулось ему на глаза, и когда он открыл их, увидел только краешек пола возле постели.

— Наверное, уснул,— прошептала мать. Потом до его сознания донесся чужой, но знакомый голос.

— Мне надо посмотреть рану.

Павел приподнял веки и увидел загорелые девичьи ноги в сандалиях.

Он поднял руку и сдвинул с глаз повязку. Перед ним стояла Илона.

— А ну-ка покажи, что там у тебя за рана? — Она наклонилась к Павлу и сняла с его головы полотенце.

— Ничего особенного,— сказал он.

— Погоди, я посмотрю.

Павел протер глаза, он все еще видел Илону словно в тумане.

— Откуда ты взялась? Мне ничего не нужно. Теперь уже не нужно. Теперь все позади.— Павел ухмыльнулся, он смеялся над самим собой.

Илона присела на постель и осторожно, двумя руками взяла его за голову. Ее ладони горели.

У нее уже кончалось дежурство, когда в поликлинику пришел лесник и рассказал, что происходит в Трнавке. Телефонная связь была прервана. Он приехал за врачом для Ивана Матуха, которого отвезли домой. Но врач как раз уехал к больному, и нужно было ждать его возвращения. Когда Илона услышала, что случилось, у нее как будто сердце остановилось. И тут же ее охватила лихорадочная жажда деятельности. Она сунула в свой фельдшерский чемоданчик перевязочный материал и уже через минуту сидела на мотоцикле за спиной лесника.

— Поехали,— сказала она,— доктор приедет вслед за нами, как только вернется.

По дороге она все расспрашивала лесника, а в Трнавке едва удержалась, чтобы не уговорить его сначала заехать сюда, к Копчикам. Иван лежал в постели, Эва не отходила от него. У него были ссадины на груди, но ребра, кажется, были целы. Илона обнаружила два больших кровоподтека — на щиколотке и на левом плече. Она оказала Ивану первую помощь и, схватив чемоданчик, побежала к Павлу.

— Не так уж все плохо,— сказала она с облегчением, осмотрев

его рану.— Тебе повезло. Еще немного — и был бы тебе каюк. Скоро приедет доктор к Ивану и зайдет к тебе.

— А что с Иваном? — спросил Павел. Он пытался сесть, но она удержала его, слегка нажав на плечо.

— Лежи. Надеюсь, с ним ничего страшного не случилось, хотя и его здорово отделали. Пока что он даже шевельнуться не может.

Павел выругался.

— Ивану больше всех досталось,— сказала мать и перекрестилась.— Бедная Эва. А этот негодяй Петричко, самый большой грешник и безбожник, удрал. Я слышала, на площади кричали об этом.

Павел не слушал ее... Значит, Иван...

Илона, порывшись в своем чемоданчике, достала бинт, щипчики, пинцет, открыла пузырек с йодом. Павел встрепенулся.

— Какой еще доктор? Не нужен он мне,— сказал он со злостью.— За всю свою жизнь я был у врача только раз, в армии, когда призвали на военную службу. Такого удовольствия я им не доставлю.

Илона посмотрела на него, глаза ее сверкнули, брови взметнулись.

— Замолчи! — прикрикнула она на него.— Я тебе говорю, еще немного — и отправился бы ты на тот свет. Тебя не вырвало?

— Нет. У нас в семье этого не бывает. Мы едой не разбрасываемся.

— Ну, хорошо. А теперь помолчи.

Илона снова склонилась над ним. Он почувствовал, как она осторожно раздвигает слипшиеся от крови волосы над его ухом.

— Нагни голову и потерпи, Павел. Будет немного больно. Края раны надо продезинфицировать. Она неглубокая, но довольно большая. Тебе и в самом деле здорово повезло.

— А ты в этом разбираешься? — спросил он недоверчиво.

— Немного,— сказала она.— А теперь молчи.

Жгучая боль пронзила все его существо. Павел застонал, в глазах потемнело, он покрылся испариной.

— Ну вот и все,— прошептала Илона.— А теперь я положу на рану примочку из ромашки.

Жар во всем теле понемногу ослабевал, только в ране, смазанной йодом, равномерно, как тиканье часов, пульсировала острая боль. В горле у Павла пересохло.

— Дайте глоток вина. Там, в буфете, бутылка. В ней, кажется, немного осталось,— попросил он, глядя на мать.

— И не думай,— сказала Илона твердо.— Нельзя, пока не поправишься. Понял?

— Проклятье.— Во рту у него так пересохло, что он еле двигал языком.— Вроде изжога меня мучит.

— Это они вас сглазили,— Илона улыбнулась.— А пока что говори поменьше. Лучше даже совсем не говори. Потом я тебе дам отвар из трав. Сильно болит?

Он сжал губы.

Илона наложила на рану влажную марлю, пропитанную настоем ромашки, и легкими уверенными движениями забинтовала голову.

Павел посмотрел ей в лицо. Она отвернулась.

— Ну так дашь мне хоть этого отвара попить? — спросил он.

Пока Илона перевязывала Павла, мать заварила в кастрюльке травы и слила отвар в кружку. Комната наполнилась запахом йода и трав. Павел различал запах ромашки, сухих цветов подбела, липы, листьев земляники. Это была любимая смесь, которой мать обычно лечила все болезни. Она несколько раз переливала отвар из одной посудины в другую, чтобы он немного остыл.

— На, попей.

Павел взял кружку обеими руками и пил, пил, пока ему не стало легче.

Он все старался заглянуть в лицо девушки. На мгновенье их взгляды встретились. Илона отвела глаза, улыбнулась и, дотронувшись кончиками пальцев до повязки, будто поправляя ее, сказала:

— Ну и везучий ты — рана ведь такая, словно тебя цепом огрели. Чья это работа? Дьюри?

Стянутую бинтом голову Павла снова охватила острая пульсирующая боль. Почему она подумала о Дьюри? Почему назвала именно его?

Их взгляды снова встретились. Щеки девушки вспыхнули. Павел тоже почувствовал, что краснеет. Почему она на него так смотрит? Сияющий и в то же время испытующий взгляд. Только теперь он впервые увидел, какие золотистые у нее глаза. Они напоминали янтарь, подсвеченный изнутри.

— Почему ты решила, что Дьюри? — спросил он.— Это Гунар. Пишта Гунар огрел меня дубинкой.— Голос Павла дрогнул.

Илона поднесла чашку к его губам.

— Осторожно. Смотри не облейся.

Он отпил. Потом положил свою руку на ее, и она не отдернула руки.

— Доктор быстро поставит тебя на ноги,— сказала она. — Вот увидишь.

— Я же сказал: не хочу никаких докторов. Голова у меня крепкая, ты сама видела.

— Да, крепкая, но упрямая,— кивнула она.— И у меня тоже голова упрямая. Доктора я тебе приведу, потому что он тебе нужен. Рану надо зашить.— Ее взгляд стал твердым.

— Оставь меня в покое с твоим доктором!

Илона насупилась и закусила нижнюю губу. В точности как ее сестра. Как Анна. А вот голову вскинула более энергично.

— Нет,— сказала она.— Доктор тебе нужен. Я вернусь с ним. А пока лежи, я пойду погляжу, что там с Демко.

Мать проводила Илону до калитки, бормоча слова благодарности.

Павел лежал неподвижно, боль не стихала. Он услышал, как мать возле сарая набирала хворост. Сухо шуршали ветки. Павел медленно поднялся и нетвердым шагом подошел к буфету. Достал бутылку, отпил немного и почувствовал, как приятное тепло растворяет противную сухую горечь, которая его так мучила. Он выпил еще глоток и поставил бутылку на место. Потом снова лег на постель и на минуту закрыл глаза. Мать вернулась, осторожно положила хворост в ящик и пошла в хлев доить козу. Затем у постели появились чьи-то босые ноги, и, приглядевшись, Павел узнал сына Миппанки Янчи. Мальчик сказал Павлу, чтобы он пришел в свинарник.

— Кто тебя послал? — вяло спросил Павел. Веки его слипались. Он чувствовал страшную усталость и был словно в каком-то дурмане.

— Демко.

— А что ему надо?

— Не знаю,— сказал мальчик..

Интересно, что нужно от меня Демко, подумал Павел. Должно быть, хотел посоветоваться насчет свиней, их можно хорошо продать, если уж все кончено. Павел был рад, что и с Демко ничего страшного не случилось. Илона, наверное, его не нашла, раз он уже в свинарнике. А может, он там прятался.

Когда он снова открыл глаза, мальчика уже не было. Павел и не слышал, как он ушел, и не был уверен, что это ему не почудилось.

Потом до его слуха донесся гудок автомобиля, проезжавшего по площади. Он понял, что доктор едет к Ивану.

Павел встал с постели и выпил еще. Совсем немножко, только ради приятного тепла и вкуса размолотых сливовых косточек.

В сенях он снял с гвоздя барашковую шапку и надел ее, чтобы скрыть повязку. Потом незаметно пробрался мимо хлева за гумно.

У поворота дороги он увидел двух мужчин, окруженных толпой кричащих ребятишек. Они что-то писали на заборе Гудака. Павел узнал Штенко и Микулаша Тирпака. Штенко держал в руках банку с известкой. Микулаш орудовал кистью.

Павел шел через поле. Он не хотел ни с кем встречаться. И только дотащившись до конца густо заросшего картофельного поля, повернул к свинарнику. Было тихо. Надвигались сумерки, и все вокруг постепенно темнело. Окружающие предметы казались теперь более рельефными, и в то же время контуры их как-то смягчились.

Павел снял шапку, оглянулся на деревню, прислушиваясь, не раздастся ли снова шум автомобиля.

Но из деревни до него доносилось только мычание коров, отдельные выкрики, веселый шум и приглушенный стук инструментов.

Он подумал, что доктор задержался у Ивана и это хороший признак. Если бы ранение Ивана было серьезным, его сразу же отвезли бы в больницу. Хорошо, что машина не отъезжает.

Он постоял еще немного и наконец услышал шум мотора...

Павел представил себе, как автомобиль медленно съезжает вниз к их домику и останавливается, как сбегаются соседи и окружают машину. Они до сих пор словно в хмельном угаре. Доктор и Илона входят во двор, а в сенях стоит мать и плачет. Потом он представил себе, как доктор с чемоданчиком в руках возвращается к машине, а люди, столпившиеся возле забора, разочарованно смотрят друг на друга.

Настроение у него сразу улучшилось, хотя рана под повязкой попрежнему мучительно болела.

Машина проехала по площади, и Павел подождал, пока шум мотора не заглох на шоссе.

3

В свинарнике коптила керосиновая лампа. Павел уселся на колоду у двери, прислонился к стене и вытянул ноги. Он ощутил удушливый кислый запах свиного помета, пареного картофеля и отрубей. Едкие испарения осели на стенах и потолке; затоптанный пол был влажный и скользкий. В глубине закутов шуршала солома, слышалось хрюканье и визг. Павлу казалось, что он попал в утробу огромной рыбы, которая переваривает его вместе со множеством отвратительных отбросов. Двери свинарника были закрыты, чтобы свет керосиновой лампы не проникал наружу.

В углу на лавке расположились Сливка и Гудак. Канадец сидел к ним спиной, из-под разодранной рубашки виднелось перевязанное плечо. Отец курил, сидя на табуретке. Мишланка стояла у запарника — остатки поленьев чуть тлели — и мыла котел.

В проходе между закутами появился Демко, держа ведра. У дощатой перегородки первого закута он остановился, поставил ведра на пол и вытер соломой руки. Потом он снова поднял ведра, понес их к чану, в котором готовили корм,— от его движений тени метались по стенам и потолку.

Здесь были все, кроме Петричко, Плавчана и Ивана. Никто не произносил ни слова.

Павел закурил и жадно вдохнул дым. Он не отрывал глаз от Демко, пока тот не остановился у ящика, на котором, чадя и мигая, светила керосиновая лампа.

Отец вдруг закашлялся. Когда приступ кашля у него прошел, заговорил Канадец.

— Где же это Петричко запропастился, черт подери? — Голос его звучал уныло и глухо.

— Поехал в Горовцы за подмогой,— ответил отец.

— Хоть бы не арестовали его там. У нас теперь все может быть.

— Уж ты бы молчал,— крикнула Мишланка.— Лучше скажи, что ты сделал со своей стервой. Я бы ее своими руками задушила!

Глаза Канадца сверкнули, он сплюнул, но промолчал. После побоища Канадец еле доплелся домой и, увидев, что сын выглядывает из окна, даже не зашел в комнату, дотащился до хлева, лег на солому и стал ждать, когда вернется жена.

Она появилась не скоро, только под вечер. Он вошел в дом, отколотил ее как следует и снова ушел.

— Партия нас предала,— сказал Канадец мрачно и огляделся по сторонам.

— Да, партия и эта твоя распроклятая стерва,— снова набросилась на него Мишланка.— Ты хоть всыпал ей?

— Оставь его в покое, Маргита,— сказал Гудак.— Канадец прав.

— Пришла беда, и нас бросили на произвол судьбы,— продолжал Канадец.— Куда подевались бригады с автомобилями, раскладушками, лозунгами и знаменами? Где те парни, что гнали нас в кооператив? Прикатила бы теперь «передвижная весна» да и погрузила в машину Хабу с его делегацией.

— Не надо так,— сказал Демко тихо,— ведь мы тоже партия.

— Хороша партия, черт знает что,— выругался Канадец.— Все это предательство. «Партии верьте, товарищи»,— повторил он хрипло с издевкой призыв Готвальда.— Запотоцкий нас предал.

— Какое же это предательство? — робко вмешался Сливка.— Ведь он же наш президент.

— Чтоб ему ни дна ни покрышки, этому твоему президенту. Из-за него мы все потеряли. По уши в грязи, а эти сволочи нас еще топчут.

— Не говори так,— сказала Мишланка.— Он самый главный человек в нашей партии.

— А я плевать хотел на твою партию,— прохрипел Канадец. Глаза его покраснели и стали мутными.— Эти мерзавцы вопили, что кооперативы распались и в Чичаве, и в Оборине, и в Мальчицах. Пожар распространяется все дальше, и никто ничего не делает, чтобы потушить его. Всюду одни предатели.

— Постой, кто-то идет!

Отец взглянул на кнут, прислоненный к стене.

— Плавчан,— сказал Демко.— Он давно должен был прийти.

Но когда дверь открылась, в ней показался маленький Янчи и остановился у порога.

— Пан учитель не придет,— сказал он тихо. В его широко раскрытых глазах была растерянность, взгляд тревожно бегал по лицам, обращенным к нему.— Мне сказали, он заболел, лежит в постели.

— Что же это такое? — спросила Мишланка, взволнованно глядя на остальных и как бы ища у них объяснения.— Значит, и Плавчан? Плавчан тоже? — повторяла она.— Что тебе еще наболтали? Он не просил, чтобы ты накрыл его периной?

— Я с ним не говорил. Это сказала мне пани учительша,— ответил Янчи.— Она сразу стала ругаться, как только увидела меня в сенях.

— Погоди-ка,— вспомнил Демко.— Ведь днем ты с ним разговаривал? С ним самим?

Янчи кивнул.

— Значит, и Плавчан! — снова крикнула Мишланка.— И это наш партийный секретарь? Это учитель? Жалкий трус!

Демко помолчал немного и повернулся к Янчи:

— А теперь, сынок, полезай-ка наверх, на стог и сиди там. Если кто-нибудь появится, ты все оттуда увидишь, от тебя и мышонок не ускользнет.

Янчи кивнул и исчез.

— «Будь осторожен и бдителен»,— ухмыльнулся Канадец.— Верить нельзя никому. Предают все, кому не лень.

— Крысы бегут с корабля,— сказал отец.— Я всегда это говорил... От Плавчана я этого ждал.

Павел посмотрел на отца. Неправда это, подумал он. Отец всегда хвалил Плавчана, всегда радовался, что учитель с ними.

— Ну опять ты затянул свою песню? — сказала Мишланка Канадцу.

— А мне она очень нравится: мы — партия предателей.

— За всю свою жизнь я не слышал этих слов столько раз, сколько сегодня с утра,— сказал Гудак.

— Возможно, так и должно быть во время революции,— заметил отец.

— Ты все еще в нее веришь? — спросил Канадец.

— Может быть, мы теперь станем лучше и революция от этого только выиграет,— продолжал отец.

— Да, как же. Есть же такие люди, которым сколько ни плюй в глаза, все божья роса.— Канадец прищурился.— Ты еще скажи, что у нас все идет отлично. Посмотри лучше, что вокруг делается. Или уже очухался после своего купанья? Не смердит мочой?

Старый Копчик долго смотрел на них. Его стало знобить, как тогда, когда днем шел через площадь. Ему хотелось ударить Канадца. Но он только сказал себе: ты думаешь, я не знаю, почему ты такой колючий? Ну что ж, братец, облегчи себе душу.

— Я все еще чувствую эту вонь,— сказал он и ухмыльнулся.— Но готов нюхать все это с утра до ночи, лишь бы не воняло в других местах.

— Что ты, собственно, надумал? Зачем ты нас позвал? — после недолгого молчания обратился Гудак к Демко.— Нам бы сейчас поспать не грех.

— Или зажарить поросенка, пока еще не все потеряно,— добавил Канадец.

И тут Демко, стоявший у наполненного соломой закута, вытащил из кармана сложенный лист бумаги.

— Кто хочет остаться в кооперативе, кто хочет улучшить свою жизнь, пусть подпишет,— сказал он неторопливо.— Никого мы принуждать не станем, каждый волен делать, как он хочет, и если ему угодно, может уйти.— Он подошел к перевернутому ящику, облепленному мякиной и засохшими картофельными очистками, наклонился над ним, как над столом, и подкрутил лампу.— Пока заново записались Иван Матух и Андрей Демко.

Он разложил на ящике лист бумаги и обвел всех взглядом.

Наступила мертвая тишина.

Павел, не веря себе, глядел на Демко. В этот момент он забыл про

боль, пульсировавшую в голове. Он слышал только шуршание соломы, хрюканье и какой-то скрип.

Никто не шелохнулся.

— Да... — сказал Демко,— нам придется начинать сначала. Однажды, когда я был маленький, старший брат сильно поколотил меня. Я заревел и свалился в силосную яму. Мать мне потом сказала: слезы мешают человеку видеть дорогу, запомни это. Подпиши, если хочешь,— повернулся он к Сливке, который сидел ближе всех к нему.

— Почему я? — неохотно отозвался Сливка.— Ты это серьезно? — На лбу у него выступили капельки пота. Он испуганно взглянул на своего соседа Гудака, тот сжал губы и едва приметно покачал головой. Его лицо побагровело от напряжения. Наверное, не подпишет, подумал он. Если он не подпишет, и я не подпишу. Господи боже мой, что этому Демко нужно?

— Почему это я должен быть первым? — продолжал Сливка.

Весь день он отсиживался дома и видел через забор, как Петричко пробежал по двору Плавчана и схватил велосипед. Он видел, как учитель еще до начала заварухи, когда люди только-только стали скапливаться на площади, убежал в дом и больше не показывался. А ведь учитель — человек образованный, думал он. Постоянно читает книжки, и у него полно знакомых в Горовцах. Раз он не пришел, значит, знает, что̀ будет дальше.

— Все равно теперь уж поздно. А ты что собираешься делать? Надумала синица море поджечь! — съязвил Сливка.— И потом, я ведь вступил в кооператив позднее, чем остальные, да и в партии вашей не состою.

— Слыхали? — крикнула Мишланка.

— А ты что скажешь? — спросил Демко, повернувшись к запарнику, где она стояла.

— Ах ты боже мой! На что нам такие, как Плавчан или Сливка! — Она возмущенно закричала, но не сделала ни шагу к ящику, у которого ждал Демко. Повернувшись к Сливке, она уставилась на него. Тот осторожно поднял голову и, моргая, посмотрел на Гудака.

— Подпиши ты,— сказал Демко Мишланке.

— Ничего я не стану подписывать,— возмутилась она.— Я уже раз подписала, и все. Нечего меня морочить. Мне все равно деваться некуда. Снова батрачить идти? Уж я-то знаю, что это не сахар. Я подписала раз и навсегда.— Она прижала руки к тощей груди, лицо ее зарделось.

— А ты представляешь, что теперь будет? — спросил ее Гудак.— Ты думаешь, они оставят нас в покое?

В этот момент Канадец посмотрел на ящик, облизнул пересохшие губы и поднялся.

— Стану я у них позволения спрашивать, как же,— сказал он.— Сколько нас ни предавали, а все-таки... Эх, семь бед — один ответ.

И, оглянувшись на Сливку, добавил:

— Ну вот, теперь ты не будешь первый.

Все молча следили за ним. Он наклонился, оперся о крышку ящика, взял карандаш, который ему подал Демко, послюнил грифель и подписался.

— Так,— сказал Демко и улыбнулся Мишланке.— Есть еще порох в пороховницах.

Старый Копчик тоже встал и посмотрел на сына. Павел почувствовал на себе этот пристальный, выжидающий взгляд.

Павел был взволнован. Но его все время не покидало то чувство освобождения, которое охватило его, когда он лежал на дороге, ведущей в лес, когда осознал, что все позади и он остался жив. То, что

случилось, принесло ему облегчение. Теперь ты свободен, Павел, осел несчастный. Его не покидало и ощущение покоя.

Но только теперь, глядя на Демко, Канадца, Мишланку и отца, Павел по-настоящему понял, насколько сильно это новое ощущение. Он наслаждался приятным теплом, которое разливалось по всему его телу.

Павел не испытывал никакой горечи. Будто как следует отмылся от всякой грязи и пыли. В жизни твоей уже не может быть хуже, чем было, думал он. Теперь ты свободен, Павел.

Ему казалось, что он долго бежал, выбился из сил и теперь снова перешел на свободный, легкий шаг. Казалось, будто после страшного, непереносимого крика, рвущего барабанные перепонки, он услышал тихий, приятный разговор или из тьмы вдруг вынырнула потерянная дорога...

Ох, уж эта твоя дорога... — подумал он. Да плюнь на все. Ты хотел повернуться и уйти. Так что же ты не сматываешь удочки? Разве ты не дожидался этого момента?

Да, но ты хотел этого прежде, когда у тебя были связаны руки, возражал ему другой голос. А теперь все по-другому. Все переменилось. Теперь здесь есть то, из-за чего ты вернулся, из-за чего приехал в Трнавку.

Ты сейчас там, где хотел быть. Вот и попробуй начать все сызнова и докажи, что можно жить иначе. Будет, правда, труднее, много труднее. Из-за каши, которую тут заварили, нет — которую ты сам заварил. Не надо сваливать на других. Ты тоже в этом участвовал, хотя многое тебе было не по нутру. И в самом деле, похоже на поезд, о котором говорил Рыкл.

Он снова вспомнил Рыкла. В армии Рыкл насмехался над ним из-за кооперативов. Он говорил, что кусок сахара — это единственное, чем можно там подсластить себе жизнь. И рассказал еще о поезде.

«Ваша партия, Павел, по-моему, похожа на поезд. Сидишь в нем, и тебя везут. Можешь ходить по вагону взад и вперед, можешь подойти к окошку справа или к окошку слева. И можешь выглянуть в это окошко, но поезд все равно едет и везет тебя. По вагону можешь ходить куда угодно. Но только по вагону. Иначе или выпадешь, или тебя высадят. Ты этого хочешь?»

«У меня голова не для того, чтобы кланяться»,— ответил он Рыклу.

Ты ему тогда так ответил и должен помнить об этом всегда. Нет, партия — не поезд, не смей так думать. И ты ведь не один. Посмотри хотя бы на Демко. Ну и старикан!

Отец закашлялся и сплюнул. Он уже подписался и теперь стоял сгорбившись, словно решил на минутку передохнуть после утомительной ходьбы. Взгляд его был мутным и тяжелым. Сливка и Гудак продолжали сидеть. Лицо Сливки выражало растерянность. Гудак вытирал лоб мятой полой рубашки и не поднимал глаз.

— Послушай, ты ездил когда-нибудь на поезде? — спросил Павел Канадца, и губы его расплылись в улыбке.

— На каком еще поезде? — спросил Канадец.— Ты что, спятил?

Павел встал и склонился над ящиком.

4

Над ними опустилась ночь. На небе сиял тонкий серп луны, мерцали крупинки звезд, но роса еще не выпала. Трава была сухая, как трут.

Павел всей грудью вдыхал ночной воздух.

Гудак плелся сзади, стараясь не отставать от Сливки. Оба шли к дому Гудака.

Павел посмотрел на Трнавку. По всему склону мигали огоньки, доносились неясные голоса.

— Придется начинать все сначала,— тихо сказал ему Демко.— Ты не боишься?

— Именно теперь мне, пожалуй, не страшно,— ответил Павел.— Начнем сначала, но уже по-другому. Теперь все будет иначе.

Но не прошли они и нескольких шагов, как Канадец вдруг остановился и стал всматриваться в темноту.

— Кажется, Петричко идет,— сказал он.

И вскоре они действительно увидели Петричко, который возвращался из Горовцов. Он шел медленно, ведя велосипед по меже и жнивью. Видимо, не хотел идти через деревню.

— Почему вы здесь? Что случилось? — спросил он тихо, как только приблизился к ним.

— Начинаем все сызнова,— сказал Демко, даже не спросив его, что нового в Горовцах.

Петричко ничего не ответил.

— Надо все по-другому,— сказал Демко.— Сколько мы ошибок наделали!

— Что ты сказал?

Петричко помолчал с минуту, потом посмотрел в сторону деревни — оттуда донесся крик. Все прислушались.

Наверное, кричат у корчмы, подумал Павел. Крик то усиливался, то затихал.

— Какие ошибки? — спросил Петричко.— Ты что думаешь, эти ослы добром пойдут? Сами? Уж больно ты прыток. Прежде батьки в петлю не лезь!

Было заметно, что Петричко выпил. Указав на свинарник, он спросил:

— Там кто-нибудь остался?

— Копчик и Мишланка,— сказал Канадец.— Что слышно в Горовцах?

Петричко сплюнул и, не ответив, пошел к свинарнику. Велосипед он катил рядом. Канадец долго смотрел ему вслед, потом растерянно покосился на Демко.

Они пошли дальше, дорога вилась в гору.

Чем ближе они подходили к деревне, тем осторожнее шли. Огни светились в окнах и широко распахнутых дверях, как в самый большой праздник. Кое-где даже были выставлены на подоконниках зажженные свечи.

По темным окнам можно было определить, где живут старые члены кооператива.

Павел с удивлением заметил, что шум, который раньше доносился снизу от корчмы, стремительно приближается. Топот и крики становились все громче.

Пройдя мимо сарая Тирпака, они увидели на завалинке дома до блеска начищенную лампу. В ее свете появилась Зузка с платком в руках. Она огляделась кругом и побежала в сад. Между деревьями мелькнула чья-то тень. Павел узнал Пишту Гунара.

Павел остолбенел. Взглянул на Демко, но тот, видимо, ничего не заметил.

По площади с криками и хохотом валила толпа. Шедшие впереди несли на плечах длинный ящик. Бошняк шагал, подняв высоко над головой хлопушку. Вдруг полоса света, падавшая из окна Резеша, осве-

тила над головами идущих портрет президента. Казалось, на лице его застыла какая-то странная и горькая улыбка.

— Эй, Мишо,— раздался голос Штенко.— Иди сюда. Пойдем с нами!

— А что случилось? — спросил Резеш, выбежав из коровника.

— Видишь, мы гроб несем, ведь сегодня похороны. Они всюду окочурились. Во всей округе им каюк.— Штенко громко захохотал. — По-хо-роны! Выходи, подтолкнешь покойничка в могилу.— И он снова заржал.

Резеш хлопнул калиткой, побежал вслед за Штенко, и они растворились в толпе, которая с криками и хохотом направилась к кладбищу.

— Что это они? — спросил Канадец, когда толпа прошла мимо.— Наш кооператив хоронят?

— Как видишь,— сказал Павел.

— Вот мерзавцы!

Канадец, вытянув шею, смотрел на удалявшуюся процессию.

— Пойдешь со мной? — спросил Демко, крепко стиснув локоть Павла.

— Пойду.

Павел оглянулся. Их дом будто растворился во тьме, не подавая никаких признаков жизни. Но ведь в доме его ждала мать. И она уже, наверно, знает, что сейчас происходит в деревне.

— А что это там написано? — спросил Канадец.

Павел сделал несколько шагов и остановился.

На их старом, подгнившем заборе белели в темноте написанные известкой слова: «Предатели деревни».

Павел сжал губы. Буквы слепили его.

Сзади он услышал сиплый шепот, Канадец подошел к нему вплотную.

— Я вернусь,— сказал он приглушенным голосом.— Эти сволочи могут напасть на свинарник.— А потом... Бабу мою надо проучить как следует. Убить ее мало, стерву.

— Ладно,— сказал Демко,— иди сторожить свиней.

Канадец тихо выругался и повернул обратно.

Павел и Демко зашагали дальше. Они молча шли друг за другом, укрываясь в тени кустов, останавливаясь, когда поблизости раздавались шаги или голоса. Павел вспоминал события сегодняшнего дня и чувствовал, как у него от волнения стучит в висках. Они пробирались по той дороге, по которой он удирал днем, пока его не стукнул Гунар. Рана под повязкой снова заболела.

— Вот мы и пришли,— сказал, наконец, Демко. Он постучал в дверь. Долгое время никто не отвечал. Только со стороны кладбища до них доносились крики.

Наконец послышались тихие, осторожные шаги. Эва, всхлипывая, открыла дверь, быстро оглядела двор и впустила их. За нею в сенях стояла Илона.

На короткий миг глаза Илоны и Павла встретились. Павел подошел к кровати.

Забинтованная левая нога Ивана лежала на подушке. Плечо тоже было перевязано. Здоровой рукой он ухватился за спинку кровати и подтянулся повыше. Глаза его горели.

— Кто подписал?

Услышав, каким тоном задал он этот вопрос, Эва с изумлением посмотрела на мужа.

— Плавчан сдрейфил,— сказал Демко.— Пошел на попятную.

— Плавчан? — переспросил Иван.— Значит, и Плавчан?

— И вы хотите после всего, что произошло, начать снова? — всхлипывая, заговорила Эва.— Прошу тебя, Иван, прошу! — Голос ее зазвенел и сорвался.

Даже в тусклом свете керосиновой лампы Павел видел, что она крепко сжала губы. В ее лице не было ни кровинки.

— Ладно,— сказал Иван,— значит, и Плавчан. Ты только послушай, Эва. Ведь кроме Плавчана все записались снова.

— Боже мой,— шептала она.— Ты хочешь... Да ты с ума сошел,— закричала она.— Теперь? После всего?

— Успокойся, Эва,— сказал Иван тихо.— Мы не можем поступить иначе. У нас только один путь: сохранить, что возможно, и начать сначала.

— Вы хотите, чтоб вас в порошок стерли? Этого добиваетесь?

— Да успокойся же, дай нам поговорить, девочка,— тихо сказал Иван и, подмигнув Эве, снова повернулся к Демко и Павлу.

— Надо сторожить свинарник. Они, видимо, считают, что мы проиграли окончательно.

— Не беспокойся, будем сторожить,— сказал Демко.

— Там отец, Канадец и Петричко,— добавил Павел.

— Петричко? — удивился Иван.

— Он только что вернулся из Горовцов,— сообщил Демко.— Но пока ничего не рассказывал.

Павел снова поглядел на Эву. Она стояла босая, в рубашке и юбке и словно окаменела. Из-за ее плеча выглядывала Илона. Обе смотрели на них с ужасом.

Когда Павел вошел в дом, Илона от неожиданности вздрогнула. Она приехала к нему с доктором сразу после того, как он осмотрел Ивана. У Ивана доктор задержался, потому что тот наотрез отказывался ехать в больницу и его никак не могли уговорить. И хотя они задержались, Илона была уверена, что Павел в постели. Его надо было как следует осмотреть и сменить повязку, ему необходим был полный покой. Но дома его не застали, доктор уехал, а она вернулась к Ивану. Через час Илона снова забежала к Копчикам и узнала только, что Павел еще не приходил. Было уже поздно, и Эва пригласила ее переночевать. Илона дремала, когда раздался стук в дверь.

— Ты представляешь, что теперь будет? — глядя на Илону, шептала Эва.— Видели, что у нас на заборе намалевали? А что по всей округе делается? Безумцы вы! Ох, безумцы,— продолжала она прерывающимся, полным отчаяния голосом.— Господи Иисусе! Так, значит, опять все сначала!..— Она смотрела теперь не на них, а поверх их голов куда-то в угол комнаты.— Вы уже все забыли? Ведь они нас... господи, кривда всегда живуча.

Услышав эти слова, Павел почувствовал озноб, рана под повязкой стала пульсировать. А может быть, Эва права? — с горечью подумал он. Сколько потребуется времени и сил, чтобы Трнавка снова пошла по общей борозде! Будь мы помудрее... ведь правду не вобьешь людям в голову насильно. Теперь ты это знаешь. Хорошо знаешь, черт возьми. Если бы ты не наделал столько ошибок, то теперь Резеш был бы с нами. Резеш мог быть на месте Сливки или Гудака. Или Канадца. Канадца ты поменял бы на него? Нет. Да что об этом говорить. Мы могли бы быть на коне, резвом оседланном коне. А теперь лежим у него под копытами в пыли и грязи. Все было бы по-иному, если бы...

Черт бы побрал эту «передвижную весну» и всех дураков вокруг нее. Без нее мы бы достигли своего скорее, раз правда на нашей стороне. Ты сомневаешься в этом? Нет. И все-таки это гиблое дело — начинать все сначала, ведь конь нас сбросил.

К чертовой бабушке. Перестань ныть! Ты встанешь и оседлаешь

коня. И проверишь ее — свою правду, если ты хоть чего-нибудь стоишь, ведь ты сам ее выбрал. Раз ты сказал себе: закрывать глаза ни на что не буду, значит, смотри в оба. В конце концов время покажет, что нужно нашей стране, чтобы двинуться вперед. А что надо тебе? Только не поезд. Понимаешь? Никакого поезда.

— Они втроем останутся в свинарнике? — спросил Иван.— Сегодня ночью надо сторожить как следует.

— И я пойду,— сказал Павел.— Но прежде надо поесть. Нет ли у тебя чего-нибудь? — спросил он у Эвы.

Она посмотрела на него и покачала головой. Плечи у нее вздрагивали.

— Приготовь ему что-нибудь, Эва,— сказал Иван.— Свинарник наш,— помолчав, взволнованно заговорил он снова.— Мы его не отдадим...

Он сунул правую руку под подушку и вытащил пистолет.

— Эва достала его из сундука и дала мне. На всякий случай. Поди-ка сюда.

Иван протянул пистолет Демко.

— Ну, что ты,— смущенно пробасил Демко,— нам эта штука не понадобится.

— Как хочешь,— сказал Иван.— Я тоже думаю, что не понадобится. Но на всякий случай лучше возьми. Чем черт не шутит.

Демко стоял как вкопанный.

— Господи боже мой, так, значит, все сначала? — не унималась Эва.

— Иди, Эва, и собери им чего-нибудь поесть,— сказал Иван устало, по-прежнему держа пистолет в вытянутой руке.

Это был тяжелый девятимиллиметровый парабеллум, оставшийся у Ивана еще с тех времен, когда он сражался в партизанском отряде против фашистов.

Заросшая щетиной физиономия Демко сохраняла то же непреклонное выражение. Только голову он немного нагнул, словно ее оттягивал книзу заплывший правый глаз с большим сине-красным кровоподтеком. Потом Демко сказал:

— Хорошо, Иван. Хорошо, что он у тебя есть. Пока оставь его себе. Если понадобится, я возьму.

Павел вымученно улыбнулся. Он был страшно утомлен и обессилен, но прежнее облегчение, разлившееся по телу приятным теплом, не оставляло его.

Итак, ты снова ввязался в это дело, подумал он. Снова влип.

Эва поплелась к плите.

Илона смотрела на него пристально, все еще удивленно, но уже с любопытством.

Встретив ее взгляд, Павел растерялся.

— Может, ты ему полечишь глаз? — пошутил он, кивнув в сторону Демко.— Теперь мы оба тут, Илона.

XI. *Молодое вино*

1

— Павлина, дай мне кофе и приготовь почту.

Гойдич, как и год назад, сидел у раскрытого настежь окна своего кабинета. Вот и снова весна, и снова распевают птицы. Жизнь неистребима, думал он. Что это — скворец или дрозд? Дрозд. Удивительная весна в этом году. Зима была долгой, снегу выпало мало, и ветер почти весь его разметал. До конца марта в поле нельзя было выхо-

дить — земля промерзла насквозь. И вдруг это неожиданное тепло. На Лаборце ребятишки уже загорают. Это в апреле-то.

В кабинете на первый взгляд ничего не изменилось. Но только на первый взгляд. Тот же пропахший табаком зеленый прямоугольник стола заседаний, та же мебель. На стене — профили Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Рядом — карта. Тот же сейф, а из-за приоткрытой, обитой дерматином двери слышен голос Павлины.

— Почту еще не приносили. А кофе готов.

Она вошла и поставила перед ним чашку.

— Спасибо. И никого пока сюда не пускай, я хочу выпить кофе спокойно,— сказал он, глядя на Павлину.

Она все такая же хохотушка, но по утрам, видимо, чувствует себя не очень-то хорошо, подумал он. Только что вышла замуж и уже ждет ребенка. От Янчи, его шофера. Через пять месяцев после свадьбы рожать будет. Гойдич был тогда чернорабочим на химкомбинате, но она все же послала ему приглашение и принесла свадебный пирог. Павлина. Она рада, что я вернулся, рада, что снова работает со мной.

Гойдич медленно отхлебывал ароматный кофе; глаза его задержались на карте. Сколько раз прежде смотрел он на нее, изучал. Карта их области, с большим оранжевым пятном — Горовецкий район. Карта та же.

Мысленно он снова вел разговор с Врабелом, как и много раз с той минуты, когда ему пришлось покинуть этот кабинет.

Густая сеть булавочных головок с красными флажками исчезла. Сколько их было? Тридцать восемь. Целых тридцать восемь! А где они теперь, Врабел? Во всем районе осталось шесть кооперативов. Малочисленных, жалких. Чудо, что они вообще удержались. Все это было как наваждение, как цепная реакция. Я боялся этого, еще когда в Стакчине крестьяне разобрали скот и я его снова сгонял. Как мало осталось из того, что было раньше, до твоей карты. Твоей проклятой карты! Кооперативы, которые благословила «передвижная весна», оказались мертворожденными. Их уже нет. Но что хуже, что гораздо хуже,— мы утратили доверие людей... Самое ценное и важное для жизни. Для того мира, который мы хотим создать и создадим.

Как это могло случиться? Я многое передумал и многое понял. За те тяжкие, долгие месяцы. И сколько раз за это время я слышал твой голос, Врабел. Я и теперь слышу: «Мы должны разгромить классового врага в деревне и тем самым укрепить свой тыл. Хорошенько тряхнуть маловеров!» Я знаю, что ради этой идеи, ради этого дела ты и жил. Хорошо знаю. Но ты вел себя, как слон в посудной лавке. Только топтал не фарфор, а обыкновенных, простых людей, а это намного хуже. Ты думал, что они поймут, со временем осознают, где правда. Ты хотел их загнать туда, куда они сами еще идти не хотели, для чего еще не созрели. «Передвижная весна».

Уже тогда меня преследовала мысль, от которой я не мог отделаться. Уже тогда я говорил себе: мы тряхнули не маловеров, а самих себя. Таким путем идти нельзя. Моя ошибка заключалась в том, что я эту большую правду вовремя не распознал, не говорил, не кричал о ней так громко, чтобы услышали все, у кого есть уши и разум. Чтобы услышали те, кто дрался за новую жизнь и жил только ради нее. Я пытался тащить тачку со всем барахлом, что мы туда навалили. Я расчистил бы для нее дорогу, вылизал бы ее собственным языком, если бы точно знать, куда и как везти эту тачку. Куда и как. Этот вопрос долго мучил меня. У меня от него плавились мозги. Но теперь я знаю, что нужно делать, и не отступлю. Революция — это не заговор. Ты слышишь, Врабел? Ты понимаешь меня? Те перемены, которые мы хотим видеть в деревне, которые мы обязательно увидим,—

это тоже революция. Кооперативы — это такая революция, какой деревня еще не знала. Никогда, сколько свет стоит, людям не приходилось так решительно переворачивать свою жизнь, переделывать себя. И мы должны убедить их в необходимости этого. Иначе все, что мы уже завоевали и за что боремся, потеряет смысл. Здешние люди не так уж плохи. Просто чаще, чем в других местах, сталкивались с нуждой, голодом и безнаказанностью. Самый нищий край в республике. Очень трудно было получить работу, а значит, и кусок хлеба. На весь район — одно промышленное предприятие, если его можно назвать промышленным предприятием,— пивоваренный завод... И для здешних людей с незапамятных времен земля была единственным залогом жизни. Правда, скорее прозябания, чем жизни. И десятилетиями подряд этих голодных бедняков убеждали — и в церкви, и на митингах, и в газетах,— что коммунисты у них эту землю отберут. Ложь. Обычная, вздорная ложь. А потом появилась проклятая «передвижная весна», и мы сами толкнули этих бедняков в объятия врага. Мы укрепили кулацкий тыл, а наш фронт разложился. Но кто же враг, Врабел? Неужели все? Даже те, кто так испугались, те беспомощные крестьяне, которых преследует страх голода? Абсурд. Полная бессмыслица. Нужно уметь отличать врагов от друзей. Привлекать на свою сторону, убеждать крестьян, доказывать, что мы желаем им добра. И оторвать их от тех, кто испокон века поливал свои поля потом бедняков. Мир разделен, два класса столкнулись, и бой продолжается. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Но я верю, глубоко верю, что жизнь на нашей стороне. Жизнь, Врабел! А ошибки мы должны исправить. Выровнять линию, которую мы тогда искривили. И я сам участвовал во всем этом и несу свою долю ответственности, хотя меня и мучило то, что здесь происходило. Мы должны снова привлечь людей на свою сторону. Надо делом доказать, что мы хотим им только добра. Поможем им, чем только сумеем. Машинами, строительными материалами, капиталовложениями. Разве когда-нибудь было что-либо подобное? Нет. Нам повезло, Врабел, нам страшно повезло, что рабочий класс в нашей стране силен и что в других местах таких ошибок, как у нас, не было. Я даже не знаю, как к тебе обращаться, Врабел? Товарищ? Ты уже мне не товарищ. У тебя нет партийного билета, как и у Бриндзака. Да, многое изменилось, но гораздо больше перемен еще впереди. Все это только начало. А когда я думаю о том, что есть и что будет, сердце у меня от радости готово выскочить из груди и я уже не кажусь себе мухой на липучке. Шесть маленьких жалких кооперативов, которые у нас остались,— это начало нового пути к будущему. Тем, кто не испугался, не сдался и продолжает сражаться, нужно помочь в первую очередь. Ими мы можем гордиться. Они не спустили флаг, когда казалось, что всему конец. Такие люди — соль нашей земли, и будущее по достоинству оценит их отвагу и мужество. Я горжусь ими и живу во имя тех перемен, которые уже осуществились и осуществятся в будущем. Я снова вдыхаю апрельский воздух.

Гойдич взглянул на карту. Кофе он давно уже допил и закурил сигарету. А дрозд за окном распевал свои песни.

Он позвонил и стал ждать, когда войдет Павлина.

— Ну как с почтой?

— Сейчас принесу,— сказала она, беря чашку. Гойдич поднял на нее глаза. Павлина уже заметно округлилась, юбка на ней стала короче. Он посмотрел на ее лицо. Она как всегда улыбалась, но теперь улыбка исходила откуда-то из самой глубины ее существа и, казалось, излучала покой, была душевнее, чем прежде.

— И сообщи в Трнавку, что я к вечеру туда приеду.

Павел поехал в Горовцы в отдел сельского хозяйства. Он прибыл в город первым утренним автобусом. Было еще рано, в районном национальном комитете рабочий день начинался в восемь. Он взглянул на часы. Без десяти семь. Еще целый час.

Он остановился на улице, ведущей к Градку, и огляделся.

На улицах уже пульсировала обычная утренняя жизнь. Проезжали телеги, грузовики, груженные железными брусьями, кирпичом и бочками с дегтем. Трактор тащил прицеп с цементом. Один из мешков был надорван, и на мостовой за трактором тянулась белесая полоска. Цемент припорошил лошадиный помет на дороге, и человек с лопатой и тачкой, собиравший его, громко ругался.

Когда Павел переходил улицу, его чуть не сбил грузовик с трубами. Он едва успел отскочить. Он сам не понимал, что с ним в последнее время происходит. Его мысли были заняты Илоной, ее образ часто возникал перед его глазами. Он должен был ее увидеть, поэтому и приехал так рано.

Павел не мог понять, когда же все это началось. Он стал чаще думать об Илоне, видеть ее во сне. Удивительное дело. Когда зимой она пришла в Трнавку навестить мать Пишты Гунара и он встретил ее у дома лесника и проводил, ему и в голову даже не приходило, что их может что-то связать. И когда она появилась у них дома после того побоища и он лежал с проломленной головой, он не думал об этом. Правда, глаза ее так удивительно сияли — он как будто впервые увидел их тогда... Она заходила к нему еще раза два, но не заставала. А потом ему захотелось с ней встретиться, но она больше не показывалась в Трнавке.

Однажды вечером Павел даже поехал в город и стал прогуливаться возле общежития, где жила Илона. И скоро увидел ее с подругами. Пошел за ними до кинотеатра, взял билет и сел за два ряда от нее. Когда они выходили, он поздоровался с ней. Она остановилась, изумленно взглянула на него и убежала с подружками. Павел пожал плечами. Что ж, убиваться из-за Илоны Олеяровой, этой девчонки, он не будет. И нечего было приезжать ему сюда. И вообще он просто пошел в кино и случайно встретился тут с ней.

Вскоре он уехал на сельскохозяйственные курсы. Всю зиму просидел на школьной скамье. Это в его-то годы, после такого перерыва. Сначала он был прямо сам не свой, науки не шли ему в голову. К счастью, он не только учился, но и работал в ближайшем государственном хозяйстве. Водил трактор, помогал на фермах. За все это время он побывал в Трнавке лишь дважды. Его там ждали, работы было невпроворот. Демко, старый Демко, стал председателем партийной организации. Вообще многое изменилось. Эта весна была особенной. И Илона тоже казалась частью этих перемен. Она была как-то связана с этой удивительной, запоздавшей, но дружной весной.

В конце февраля, возвращаясь с курсов, Павел задержался в Горовцах. Он искал Илону. На этот раз он не бродил вокруг да около, а зашел прямо в общежитие. Но Илона уехала в Кошице, у нее был трехдневный отпуск. Тогда он уже ясно осознавал, как недостает ему Илоны, тосковал по ней. Но свидеться им никак не удавалось. Павел встретил ее лишь неделю назад. Они ехали с Иваном на тракторе с заготовительного пункта, везли картофель для посадки. И вдруг он заметил ее. В голубом халате с белым воротничком и в белой шапочке она садилась в санитарную машину, что-то оживленно говоря шоферу. Павел так резко затормозил, что сзади в них чуть не врезался мотоцикл. Мотоциклист выругался, но Павел даже не слышал его, соскочил с трактора, побежал к санитарной машине. И не успел. Машина укатила вместе с Илоной. Ее беззаботный смех, оживленный

разговор с незнакомым молодым шофером больно задели Павла. Уж не ревнует ли он?

Без шести минут семь. Она должна была прийти. У сестер в поликлинике рабочий день начинается в семь. Врачи принимают с половины восьмого, но у дверей и на ступеньках поликлиники толпился народ.

Павел прохаживался мимо них. Он чувствовал себя неловко рядом со старыми, больными людьми и двумя парнишками с забинтованными руками, ожидавшими перевязки. Он не знал этих ребят и радовался, что у него самого руки целы, и в то же время подумал: Илона будет перевязывать их, разговаривать с ними, прикасаться к ним. Подумал и испугался своих мыслей. Что это с ним происходит?

И пока ждал, беспокоился все больше. А если Илона сегодня утром не дежурит? Надо было все-таки зайти к ней в общежитие. Но идти туда теперь уже поздно. Он боялся с ней разминуться: к поликлинике можно было пройти двумя разными улицами.

Солнце ласково пригревало. На небе — ни облачка. В саду за поликлиникой на абрикосовых деревьях, которые как раз отцветали, распевали скворцы. Раньше дом этот принадлежал владельцу лесопилки, который к тому же торговал скотом. Он был гардистом и после войны, вернее после сорок восьмого года, комнаты его дома превратились во врачебные кабинеты и приемные.

Всего две минуты прошло с тех пор, как Павел в последний раз смотрел на стрелки часов. Целая вечность. И в то же время он хотел, чтобы время остановилось. Слишком быстро таяла надежда, что он увидит Илону, сможет с ней поговорить. Он прошелся до угла улицы. За окном маленького цветочного магазинчика на низеньком столике стояла черно-зеленая ваза, на которой были изображены танцующие девушки. Поздишовская керамика. В вазе увядали несколько красных и желтых тюльпанов. За ними стояли зеленые погребальные венки с бумажными розами. Магазин был еще закрыт. Пройду десять шагов и вернусь, говорил себе Павел.

Илона все еще не появлялась. Он сделал двадцать шагов, потом еще десять. Отсчитывал добросовестно. Мимо шли люди, но ему казалось, что улица пуста. Появился знакомый цыган с точильным станком. Из-под вращающегося точильного камня летели искры. Но теперь Павел не глядел на них с восхищением. На точильном станке он увидел коробку с букетиком фиалок. Он купил букетик и заторопился к поликлинике.

А может, Илона дежурит вечером, мелькнуло у него в голове. Я должен был это предвидеть. Вот неудача. Она поздно вчера пришла и теперь отсыпается, ведь впереди у нее свободные полдня. Да, такую возможность исключить нельзя. С кем же она могла быть? С тем шофером? Или с кем-нибудь другим? Кругом ведь столько молодых людей. Она любит ходить в кино, любит танцевать. Это было все, что он о ней знал. И живет в городе одна. Уже почти два года. Зачем ты позволил ей уехать, осел несчастный?

Он вспоминал, как был удивлен, когда она пришла к ним домой. Уже тогда он спрашивал себя: а знает ли он Илону? Мальчишкой он совсем не обращал на нее внимания. Она была моложе его и к тому же девчонка. Но вместе с другими ребятами они ходили в лес за дровами, по грибы, по ягоды. Однажды на тропинке он убил змею. Камнем размозжил ей голову, но туловище ее продолжало извиваться. Он склонился над змеей, и с ним вместе склонились две девочки. Одна темноволосая, а другая посветлее, рыжеватая. Анна и Илона. Теперь ему казалось, что лицо рыжеватой девочки было живее и взволнованнее, а глаза сияли ярче. Но так ли это было?

А какой худенькой была тогда Илона. Совсем тощей. И вдруг так переменилась, хотя и осталась стройной, живой и гибкой, как прутик. Почти детское и в то же время девичье тело. И почему он без конца думает о ней, видит ее образ? Любит он ее, что ли? Действительно любит? Павел горько усмехнулся. Ту, другую, до нее, он тоже любил. Но так бывает, и это совершенно естественно. Что же это была бы за жизнь, если бы с тобой уже ничего подобного не могло случиться. Ох, Илона, Илона...

Ну, когда же она, наконец, появится?

Ровно семь.

Он оглянулся и увидел Илону. Она спешила — очевидно, опаздывала. Как же он мог прозевать ее? Ведь он стоял у самого входа в поликлинику. Их разделяло всего четыре-пять шагов.

На мгновенье, во всяком случае так ему показалось, ее глаза вспыхнули и заискрились. На какую-то долю секунды. Золотистые глаза, напоминающие освещенный солнцем янтарь. Но тут же взгляд ее стал напряженно-испытующим.

— Павел! Откуда ты взялся?

Они пожали друг другу руки. Он хотел было задержать ее ладонь в своей, но Илона высвободила ее.

— Я тебя жду, Илона.

— Меня? Может, тебе опять разбили голову? — рассмеялась она.

— Нет, не разбили.

Ее глаза снова вспыхнули.

Раньше Павел никогда не испытывал смущения в ее присутствии, а теперь, глядя на нее, смутился. Павлу казалось, что в теплом веселом свете утреннего солнца, лучи которого падали на волосы Илоны, она вся сияет. У нее открытое смуглое лицо. Стройные ноги в босоножках цвета зреющей пшеницы. У Павла сжалось сердце. Значит, Илона уже загорала. И, конечно, не одна. Но с кем?

— Я хочу... мне нужно с тобой поговорить,— сказал он.

— Ну и время же ты выбрал, Павел! Я спешу. Как раз сегодня проспала.— Она засмеялась.

— Но я, Илона...

Их разговор прервала пожилая толстая женщина в платке, видимо хорошо знавшая Илону. Она спросила, принимает ли сегодня доктор Моравчик. Павел про себя выругался. Черт возьми! Только этой бабы сейчас не хватало!

— Да. Он принимает утром,— ответила Илона, обрадовавшись, что хоть на минуту может прервать разговор с Павлом.

Она была смущена. Но не тем, что стоит с ним перед толпой пациентов, которые смотрят на нее и ждут, когда же она, наконец, войдет. Действительно, ей уже пора быть в кабинете. И все же она никак не могла уйти от Павла, не могла понять, что с ней происходит. После тех событий она еще дважды приезжала с доктором в Трнавку, но ни разу не заставала Павла дома. Оба раза она передавала ему через мать и через Ивана, чтобы он показался врачу. Целую неделю напрасно ждала его в поликлинике. У нее пропал аппетит, все валилось из рук. Потом она заставила себя не думать о нем, ходила в кино, почти каждую субботу бывала на танцах. В Горовцах Илона была предоставлена сама себе. Ее ничто не связывало, и так как ей не приходилось теперь после работы помогать в поле и по хозяйству, у нее вдруг оказалась уйма свободного времени. Непривычная свобода сперва ее опьянила, она не могла ей нарадоваться. Как это не похоже на жизнь в Трнавке! Теперь ей не надо притворяться, ни перед кем не надо склонять головы. Забыть! Забыть Трнав-

ку, прошлую жизнь. Как все переменилось с того момента, когда она убежала из родного дома в Горовцы. Она теперь совсем другая и на многое смотрит по-иному.

Однажды на вечеринке во время танца, под дикий грохот цимбал и визг цыганских скрипок, в толчее разгоряченных тел, среди выкриков и хохота, юноша, с которым она танцевала, крепко обнял ее за талию, прижал к себе. Голова у Илоны закружилась, она вырвалась из объятий юноши и убежала домой. В комнате она бросилась на кровать, уткнулась в подушку. Слезы хлынули, как весеннее половодье. В Илоне была такая жажда жизни, столько силы! Она не знала, что делать с собой. Ей хотелось плакать, кричать, кусать подушку.

Мужчины часто провожали ее взглядами. Она это замечала. Они прямо липли к ней. Порой это ее, пожалуй, развлекало и она даже не опускала глаз. Но во время танца, когда юноша крепко обнял ее, в ней пробудилось воспоминание о Павле. Чего только не передумала она с тех пор! Сколько раз ей хотелось бежать к нему, и сколько раз она мысленно гнала его от себя. Потом она от кого-то услышала, что Павел надолго уехал. За все время он ни разу не показался, не дал о себе знать. В конце концов, после долгих недель ожидания, после того, что она о нем узнала, после стольких ночей, когда ее терзали сомнения и одиночество, сердце ее охладело и она перестала думать о Павле.

И вот теперь он стоит тут и ждет ее.

— Я должен с тобой поговорить, Илона,— повторил Павел и, глубоко вздохнув, посмотрел на ее губы. Они были крепко сжаты. Что она ему ответит?

Губы Илоны дрогнули, но она ничего не сказала. Лучше бы ей уйти. Да, уйти. Что она может хотеть от него, чего ей ждать? Свалился как снег на голову. Поговорить, видите ли, хочет. Нет. Она достаточно из-за него настрадалась.

— Тебе что-нибудь нужно? Кто-нибудь заболел? — спросила она. В ее голосе звучали насмешливые ноты.

За окном прогрохотал грузовик, и кто-то крикнул:

— Привет, Илона! А я думала, что ты уже наверху. Идешь?

Павел тяжело вздохнул. Молодая женщина остановилась возле Илоны и мельком взглянула на Павла. Скорее всего она приняла его за пациента, отошла на несколько шагов и стала ждать Илону.

— Илона...— сказал Павел и сам удивился, какая настойчивость звучит в его голосе.

Илона тоже почувствовала это и с любопытством взглянула на Павла. Воцарилось сосредоточенное, испытующее молчание. Но длилось оно недолго. Илона отвела глаза, пригладила рукой волосы. На макушке они были у нее стянуты и свободно падали на спину.

На солнце волосы Илоны отливали яркой бронзой. Своим цветом они напоминали шерсть рыжего жеребенка. И ее молодое и гибкое тело тоже напоминало Павлу жеребенка. Рыжик! Она и в самом деле красива, подумал он.

Илона повернулась и, не оглядываясь, поспешила к приятельнице, которая ее ждала. Ей хотелось наказать и его и себя.

Павел остался на тротуаре с букетиком фиалок в руке, который так и забыл отдать.

Сердце у него громко стучало, уши заложило. Илона ушла, но глаза ее до сих пор обжигали его.

Что же делать? Проклятье. Может, остаться в Горовцах и подождать, когда Илона будет возвращаться с работы?

У Гойдича в этот день было множество дел. Поэтому в Трнавку он добрался только к вечеру. В национальном комитете он уже, конечно, никого не застал. Деревня казалась обезлюдевшей. Тогда Гойдич поехал к свинарнику. Дорога была разбита, вся в ухабах, с глубокими следами от колес повозок и гусениц трактора.

Двери свинарника оказались открытыми. Гойдича сразу обдало тяжелым духом. Изнутри доносился такой громкий визг, что Гойдич мог войти незамеченным, если бы не залаял пес, привязанный к двери.

— Цыц,— прикрикнул на него Гойдич.

Шофер поднял с земли щепку и швырнул ею в пса.

— Оставь собаку в покое,— остановил шофера Гойдич. Пес залаял еще отчаяннее.

В дверях показался Демко. Увидев Гойдича, он заулыбался и стал успокаивать пса.

— Пошел! Пошел в будку, Илюшка. Это свои. Слышишь! Да иди ты к черту. Ну что с тобой? — Он наклонился, почесал пса за ухом, и тот успокоился.

— Хороший сторож,— сказал Демко.— Был у нас еще один, но его недавно отравили. А мы тебя ждали. Приехал посмотреть нашу крепость? — Глаза Демко весело блеснули.

— Как видишь! — сказал Гойдич.— В национальном комитете заперто.

— Все теперь в поле. Мы с Мишланкой только что пришли заготовить корм. Работы много.

Гойдич лишь сейчас заметил женщину, склонившуюся над чаном, огляделся вокруг.

Да, этот свинарник действительно крепость, подумал он. Часть стены у собачьих конур, одна из которых теперь пустовала, была недавно побелена. Сквозь побелку виднелось слово «гроб». А немного подальше: «Предатели дере...» — дописать это слово тогда не удалось. Демко, Канадец и Петричко спустили собак.

Демко с Канадцем ночевали в сарае возле свинарника каждую ночь уже целых три месяца. Самые тяжелые дни наступили примерно через неделю после того побоища, когда деревенские увели скот. Собственно, только тогда вся Трнавка поняла, что кооператив в их деревне сохранился. Готовилось ночное нападение на свинарник, но Иван, к счастью, вовремя узнал об этом плане. И из Горовцов приехал автобус с рабочей милицией. На уборочную, конечно. Помогали тем немногим, кто остался в кооперативе, убрать урожай на участке, раньше принадлежавшем Зитрицкому. Отремонтировали и поврежденное помещение национального комитета. В Трнавке они пробыли две недели, а несколько милиционеров, рабочих с пивоваренного завода, работали тут целый месяц. В «крепость», как называл свинарник Демко, им привезли полный грузовик свиней и восемнадцать отощавших, но вполне хороших, чистопородных коров. Это был скот, закупленный государством в помощь кооперативам, которые распадались. А в деревне страсти понемногу улеглись: люди поняли, что те, кто остался в кооперативе, не одиноки.

— Ну что, Андрей? Как дела? — спросил Гойдич.

— Трудные времена, одни заботы. Вечно нам что-то мешает. Я не помню такой плохой весны. Зерну и картошке уже пора быть в земле. Посмотри, сколько у нас теперь свиней.— Он показал в глубь свинарника. Ни одного пустого закута.— Чем кормить их будем?

— Сдается мне, ты, кроме работы, ни о чем другом и думать

не можешь? — пошутил Гойдич. Он всегда подтрунивал над Демко, потому что очень его любил.

— А о чем же мне еще думать?—Демко вздохнул. Лицо его было усталым, под глазами темнели круги.

— Ни до чего другого, видно, руки не доходят?

Гойдич знал, что у Андрея нелады с женой. Не ладил он с ней, впрочем, всю жизнь, но в последнее время отношения их особенно обострились. Когда Демко и Канадец после тех событий, можно сказать, переселились в сарай и сторожили свинарник, жена Демко объявила забастовку. Она не ходила на работу и не посылала ему еды, думая, что таким образом заставит его вернуться. Лишь через несколько недель, убедившись в непреклонности мужа, передала ему, чтобы он пришел. Андрей не откликнулся. Жена послала за ним еще раз, но Демко вернулся только тогда, когда она сама явилась за ним в свинарник.

— Иди домой, осел окаянный! Ведь ты уж давно не ел как следует и не спал в постели,— сказала она.

— Ладно, приду,— проворчал он. Остальные с любопытством на них смотрели.— Свари чего-нибудь, я приду поесть. А ты утром пойдешь доить.

Из-за этой истории Гойдич еще больше стал уважать Демко.

— Ни до чего другого, видно, руки не доходят? — пошутил он снова.

К ним подошла Мишланка.

— Эй, о чем тут у вас разговор? — обратилась она к Гойдичу.— Может быть, вы нам трактор привезли?

В ее голосе были решительность и энергия. Она радовалась, что видит его тут, ее глаза и губы улыбались.

Гойдич крепко пожал ей руку.

— Пока нет,— засмеялся он.— Пока вам одного хватит.

— Ой, господи,— вскипела она.— А ты представляешь, что для нас такая машина? Вообрази: армия в самый разгар битвы почти без боеприпасов, едва держится — и вдруг получает новое отличное оружие. Скажем, дальнобойные орудия или танк, которого нет у противника.

— Если бы вы послали нам трактор раньше, урожая могло бы сохраниться больше,— поддержал ее Демко.

— Будто ты не знаешь, Андрей,— Гойдич перешел на серьезный тон.— Тогда, как тебе известно, в районе было тридцать восемь кооперативов, а государственная машинная станция имела всего-навсего восемь тракторов. А теперь нам прислали двенадцать новых. Каждому кооперативу мы смогли выделить по одному. И на станции их уже четырнадцать. Каждый месяц прибывает по нескольку машин. И не только тракторы, но даже комбайны.

— Вот здорово! Следующий раз приезжай, пожалуйста, на комбайне,— сказала Мишланка.— Пусть у этих мерзавцев в деревне все глаза полопаются от зависти. Когда Иван пригнал этот трактор и платформу с отрубями, у них даже дух перехватило. Повыбегали на дорогу кто в чем был, полуодетыми, стояли на снегу босые, и снег под ними таял.

— Да, трактор и впрямь для нас — великое дело,— сказал Демко.

Он словно ожил, этот старик, подумал Гойдич. Работа и машины. Видно, только это и может разогреть в его жилах кровь. Но как плохо он выглядит. Эти мешки под глазами.

— Тебе не мешало бы отоспаться, Андрей. В постели.— Гойдич снова перешел на легкий, шутливый тон.

— Еще два-три дня, там и отдохнуть можно,— сказал Демко.— Зерно и картошка уже должны быть в земле.

— А не посмотреть ли нам поля? — предложил Гойдич.

— Пойдем,— кивнул Демко и повернулся к Мишланке.— Я пришлю кого-нибудь вместо себя, не волнуйся.

— Хорошо бы. Интересно только, кого ты найдешь?

Они вышли, и на них сразу же повеяло свежим ветерком. Солнце склонилось к закату и светило им в спину. Гойдич оглядел поля: черные, обработанные полоски земли и рядом прошлогодняя стерня. Кое-где зеленели озимые. Крестьяне погоняли коров, запряженных в плуг или борону.

— Видишь, как они надрываются,— сказал Демко. Гойдич остановился на меже, стал смотреть на пахарей. Муж навалился на плуг, жена кнутом погоняла коров.

— Мы работали так после сорок пятого, когда землю получили, а тягла не было совсем, одна корова. Когда пахали или сеяли, запрягали иногда и свою, и соседскую. Сколько ссор было, чье поле обработать раньше. Коровы от такой тяжелой работы теряли молоко. Смотри, вон там пашет наш трактор. Мы сажаем картофель на бывшей земле Зитрицкого. Огромное получилось поле.

Он гордился трактором и тем, что они хоть в чем-то уже обогнали единоличников. С утра, только рассвело, выехал в поле Иван. Он кончал сеять яровые у Тополин. Потом вернулся из города Павел и сразу сел за баранку, а уже под вечер его сменил Канадец. Ох, хоть бы побольше мы получили машин!

— А многие в деревне пашут на коровах? — спросил Гойдич.

— Ты спрашиваешь, у многих ли по одной корове?

— По одной или по две. Не больше.

— Таких домов четырнадцать-пятнадцать,— ответил Демко.— Это все бедняки, но в кооператив вступать не захотели. Некоторые вели себя, пожалуй, еще хуже богатеев.

Гойдич смотрел, как трактор шел по длинной полосе поля. Свежие борозды были влажными и темными, а старые борозды уже посерели под солнечными лучами и теплым ветром. Земля высыхает слишком быстро, и это плохо, подумал он. Кое-где на поле стояли мешки с картофелем и члены кооператива с корзинами в руках занимались посадкой, склонившись над распаханной землей. За кооперативным полем на маленьких участках единоличников тоже трудились люди.

Гойдич внимательно осматривал поля, которые в эту же пору в прошлом году были пустые, и с удовольствием наблюдал, как теперь здесь пробуждалась жизнь. И тут ему в голову пришла мысль, от которой заколотилось сердце. Да, вот это было бы дело! Нет, лучше еще подождать. Лучше еще раз все продумать... Конечно, это не может быть ошибкой, это означало бы полный поворот и было бы доказательством...

Охваченный волнением, он положил на плечо Демко руку.

— Послушай, Андрей, когда ты сказал, вы закончите?

— Через два, самое позднее через три дня.

— Хорошо. Пойдем. Я тебе что-то скажу.

Гойдич ускорил шаг. Солнце уже заходило за горизонт.

Свежевспаханная земля в предвечерний час пахла сильно и пряно. Иван и Демко стояли рядом с Гойдичем. Петричко прислонился к телеге, а оба Копчика сидели в стороне на мешках. Из кабины трактора высунулся Канадец. Насупившись, он недоверчиво смотрел на Гойдича. Все смущенно молчали.

Не понимают они меня, подумал Гойдич. Не могут понять, не в состоянии. Он оглядел их всех. Лицо Демко показалось ему еще серьезнее, а взгляд еще более тяжелым, чем обычно. Мешки под глазами словно тянули его к земле.

Гойдич в упор посмотрел на Петричко, который стоял опустив руки, к углу рта приклеилась сигарета.

— Что ты на это скажешь?

— Ты шутишь! — отозвался, помолчав немного, Петричко и смял сигарету.— Говори серьезно.— Его голос звучал сухо и бесцветно.

— В таких вопросах не шутят,— сказал Гойдич.

— После всего, что они натворили?! Нет, мне это не нравится. С этим я никогда не соглашусь.

— И мне не нравится,— сплюнул Канадец.

— Если б могли, они нас в ложке воды утопили бы,— продолжал Петричко.— Если б могли, они сунули бы нас между мельничными жерновами и запустили мельницу на полный ход. Неужели ты это серьезно? В нынешнем году погода заставит их изрядно попыхтеть. Может, и возьмутся тогда за ум. Ведь эти бедняки, у которых однадве коровы, вели себя иногда хуже, чем мерзавцы кулаки. Пусть теперь помаются, пусть попотеют, пусть пожарятся на сковородке. Это пойдет им на пользу.

— Дружище,— сказал с огорчением Гойдич.— Пора уж тебе понять: люди попали в беду, и мы в этом тоже повинны. С одной стороны, им внушили страх и недоверие к нам, с другой стороны, мы сами их отпугивали, когда не получалось по-хорошему, жали на них что было силы. И делали ошибку за ошибкой. Теперь надо показать, что мы действительно желаем им добра. Они одумаются, вот увидишь.

— Какие ошибки ты имеешь в виду? — тихо спросил Петричко.— Надо было основать такой кооператив, чтобы в него входила вся деревня, революция этого требовала, и они должны были решиться. Я не знаю, зачем с ними цацкаться. Пусть сами выкарабкиваются из той ямы, в которую залезли. И после тех похорон, что они нам тогда устроили.

— Он прав,— сказал Канадец,— какого черта, именно теперь надо о них заботиться?

Гойдич горько усмехнулся.

— Все очень просто,— сказал он.— Без них мы никогда не сможем победить. Ты говоришь о революции, но ее можно делать только с людьми. Мы должны показать им, как можно избавиться от нужды. Ведь не из другого же они теста. Покамест они рассуждают иначе, чем мы, но намыкались в жизни не меньше нас. Если мы хотим иметь крепкий, сильный кооператив, надо им доказать нашу правоту. Но ее не вколотишь в голову, как гвоздь в стену. Скорей самому достанется, а это ты уже испытал.

Наступила тишина.

— Мы все делали для них, но они саботировали,— сказал через минуту Петричко.— Однажды у Штенко загорелся хлев, а он выбежал на улицу и стоит как соляной столб. Пришлось дать ему по физиономии, чтоб опомнился. Я сунул ему в руки ведро и крикнул: поливай хлев водой, а я выведу коров. А то бы так все и сгорело. Помнишь? — повернулся он к Копчику.

— Еще бы не помнить,— сказал тот, не поднимая от земли глаз.

Петричко раньше все было ясно. Когда приехала «передвижная весна» и вся деревня вступила в кооператив, ему казалось, что до полной победы рукой подать. Если же и была допущена ошибка, то скорее всего в том, что мы не смогли заставить их работать, что не оказалось сильной руки, когда они начали дурить. А теперь...

Порой Петричко негодовал. Ведь это было предательство, явное предательство,— позволить кооперативу распасться и оставить его организаторов на бобах в самый трудный момент. Бриндзак никогда бы этого не допустил, если бы у него самого руки не были связаны. Бриндзак — настоящий революционер. Он всегда знал, чего хочет и что нужно. Уже во время войны он показал себя. Я не знаю никого, кто бы мог с ним сравниться. Он умел дать жару и немчуре и гардистам. Уж он бы и нашим живодерам показал, где раки зимуют. Прибрал бы их к рукам, и все бы пошло как по маслу. Да теперь, видать, с революцией покончено, о ней теперь только говорят. А такие, как Бриндзак, мол, уже не подходят для партии. Предательство! Глядишь, еще скажут: наденьте перчатки и поглаживайте по голове врагов революции. Предательство!

Глаза Петричко встретились с пристальным взглядом Гойдича.

— Ну, скажи, что ты думаешь?

— Не будем... не можем мы им потакать,— ответил Петричко.— Они решат, что это из-за нашей слабости, и будут еще пуще куражиться над нами. Пусть остается все как есть. Так скорее они образумятся.

— Мы берем на себя большую ответственность. Они, конечно, еще будут атаковать нас,— заметил Копчик.

— Теперь уж будем атаковать мы,— сказал Иван.— А они — только защищаться, пока не поймут, что правда на нашей стороне. Когда мы привлечем их на свою сторону, мы одержим победу и над настоящими кулаками. Я — за.

Гойдич с благодарностью взглянул на него.

Петричко тоже посмотрел на Ивана.

Ого-го, попробуй-ка атакуй! Ишь расхвастался. Так и положили их на обе лопатки, так и придавили грудь коленкой, что им уж и не шелохнуться. Ведь надо же, сразу попались на эту удочку.

— Это что, новая линия? — спросил Копчик.

— Линия у нас одна — помогать беднякам и середнякам, чтоб они поняли, на чьей стороне их место. Она существовала всегда, только мы ее искривляли,— сказал Гойдич.

— Ты имеешь в виду «передвижную весну»? — глядя ему прямо в глаза, спросил Петричко.— Насколько мне известно, не мы ее сюда вызывали.

Гойдич почувствовал, что багровеет, его бросило в жар. Он набрал воздуха, собираясь ответить, но вдруг заговорил Иван.

— Будто ты не знаешь, что тут происходило. А теперь из района прислали новую «передвижную весну».— Он указал на трактор.— Надо попробовать, на что она способна.

Гойдич опять улыбнулся.

Нет, мне надо немного подождать, подумал он. Пусть они выскажут все, что накопилось у них на сердце. Они должны решить сами, принуждать их не стану. А что думает старина Демко?

Гойдич повернулся было к нему, но тут заговорил Канадец:

— Нет, это безумие, да и только. Они с нами ни за что бы так не стали возиться. И мы в этом убедились, стоило нам чуть ослабить вожжи. Черт знает что! Я согласен с Петричко. Я бы их хорошенько взнуздал. И спокойно наблюдал бы, как они ловят ртом воздух.

— Ты прав,— сказал Павел.— Если бы кулаки и попы снова захватили власть, они бы с нас с живых кожу содрали. Именно поэтому надо быть начеку.

После встречи с Илоной Павел все время думал о ней. Вернувшись из Горовцов, он сменил на тракторе Ивана, а вскоре после того, как передал машину Канадцу, явился Гойдич с предложением, ко-

торое означало, что работы прибавится и снова придется мотаться по полям. Сперва он возмутился. Ведь и с Илоной он не может видеться потому, что у него совсем нет времени. Черт возьми, целый день он на поле, теперь еще и по вечерам сиди в национальном комитете. Стал секретарем вместо Плавчана. С утра до ночи работает без передышки. И вот теперь, когда они почти все закончили...

Ну что это за жизнь? Неужели я никогда не поумнею? Горечь и злоба нарастали в нем тем сильней, чем ясней ему становилось, что предложение Гойдича очень разумно. Павел понял, что это может для них значить. Петричко, конечно, против, как и следовало ожидать. И Канадец. Но главное — Петричко. Проклятая работа! Однако похоже, что за нее придется взяться. Ничего другого нам не остается. Хоть небольшой разлад между этими ослами-единоличниками мы все-таки внесем, такого случая упускать нельзя. С Илоной ничего не получается, так ведь должно человеку хоть в чем-нибудь везти!

Павел вскочил.

— Я тоже — за. Надо попробовать,— сказал он.

— И твой сын туда же,— посетовал Петричко, повернувшись к старому Копчику.— Что же ты молчишь? Или язык проглотил? Теперь до конца жизни рта не откроешь?

— Я думаю,— ответил Копчик.

— Все еще думаешь? А не лучше ли тебе прежде пойти выспаться?

— Да пошел ты знаешь куда.— Копчик закашлялся. Лицо его побагровело, он наклонился вперед. Казалось, от приступа удушья напрягается каждый мускул в его теле.— Пошел ты знаешь куда,— прохрипел он еще раз, когда кашель отпустил его.— Если такая у нас линия и если так нужно, я — за.

— Ты что, забыл, как тебя мочой окатили? — ухмыльнулся Канадец.— Действительно, человек может ко всему привыкнуть и все забыть. Его можно даже дерьмом вымазать.

— Такое никогда не забудется,— сказал Копчик.— Но если нужно, если партия требует, я тоже — за.

— Ну что ж, да здравствует твоя линия. Ты всегда был очень сознательный.— Канадец сплюнул.

— Не болтай,— одернул его Копчик. Грудь у него болела, он сипел, от кашля гудело в голове. Слезящимися глазами он взглянул на Сливку, который, собрав на поле мешки, стоял с Эвой и цыганом Йожко у телеги и слушал.

— А ты что на это скажешь? — спросил он его.

— Я? — откликнулся Сливка, не поднимая глаз от земли.— Ничего. Я работаю.

— Вы слышите? — прохрипел Копчик.— И с такими мы должны побеждать.— А ты нам что скажешь? — обратился он к Демко.

Сперва предложение Гойдича ошарашило Демко. Ценой невероятных усилий они справились с весенними работами. Это была адова работа, осенью они не смогли обработать все участки, и теперь пришлось наверстывать упущенное. Только благодаря трактору они сумели выйти из положения, но едва лишь приблизился день, когда можно было немного перевести дух, является Гойдич с предложением взвалить на себя новые заботы и начать работать на других. После того, что случилось в прошлом году, это выглядит безумием. Но в предложении Гойдича было и что-то заманчивое. Как, например, будет вести себя тот же Штенко, когда ему предложат помочь с пахотой. Демко слушал споры вокруг, но уже прикидывал, кому бы они могли распахать поле и сколько труда и времени потребуется на это.

— А что мне сказать? — Демко окинул всех взглядом.— Здесь

налицо весь партийный комитет, не хватает только лесника Гриба. Иван как председатель кооператива и председатель национального комитета, оба Копчика и я, мы — за, из членов комитета против только Петричко. Значит, мы можем принять решение. Четырнадцать семейств у нас имеют по одной, по две коровы, но осенью они добрую половину своего поля засеяли. Правильно, Павел?

— Правильно,— ответил Павел.— А сколько гектаров им еще осталось распахать?

— Наверняка не больше двадцати. Для трактора это часов тридцать работы. Тридцать часов вместо двухсот дней,— сказал Иван.

— Хотел бы я знать, на что ты в данном случае рассчитываешь? — спросил Петричко. Лицо его помрачнело, а губы сжались в узкую полоску.

Демко посмотрел на него в упор.

— И ты еще спрашиваешь? Уж мы об этом говорили достаточно. Но еще одно я тебе все-таки скажу. Если мы каждому из них распашем даже по одному гектару, они посеют на десять дней раньше и урожай будет лучше. Если мы этого не сделаем, они соберут меньше зерна и государство получит от них тоже меньше. Надо принять во внимание эти соображения. Послушай, Иван, а что, если мы, кроме бедняков, поможем еще двум-трем середнякам? Тем, что всегда выполняют поставки. Этим, конечно, мы растревожим их, все их осиное гнездо.

— Кого ты имеешь в виду? — спросил Петричко.

— Ну, хотя бы Резеша.

— Кого? Я что-то плохо слышу,— отозвался Петричко.

— Насчет Резеша, ты, наверное, несерьезно,— вмешался Канадец.— Черт возьми, ведь этот мерзавец, этот гад был с ними в Праге. Он был одним из заводил.

— Вовсе нет,— сказал Демко.— Он был у них на поводу, но хозяйство вести умеет и соображает, что ему выгодно.

— Это дельное предложение,— поддержал Иван.

— А про Хабу ты, видно, забыл,— сказал Петричко.— Начни уж с него. Он, как никто, привык, чтобы на его поле работали другие...

— Хаба — кулак. Этого гада ты сюда не приплетай,— заметил Демко.

— Правильно,— сказал Павел.— И я начал бы, пожалуй, с Резеша. Раньше, чем эта новость разнесется и они примут меры. Если бы все удалось, потом пошло бы куда легче.

— Мало того, что нас грязью вымазали, так пусть они еще и топчут нас! Здорово мы себе этим поможем,— не унимался Петричко.

— Если Канадец не хочет,— сказал Павел,— тогда я сяду на трактор и сделаю это!

Все смотрели на Павла.

— Ты теперь секретарь, Павел, тебе неудобно. Ивану тоже нельзя,— произнес в наступившей тишине Демко.— Если за это возьмется Канадец, будет в самый раз.

— Паскудная работа,— выругался Канадец.— Что же, мне опять в батраки идти? Всегда у Резеша было полно скота, да и в ихней делегации он был.

— Если мы решим, ты это сделаешь,— спокойно сказал Демко.— Ты ему покажешь, какую силу придает тебе эта машина и что он со своей упряжкой против тебя — то же, что муха против слона. Это для нас очень важно.

— Я здесь не останусь. Я ухожу из этого сумасшедшего дома. На такое идиотство спокойно смотреть не могу.— Петричко швырнул недокуренную сигарету и затоптал ее.

— Не говори так,— сказал Иван.

Гойдич смотрел на Петричко. Ох уж этот дорожник! — думал он. Вырос в мире, где все решала грубая сила, и не умеет мыслить иначе. Он-то кожу с себя содрать позволил бы, дал бы сжечь себя на медленном огне или четвертовать, но не предал бы. А вот как надо сейчас действовать, понять не может. Ему нужна только прямая, ровная дорога — шоссе, которое посыпают песком и щебнем.

— Ну, хватит,— вмешался Гойдич в спор.— Мы все обсудили, и вы сами приняли решение. Теперь знаете, что делать.

— Черт бы побрал эту треклятую работу! — зло выругался Канадец.— Я соглашусь, только если ты скажешь, что это приказ. Я послушаюсь, если получу от тебя, Иван, официальное распоряжение. Ты ведь — председатель кооператива.

— Да. Ты должен это сделать,— сказал вместо Ивана Гойдич.— Но прежде я сам поговорю с Резешем. Ты пойдешь со мной, Андрей. И вы тоже,— сказал он Ивану и Павлу.

Резеш погонял лошадей, запряженных в плуг. От них шел пар, они поминутно останавливались, тяжело дышали, беспокойно дергая головами. Лошади были вконец измучены, а у Дунцы ко всему еще распухла голень.

— Ну и весна,— бормотал он.— Ну и погода, разрази ее гром!

Когда в прошлом году он стал вести хозяйство один, у него было все наперед продумано — до последней мелочи. Он знал, где что посеет и посадит, что может дать земля у Жебрацки грушки, а что здесь, у Ярчека. Осенью у него все шло, как он задумал. Они распахали и засеяли почти половину поля. Зимой он завез и разбросал тот перегной, который у него был, но его не хватило. А потом эта погода нарушила все планы. Вот уже десять дней он ходит с рассвета до ночи за плугом, ноги у него одеревенели, руки болели, с такой силой он нажимал на лемеха, а работы оставалось еще по меньшей мере недели на две. Да тут еще пришли к нему Зузка и Червеняк, попросили помочь. Чуть ли не каждый день приходят и стоят у него за спиной, когда он распрягает лошадей. Помочь!

Резеш чертыхался. Распроклятая жизнь. Надрываешься от зари до зари. Только вечером стащишь с ног сапоги и упадешь в постель, как пора снова обуваться. Мать честная! А надо еще вспахать, забороновать и засеять целый гектар. Еще целый гектар яровых, а потом сажать картошку. И кукурузу. А влаги мало, и почва с каждым днем все быстрее высыхает. И работа тяжелая, да хоть бы толк от нее был. Провались оно все пропадом! Никаких сил не хватает.

Марча шла следом за ним с коровьей упряжкой, волочившей борону, и рыхлила вспаханное им поле. Коровы не привыкли к упряжке, и Марча беспрестанно их погоняла. Иногда приходилось даже тянуть за недоуздок, и Резешу в глубине души было стыдно.

Лошади снова хрипло заржали, и Резеш осторожно дернул вожжи. Когда лошади остановились, он вытер со лба пот и осмотрел голень Дунцы. Обе кобылы грызли удила и фыркали, раздув ноздри. А Резеш почесывал свисавшую гриву кобылы и говорил:

— Подожди, скоро ты отдохнешь, ну еще хоть полчасика поработай. Хоть до того куста шиповника дойди. Посмотри, ведь это совсем близко. Мы уже почти рядом. Еще две борозды — и пойдешь домой. Там я тебе расчешу гриву, помою тебя, почищу. И ночью ты хорошо отдохнешь. Я знаю, ночи мало, тебе нужно отдохнуть подольше, но все-таки это лучше, чем ничего!

По дороге возвращалась в деревню упряжка Хабы. Телега тарахтела, из-под колес вздымалась пыль.

Марча подошла к мужу.

— Уже едут,— сказала она устало, глядя на дорогу.— Хабы уже едут, видишь?

С самого утра Марча не присела, после обеда тащилась по пашне за коровами, и ноги у нее теперь невыносимо болели. И дома у нее была уйма работы. Убрать и подоить, приготовить поесть. Она с нетерпением ждала, когда же Михал выпряжет лошадей из плуга. Она видела, что он злится, но о причине спрашивать не стала. Знала и так.

— Возвращается только старик,— сказал он.— Дьюри с Анной остались. И Олеяровы остались. Посмотри!

За поворотом дороги сквозь деревья, ее окаймлявшие, на широкой полосе поля виднелись конская и коровья упряжки. Две женские фигуры, склонившиеся над бороздой, почти сливались с пашней.

— Ты хочешь остаться? А не лучше ли нам?...— спросила Марча.

Она едва держалась на своих распухших ногах. От одной мысли, что придется брести по бороздам, ей становилось дурно.

— Вон до того куста. Еще две борозды.

Резеш вздохнул, слегка похлопал обеих кобыл по влажным теплым спинам и снова взялся за плуг, низко склонив голову. Целыми днями не поднимал он глаз от земли, будто все время ощупывал ее взглядом. Марча снова окликнула его.

— Михал!

Она произнесла его имя почти шепотом, в ее голосе звучало удивление и растерянность.

Он молча поднял глаза.

— Кто это сюда идет? Уж не...

— Тот самый из района, рябой,— прошептала она.— Господи милостивый, что ему здесь надо?

Резеш, нахмурившись, смотрел вдаль. Они шли по меже. Тот самый секретарь, и с ним целая свита. А как же иначе! Демко, Матух и молодой Копчик. Все начальство. К чему бы это?

Похоже, идут ко мне. Черт возьми! Опять притащились. Кто их звал? Чего они хотят? Покорно благодарю за посещение, господа коммунисты! А надо ли мне с ними разговаривать? У меня и так работы невпроворот. Я уж и не знаю, за что хвататься. И ждать вас я не стану, решил он, стегнул лошадей кнутом, и плуг врезался в землю.

— Добрый день, пан Резеш. Ну как дела?

Кто это спросил? Да ведь это сам ихний секретарь, главный коммунист в районе. Надо же, пан Резеш. Как дела, пан Резеш? Чтоб вас черти взяли!

— Может, ты остановишься? — спросил Иван.— Поговорим немного, а лошади отдохнут.— Он ухватился за вожжи, но не дернул, а пошел по полю рядом с Резешем.

— Поговорим? О чем же? Времени нет. Поле сохнет, с каждым днем работать все тяжелее. Каждая минута на вес золота.

— Поэтому-то и надо поговорить,— сказал Гойдич.

— Да подожди ты. Остановись!

Иван потянул за вожжи.

— Хочу вовремя посеять,— буркнул Резеш, но коней все же остановил.— Ну, в чем дело?

— Мы пришли спросить, не нужно ли вам помочь? — сказал Гойдич.

Резеш уставился на Гойдича и долго смотрел на него в упор.

— Спасибо. Вы мне уже помогли однажды,— презрительно скривив губы, сказал он.— Опять пожаловали агитировать?

— Мы пришли предложить вам помощь, пан Резеш. Вот и все.

— Значит, снова вступать в кооператив? — Голос Резеша звучал холодно и насмешливо.

— Да на кой черт ты нам сдался? — рассердился Иван.— Надрывайся тут до упаду, если тебе так нравится. Мы уже кончаем работу на кооперативном поле. Можем и тебе трактором распахать. Хочешь?

Резеш от удивления онемел. Он долго не мог ничего сказать. Потом все же опомнился и посмотрел на жену, взгляд у нее был испуганный.

— Ничего мне не нужно. Сам вспашу и засею сам. Как всегда,— проговорил он хрипло.— Хотя в этом году меня здорово подвела эта чертова погода.— Он вытер лицо рукавом.

Дева пресвятая, не пойму я что-то, думал он. Новое дело! Чего они от меня хотят? Вспахать мне поле трактором? Отец небесный, все бы заботы сразу с плеч долой.

— Заявление-то у вас заполнено. Мне только подписать надо? — насмешливо спросил он.

— Заплатите только за горючее и работу. И все.

— Я никогда никого не эксплуатировал,— в его голосе звучали язвительность и недоверие, но прежней самоуверенности как не бывало. Неужели они снова хотят меня заарканить?

— Дело ваше, пан Резеш. Мы вот посмотрели на ваше поле и подумали: мы-то уже кончаем, а у него еще по крайней мере гектар невспаханной земли.— Гойдич пожал плечами и пристально посмотрел на Резеша.— Я поступаю с вами так, как мне бы хотелось, чтобы вы поступили со мной, будь вы на моем месте. Я хотел бы, чтоб вы мне помогли, если можете, чтобы и я посеял раньше. Чтобы посеять завтра утром, а не через десять дней.

Резеш совсем растерялся. Боже мой, сеять завтра? Уж не смеются ли они надо мной? Нарочно пришли поиздеваться?

Гойдич ковырял носком ботинка свежевспаханную землю. Влаги в ней почти не было.

Господи, я не ослышался? Нет, не ослышался. Но что у них на уме?

— Так вы хотите мне помочь? — спросил он.— Это что же за ловушка? Будете меня снова брать в клещи?

Сердце у него билось так, будто он поднялся бегом на крутой склон. Нет, вы меня больше на колени не поставите, думал он. «Пан Резеш, не нужна ли вам помощь?!» Такие слова приятно слышать. Но на их приманку я не попадусь.

— Клещи? — усмехнулся Гойдич.— Да ведь мы ничего от вас не хотим. Мы немного облегчим ваш тяжелый труд, у вас будет лучше урожай, и вы выполните поставки. Вот и все.

Ага. Значит, вот оно что! Теперь ясно. Поставки. Вот что их беспокоит. Черт показал свои рожки! Значит, все-таки поставки.

И в то же время он почувствовал некоторое облегчение. Поставки ведь все равно надо выполнять. Странно, но как раз эта откровенность и заставила его заколебаться.

— А почему вы хотите помочь именно мне? — спросил он неуверенно.— Почему пришли именно ко мне?

— Не тебе одному поможем, не думай,— сказал Демко и, подойдя к лошади, похлопал ее по вспотевшему крупу.— Мы поможем всем, кто пашет на коровах, а если хватит времени, то еще и нескольким таким, как ты. Ясно? Начнем с бедняков. Но теперь, на ночь глядя, к ним на поле не поедешь. В их лапше еще запутаешься. Ну что? Хочешь?

— Прямо сейчас? Сегодня ночью? — Резеш облизал пересохшие

губы. В голове у него все смешалось. Господи Иисусе, ведь утром я мог бы посеять. А что они там говорили? Не только мне помогут? Ничего не понимаю. Утром можно будет сеять?

— Мы вам даром ничего не предлагаем, пан Резеш,— снова вмешался Гойдич.— Я же сказал. Ничего. За помощь вы нам, конечно, заплатите. Через два-три часа поле будет вспахано и разборонованно. А в дальнейшем договаривайтесь с машинной станцией, очень вам советую. Ваш секретарь все вам устроит.— Он указал на Павла, стоявшего возле Демко.

Резеш поглядел на Павла. А ведь я тогда его папашу мочой... Кровь прилила к его лицу. Коммунисты. Сам черт их не разберет! Но похоже, что на этот раз они говорят открыто и честно. Такой разговор мне понятен. Господи Иисусе, и это они, те самые, как же на них положиться?

— Времени, конечно, маловато. Но раз вы можете, раз у вас есть трактор,— сдавленным голосом проговорил он.

— Я же тебе сказал, что можем,— кивнул Иван.— Сейчас пошлю сюда Канадца. Иди домой, поспи немного.

— Поспи? Ты что в самом деле? Чтобы мне поле испоганили? Никуда я отсюда не уйду.

Он перевел дух и, переминаясь с ноги на ногу, спросил Ивана:

— А ты бы не мог? Почему именно Канадец?

— Да у нас совещание. Но тебе бояться нечего,— сказал Иван и улыбнулся.— Канадец — хороший тракторист. На нашем поле он здорово поднаторел. И тебе вспашет как надо.

Резеш опять поглядел на Павла. Хотел попросить его, но словно онемел. Тогда он повернулся к жене.

— Поезжай домой, Марча. Лошадей как следует почисть, пусть отдохнут.

— Хорошо,— тихо сказала Марча.— А когда ты придешь? Когда вернешься?

— Потом. Ты же слышала.

— Лошадей запрячь в телегу, коров привязать сзади,— шептала она, словно пробуждаясь ото сна. И даже свинцовая тяжесть в ногах как будто исчезла.

Когда трактор с прицепом подъехал к полю Резеша, уже темнело. Мотор тарахтел так громко, что Резешу казалось, будто он работает у него в голове.

— Так чего ты хочешь? Что я должен тебе сделать? — сердито буркнул Канадец, остановив машину и выйдя из кабины. Он смотрел на Резеша вызывающе. Резеш растерялся. Глаза его забегали. Черт знает что! Надо же было прислать мне именно Канадца! Ведь он охотнее двинул бы мне сейчас, я знаю. Послать бы его ко всем чертям! Наплевал бы я на их помощь, если бы у меня земля не горела под ногами.

— Ну, вспахать. Как следует.

— Как следует? — фыркнул Канадец.— Как следует, говоришь? Я еще тебя поучу пахать. А где твои дохлые лошади?

— Ты моих лошадей не тронь!

— Нужны мне твои клячи! Мало я с ними возился. Да не стой ты как столб, чтоб тебя черти взяли, помоги-ка мне лучше. Давай пошевеливайся!

Канадец сбросил на землю бороны, и они стали снимать тяжелый трехлемешный плуг, который должен был вспахать землю Резеша и подготовить ее к севу. Резеш видел такой плуг на картинках,

в кино и издали посматривал на него, когда члены кооператива выезжали в поле. Но прикасался он к нему впервые.

Резеш помог Канадцу прицепить плуг и бороны к трактору.

— Тебе хорошо видно? — спросил он.

Канадец ухмыльнулся, выругался, поплевал себе на ладони и, подъехав к борозде, которую начал Резеш, включил фары.

В свете прожектора, прикрепленного на крыше кабины водителя, Резеш увидел ярко освещенную полосу земли, отчетливо разглядел жухлую, серую стерню и ослепительно сверкающую зелень озимых. Они выросли из прошлогодних перезрелых зерен, которые при поздней уборке кое-где высыпались из колосьев. Потом за трактором вдруг повалили пласты черной земли. Резешу казалось, что перед ним потекли три ровных глубоких ручья. Тяжелые железные бороны, прицепленные за плугом, разравнивали глыбы земли между ними, и свежераспаханные борозды сливались в широкий поток, катившийся с невероятной быстротой.

Резеш волновался. Ведь это его землю с такой силой переворачивала машина. Теперь он верил, что его поле будет к утру готово для сева. Зерно ляжет в землю вовремя, подумал он.

Он стоял неподвижно, пока трактор не объехал все поле кругом. Вдруг его ослепил сноп света, и он услышал крик Канадца:

— Чего стоишь? Ведь я тебя переехать могу, черт бы тебя побрал!

Резеш отпрянул, трактор проехал совсем рядом. Канадец остановил машину и, не выключая мотор, высунулся из кабины.

— Вечно ты болтаешься, где не надо,— крикнул он, сплюнув.— Ну как?

— Сойдет,— сказал Резеш, чтобы не уронить достоинства.

— Еще бы не сошло,— улыбнулся Канадец.— А почему ты не пашешь ночью? Попробовал бы со своими кобылами,— посмеивался он.

— У меня только одна пара. Вторую упряжку вы мне не разрешили.

— Для них тебе бы потребовался батрак, и стал бы ты кулаком. Скажи спасибо, что мы тебя от этого спасли. А теперь можешь идти и укладываться спать. До утра я тебе еще и посею и урожай у тебя вырастет. Утром можно будет убирать. Да нет, погоди, мы тебе его сами уберем и обмолотим, а ты только придешь за зерном. Нет, мы тебе мешки с зерном довезем на этой самой машине до самого дома. Да еще сложим, так что сиди себе дома. Черт бы тебя побрал,— выругался он снова.— Ты можешь пока со своими кобылами отправиться в лес за дровами и подработать.

Мотор ревел, и Канадец вопил изо всех сил, стараясь перекричать ревущий мотор.

— Ну хватит орать, на вот, закури и помолчи,— сказал Резеш и протянул Канадцу сигарету.

Канадец закурил.

— А выпить у тебя не найдется? Винца бы немного,— спросил он.

— У тебя тогда ряды пойдут все вкривь и вкось. Паши так на вашем поле.

— Эх ты! Да у тебя и вина столько не найдется, чтобы я захмелел. Беги домой, говорю. Ложись спать, а я тут поработаю. Иди к жене на свою ночную смену, раз уж тут я за тебя вкалываю.

— Та работа от меня не убежит,— ответил Резеш, едва улыбнувшись.

— А не помочь ли тебе и дома? Там тебе трактор не потребуется? — ухмыльнулся Канадец.— А то я и дома могу тебе показать, как что делается.

— Слава богу, не все орудия труда у нас распределяют партия и правительство,— сказал Резеш.

— А ты не оскорбляй нашу партию и правительство,— прикрикнул на него Канадец.— Если бы они не следили за всем и сохранились бы старые порядки, этой машиной владел бы Хаба, а уж он бы тебе помог, как же, держи карман шире! Думаешь, этот мерзавец стал бы на твоем поле батрачить? — Канадца снова охватила злость.

— Да я ничего не говорю, я молчу,— взмолился Резеш.— Послушай, пусти меня на трактор.

— Зачем?

— Посмотреть хочется, да и помочь чем-нибудь. Может, еще закуришь?

Резеш снова вытащил из кармана смятую пачку сигарет. Канадец посмотрел на него, потом взял сигарету и сунул ее за ухо.

— А ты не пырнешь меня ножом в спину и не угонишь эту машину? От вас всего можно ждать.

— Да брось ты. Так пустишь меня в кабину?

— Ну, полезай,— сказал Канадец.— Поможешь с бороной, если потребуется.

Резеш вскочил на заднее сиденье. Канадец пристально посмотрел ему в лицо.

— Скажи, тебе не кажется странным,— начал он,— ты наших мочой окатываешь, а я тебе землю пашу. Ну и жизнь. По правде сказать, я сам себе Иисусом кажусь.

У Резеша побагровело лицо, кровь застучала в висках.

— Нечего из себя Иисуса строить, поезжай-ка лучше,— сказал он.— Интересно знать, ты чего так хвастаешься? Эта машина твоя, что ли?

— Она наша, значит, и моя,— сказал Канадец с гордостью и включил скорость.

— Ты прямо как индюк надулся, смотри не лопни. Ты мне еще этот кусок поля распаши. Господи, а она всегда так трясется? Всегда так грохочет?

Сиденье водителя было на рессорах да еще покрыто замызганной овчиной, заднее же не имело под собой пружин, поскольку находилось прямо над задним колесом, Резеша то и дело подбрасывало, и он больно стукался головой. Одной рукой он держался за сиденье, а другой ухватился за железные стойки, подпирающие верх кабины.

— Тогда слезай, если тебе эти двадцать пять лошадиных сил не по нраву, если для тебя это слишком много.

Канадец и вправду собирался остановиться, но потом раздумал.

— Эта тряска прочистит тебе мозги,— сказал он.— Вытрясет ту шелуху, что в них набилась. Как в молотилке. Тебе это необходимо, разрази тебя гром! Правда, если бы моя воля, я бы тряхнул тебя по-другому, можешь мне поверить.

— Верю, верю,— прокричал ему в ухо Резеш.— Ругайся, сколько хочешь, это ничего. Главное, работаешь хорошо. Научился уже,— добавил он, помолчав.

— А как же! Я этим делом сразу овладел.

Канадец еще что-то ворчал себе под нос, но Резеш не мог разобрать ни слова.

Он смотрел на полосу света, которая тянулась за трактором. Она неслышно скользила по полю, и в ней ясно вырисовывались три полосы влажной, тускло поблескивающей земли. А взглянув дальше, за железные зубья бороны, он увидел, что гребни борозд уже сровнены.

Увидел и не поверил своим глазам. Сколько раз он пахал, шагая за лошадьми, и полоска земли открывалась перед ним; ему всегда

приходилось нажимать на плуг руками, и у него часто возникало ощущение, что эту узкую полоску земли перед собой он руками же взрезает и разрыхляет. Сейчас же полоса вспаханной земли убегала от него, исчезала за спиной и была широкой, как проезжая дорога. Господи боже мой, мне бы такую машину, подумал он. Я мог бы обработать поле как раз тогда, когда надо. Ни на день, ни на час не позже. А потом мог бы возить из леса дрова. Но где там, такая машина не для меня.

Потом он подумал: стерня, которая еще недавно так его пугала, быстро тает, и лошади отдыхают дома. Они были измучены, все взмокли от пота, и мышцы у них судорожно подрагивали. Теперь вам хорошо, подумал он. Я освободил вас от десяти дней каторжного труда. Вот посеем, и тогда уж вы в самом деле отдохнете, и у тебя, Дунца, заживет голень. Он мысленно беседовал с Дунцей, эта лошадь была ему милее всех, которые у него когда-либо были. О себе он в этот момент не думал. Только о земле и о лошадях.

В полосе яркого света он видел, как то тут, то там по полю пробегает мышь или мельтешат перепуганные зайцы. А то вдруг взлетела пара маленьких птичек, свивших себе гнездо на поле. Он не знал, что это за птицы, не успел разглядеть их. Каждый раз, когда трактор поворачивал у ручья, свет фар доходил до самой дороги. Потом в их свете появлялись силуэты деревьев, кусты вдоль ручья. С каждым кругом стерни становилось все меньше. Когда ее прямоугольник стал уж совсем узким, Резеш положил Канадцу руку на плечо.

— Хочешь еще сигарету? — крикнул он ему в ухо.

— Прикури и дай мне,— кивнул Канадец, не оглядываясь.

Резеш молча раскурил сигарету и подал ее Канадцу.

— На,— сказал он.— Не пора тебе отдохнуть?

Канадец взял сигарету и сунул ее в угол рта.

— Нет, добьем до конца.— Он затянулся и продолжал, ухмыляясь:— Черт возьми, пожалуй, мне на предмет курева помощник бы пригодился.

— Ты что замолчал? — спросил немного погодя Резеш.

— А ты хочешь, чтоб я работал за тебя да еще и развлекал при этом?

— Когда ты ругаешься, как-то легче. Я уж привык, и мне вроде чего-то недостает.

— Заткнись,— сказал Канадец и выпустил дым.

У него не было охоты разговаривать с Резешем, разве только, чтобы подразнить его или облегчить себе сердце крепким словцом. Теперь ему было досадно, что Резеш шутками и сигаретой вызвал его на разговор. Он смотрел на него пренебрежительно, но злился уже меньше. Пустив Резеша на трактор, Канадец долго ругал себя за это. Правда, его успокаивало то, что пашет он здесь не добровольно, а по приказу. Но во время работы, поднимая и опуская плуг в землю, он несколько раз оглядывался и не мог не заметить выражения лица Резеша. Оно было таким взволнованным и восхищенным, что Канадец сказал себе: раз уж эта глупость случилась, раз уж кто-то ее придумал, он вспашет Резешу землю как следует. В полевых работах он знал толк. Канадец родился далеко от этих мест, за океаном, но когда отца его убило деревом на лесоразработках, вернулся с матерью в Трнавку. Он вырос здесь и стал батраком у графа. И хотя звали его Гриц, никто не называл его иначе как Канадец.

Он вглядывался в расстилавшееся перед ним поле, по которому то и дело шмыгали зайцы. С детства он промышлял браконьерством, и глаз у него на них был наметан. Зайцы паслись на всходах, выросших на стерне. Какой-то зайчишка, ослепленный светом фар, петлял

перед самыми колесами. Жаль, что тебя нельзя переехать, думал он. Теперь, весной, не стоит тебя губить. До чего же тощий. Кожа да кости. И у зайцев не было жратвы, от этой засухи и им не сладко. Ну, ничего, ты еще откормишься и раздобреешь. Уж осенью я до тебя доберусь.

А Резеш с растущим волнением наблюдал, как чернота распаханной земли поглощает стерню. Потом желтая стерня исчезла совсем, и когда лучи света ощупывали поле, вокруг лежала голько темная, тускло поблескивающая земля.

Канадец остановил трактор и вылез из кабины.

— Ну, вроде все,— сказал он и потянулся.

Резеш стоял посреди пашни и вслушивался в глубокую, благоухающую тишину. Земля никогда еще не пахла так сильно. Отчего это?— думал он. Потом понял, что он еще никогда не бывал на таком большом участке свежей пашни. Когда он сам тащился по борозде, сырой запах обнаженной земли быстро выветривался. Во влажном ночном воздухе пашня не высыхала, Резеш вбирал в себя крепкий, волнующий запах и думал о том, что завтра утром в землю ляжет зерно.

— Ну и хорошо. Вот уж чего не ждал, того не ждал,— сказал он, взял горсть земли и стал разминать ее пальцами.

— И на том спасибо. Может, тебе еще чего нужно? Может, тебе и дома помочь? — сплюнув, спросил Канадец.

— Нет, здесь твоя помощь куда нужнее,— отшутился Резеш.

Он был полон блаженства и благодарности к Канадцу.

— Хотел бы я знать,— сказал он, помолчав,— почему ты взялся за эту работу?

— Чтоб доказать тебе, какой ты осел,— ухмыльнулся Канадец.— Ну, пошевеливайся, поедем.

Они уложили борону и плуг на прицепе и выехали на дорогу. С грохотом проехали через деревню, уже погрузившуюся в гемноту. У забора Резеша Канадец остановил трактор.

— Вылезай. Или мне пойти вместо гебя?— спросил Канадец без тени улыбки.

Резеш соскочил с трактора.

— Выпить хочешь? Зайди, опрокинем по стаканчику.

— Останется за тобой,— сказал Канадец.

Ему страшно хотелось пить. Прежде чем поехать к Резешу, он поел, но с самого обеда ничего не пил. Губы его пересохли, и в горле было сухо, но идти к Резешу ему не хотелось. Это смахивало бы на предательство.

Он выпрямился на сиденье и, не попрощавшись, поехал к шоссе.

Марча ждала мужа. Едва только он приоткрыл дверь, в нос ему ударил запах его любимого грибного супа. Запах этот смешался с запахом свежевспаханного поля, которым был насыщен ночной воздух. Оба запаха, одинаково земные, казалось, были как-то связаны между собой.

— Что ж ты не спишь, девочка? — спросил он, входя.— Лицо его расплылось в счастливой улыбке.

Он знал, что Марча будет ждать его, будет одетая дремать у стола или у печки, даже если он вернется только под утро. Она всегда дожидалась его.

— Ну, как, Мишо? — Лицо Марчи горело.

Он крепко обнял ее.

— Утром будем сеять,— выдохнул он.— А теперь налей мне супу побольше.

— Вы все поле вспахали? — ей все еще не верилось.

Весь вечер Марча не могла прийти в себя от удивления. Ей хотелось вернуться на поле к Михалу, ей тоже не терпелось посмотреть, как пашет трактор. Но она побоялась, что в темноте они разминутся, и решила лучше дожидаться мужа дома.

— Все,— сказал Резеш. Он наклонился и стал разуваться.

В комнате было чисто, стол покрыт клетчатой скатертью, а на ней две тарелки. В доме дохнуло на него глубоким покоем. Резеш всегда возвращался домой с радостью, но сегодня был как-то особенно счастлив. На душе было легко, это ощущение было неожиданным и словно согревало его. Марча помешивала половником в кастрюле, и этот приглушенный клокочущий звук был ему приятен. Он радовался аппетитно пахнущему супу, радовался тому, что наконец-то ляжет в постель и отдохнет, но больше всего радовался завтрашнему утру. Ему уже не терпелось закончить все работы.

На крыльце послышались шаги. Резеш усмехнулся, решив, что Канадец все же передумал и вернулся.

Но когда дверь отворилась, он увидел старого Хабу, Дьюри и Эмиля Матуха.

Они вошли. Ни Резеш, ни Марча не предложили им присесть. Все молчали.

— Ты удивляешься, что мы пришли? — раздался, наконец, голос Хабы.— Мы тоже удивлялись. Дружище, что случилось? Что это ты выдумал?

Его лицо пылало от гнева, маленькие глазки горели злобой.

— А что вам так не понравилось? — холодно и отчужденно отозвался Резеш.

— Ты это брось,— сказал Дьюри, сминая сигарету. Глаза его покраснели.— Мы ждали, пока этот мерзавец, этот твой новый дружок Канадец, исчезнет. Ну, рассказывай. И, пожалуйста, по порядку, все, как было.

Резеш скользнул по нему взглядом, поднял руку и медленно провел ею по губам.

— Говори же. За сколько они тебя купили? За сколько нас продал, Иуда? — наседал Дьюри.

Он подошел к столу. Старик последовал за ним, только Эмиль остался стоять, прислонившись к стене.

Кровь бросилась Резешу в голову.

— Ты так со мной не разговаривай, Дьюри,— сказал он.— Хотелось бы мне взглянуть на того Христа, которого я предал. Можешь ты мне его показать? — Он холодно усмехнулся.— Таких, как я, завтра будет много.

— Ты слышишь? — Дьюри повернулся к отцу.— Я знал, что он предаст при первом же удобном случае.

— Помолчи,— одернул его старик и спокойно спросил у Резеша:

— Что ты сказал? Таких будет много?

Резеш пожал плечами.

— Они будут помогать на своем тракторе тем крестьянам, у которых нет тягла. И тем, кто всегда выполнял поставки.

— Тем, кто послушно набивал им брюхо. Ты это хочешь сказать? — отозвался стоявший у дверей Эмиль.— И смотри-ка, пришли почему-то к тебе. А ведь ты был с нами в Праге. Что они от тебя за это хотели?

— О Праге вообще речи не было,— сказал Резеш.— И ничего они

от меня не хотели. Я заплачу им только за горючее и за три часа работы. Вот и все.

— Значит, все-таки купили они тебя,— повторил Дьюри.— Взяли на буксир и теперь потащат за собой. Им, чертям, только того и надо.

Мне только этого и надо, подумал Резеш, продолжая наблюдать за Дьюри. Так и ты меня можешь купить, если вспашешь мое поле. Он сжал губы и, не сводя пристального взгляда с Дьюри, стал шарить в карманах брюк, ища сигареты, но не нашел их. Видно, они выпали, когда он ехал на тракторе. Он встал и отодвинул стул. Стоя, он чувствовал себя увереннее.

— Посмотрел бы я, что б ты сделал, если бы тебе предложили такое,— сказал он.— Если б тебе это было нужно так, как мне.

— Ты нам зубы не заговаривай,— сказал Дьюри мрачно.— Терпеть не могу тех, что, как сороки, перелетают с забора на забор.

— Будет и у нас все, что нам надо,— опять вступил в разговор старик.— Если будем держаться друг за друга. А иначе они нас задушат. Ты что, не понимаешь, насколько это серьезно?!

Если меня будут душить так, как сегодня, я готов терпеть это каждый день, с утра до вечера, подумал Резеш.

Старый Хаба подошел к нему и положил руку ему на плечо.

— Мишо, ты, очевидно, не понимаешь, что наделал и какие это может иметь последствия для нас. Нам надо вести себя очень осторожно. Пока мы будем вместе, эта красная шваль ничего с нами сделать не сможет. Мы ведь еще держим их в страхе.— Он прилагал немалые усилия, чтобы говорить спокойно.— Ты уверен, что они действительно это сделают? Действительно предложат людям помощь?

— Они уже начали это делать,— сказал Резеш и взглянул Хабе прямо в глаза. Лицо Хабы побагровело от возбуждения и ожесточения. Резеш вспомнил, какой вид был у Хабы, когда приехала «передвижная весна». Тогда он весь обмяк и, казалось, совсем сник. Но вскоре снова воспрянул духом, будто его питала злоба. А после того, как удалось развалить кооператив, каждое слово Хабы стало для Трнавки законом.

— От тебя теперь многое зависит,— продолжал Хаба.— Мы должны что-то придумать. Хорошо хоть, мы знаем их планы.

— Я уже придумал: завтра буду сеять,— сказал Резеш.— Вот и все.

— Так ты уже не с нами? Ты уже забыл все беды, которые принесла эта шваль? — крикнул Хаба со злостью.— Ты должен решить. С нами или с ними — есть только две возможности. Ты, видно, и сам не понимаешь, что ты натворил и чем рискуешь.

Да пошли вы все! Сейчас я начну ругаться, как Канадец, мелькнуло в голове у Резеша.

— Это угроза? — спросил он.

— Понимай, как знаешь, но мой тебе совет: будь осторожен,— сказал Хаба.— Возьмись за ум, пока не поздно.

— То, что ты сделал,— настоящее свинство! — вмешался Эмиль.

— Заткнись,— сказал Резеш.— Не тебе говорить о свинстве.— Он обвел глазами комнату и остановил взгляд на Марче. Она все время молча стояла у печки. Губы ее были приоткрыты, казалось, ей трудно было поверить, что все это происходит наяву. Глаза ее встретились с глазами Михала.

— Ну, хватит,— сказала она и подошла к столу.— Вы поговорили и хватит. Господи, неужели никогда покоя не будет? Одни кончат, так другие начнут. А нам работать надо. Вы же слышали: утром мы будем сеять.

Она выпрямилась, и свет лампы упал на ее лицо, пылавшее от возмущения.

— Мы есть собираемся. Садись, Мишо.

Она решительно сняла с плиты кастрюлю с супом, из которой торчал половник, и понесла ее на стол.

Все, оторопев, следили за ней.

— Ты что, рехнулась? Что это на тебя нашло? — заорал Дьюри, и глаза его налились кровью.

— А ты не суйся не в свое дело! — взорвалась Марча.— И отойди с дороги. Слышал? Нам утром надо в поле, уже давно пора спать.— Она прошла между Дьюри и старым Хабой, поставила кастрюлю и помешала суп половником. Затем наполнила тарелку Михала до краев и стала наливать себе.— Ешь, Мишо, садись и ешь.

Она больше не глядела в их сторону. Словно их в комнате вообще не было.

Храбрая, подумал Резеш с любовью. Ты права, надо, наконец, поесть.

Он сел.

Марча, наклонившись над дымящимся супом, отерла с лица пот. Резеш улыбнулся ей и опустил глаза в тарелку, но был настороже: он не знал, что происходит за его спиной.

Все молчали.

— Ну, ладно. Пойдем,— произнес немного погодя Дьюри.

В этот момент задребезжало окно, стекло посыпалось, в комнату влетел камень.

Резеш вскочил. В темноте за окном был слышен удаляющийся топот.

— Кто это?.. Вот бандиты! Видать...— Он запнулся и умолк, не докончив фразы. Слова повисли в воздухе.

— Теперь ты знаешь, что думают о тебе люди,— прохрипел Хаба. Резеш не ответил. Только сжал губы.

— Давай есть,— сказал он Марче медленно, с трудом сдерживая себя.— Стекло соберешь потом.

Он сел. Марча растерянно посмотрела на него, потом кивнула, и в глазах ее блеснули огоньки.

— Верно, Мишо.— сказала она.— Подмету потом.

За их спиной громко хлопнула дверь.

XII. Павел и Илона

1

Павел и Демко весь вечер сидели в канцелярии и перебирали картотеку жителей деревни. Надо было выяснить, кому и в какой последовательности вспахать землю, чтобы трактор не гонять зря по полю. Некоторые участки были такими узкими, что трактору на них и развернуться негде.

— На эту лапшу мы не поедем,— сказал Демко.— Пусть мужики сами поймут, что такое объединенное поле.

Павел был рад, что эту работу они делают вместе. Он представил себе, с каким недоверием подходил бы к каждому безлошадному крестьянину Петричко, а ведь раньше с Петричко он связывал все хорошее, на что они надеялись. Эх, как часто человек ошибается!

Вспомни только, что ты недавно думал о Гойдиче. Прошлой весной ты проклинал его, потому что он оставил вас без помощи. Тогда ты не знал его, ты еще многого тогда не знал. Можно быть очень неспра-

ведливым, если судить о человеке только по тому, как он тебе представляется. Поэтому так часто противниками оказываются люди, которые по существу очень близки друг другу и должны быть заодно.

Демко — его широкое лицо, освещенное настольной лампой, стало серым от усталости — держал в руках готовый список.

— По моим подсчетам тут около двадцати пяти гектаров,— сказал он.— Совершенно точно подсчитать заранее нельзя, но мы можем помочь четырнадцати крестьянам. На большее у нас не хватит сил, хоть разорвись на части.

— Четыре или пять дней работы, если все пойдет как надо,— сказал Павел.— Если будем работать в три смены и трактор не сломается, тогда мы осилим.

— Работы невпроворот, а мы уже сейчас едва на ногах стоим,— проворчал Демко.— Но иначе нельзя.

Он встал и, зевая, потянулся. С минуту молча, сонно наблюдал, как Павел собирает со стола и скамейки бумаги и складывает их в разбитый, скрепленный планками ящик. Потом снова зевнул и усмехнулся:

— Что-то сон одолевает. Ты тоже иди спать. На сегодня хватит.

— Зайду только к Ивану,— кивнул Павел.— Я обещал ему занести список.

— Ну хорошо. А потом поспи хоть немного, а то забудешь, как люди спят.

По лестнице они спустились вместе. Павел пошел через площадь к ручью и за мостиком повернул на дорогу, ведущую к верхнему краю деревни. Только в трех домах еще светились окна, у Матухов тоже горел свет, выхватывая из тьмы планки забора и ствол старой груши.

— Не поздно? — спросил Павел в дверях.

— Я жду тебя,— ответил Иван.

Он сидел уже около часа, опершись локтем о край стола, и подремывал. Утром, с самого рассвета, его ждала работа. Но как только Павел вошел, Иван сразу оживился, поднялся со стула и с нетерпением выхватил из рук Павла лист бумаги.

— Хочешь есть, Павел? — спросила Эва. Она зашивала разодранный рукав детской рубашки и вся просияла, когда он вошел.

— Мне бы только попить.

Он сам взял с полки кружку и зачерпнул воды из ведра у двери.

— Ну до чего же я рада, что дела наши пошли теперь по-новому,— вздохнув, сказала Эва.

Когда вечером она стояла на поле и слушала затаив дыхание, что говорили кругом, сердце ее сильно колотилось. С той ночи, когда Иван лежал избитый и она дрожала за его жизнь, силы как будто покинули ее. Только теперь Эва почувствовала неожиданное облегчение — словно верующий после исповеди, убежденный в том, что все угнетавшее его осталось позади и он получил отпущение грехов.

— Понимаешь, теперь мне стало казаться, что руки у нас больше не связаны,— продолжала Эва.

— Раньше мы этого делать не могли,— сказал Иван спокойно.— Но и теперь нам будет нелегко. И работы и заботы будет вдоволь.

Он повернулся к Павлу:

— На это уйдет пять рабочих дней. Участки все маленькие и далеко друг от друга.

— Мы учли это,— сказал Павел.— И, насколько возможно, распределили очередность в зависимости от того, где расположены участки. Потому и задержались.

Иван кивнул и продолжал изучать список. Павел смотрел на Эву.

Она похорошела и словно помолодела. Вот теперь она счастлива, подумал он. Да, есть вещи, которые для одних не значат ничего, а других наполняют радостью.

И вдруг его охватила мучительная тоска по Илоне. Целый день он пытался забыть о ней, заставлял себя думать только о работе. Хотел заглушить горечь утренней встречи. Потому он и вечером согласился корпеть вместе с Демко над этими чертовыми бумагами. Ему надо было отвлечься от мучительной боли, от этой открытой раны. Когда он смотрел на радостную Эву, то сильнее ощущал тоску по Илоне.

— Что с тобой, Павел? — спросила Эва.

Он вздрогнул.

— Да все нет конца заботам.

Иван отложил, наконец, список и сказал задумчиво:

— Посмотрим, как это на них подействует. Завтра с ними поговорим.

— Я бы хотел поехать утром вместо тебя, Иван,— выпалил Павел, с трудом преодолев смущение, которое им вдруг овладело.— Мне нужно, понимаешь, у меня есть кое-какие дела в городе. А ты хоть раз как следует выспись.

— Ты когда хочешь ехать? — Иван запустил пальцы в свои растрепанные волосы.

— Часа в три, как только рассветет.

— Я имел в виду, когда тебе нужно быть в городе?

— Мне надо быть к обеду.

— Ну хорошо, я сменю тебя в девять,— он зевнул.— А теперь ступай спать.

— Иду, иду,— кивнул Павел и вышел.

Стояла тихая и звездная ночь. Пройдя несколько шагов вдоль изгороди, он остановился. Влажный апрельский воздух был пропитан резким и чуть терпким благоуханием земли, смолистым ароматом досок, промокшей, ободранной коры и молодой травы. Откуда-то несло перегноем и сладковатой затхлостью проветриваемого погреба. Павел задумчиво вслушивался в тишину, но не слышал ничего, кроме отдаленного, слабого шума ручья. Ни одно окно не светилось, и когда его глаза привыкли к темноте, стал различать очертания домов, жерди забора и колья, подпирающие стволы фруктовых деревьев.

Потом он стал прислушиваться к птицам: в небе почти бесшумно пролетела сова, похожая на мимолетную, ускользающую тень. Павел скорее чувствовал, чем слышал ее полет.

Он вздрогнул и слегка улыбнулся. Вот так же внезапно и тихо налетело на меня и это... Илона...

Когда около девяти утра Иван сменил его на тракторе, Павел заскочил домой переодеться. Автобуса не было, и пришлось вытащить из сарая велосипед. На этот раз перед входом в поликлинику он не увидел никого, если не считать старика в барашковой шапке, сидевшего на ступеньках. Павел огляделся, слез с велосипеда и поставил его у садовой ограды.

Было около одиннадцати, больных оставалось немного. В коридоре пахло карболкой, на стенах висели плакаты Красного Креста, лозунги и медицинские советы. Павел прошел мимо белых, уже облупившихся дверей лаборатории и, поколебавшись минуту, остановился возле двух угловых дверей. На обеих была одинаковая надпись: «Приемная». В какую же дверь войти? Где может быть Илона? На левой двери пластырем была приклеена табличка, на которой тушью на бе-

лой бумаге было написано: «Доктор П. Моравчик». С правой двери на него глядело другое имя: «Доктор А. Поляк». Он попытался вспомнить, о ком из них упомянула Илона вчера. Кто же это был?

Павел вошел в левую дверь.

Комната выглядела уныло, в ней молча сидели пять пациентов. Когда он вошел, они подняли головы и посмотрели на него. За то время, что им пришлось тут ждать, они уже давно изучили друг друга, а Павел, как вновь пришедший, вызывал любопытство. Среди больных он казался себе самозванцем. Окно приемной было закрыто, и в душном воздухе стоял запах старых бинтов, пропитанных мазями, и карболки.

Павел смутился. В присутствии этих людей ему придется... Нет, лучше он подождет, пока до него дойдет очередь. Илона его увидит. Перед ним пять пациентов, значит, пять раз откроются двери кабинета и пять раз он увидит Илону. Конечно, явится еще какой-нибудь пациент. Один он тут не останется. Черт возьми! Как раз в этот момент дверь приемной отворилась. У человека, севшего на соседнюю скамью, было красивое лицо и полные улыбающиеся губы. Но у Павла он сразу же вызвал неприязнь, он мешал ему.

Павел уже проклинал себя. А что ему делать, если Илона пригласит его войти?

Он войдет в кабинет. Просто-напросто войдет, и все! А потом что-нибудь придумает. И пока будет говорить с врачом, выберет минутку, как-нибудь исхитрится и договорится с Илоной о свидании.

А на что же пожаловаться врачу? Рана на голове? Нет. Он давно уже не чувствовал ее, а любая ложь может только повредить. Что же тогда? Ах, да, ведь он может сдать кровь. Предложить себя в доноры. Он в коридоре видел плакат: «Сдадите кровь — подарите жизнь». Им придется взять кровь на анализ. На военной службе он сдавал кровь три раза. И, возможно, как раз Илона... Ведь ему нужно сказать ей всего несколько слов. Он уже не позволит сбить себя с толку, как вчера. Надо договориться с ней о встрече. Встретиться с ней...

Ручка двери повернулась, дверь чуть-чуть приоткрылась. Павел услышал голоса.

Выйдет ли Илона?

Старичок, время от времени покашливавший, поднялся с кресла. Дверь кабинета широко распахнулась, и из него вышла женщина в платочке. За ее спиной Павел разглядел одутловатое лицо медсестры в белом чепце.

— Кто следующий? — прозвучал незнакомый голос.

Павел замер. Сестра оглядела приемную и нахмурилась. Было уже поздно, а больных не убывало.

Илоны тут нет. Он ошибся дверью. Павел встал.

С деланным равнодушием взглянув на часы, он медленно направился к выходу и перешел в соседнюю приемную.

Тут он был четвертым. Двое парней, на вид совершенно здоровые, громко разговаривали о футболе. Выйдут ли Горовцы в конце концов в финал?

Павла охватывало все большее волнение. Женщина, сидевшая напротив, посмотрела на него и улыбнулась. Павел не ответил на ее улыбку.

Вчера Илона работала утром. Может быть, сегодня она дежурит во вторую смену? Значит, ему надо идти к ней в общежитие. Что может делать сейчас Илона? Скорее всего, пошла за покупками. Или загорает на реке. Когда он проезжал по мосту через Лаборец, видел, что на берегу загорают. А у Илоны такая красивая смуглая кожа... Где же ему искать Илону, если...

Дверь кабинета открылась. Ну, конечно. Опять не она. На минуту он совсем растерялся. При этом проклятом невезении может случиться, что... Он выругался про себя и решительно вышел в коридор. Те, что остались ждать в приемной врача, с удивлением посмотрели на него, но ему было уже все равно.

Что ж делать дальше?

Он стал прохаживаться по коридору взад и вперед. Да, надо спросить, когда у Илоны дежурство. Почему это не пришло ему в голову раньше? Вот дурак! Надо вернуться и подождать, когда будут вызывать следующего пациента.

В коридоре появилась сестра в белом халате, с сигаретой во рту. Он уже где-то ее видел. Да ведь это та самая, что вчера прервала его разговор с Илоной. Конечно, это она. Только в халате он не сразу ее узнал.

— Сестра,— остановил он ее,— я ищу Илону Олеярову. Когда у нее дежурство?

Женщина с любопытством посмотрела на Павла, видимо, узнала его.

— Илона? Да она здесь. Она сегодня работает в кабинете электропроцедур. Поднимитесь на второй этаж.— Сестра усмехнулась.— А может, лучше ее позвать? Там больные.

— Нет, спасибо,— сказал Павел и, не раздумывая, побежал наверх. Ступеньки были узкими и крутыми. Ноги его вдруг отяжелели.

Илона здесь. Сейчас он ее увидит.

Помещение было узким и маленьким. Вдоль стен — длинные скамьи, маленький столик, в углу у окна — вешалка. Тут сидел молодой человек с газетой в руках и очень худой мужчина в пенсне, державший на коленях меховую шапку. Всего двое. Ну, значит, все-таки повезло. И там, за белой дверью с матовым стеклом,— Илона.

Павел ждал.

Мужчина, наверное, туберкулезник. Кого-то он ему напоминает. Но кого? Тирпака. Микулаша Тирпака. Невольно он вспомнил о Зузке. Путается с Пиштой Гунаром, и вся деревня знает об этом. Нашла себе петуха. Он усмехнулся. Зузка подрежет ему крылья, это уж точно. Павел вспомнил, как волновала она его тогда, в ту ночь. Он не раз вспоминал о ней, представлял себе ее горячее, сильное тело, тосковал по нему. Но тогда он еще не думал об Илоне. Еще не любил Илону.

Он смотрел на дверь.

Вдруг в приемную проник приглушенный звон будильника. Сквозь матовое стекло Павел увидел неясный силуэт. Он появился и сразу исчез. Павел не спускал глаз с двери. Прошла вечность, прежде чем женский силуэт опять мелькнул за стеклом. Наконец дверь открылась и вышла девушка в синем свитере. Павел видел только синеву, которая проплыла по приемной. Он напряженно всматривался в полуоткрытую дверь кабинета, и сердце у него бешено колотилось.

Снова раздался звон будильника. На этот раз звук был гораздо громче. Среди внезапно наступившей тишины Павел услышал шаги, а затем голос Илоны:

— Следующий.

Она не показалась. Ходила по кабинету, тихо разговаривая с пациентом.

Молодой человек с газетой вошел в кабинет, и дверь за ним закрылась. Все затихло.

Не показалась Илона и тогда, когда входил следующий пациент. Наконец, очередь дошла до Павла. Он переступил порог кабинета, замирая от волнения.

Илона сидела у маленького столика спиной к нему, склонившись над тетрадкой, в которую вносила записи о проделанных процедурах. Картотека, маленький будильник, бутылочка с маслом, ножницы, горка нарезанного лигнина. А рядом — шапочка Илоны и три длинные шпильки. С той стороны, где сидела Илона, на столик падал матовый голубовато-белый свет «горного солнца» — кварцевой лампы,— проникающий через занавески из двух кабин.

Илона все еще не видела его. Он стоял сзади, глядя в упор на ее профиль с выгнутой бровью.

— Пожалуйста,— сказала она и положила ручку. Затем подняла глаза и окаменела.

— Ты? — вырвалось у нее.

— Я, Илона...

Он стоял над ней и улыбался, немного смущенно и скованно, но улыбался.

— Зачем ты тут?..— прошептала она, оглядываясь на кабины.— Уходи, уходи скорей, что это тебе взбрело?..

Павел притворился, будто не расслышал ее слова.

— Я тебя искал, Илона, и не уйду отсюда, пока ты мне не пообещаешь...

Звонок в кабине прервал его. Он трезвонил несколько секунд. Илона поднялась.

— Прошу тебя, иди. Здесь нельзя. Иди.

Он не двинулся с места.

Илона направилась к одной из кабин, в которой трепетал голубоватый свет лампы, приподняла занавеску и исчезла там. На занавеске проецировалось каждое ее движение. Он видел, как она опускает колпак на лампу. Потом мелькнула тень пациента, который поднялся с койки и стал одеваться.

— Все в порядке? — спросила Илона.

— В следующий раз уже пятнадцать минут, сестричка,— сказал пациент.

— Да. Пятнадцать минут. А потом покажетесь врачу.

Она вышла из-за занавески, но тут же зашла в другую кабину и начала там что-то поправлять. Явно тянула время, видимо, думая, что Павел уйдет. Илона все не могла опомниться от его неожиданного появления. Он пришел к ней сюда. Сюда. Значит, он ее искал и ждал как пациент в приемной, пока не дойдет до него очередь. Со вчерашнего дня она не переставала о нем думать. Но вчерашняя встреча могла быть чистой случайностью. А вот теперь он снова здесь, стоит у ее столика и ждет. Чего ждет? Когда она его ждала, он не приходил. Только теперь пришел.

— Готово,— послышался мужской голос из соседней кабины.

Илона совершенно забыла о пациенте и теперь почувствовала облегчение, занявшись им. Она подошла к своему столу, чтобы поставить печать на карточке, принялась искать ручку, листать календарь, договариваться с пациентом о следующем посещении.

— Можно мне пройти в кабину? — спросил Павел.

Илона растерялась.

— Да, третья кабина сзади,— неожиданно услышала она свой собственный голос, встала, проводила пациента и закрыла за ним дверь. Потом прислонилась к стене. Через занавеску она видела силуэт Павла. Он стоял в кабине и ждал. Соседняя кабина была свободна, из следующей доносилось мерное тиканье. Пациент там будет лежать еще не меньше восьми-девяти минут. Он еще не переворачивался на другой бок.

Павел тоже прислушивался к тиканью. Оно раздражало его. Черт

бы побрал эту тишину. Тут действительно не поговоришь. Он сел на койку, снял ботинок и поставил его на пол. Где же Илона? Надолго она его тут бросила?

Раздался звонок.

Может, этот человек сейчас уйдет?— подумал Павел.

— Повернитесь,— услышал он голос Илоны. Зашуршала занавеска. Видимо, она заглянула внутрь кабины.— Все в порядке?

Заскрипела койка. Пациент в кабине перевернулся. Потом шаги Илоны затихли.

И тишину прервал приглушенный шум. Как будто порывистый ветерок шелестел в ветвях высоких деревьев. Павел с облегчением вздохнул. Илона включила аппарат. Все понятно! Сейчас она придет.

Занавеска раздвинулась.

— Что это ты надумал, Павел? Ведь это...

— Я долго не видел тебя, Илона,— сказал он глухо.— Вчера... Вчера ты от меня ускользнула. А мне надо с тобой поговорить.

Он попытался взять ее за руку, но она отстранилась.

— Здесь нельзя,— она кивнула головой в сторону кабин.— Да не смотри ты на кварцевую лампу. Надень очки,— вдруг опомнилась она и, взяв висевшие на крючке темные очки, подала их Павлу, потом подошла к лампе и опустила колпак.

— Сестричка, сегодня на каждый бок уже по десять минут?— смущенно и в то же время заговорщически спросил Павел.

Илона вся пылала, она не умела притворяться, но все же включилась в эту игру. Взяла в руки будильник и завела его.

— Илона.

— Наденьте очки,— сказала она громко.

— В них я тебя не увижу,— шепнул он.

— Ты меня и так долго не видел.

— Я уезжал. Три месяца не был тут.

Она это знала.

— Три месяца. И ни разу не дал о себе знать. Ни до того, ни после,— выдала себя Илона.

— Я искал тебя.

— Не лги!— почти крикнула она.

— Я приезжал. Искал тебя,— повторил он.— Спрашивал и здесь и в общежитии, но ты была где-то на экскурсии, а мне нужно было возвращаться в школу. И только сегодня мне повезло.

Илона пристально посмотрела на него. Павел схватил ее за руку. Пальцы Илоны дрожали.

— Присядь хоть на минуту, надо же поговорить. Что это так гудит?

— Я включила ингалятор,— сказала она.— Раз уж ты сюда ворвался.— Она с трудом владела собой.— Подожди!— Илона высвободила руку и склонилась над койкой. Сняла простыню, взяла из ящика чистую и разостлала ее. Накрахмаленная ткань не слушалась ее, топорщилась. Илона не спеша разгладила простыню.

Павел, стоявший за ее спиной, наклонился к ней. Она почувствовала это и выпрямилась.

— Что ты хочешь от меня? Зачем пришел?— глядя на него в упор, спросила она.

— Илона...

Он схватил ее за руки и крепко сжал их. Кровь бешено стучала в висках. И снова этот удивительный всплеск крыльев вспугнутых голубей у самой ее головы. Ах нет, эти крылья шумят и пленцутся у нее в голове, в мозгу. Что это с ней?

Павел видел ее лихорадочно блестевшие глаза. Две большие

капли золотистой смолы на пораненной коже дерева. Она любит его? Нет, он не мог ошибиться, и все же...

Ах, снова этот резкий, пронзительный звук. Звонок. Он дребезжал в кабине пациента, который вошел перед ним.

— Пусти,— сказала она торопливо.— Мне надо туда, к нему.

К нему. От этих слов он ощутил почти острую боль и медленно, неохотно выпустил ее руки.

Илона повернулась и, раздвинув занавеску, громко сказала:

— Одевайтесь!

Павел слышал, как она отодвигает аппарат, как разговаривает с пациентом. Илона и чужой мужчина. Он сейчас уйдет. Но в приемной еще ждет женщина с ребенком.

Дверь в приемную открылась, и он услышал голос Илоны:

— Минутку. Подождите немного, мне надо отрегулировать лампы. Я вас вызову.

Павел раздвинул занавески и вышел из кабины. Илона сделала несколько шагов навстречу ему и остановилась. Она уже овладела собой.

— Вот видишь,— сказала она.— Видишь, что я из-за тебя вытворяю? — Она смущенно засмеялась.— Ну, а теперь говори. Чего ты хочешь, Павел?

Через окно в комнату потоком вливалось солнце, его лучи озаряли чистое и открытое лицо Илоны. Павел снова ощутил, как близка ему эта девушка. Отблеск солнца скользил по ее волосам. Павел улыбнулся и тихо сказал:

— Рыжик.

— Что, что?

— Рыжик,— повторил он.— Я должен тебя видеть, Рыжик. Поэтому я пришел. Зайди на минутку сюда.

Он приоткрыл занавеску кабины.

— Нет, нет,— запротестовала Илона.

Павел подошел к ней.

Она тряхнула головой и многозначительно, с некоторой опаской указала на дверь.

— Илона,— сказал он,— я не уйду отсюда, пока ты мне не ответишь на один вопрос.

— Какой?

— Когда я тебя увижу?

Она задумалась.

— Сегодня четверг. В субботу вечером ты свободен?

— В шесть жду у моста,— сказал он хрипло.

Илона оглянулась на дверь, а когда снова посмотрела на Павла, глаза ее весело искрились.

— Павел, а где же твой второй ботинок? — спросила она и засмеялась.

2

Был снова ясный и солнечный день. Время приближалось к шести. Павел стоял на мосту, опираясь на деревянные перила, и глядел то на дорогу, ведшую в город, то на реку. Для весенней поры воды в реке было очень мало, и зеленоватая ее гладь местами сужалась, открывая песчаные отмели. На берегу группами сидели люди, на краю отмели бродила пара аистов. Солнце еще грело, и Павел разнеженно жмурился.

Наконец, показалась Илона. Он пошел ей навстречу.

— Явился, значит? А как же весенний сев? — пошутила она. Глаза

ее лукаво блеснули.— Я мыла голову и потому немного опоздала. Извини.

Ее шелковистые, блестящие волосы пахли ромашкой. Глядя на нее, Павел почти физически ощущал счастье.

— Куда пойдем? — спросил он.

Несколько юнцов, околачивавшихся на мосту, обернулись в их сторону. Один, явно знавший Илону, ухмыльнулся и присвистнул. Павел замедлил шаг и оглянулся. Илона схватила его за руку.

— Пойдем,— сказала она и улыбнулась,— погуляем за городом. Я так давно не была в поле.

— Если хочешь, пойдем в сторону Трнавки,— предложил он.

Илона согласилась.

— В этом году я еще в Трнавке не была.

Она держала себя легко и просто, словно они уже не раз встречались после того, как он пришел к ней в поликлинику.

В воздухе звенели птичьи голоса, жужжали пчелы. На покрытом редким кустарником пастбище среди низкой желто-зеленой травы виднелись яркие пятна золотистых одуванчиков и увядающие, поникшие головки подбела. Высоко в небе кружил сарыч, другой неподвижно сидел на торчащем вверх журавле заброшенного колодца. В стороне между пашнями виднелся зеленый островок сочной озими, и по ней расхаживал аист.

Они шли рядом, и Павел все косился на Илону. На ней была простенькая юбка и легкая блузка, на руке она несла грубошерстный свитер. Она шла уверенным шагом, чуть откинув голову и подставляя лицо солнцу, уже клонившемуся к закату. От всего ее облика веяло юной красотой. В ней была врожденная простота и земная сила их виноградного края. Илона словно одаривала мир своим дразнящим очарованием.

Павел коснулся ее руки, словно желая убедиться, что все это настоящее, все происходит в действительности, что Илона и в самом деле здесь и идет рядом с ним.

Она крепко сжала его пальцы и сразу же отпустила их.

— Куда ты ведешь меня, Павел? В лес, что ли?— улыбаясь, спросила Илона.

— На пастбище,— ответил он, взволнованный ее прикосновением.— С Турецкой могилы мы увидим Трнавку. Сейчас пастбище очень красиво.

Вдруг Илона остановилась.

— Только не туда,— сказала она с неожиданной горячностью и покраснела, когда он удивленно посмотрел на нее. Павел не понимал, почему она так воспротивилась. У Турецкой могилы в это время действительно красиво. зеленеет трава, цветут кусты.

Они стояли друг против друга. Молчали. Павел чувствовал, что Илона ускользает от него.

— Только не туда,— повторила она, отвернулась и стала смотреть на холм над Трнавкой. А потом сказала уже спокойнее:— Давай пойдем на Каменную горку.

— Но ведь это далеко,— сказал Павел, испытующе глядя на нее.

— Я думаю, такая прогулка будет мне только на пользу. Теперь я гораздо меньше двигаюсь и вообще работаю меньше, чем раньше дома. Знаешь, сегодня после обеда я загорала. Лежала в саду и читала. А потом вдруг решила вымыть голову.

— Хорошо живешь, Илона!

Она пожала плечами.

— А ты что делал, Павел?

— Да как всегда, ничего особенного,— ответил он.— До четырех пахал на тракторе. Потом меня сменил Канадец.

— Канадец? — удивилась Илона.— Разве он тракторист? Как-то трудно представить это.

— Да, он тракторист и хорошо работает,— сказал Павел.— Резешу участок вспахал.

Илона остановилась.

— Что ты сказал? — спросила она.

Только теперь он понял: Илона ведь не имеет никакого представления о том, что происходит в Трнавке.

— Видишь,— сказал он,— ты уже и не знаешь, что у нас делается.

И пока они шли вдоль пастбища к ручью и дальше по полю, Павел все рассказывал и рассказывал.

— Так вы хотите взяться за дело по-новому? — вздохнув, сказала Илона, когда он закончил.

Он утвердительно кивнул.

— Давай поговорим о чем-нибудь другом, Рыжик.

— Нет,— ответила она и вложила свою руку в его.— Рассказывай дальше, Павел. Мне это очень интересно, я ведь всех знаю. Может быть, знаю о них больше, чем ты. Перед вами они замыкались, словно улитки. Смотрели на вас так, будто на лбу у вас каинова печать. Ну и как, все приняли вашу помощь?

— Из четырнадцати отказались трое. Штенко и оба Червеняка.

— Те бедняки, что живут возле колокольни. Господи боже мой, почему же они-то? — воскликнула она.

— Они думают, что у них на поле ничего не вырастет, потому что трактор — машина тяжелая, а священник не благословил ее,— усмехнулся Павел и пожал плечами.— А может, они испугались разбитых окон.

— Каких окон?

— Вот видишь, Рыжик, ничего-то ты не знаешь! В тот вечер, когда мы вспахали поле Резешу, ему выбили окна. А следующей ночью еще шести, принявшим нашу помощь. Так что теперь все спускают на ночь собак.

— А кто это делает? Как ты думаешь, чья это работа?

Илона слушала серьезно и внимательно. Потом снова остановилась.

— Постой, не растопчи гнездо,— она указала на ямку в траве. Среди нежных коричневатых перышек лежали три зеленовато-желтых пятнистых яйца жаворонка.— Мне было бы жаль их,— сказала она.

Когда они поднялись на вершину холма, начало смеркаться. Узкой полосой на горизонте еще догорал закат, но на небе уже появились звезды. Внизу расстилались темно-коричневые и зеленоватые полоски полей. Прямо у склона холма, за старыми виноградниками, между ветвями фруктовых деревьев видны были крыши Трнавки, верхушка церкви, аллея орехов на площади и лента шоссе. На склонах соседних холмов зеленел лес, за большими каменными глыбами густо сплели свои ветви акации, терн и дикая вишня.

— Хорошо здесь,— сказал Павел.

Поднимаясь по узкой каменистой тропинке, вьющейся между рядами виноградных лоз, они шли друг за другом и вдыхали чистый и ароматный воздух. Теперь они стояли рядом.

— Я люблю это место,— сказала Илона.— Сама не знаю почему. Что-то меня сюда тянуло, здесь мне было хорошо. А у тебя, Павел, тоже есть такой уголок?

Он с интересом посмотрел на нее.

— Когда я работал в лесу,— ответил он немного погодя,— я часто ходил к Сиве студне. Мне казалось, что там я знаю каждый камень, каждое дерево. Иногда я видел Сиву студню и во сне. Поросшую вереском поляну возле березовой рощицы и высокие деревья вокруг.

— А мы ходили туда собирать подосиновики и белые грибы. Но мне всегда там было как-то грустно. Тут совсем иначе! — В ее голосе зазвенело волнение, вызванное воспоминаниями.— Детьми мы здесь воровали виноград. Знали, на каких кустах он созревает раньше. У Бошняка на винограднике росло несколько кустов муската, который наливался уже к середине лета, когда ни у кого еще винограда не было. Однажды Бошняк погнался за нами, а мы с Анной припустили вон туда, к лесу. Анну он все-таки поймал, наверное, потому, что она объелась винограда и у нее болел живот.

Илона посмотрела на Павла. Впервые в их разговоре было произнесено имя Анны, и на лице Илоны вдруг появилась растерянность. Он схватил ее руку и сжал ее. На этот раз пальцы Илоны ему не ответили, но рука ее была горячей.

— Вон там — быстро заговорила она,— вон там, за деревьями, работает твой трактор, Павел. У Жебрацки грушки. Кружит, как светящийся жук. Я еще не видела, чтобы пахали на ночь глядя.

Павел легко прикоснулся к руке Илоны. Илона вздрогнула. И вдруг их пальцы крепко переплелись.

— Илона...

Павел стремительно обнял ее и поцеловал в губы.

— Павел,— прошептала она радостно.

Откинув назад голову, Илона посмотрела на него пристальным и преданным взглядом. Он не мог отвести глаз от ее лица.

— Рыжик, мой милый Рыжик,— тихо сказал он, касаясь пальцами жилки на ее запястье.

— Ты словно доктор, который считает пульс.

Илона положила обе руки ему на плечи и прижалась к нему. Он обнял девушку, почувствовал, как пылает ее лицо, снова вдохнул запах ромашки от ее волос.

Их губы слились в долгом поцелуе, и вдруг они очутились на сухой шуршащей траве. Жадные губы Павла скользили по шее Илоны, он прильнул лицом к ее шелковистой округлой груди. Павла охватил жар, он чувствовал, как трепещет Илона. Как будто издалека до него донесся приглушенный голос:

— Нет, Павел, не надо...

— Рыжик, мой милый...

И тут она словно бы стряхнула с себя стыд, сковывавший ее до сих пор, и она всем телом прильнула к нему. И все настойчивее, все непреодолимее поднимавшаяся волна желания, жаркая, как солнце, овладела ими и поглотила их. В мире остались только они, их счастье, их наслаждение...

Когда Павел пришел в себя, первое, что он услышал, был равномерный стук. Сердце, подумал он. Значит, так бьется сердце Илоны. Он отдыхал, расслабившись, положив голову на грудь Илоны, слышал ее дыхание, смешивавшееся с запахами взрыхленной земли, цветущих кустов, древесной коры, выполотых сорняков на винограднике. Они с Илоной словно стали частицей этой дышащей земли, слились со всем, что их окружало.

Павел лег навзничь и стал смотреть на небо. Уже взошла луна и мерцали звезды. Одни светились ярко и резко, другие, что были поближе к луне, казались бледными в ослепительном лунном свете. Скоро пойдет дождь, мелькнуло у Павла в голове. Потом его взгляд

задержался на озаренных лунным светом виноградных кустах и саженцах, на каменной ограде.

Он нашел руку Илоны и, полный нежности, повернулся к ней и поцеловал ее в губы. Она доверчиво к нему прижалась.

— Рыжик ты мой. Тебе хорошо?..— спросил он, улыбаясь от счастья.

— Хорошо, Павел, очень хорошо,— прошептала она.

Они долго лежали рядом, и Илона ласково ворошила пальцами его волосы.

— Павел,— сказала она немного погодя.

— Что?

Она сжала его лицо ладонями, наклонилась к нему и, с трудом преодолевая смущение, повторила:

— Павел.

— Ты хочешь мне что-то сказать?

— Да,— прошептала она.— Но не знаю, надо ли тебе это говорить.

— Ну, в чем дело? Скажи,— подбодрил он ее и улыбнулся.— Что там у тебя, Рыжик?

— Ну ладно. Я не хочу, никогда не буду ничего скрывать от тебя,— вздохнула она.— Знаешь, я ведь давно тебя люблю и никогда бы не пришла сюда, если бы не любила. Я любила уже тогда, когда в прошлом году вы вместе с Демко и с тем цыганом сторожили стадо на пастбище. Я тогда пошла туда, хотела увидеться с тобой. Но ты был там не один, и я сразу же убежала. А потом стала убеждать себя, что не хочу больше тебя видеть, старалась забыть.— Помолчав немного, она продолжала: — Но когда к нам в поликлинику пришел лесник и рассказал, что случилось в Трнавке, меня словно обухом по голове ударило. Я страшно испугалась, мне обязательно надо было тебя увидеть. Поэтому я...

— Значит, ты видела, и все-таки...— перебил ее Павел. Он чувствовал, как багровеет его лицо.

— Ох, молчи, Павел,— Илона приложила палец к его губам.— Я говорю это только для того, чтобы ты знал, что я давно уже люблю тебя... И больше всего боялась я, когда в деревне хоронили кооператив. Я осталась у Эвы, а вы, израненные, избитые, пошли сторожить свинарник. Помнишь, как Иван вытащил пистолет, а Демко его не взял? Всю ночь я глаз не сомкнула от страха. Боялась и в то же время радовалась. Знаешь, я гордилась тем, что ты был с ними, что тебя нелегко сломить.

— Поэтому ты не хотела идти на пастбище? — спросил он тихо.

— Поэтому. Наверное, я глупая, теперь это совсем не важно. Ведь тогда ты меня еще не любил.— Вдруг она вся напряглась, как будто снова решилась на что-то.— Слушай, я хочу, чтобы ты знал все до конца. Когда я пришла в тот раз на пастбище, я думала, что с тобой там Анна. Но потом Демко мне рассказал, что когда ты бросился на Дьюри, Анна закричала, чтобы предупредить его. И я поняла, что с тобой на пастбище была не Анна, что между вами все кончено. И мне стало легче.

А Павлу от ее слов стало не по себе. Наверное, надо сказать Илоне, что тогда с ним и в самом деле была Анна, но как объяснить ей, что это немного значит. Ровным счетом ничего...

Он испытывал странное чувство: смесь стыда и благоговейного изумления, глубокое счастье и благодарность. Она видела и сумела стать выше этого. И она признается ему в любви с такой подкупающей искренностью, какой он никогда и не ждал ни от одной девушки. У него даже голова пошла кругом от счастья, и он смутно понимал,

что Илона отдает ему себя сейчас всю без остатка, что в эти минуты он получает от жизни бесценный дар, о каком и мечтать не мог... Нет, он не разочарует Илону, никогда не обидит ее.

— Тогда мы еще не принадлежали друг другу, Рыжик,— прошептал он и привлек ее к себе.— Ах, Рыжик, мой милый, ты даже не можешь себе представить, как я тебя люблю.

Она лежала в его объятиях, притихшая и покорная.

— Скажи мне это еще раз,— сказала она, помолчав немного.

— Я люблю тебя и еще никогда в жизни не был так счастлив, как теперь,— повторил он и подумал: да, ничего подобного я никогда не испытывал.

— Это очень хорошо,— прошептала она.— Так действительно любишь?

— Рыжик, милый, я тебя очень люблю. Для меня ты самая красивая и самая лучшая девушка в мире.

— Я хочу, чтобы ты любил меня всегда. Я хочу, чтобы ты был счастлив всегда, когда ты со мной или когда вспоминаешь обо мне.

Ее золотистые глаза смотрели на него испытующе и пристально. В них пылал огонь, словно они были пронизаны лучами солнца. Она притянула его голову к себе и поцеловала горячо и нежно. Обнимая Илону, он чувствовал, что ее сердце бьется все учащеннее и что все ее существо охвачено желанием снова принадлежать ему, снова отдать себя всю, без остатка.

Они лежали усталые и обессиленные, наступила глубокая тишина. Илона с нежностью ворошила его волосы.

— Уже поздно, Павел, пора идти,— сказала она тихо и поцеловала его.

— Погоди немного,— попросил Павел.— Мне так хорошо, когда мы вместе.

Она коснулась шрама над его виском, и ее пальцы дрогнули.

— А как я была счастлива, когда поняла, что у тебя все обойдется. Подумать только, еще немного — и ты бы...

Он молчал.

— Ты слышишь, Павел? О чем ты думаешь?

— Пытаюсь представить, сколько ран получает человек за свою жизнь. Знаешь, я был бы рад, если бы это были только раны на теле — они заживают.

— Если б ты дал залечить твою рану, от нее и следа бы не осталось.

— И так почти не осталось. Мы даже распахали Гунару его участок. А когда ты гладишь мой шрам, я даже радуюсь, что он у меня есть.

Помолчав немного, словно что-то вспоминая, Павел тихо спросил:

— Знаешь, кто нас предупредил, когда они хотели напасть на свинарник? Твой дедушка. Он нам очень помог.

— Дедушка? — Илона обрадовалась.— Я так и знала!

— Что ты знала? — спросил Павел.

— Мой дедушка не продался бы даже за целое стадо коров,— сказала она.— Дедушка никогда бы не продался. Он и ко мне уже несколько раз приходил. В первый раз принес мне баночку сливового повидла, которое мы варили с ним вместе. Во второй раз — кусок сала, это, мол, от того кабана, которого ты каждый вечер кормила. От дедушки я и узнала, что тебя послали на какие-то курсы, и мне было очень обидно, что ты даже не заглянул ко мне.

— Ведь я тебе говорил, как это получилось,— сказал Павел.— Зато теперь буду заглядывать постоянно.

— Но я боялась, что никогда больше тебя не увижу, ведь после таких курсов часто посылают работать на новое место. Вот видишь,— засмеялась она,— я все время чего-нибудь боюсь.

— А когда ты уехала в Горовцы, тоже боялась?

— Нет,— покачала головой Илона,— хотя даже не знала, где придется ночевать. Я знала только одно: надо уехать из Трнавки, иначе я наложу на себя руки. Даже теперь, когда вспоминаю о том, как я жила дома, меня бросает в жар.

— Рыжик ты мой милый, а как тебе живется теперь? — спросил Павел.— Я ведь о тебе, можно сказать, ничего не знаю.

— Ну, сейчас уже все в порядке. Все хорошо,— сказала она.— Но поговорим лучше о твоей работе. Ты очень занят? Устаешь, наверное? Тебе никогда не бывает страшно?

— Бывает. Страху я натерпелся предостаточно: сколько раз мне хотелось дать стрекача.

— Знаю я это твое «дать стрекача»,— засмеялась она.

— До чего же мне с тобой хорошо, Рыжик,— сказал Павел.— Даже когда мы просто разговариваем, мне кажется, будто мы целуемся.

Илона доверчиво и благодарно прижалась к нему.

Поднялся ветерок, и ветви акаций заколыхались над ними.

— Да, Павел,— прошептала она,— когда мы просто разговариваем, нам очень хорошо друг с другом. Но все-таки пора идти. Пока дойдем до Горовцов и ты вернешься обратно, пожалуй, начнет светать.

— Ну еще чуть-чуть,— попросил Павел, блаженно потянувшись.— Жалко все-таки, что ты не живешь в Трнавке. Ты не собираешься вернуться?

Илона застыла в его объятиях.

Дурак, набитый дурак, корил себя Павел. И как тебе могло в голову прийти такое? Он снова представил себе Илону в кабинете электропроцедур, в накрахмаленной форме медсестры, причесанную, подтянутую. А после работы ее ждет комната в общежитии, душ, кино, бассейн, кафе. Идиот! Он бы тоже не вернулся на ее месте.

— Как же я могу вернуться после всего, что было? — медленно произнесла она.

— Да, конечно, Рыжик. Я только подумал, как хорошо было бы всегда быть вместе.

— Вместе... Так ты это имеешь в виду? Ну, значит, все в порядке. Пойдем.

Илона коснулась губами его щеки и выскользнула из объятий. Выпала роса, и куртка, на которой они лежали, стала влажной. Стоя на коленях, Илона приводила себя в порядок, натянула свитер. Павел глядел на нее и улыбался.

3

— Трогай,— сказал Дьюри.— У деревни я вас догоню.

Когда Анна и старики Олеяры возвращались домой, уже вечерело. Анна сидела на козлах повозки, которая по ухабистой проселочной дороге катилась к шоссе. За повозкой громыхала телега, запряженная коровами. Колеса оставляли на размытой дождем дороге глубокие колеи.

Хабы после полудня пропалывали на обеих упряжках свеклу, которая только-только взошла. Дьюри пошел по меже посмотреть, как выглядит после недавнего дождя поле.

Три недели назад, когда земля была высушена горячим весенним солнцем, прошел первый короткий ливень. После него стало прохладнее, а несколько дней назад целые сутки лило как из ведра.

Слишком поздно, думал Дьюри. Черт возьми, этот дождь прошел слишком поздно. Он оглядел пашню, которая только местами начинала зеленеть. И это в середине мая! Поле они вспахали тоже поздно, хотя работали четыре упряжки. Правда, конских только две. Там, где посеяли вовремя, еще до первого дождя, яровые пошли отлично. Но им удалось вспахать вовремя лишь небольшую часть земли, и Дьюри мрачнел, как только взгляд его падал на кооперативное поле. Неприятное чувство вызывали у него и маленькие полоски у леса под Малиновой, которые распахал для их владельцев кооперативный трактор. Они были покрыты густой зеленью.

Дьюри дошел до ручья и перепрыгнул через него. На поле за прибрежными кустами Войник с женой прореживали свеклу. Размахивал мотыгой и старший из его ребят. Двое меньших сидели на расстеленной дерюге. Дьюри остановился.

— Как поживаешь, Ферко? — спросил он.

После того, что произошло с Резешем и с другими в деревне, Дьюри стал присматриваться к Войнику. Ему тоже вспахали поле. Он посадил на нем картошку и немного свеклы. И то и другое росло у него отлично.

Войник выпрямился и посмотрел на Дьюри.

— Как поживаю? Как голый на колючках,— отрезал он.— Как человек, который всю жизнь работает, словно каторжный, у которого за столом пять ртов, а шестой вот-вот появится и которому такие бездельники, как Штенко, бьют окна.

Пот с него лил ручьем, разорванная фланелевая рубашка прилипла к телу. Беременная жена, тяжело дыша, ползала между рядами, колени ее были обвязаны мешковиной.

— Не стоит обижаться,— сказал Дьюри.— Штенко был пьяный, ты это прекрасно знаешь. Он же дурак. Просто рассвирепел из-за того, что ему не помогли.

— Да-а,— протянул Войник.— Даже если это и правда, то он должен был бы выбить не мое окно, а совсем другое. Ты так не думаешь?

— Очень все это на людей действует. Иногда и вправду не соображаешь, что делаешь. С тобой разве так не бывает? — Дьюри с трудом сдерживал злость.— Ты же видишь, Ферко, они только и думают, как бы натравить нас друг на друга. А раньше мы и без них разбирались в своих делах.

— Это точно,— ухмыльнулся Войник.— И ты мне, случалось, давал лошадь, а я вам за это зимой заготавливал дрова. Что же, и теперь я должен был ждать, когда ты мне поможешь?

— Будто не знаешь, что им от нас надо,— вздохнув, сказал Дьюри.— Господи боже мой, неужели тебе не ясно, что у них на уме?

— Да пропади оно все пропадом! Ни за кем я в пекло не полезу, не такой уж я псих, с меня довольно. Буду работать, как раньше. Но если кто помощь предложит, отказываться не стану.— Он вынул из кармана сигареты, закурил и, глядя на Дьюри, продолжал: — Можешь говорить что угодно, но я не припоминаю, чтоб у меня выбивали окна, когда ты давал мне лошадей.

Сукин ты сын, подумал Дьюри.

— Нас всех теперь знаешь как прижмут, Ферко? — сказал он.— Надо все-таки головой думать.

— А я, как видишь, думаю теперь руками. Ты мне, случаем, помочь не хочешь, а? — Он наклонился и, не вынимая сигареты изо рта, взмахнул мотыгой.— Я, мил человек, думаю теперь только о том, чтоб у меня свекла не заросла и чтоб урожай был приличным.

— Мы, крестьяне, все так думаем,— сказал Дьюри. Он задыхался от злости и, чтоб не сорваться, повернулся и ушел. И не столько раз-

говор его расстроил, как то, что хорошо прополотая свекла у Войника была выше и пышнее его собственной.

Этого уж нельзя было допустить. Кооперативные сволочи тут нас здорово перехитрили. И какой дьявол им так присоветовал? Нет, этому надо было помешать. А бить окна — глупость, Штенко просто дурак, раз дал себя застукать. Никакого от него проку. Пьяница, лентяй и к тому же болтун. Впрочем, что бы я о нем ни думал, покамест он мне нужен. Но так напортачить? Да, дали мы маху... И вообще все время даем маху. Первую и главную ошибку допустили, когда избили твердокаменных. Мы тогда вообразили: все теперь в полном порядке. Аминь. А надо было сразу же разобрать свинарник, свиней раздать людям как вознаграждение за то, чего они лишились. И кооперативу был бы конец, и вся деревня бы влипла в эту историю, и никто не смог бы потом отвертеться. Почему нам тогда не пришло это в голову? Все словно опьянели от радости, когда повели своих коров домой. А вечером кинулись в корчму! Готовы были на руках ходить от восторга, что расправились с этими паршивцами. Торжественное погребение им устроили. Но никто ведь не знал, никому не могло прийти в голову, что эти мерзавцы сделают. Надо было их прикончить. Схватить за горло, и каюк.

Тогда все нализались на радостях и каждый понимал, что сделало для общего блага семейство Хабы. И такие, как Войник, им чуть ли не руки целовали. Казалось, свет снова встал с головы на ноги. Пока не выяснилось, что те, из свинарника, решили остаться в кооперативе. Мы договорились ночью разрушить свинарник. И как раз в этот день прибыла в деревню рабочая милиция, чертовы парни с пивоваренного. Как они могли узнать, что тут готовится? Если бы я знал, кто нас предал, я бы шкуру с него содрал. Ведь только из-за того, что несколько коммунистов удержались тогда в свинарнике, и прибыл потом трактор.

Теперь надо пораскинуть умом, подумать хорошенько. Еще не все потеряно. Даже и безлошадные не все одинаковые. Взять хоть Зузку Тирпакову. Она, правда, согласилась, чтобы ей вспахали поле, но при этом орет на всю деревню: «Ладно, хоть малую толику возместили мне из того, что отняли. Я вас, бандитов, все равно удушу когда-нибудь перевяслом из той соломы, что соберу с этого поля!» Зузка может себе позволить что угодно, вот это баба! Но только они, председатель ихний Иван и молодой Копчик, как будто и не слышат ничего. Придуриваются. И старый прохвост и буян Канадец туда же. Знай ухмыляется. «Ну, баба,— говорит он Зузке,— похоже, тебе и Пишты Гунара мало. Как бог свят. Придется мне трактор на тебя напустить». И все кругом хохочут. А чего ржут, черт бы их побрал!

Если б я мог, согнал бы всех, кто тогда крушил ворота и забирал своих коров, и отругал бы их как следует. «Дурачье,— сказал бы я им.— Вы что, из ума выжили, что ли? В Трнавке они делают все по-своему. Вы посмотрите вокруг. Все деревни рядом с нами дышат свободно. Нигде ни одного кооператива. Вы уже раз попробовали, знаете, что это не сахар. Хотите лизнуть снова? Если, не дай бог, до этого опять дойдет, значит, нам конец. Неужели не понимаете? Тогда у нас вообще ничего не останется. Но мы этого не допустим. Не можем допустить. Да и весь мир, говорит отец, этого так не оставит. Ведь они не должны победить. Не должны. Если нужно землетрясение, чтобы смести их с лица земли, пусть будет землетрясение. Только больше делать глупости мы не имеем права».

Дьюри шагал по узкой скользкой меже. Шел он твердым шагом, но ничего не видел перед собой. Даже не взглянул на фазана, выпорхнувшего прямо из-под ног. Не заметил и Эмиля Матуха, который за-

прягал неподалеку на поле лошадей и махал ему рукой. Дьюри шел и разговаривал сам с собой. Нет, они победить не могут, хотя и заходят с другого конца. Интересно, кто это придумал? Кто? Уж конечно, не Петричко. Говорят, этот ихний фельдфебель даже был против.

А ведь совсем недавно я говорил себе: вот бы до этого Петричко добраться! Уж я б его... Господи, прости, я знаю, что это грех. Жалко, что теперь руководит не Петричко. При нем все было проще. Этот фельдфебель только кнутом помахивал да подгонял всех. Вот и доигрался — скинули его! Оказалось, правда, что Демко опаснее. Гораздо опаснее. Кто мог этого ожидать от такого старого хрена. И молодой Копчик. Тьфу... Дьюри ухмыльнулся. Павел, бывший его соперник. Похоже, что он не прочь взобраться повыше. Высоко метишь, да только не хвали дня до вечера, дружочек.

С понедельника начнем, наконец, выгонять скот на общинный луг. Петричко заявил: теперь, мол, ясно, кто хозяин в деревне, кому принадлежит луг, и это еще только цветочки, посмотрим, какие будут ягодки! Посмотрим! Господи Иисусе, выдумал тоже: луг их, кооперативный. Пусть только посмеет нам помешать. Штенко займется «бездельниками». Я подниму всю деревню, даже Резеш опомнится. Кооператоры или пустят нас на пастбище и даже пикнуть не посмеют, или не пустят. И то и другое нам на руку, потому что так или иначе мы всех коров выгоним, и сразу станет ясно, в чьих руках Трнавка.

Дьюри вышел через луг на шоссе. Скоро он догнал обе упряжки, но не сел, а продолжал молча шагать между ними посреди шоссе. С ним тоже никто не заговаривал.

Потом Дьюри услышал, как Анна пощелкивает языком, подгоняя лошадей. Они чуть прибавили шагу, Анна любит править лошадьми, подумал Дьюри и улыбнулся. Он вспомнил, как впервые, еще до свадьбы, вез ее на бричке и дал ей вожжи. Сначала она боялась, и ему пришлось держать ее руки с вожжами в своих, но вскоре ее глаза и лицо радостно разгорелись. Позднее, когда они уже поженились и ездили в город, он иногда давал ей вожжи. Но только иногда, чтоб знала свое место. Он вышколил ее, и вообще-то она была послушной, но порой ему приходилось напоминать ей об ее обязанностях. Она временами будто ускользала от него, на нее словно что-то находило. Баба есть баба... И все-таки он ее хорошо вымуштровал. Как у нее светились глаза, когда они снова привели весь скот домой. Она сама побежала за теми двумя коровами, которых старый Олеяр пригнал к себе, словно позабыл, что ему их только одолжили. Но Анна не забыла. Нет, Анна забыть не могла.

Обе упряжки подъезжали к деревне. Солнце еще не зашло, но над крышами домов уже поднимался дым. Рабочий день кончился. Надо бы поторопиться, думал Дьюри, мы сегодня задержались, но поработали на славу. Эта мысль согревала душу.

— Ну как дела? — спросил Гойдич.

Он появился в Трнавке неожиданно, проезжал мимо и не удержался — заглянул. Он здесь уже третий раз за последний месяц, да по телефону разговаривал частенько, и потому в курсе всего, что происходит в деревне. Трнавка для него имеет большое значение. Ведь это Малая Москва.

Они с Павлом стояли на краю кооперативного поля. Здесь был посажен картофель, который пустил уже первые крепкие, сочные ростки.

— На полях дела обстоят отлично! — сказал Павел.— После дождя всходы пошли дружно. А картошка здесь растет просто на глазах. Вот только бы других забот не было.

— Пастбище? — спросил Гойдич и, прищурив глаза, посмотрел на Павла.

Павел кивнул.

Насчет пастбища в национальном комитете спорили уже несколько дней и пока не пришли ни к какому решению. В понедельник надо выгонять скот, а они все не договорятся, как это сделать. Если решат, исходя из того, что пастбище принадлежит кооперативу, никого туда не пускать, это вызовет возмущение всей деревни. И все их попытки привлечь крестьян на свою сторону, все, чего они достигли, вспахивая им трактором землю, пойдет насмарку. Если же согласятся на уступки и позволят пасти на лугу всем, кому захочется, тоже плохо — получится, будто они сдают позиции.

— Я уже думал об этом,— сказал Гойдич.— И мне кое-что пришло в голову. Если, допустим, объявить, что все безлошадные могут пасти вместе с вами даром, а кто побогаче — пусть за то платит? Как, ты считаешь, это будет воспринято? Если бы, предположим, вы решили, что за трех коров еще платить не надо, а начиная с четвертой, доплачивать, за каждую следующую все дороже? Мне кажется, это дело стоящее. Подумайте.

— Конечно, стоящее,— отозвался Павел, восхищенно глядя на Гойдича.— Люди это поймут.

Но почему же нам самим это не пришло в голову? Почему мы видим всегда только две крайности? — думал он.

— Сегодня же вечером, товарищ секретарь, мы обсудим ваше предложение. И все наши заботы кончатся,— сказал Павел, широко улыбаясь.

— Ну вот видишь! А мне с тобой надо поговорить об одном деле,— сказал Гойдич и в упор посмотрел на Павла.— Теперь у вас мало-помалу все наладится — в этом я убежден. Но мы должны укреплять почву для кооператива не только в Трнавке. Например, в Жабянах. Как ты отнесешься к тому, если мы попросим тебя немного помочь нам в Жабянах?

— Что ты имеешь в виду? — встрепенулся Павел.

— В поле работать не будешь. Тракториста мы всегда найдем, а ты станешь секретарем общины в двух селах.

— Надумал меня послать в Жабяны?

— А кого же еще?! Ты справишься, а нам бы это очень помогло.

Боже милостивый, чего он от меня хочет? — подумал Павел. Жабяны. Эта проклятая, гнусная дыра. Там отродясь никто не мог ничего добиться. Только этого мне не хватало!

— Ну что ты на меня так смотришь? — спросил Гойдич.

— Черт побери! — крикнул Павел.— Чего тебе от меня надо?!

— Подумай, Павел. В Жабянах пока речь о кооперативе не идет. Пока мы только покажем им, как хозяйствуем здесь, и будем помогать беднякам. И вам в Трнавке будет легче. Лучше, если мы их будем держать в окружении, а не они нас.

А иди ты к черту! — злился Павел. Я хорошо тебя понимаю, но каково будет мне? Павел стал припоминать знакомых ему жабянцев. Это были родственники, наезжавшие время от времени к ним в деревню. С тремя парнями из Жабян он служил в армии, был знаком с некоторыми девушками оттуда. Но что он знает о них теперь? Трнавка всегда жила беднее Жабян. И это была Малая Москва. А Жабяны — кулацкое гнездо. И родичей Хабы там немало. Да, горячая это будет банька...

— Ну что? — снова спросил Гойдич.

— Я, наверное, не справлюсь,— сказал Павел.

У него пропала охота разговаривать. Перед глазами стояла Илона. Что бы она сказала на это?

Ему так хорошо с ней. Им надо быть вместе всегда. И днем и ночью. А он ее не видел уже три дня, и встретятся они только завтра. За целых три дня не нашлось минуты, чтобы перекинуться с нею хоть словечком. Дни без Илоны казались ему пустыми, как будто он вообще не жил.

Если же ему придется еще ходить в Жабяны, они, пожалуй, и вовсе не смогут видеться. И жить он будет, как бродячий цыган. Пара часов в Жабянах, пара часов в Трнавке и лишь изредка считанные минуты с Илоной в Горовцах. А где же в конце концов у него будет дом? На прошлой неделе у них опять было свидание на мосту через Лаборец. Он немного опоздал, Илона стояла у перил, глядя на воду.

Когда они поздоровались, она показала на отме́ль, где снова прохаживались те же два аиста, и сказала:

— Знаешь, когда мне уже не придется жить в общежитии и у меня будет свой дом, я хочу, чтобы на крыше было гнездо аиста.

— Чтобы он принес побольше детей? — спросил он, смеясь.

Илона покраснела.

— Нет, что ты! Гнездо аиста приносит счастье.

— А как же сделать, чтобы на крыше поселились аисты?

— Это уж забота того, кто захочет на мне жениться. Ему придется достать колесо от телеги, укрепить его на крыше, выстлать середку чем-нибудь мягким. И замуж я выйду за него только тогда, когда в этом гнезде поселятся аисты.

А у меня теперь из-за постоянной беготни не будет времени даже подумать о гнезде аиста, мелькнуло в голове Павла.

Он и не заметил, как они вышли к деревне.

— Ну что? — прервал его мысли Гойдич.— Так ты подумаешь о Жабянах?

— Нет, я, наверное, не справлюсь,— сказал Павел уже решительнее.— И вообще это была бы напрасная трата времени,— добавил он, немного погодя.— Одни только хождения туда-сюда. А у меня нигде не будет дома.

— Беготни ты не бойся. Это не самое страшное. Получишь мотоцикл. Десять минут — и ты у них. И до Горовцов — в районный комитет — тебе тогда будет рукой подать. Один день можно работать здесь, а другой — в Жабянах. Ты подумай все-таки.— Гойдич с минуту испытующе смотрел на Павла.— Я знаю, тебе будет нелегко. Но ведь вся наша жизнь нелегкая. Она бродит, как молодое вино. Но обретает зрелость, очищается. Поверь мне, вино получится доброе, оно из хорошего сладкого винограда.

— И ты собираешься выжать из меня все соки в это вино? — спросил Павел, растерянно улыбнувшись Гойдичу.

— Ты так это называешь? — весело спросил Гойдич.— Иногда и мне кажется, что мы выжимаем из себя все соки. Но я говорю себе: мы добавляем в вино капли нашего пота, потому что и сами хотим пить это доброе вино. Ведь мы хотим пить его вдосталь, не так ли? — Он дружески похлопал Павла по спине.— А знаешь, мне и в самом деле очень хочется пить.

Они уже дошли до деревни.

— Так тебе вина хочется, товарищ секретарь? — спросил Павел.

— Нет, мне пока и глотка холодной воды хватит. Пока,— усмехнулся Гойдич.

— Вот здесь мы живем, вода у нас, должно быть, найдется.— Павел указал на домишко, за повалившимся забором которого торчал колодезный журавль.— Зайдешь?

— Конечно. Попью и поеду.

Они вошли во дворик, и Гойдич сел на край потрескавшегося, поросшего травой сруба колодца. Он молча смотрел по сторонам, а когда Павел вытянул ведро, ухватился за него обеими руками.

В эту минуту заскрипела дверца хлева и во дворе показалась мать Павла. На ней была длинная грязная юбка и кофта, из-под черного платка выбивались растрепанные волосы, к башмакам прилипла почерневшая солома. В руках у нее был горшочек свеженадоенного козьего молока. Увидев сына с незнакомым человеком, она оторопела. Стала переминаться с ноги на ногу, ей было неловко, что гость застал ее в таком виде.

— Может, выпьешь козьего молока, товарищ секретарь?—спросил Павел.

— А что, выпью,— сказал Гойдич и, улыбаясь, обратился к матери Павла: — Дадите мне стаканчик молока?

— Оно козье,— предупредила она, еще больше смутившись и не зная, как ей себя вести.

— А я на козьем вырос,— ответил ей Гойдич.— У нас было три козы, но мама даже прятала от нас молоко. Детей-то было шестеро.

— Сейчас, сейчас принесу,— сказала мать и скрылась в доме.

Когда она вскоре появилась снова и подала Гойдичу стакан процеженного молока, платок на ней был уже аккуратно повязан, а руки вымыты. Все еще смущенная, она, с упреком глядя на сына, сказала:

— А мне даже нечем вас угостить, я ведь только вернулась с поля.

Гойдич посмотрел на ее натруженные, жилистые руки с обломанными ногтями и ласково прикоснулся к ним.

— Такие же руки были у моей матери,— заметил он.

— Такие руки у многих матерей,— сказала она, пряча руки, а потом, взглянув на его изрытое оспой лицо, спросила:

— Ваша мать жива?

— Ее расстреляли во время войны. Гардисты.

Он поднес стакан к губам. Молоко было еще теплым и чуть терпким, и когда он пил его, в нем все сильнее пробуждались воспоминания о родительском доме. Он подумал, что бы сказала его мать о той жизни, за которую они тут сражаются. Может, и она боялась бы? Эта женщина боится. Она много пережила, и это отняло у нее силы. Он хорошо знал таких женщин и понимал, почему они так запуганы и набожны. Нам еще много надо сделать, чтобы они поверили в себя, подумал он.

— Жаль, но мне уже пора, я как-нибудь заеду к вам,— сказал Гойдич и снова улыбнулся матери.

Павел тоже посмотрел на мать. У нее был такой вид, словно она извинялась за что-то. И все же она немного переменилась. Когда начали организовывать кооператив заново, она ни с кем не разговаривала, ходила как тень. И только в последнее время немного ожила, хотя и не совсем понимала, что происходит в деревне. И Павел по-прежнему читал в ее глазах мучительный вопрос: что с тобой будет, сынок? Что с тобой будет?

Они ушли, а мать все стояла, опустив плечи, посреди двора со стаканом в руке и смотрела им вслед.

Уже вечерело, когда уехала машина Гойдича. Солнце отбрасывало длинные тени, и Павел, стоя на площади, глубоко вдыхал в себя теплый влажный воздух. Пахло травой и землей, едой и дымом, хлевом и цветущим боярышником. Громко кричали птицы, в крапиве у заборов гоготали гуси. Слышен был визг пилы, вдалеке тарахтели те-

леги. На скотном дворе кооператива цыган Йожко бойко покрикивал на коров. Над погружающимся в сумерки селом разносилось мычанье.

Павел теперь мог все спокойно обдумать. Гойдич обещал ему мотоцикл. Конечно, мотоцикл поможет ему сэкономить уйму времени, да и мечтал он о нем уже давно. Но какой ценой достанется ему этот мотоцикл! Секретарской бумажной работой он сыт по горло и тут, в Трнавке. А теперь к ней прибавятся и жабянские дела. Разве о такой работе он мечтал? Разве этим хотел заниматься?..

И снова перед его мысленным взором стояла Илона. Он вспомнил, как рассказывал ей о Трнавке, как убеждал ее в своей готовности сделать для родной деревни все от него зависящее и тем самым доказать, что и весь их край в конце концов может стать совсем другим. Вправе ли он отказаться от своего намерения, тем более что с таким жаром говорил ей об этом?

Со стороны мостика под старыми орехами шел Демко. Лицо у него, как и обычно, было мрачное, усталое.

— Есть новости? — спросил он у Павла.— Я слышал, что приезжал Гойдич.

Павел не знал, надо ли рассказывать ему о предложении Гойдича.

— Да, приезжал,— ответил он.— Хочу с тобой кое-чем поделиться. Может, ты не будешь тогда таким мрачным. Может, у тебя настроение исправится.

— Интересно, что же это за новости?

— Есть одна идея насчет пастбища,— улыбаясь, сказал Павел.

— Насчет пастбища? — с досадой протянул Демко.— Я об этом как раз сегодня разговаривал с Петричко...

— Вы что, поругались?

— Поругаться не поругались. А только он уперся как бык: на пастбище мы никого не должны пускать. Пастбище, мол, это единственное и последнее, что осталось у нас в Трнавке от революции... И что кругом — предатели и враги...

— Это засело в нем, как заноза,— заметил Павел.— А знаешь, что предлагает товарищ Гойдич?

— Ну, говори же!

Павел изложил ему план. Демко слушал, кивал головой, глаза его заблестели.

— Ясно. Это хорошее дело! — Демко постучал пальцем по лбу.— А знаешь, самый правильный выход оказывается всегда самым простым. Надо поговорить об этом с Иваном.

— Я зайду к нему после ужина. Ужасно хочу есть,— сказал Павел и вдруг заметил, что лицо Демко застыло от удивления.

Павел обернулся и увидел Илону. Она направлялась к ним с чемоданчиком в руке. Стоявшие у завалинок трнавчане провожали ее недоуменными взглядами, но Илона продолжала идти решительным шагом.

Павел изумленно смотрел на нее. В первое мгновенье у него мелькнула мысль: наверное, что-то случилось у Олеяров и Илона приехала к родным. Но потом увидел, что она радостно улыбается ему. Сердце у него бешено заколотилось. Он старался взять себя в руки, но все еще не верил своим глазам. Господи, неужели это правда? Неужели зрение не обманывает его? Илона тут? В Трнавке?

Он бросился ей навстречу. Илона остановилась, поставила чемодан. Ждала, когда он подойдет.

— Илона! — сказал он.— Откуда ты взялась?

— Вчера я все решила, Павел,— выпалила она.— А сегодня никак не могла дождаться вечера...

— Так ты?..

Павел смотрел ей в лицо и, не решаясь поверить своему счастью, искоса поглядывал на чемодан у их ног.

— Я пришла к тебе, Павел. Хочу быть с тобой, остаться навсегда....

— Рыжик, скажи это еще раз! — прошептал он сухими губами.

— Я пришла к тебе и буду с тобой всегда...— Она засмеялась тихо и счастливо.— Сказать еще раз, Павел?

— Я... Я не могу этому поверить...

— Повторить тебе снова? — Лицо ее зарделось еще сильнее.

— Вот теперь начинаю верить.

Значит, она решилась, подумал он. Решилась. Нет. Он и не надеялся, не смел об этом и мечтать. Он чувствовал, как его переполняет счастье.

— Рыжик,— растроганным от нежности голосом заговорил Павел,— ты даже представить себе не можешь, как я счастлив.

Он обнял ее за плечи, крепко прижал к себе и наклонился, чтобы поцеловать.

— Нет, не сейчас! — прошептала Илона.— Сейчас не надо, Павел.

Он легко коснулся губами ее щеки, а свободной рукой подхватил чемоданчик.

Демко все это время молча наблюдал за ними.

— Вот как! — сказал он, когда Павел и Илона подошли к нему.— А я думаю, почему это девушка тащится с чемоданом. Сперва я даже испугался, не возвращаешься ли ты случаем к своим. Значит, теперь ты снова будешь в Трнавке?

— Да. С Павлом,— сказала Илона.— Теперь мы будем вместе.

— Это мне нравится. Ты смелая девушка! Вот обрадуется твой дед! А где вы будете жить?

— Пока у нас,— ответил Павел.— А потом что-нибудь придумаем.

— Я так рад за вас обоих. Вы — хорошая пара. Это здорово, что ты тут будешь с нею, а она с тобой,— заключил Демко многозначительно.

— А почему ты так думаешь? — спросил Павел.

— Дел у нас уйма! А если вы будете вместе — это лучше для вас обоих.

Возле них остановился трактор. Павел даже не слышал, как он подъехал. Из кабины высунулся Канадец и осклабился.

— Эй, Павел, куда ты ее ведешь? — крикнул он.— Значит, у нас теперь будет своя фельдшерица? Ты что, пришла оказать ему медицинскую помощь, Илона?

— Придержи язык! — оборвал его Павел, чувствуя, как краснеет.

— А разве ты не нуждаешься в медицинской помощи? — продолжал скалить зубы Канадец.— У тебя все в полном порядке?

— Придержи язык,— повторил Павел.

— А может, я тоже больной, даже больше, чем ты? Где же справедливость?! Послушай, Павел, огрей ты меня чем-нибудь по башке, чтобы она и ко мне пришла. Такая медицинская помощь была бы мне ох как кстати!

— Заткнись! Оставь ее в покое,— сказал Павел, с трудом подавляя в себе ярость.

— Да что же это — с тобой уж и пошутить нельзя? Ты даже своему товарищу удружить не хочешь? Одному мужику, значит, все, а другому — ничего. Послушай, Илона, может, зайдешь ко мне?

Илона смотрела Канадцу прямо в лицо и улыбалась.

— А почему бы и нет? — сказала она.— Приду, конечно, если вас тут снова поколотят.

Она обернулась к Павлу.

Он увидел ее радостную улыбку, в глазах вспыхивали веселые искорки — ничто не могло ее задеть.

— Вот черти полосатые! Они и вправду пожениться решили? — Канадец поглядел на Демко.— Ну и дела! Я-то и не знал, что они... Я всегда думал, что он...

— Заткнись! — оборвал его Демко.— Не суйся не в свое дело!

— Да я уже молчу,— стал оправдываться Канадец и улыбнулся Илоне.— Ты не сердись. Не обращай внимания на мою болтовню... Все, больше не буду. Ты, Павел, ничего такого не думай — я просто шутил. Забирайтесь в кабину, отвезу вас домой.

— Не стоит,— не глядя на него, сказал Павел.— Дойдем и пешком — мы уже почти дома.

На деревню легла вечерняя тень, заходящее солнце освещало только крыши домов да виноградники на Каменной горке. Небо над нею было ясное, белесовато-голубое. В деревне начиналась вечерняя жизнь, во дворах становилось людно. Мужчины и женщины стояли у завалинок, с любопытством глазея по сторонам.

— Пойдем? — спросила Илона.

Павел ободряюще улыбнулся ей, его пальцы крепко сжали ее плечо. Они пошли, и в эту самую минуту на повороте дороги, прямо за трактором, появились две упряжки. Павел не сразу понял, что переднюю повозку тянут лошади Хабы, и лишь потом узнал в сидящей на козлах женщине Анну. У самой кромки дороги откуда-то вынырнул Дьюри.

Анна вдруг, резко передернув плечами, натянула вожжи, и лошади остановились. Руки ее бессильно упали на колени, на бледном, почти восковом лице застыло удивление. Она словно окаменела.

Илона скользнула по сестре взглядом и уставилась на козлы второй повозки. Отец сидел неподвижно, мать попыталась было привстать, опираясь руками на сиденье, но снова опустилась.

— Ох! — вырвалось у Илоны. От ее лица отлила кровь, но она почувствовала на плече пальцы Павла и крепко сжала губы. Она ведь знала, куда и зачем возвращается. Что ж, придется принимать все как есть...

Дьюри подошел поближе и остановился, потом обернулся к Анне и что-то сказал ей, замахал руками. Видно, велел погонять лошадей. Но Анна даже не шелохнулась.

Павел взглянул на Илону. Она стояла вскинув голову и прерывисто дышала.

— Ну, что же это такое?! — сплюнув, сказал Канадец.— Ты что встал как вкопанный? Подшипники у тебя сгорели, что ли?! — заорал он на Дьюри.

И тут Павел схватил Илону за локоть.

— Забирайся наверх. Садись,— сказал он и ласково, но решительно подтолкнул ее к трактору.

Илона замешкалась, тогда он сам вскочил в кабину и протянул ей руку. Она прыгнула следом за ним.

— Поезжай! — шлепнув Канадца по спине, сказал Павел.— Гони, дружише!

— Вот это дело! — понимающе воскликнул Канадец.— Я сейчас как газану!

Лишь только трактор развернулся и полным ходом двинулся вперед, Дьюри подскочил к Анне, вырвал у нее вожжи и изо всех сил стеганул лошадей. Лошади сперва уперлись, а затем рванули так, что Дьюри пришлось бежать рядом с повозкой. От их копыт отлетали

комья глины и щебень, колеса громыхали. Вторая повозка стояла. Олеяры на козлах не пошевелились — казалось, повозка увязла в болоте.

Когда обе повозки остались далеко позади, Павел особенно остро ощутил близость Илоны. Она стояла, тесно прижавшись к нему. Их дыхание смешивалось. Илона... Он сжимал ее крепкую руку, ощущал горячее прикосновение ее плеча и бедра, ему казалось, что они слились.

— Павел, что скажет твоя мама? — спросила Илона.

— Думаю, что она удивится,— улыбнулся он.— Но она будет тебя любить. Только вот что, Илона...— Он стал серьезным.— Ведь я, собственно, еще не могу привести тебя к нам...

Илона оторопела.

— Ведь я еще не достал колеса от телеги для гнезда аиста...

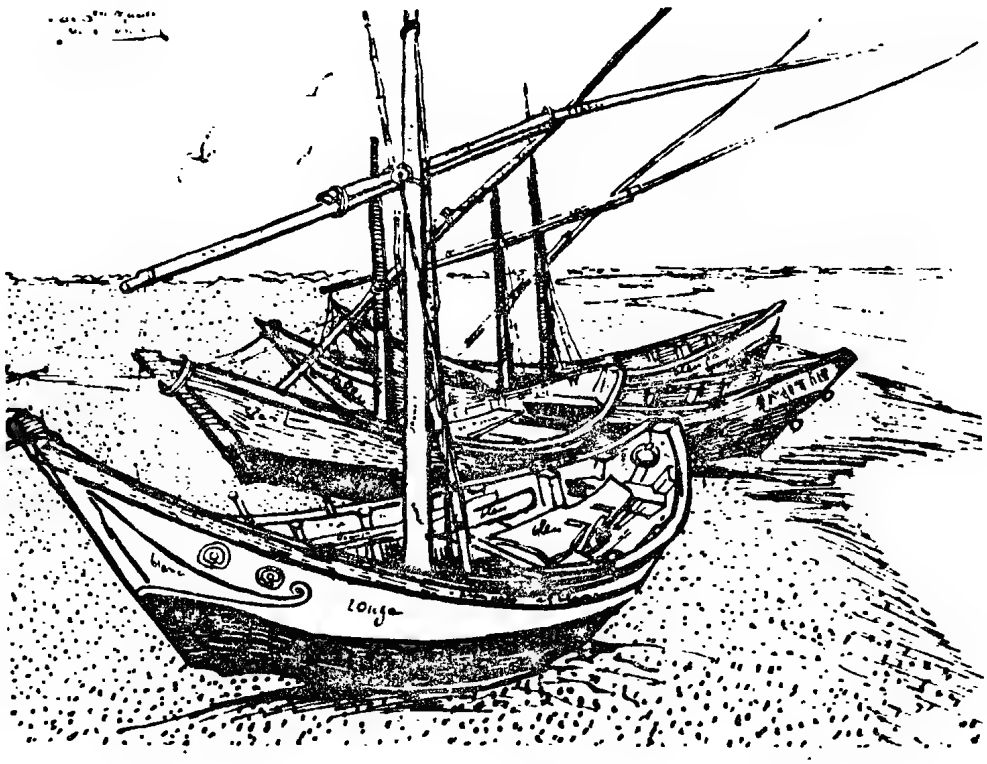
— Я помогу тебе,— сказала она, смеясь.

Павел наклонился, чтобы поцеловать ее, но как раз в этот момент трактор сильно тряхнуло, и Павел ткнулся носом в ее шею.

Илона подняла к нему лицо.

— Рыжик! — тихо и радостно прошептал он. И все его существо заполнило ощущение такого неожиданного, такого простого человеческого счастья.

■



ВИНСЕНТ ВАН ГОГ. Лодки на берегу. Рисунок

Литературное наследие

ЮНУС ЭМРЕ

Перевод с турецкого и вступление С. ЛИПКИНА

Войти в людское сердце...

Прикосновение к стихам Юнуса Эмре открыло мне новый материк поэзии. Персоязычной литературой, проникнутой суфийским, пантеистическим восприятием мира, я занимаюсь давно. Юнус Эмре стал для меня притягательным не только потому, что он первый из известных мне поэтов-суфиев, слагавший стихи на турецком языке. Он, в сущности, аэд, народный сказитель. Давние строфические построения, заимствованные из персидской поэтики, Юнус Эмре наполнил гулом городских базаров, одухотворил просторечием ремесленников и крестьян. Читая людям свои стихи, он, по собственному признанию, обошел и Рум (Малую Азию), и Шам (Сирию), и «верхние страны» (Иран и Азербайджан). Отвергал внешнюю религиозную обрядность: «Я верой стал, неверьем стал, сомненьем рода стал людского».

Юнус Эмре родился в 1250 году и умер в 1320 или в 1321 году. Малая Азия в эпоху правления династии Сельджукидов слепила своей пестротой. По этой земле прошли крестоносцы. Здесь жили греки и армяне. Здесь при дворе говорили и писали по-персидски. Воздух дышал Византией. Религии соседствовали. Было чему удивляться, и недаром Юнус Эмре признался, что его сердце насыщено «удивленьем беспрестанным»:

Миг — оно стремится в церковь и Евангелье читает,
Миг — оно в мечеть приходит, преклоняясь пред Кораном.

В городах расцветали ремесла. Ремесленники образовали особое религиозное братство «ахи»: это слово по-арабски означает «брат мой». В отличие от обычного для турка красного головного убора, у ахи на голове был белый колпак. Они спорили не только с муллами и кадиями (мусульманскими судьями), но и с последователями суфийского учения. Известный советский тюрколог профессор Вл. Гордлевский в своем труде «Государство Сельджукидов в Малой Азии» замечает: «В начале XIV века идеями ахи охвачены были и интеллигентские круги. В стихах поэта Юнуса Эмре проскальзывают указания на «футуввет» (устав моральных истин.— *С. Л.*), он прямо обращается... к ахи».

Юнус Эмре распевал свои стихи вместе со слушателями. Как позднее в Индии Кабир, еще позднее — у нас в России Толстой, турецкий поэт, после долгих поисков бога, сказал: «Но местопребыванье бога лишь в человеке я нашел».

Стихи Юнуса Эмре были записаны после его смерти. Они стали турецкой классикой.

На праздновании столетия со дня рождения Садреддина Айни в Душанбе я познакомился с Азизом Несином. Узнав, что я перевожу стихи Юнуса Эмре, он искренне обрадовался. «Юнус Эмре,— сказал мне турецкий сатирик,— великий поэт. Мне больно, что мир его не знает или знает плохо. Мне приятно, что его узнает русский читатель. Юнус Эмре был современником Джалаледдина Руми. Но если Джалаледдин был поэтом для образованного общества, то Юнус Эмре был поэтом для простого народа».

Я сообщил Азизу Несину, что издательство «Художественная литература» выпускает сборник, в который войдут произведения пяти турецких поэтов-классиков, а среди них — произведения Юнуса Эмре. Сборник подготовила к печати тюрколог И. В. Баролина.

Юнус Эмре писал (слагал?) стихи так, чтобы его поняли все и, поняв, пошли за ним. Если каждое поэтическое произведение труднопереводимо, то особенно трудно начать новую жизнь на другом языке поэзии глубоко национальной. Я счастлив был повторить по-русски слова турецкого поэта:

Юнус воскликнул: «О паломник, зачем сто раз ходил ты в Мекку?
Войти в одно людское сердце — не в этом ли твое призванье?»

Поэзия Юнуса Эмре, отдаленная от нас семью веками, обладает силой жизни, потому что, как всякая истинная поэзия, занята поиском связи между жизнью и правдой.

■ ■ ■

Если ты вопрошаешь меня, о мой бог,
То хочу, чтоб тебе и ответить я мог.

Я тебя притеснял ли? Пускай я греховен,
Но, господь, пред тобою-то в чем я виновен?

Я еще не родился — меня ты к рабам
Сопричислил, сказал: «Вот мятежник Адам».

Я еще не пришел, но и горы, и долы
Услыхали твой глас: «Он исполнен крамолы!»

Я ли создал тебя? Ты меня сотворил,
Так зачем для упреков уста отворил?

Я, в темнице родившись, воскликнул: «Несчастье!
В сатанинском я чреве, где плотские страсти!»

Чтоб в тюрьме не погибнуть, я крикнул: «Открой!»
Раз иль два я испробовал пищи дурной.

Потерял ты богатства хоть малую долю?
Иль утратили мы — я и ты — нашу волю?

Иль тебя, насыщаясь, на голод обрек?
Иль, поев, у тебя отобрал я кусок?

Тонкий мост-волосок[1] ты воздвиг: «Из капкана
Моего ты теперь выходи невозбранно».

Но пригоден ли нам тонкий волос как мост?
Упадем, устоим иль взметнемся до звезд?

Строят мост ради пользы своей слуги бога —
Польза в том, чтоб открылась пред ними дорога,

Чтоб с моста-волоска никогда не свернуть,
Чтоб идущий сказал: «Это правильный путь».

На весах ты мои хочешь взвесить пороки —
Да низринусь в огонь преисподней жестокий.

[1] Согласно мусульманским представлениям, в Судный день воскресшие из мертвых, после того как будут взвешены их грехи, должны пройти по проложенному над адом мосту Сирату, который тоньше волоска, острее меча: грешники свалятся в ад, а праведники пройдут по мосту в рай. *(Здесь и далее — прим. И. Баролиной.)*

Но кому надлежит доверяться весам?
Бакалейщикам, мелким торговцам, купцам!

Тот, кто грешен, тот грязью нечистого грязен,
Самый грех при твоем бытии безобразен.

Прикрываешь ты грех, добротою светясь,
Для чего ж обнажать да и взвешивать грязь?

Я страдаю, а ты — соглядатай страданий.
Разве это разумно, о бог всех созданий?

Ты всеведущ, постиг мои дни и часы,
Так зачем же кладешь мою жизнь на весы?

Разве мало, что ты меня сделал золою,
И сгноил, и глаза мне засыпал землею?

От Юнуса вовек ты не ведал вреда.
То, что явно и тайно, ты знаешь всегда.

Для чего же твой гнев, о творец, для чего же?
Из-за горстки земли столько шума, о боже!

Колесо

— Колесо[1], зачем ты плачешь много?
— Я страдаю, потому и плачу.
Своего я возлюбило бога,
Я страдаю, потому и плачу.

Знаешь, кто я? Колесо печали.
Волны подо мною зазвучали,
Ибо так велел господь вначале,
Я страдаю, потому и плачу.

Древом я в горах росло когда-то,
Сладким или горьким не богато,
Господу всегда служило свято,
Я страдаю, потому и плачу.

Но в горах слышнее стали стуки,
Отрубил топор мне ветви-руки,
Обрекли, согнув меня, на муки,
Я страдаю, потому и плачу.

Наземь ствол упал, под корень срублен.
Весь порядок жизни был загублен.
Я — певец, чей сказ людьми излюблен,
Я страдаю, потому и плачу.

Плотника тесло меня тесало,
Колесом вертящимся я стало,
Приказал господь, чтоб я страдало,—
Я страдаю, потому и плачу.

[1] Имеется в виду водоподъемное колесо для орошения земли.

Снизу вверх я поднимаю воду,
Я кружусь хозяину в угоду.
Посмотри же на мою невзгоду,
Я страдаю, потому и плачу.

О, не смейся, ибо станешь тленом,
О, Юнус, кто в этом мире бренном
Обладает счастьем совершенным?
Я страдаю, потому и плачу.

■ ■ ■

Меня дервишем называете, но я ль дервишем назовусь?
На летнем пастбище дервишества я зимней стужей становлюсь.

В наряд дервиша облачился я, но, взглядом свой окинув путь,
Своих ошибок устыдился я, да и поныне их стыжусь.

Никто не знает, что погрязнул я во скверна́х — в тысяче одной,
Грех совершаю, но при этом я и тачем, и хиркой горжусь[1].

В пути встречаю вопрошающих, я их учу, и верят мне,
Что сердце напоил сердечностью: им праведником я кажусь.

Я загляну в себя, но ценного я не увижу ничего,
Вокруг меня миры враждебные, я трепещу, я их боюсь!

Сказал Юнус друзьям: «Познавшие всю истинную суть мою,
От вас не жду я оправдания и в руки бога предаюсь».

■ ■ ■

Сей мир огромный предо мною как шумный город предстает,
А наша жизнь — базар, где всякий торгуется и продает.

Тот, кто вступил однажды в город, в нем задержался лишь на миг,
Он — путешественник, который ушел и больше не придет.

Жизнь в этом городе вначале вкусней и слаще всех сластей,
В конце почувствуешь: вкушал ты змеиный яд из года в год.

Та жизнь, красавице подобно, вначале обольщает нас,
В конце увидишь: пред тобою старуха лживая, урод.

О, в этом городе так много различных обликов, личин —
Доверчивого обмишурит их воровской круговорот.

Познал свое предначертанье лишь тот, кто суть свою постиг:
Всем сердцем возлюбивший бога, он как весенний день цветет.

Взгляни на бедного Юнуса, он удивлен, он потрясен,
А каждый стих его духовный — как сахар и сладчайший мед.

[1] Тач и хирка — дервишский головной убор и плащ.

■ ■ ■

Не так я жил, как мне мечталось, о жизнь, что делать мне с тобой?
Мне и богатства не досталось, о жизнь, что делать мне с тобой?

Как я пришел и как прошел я? Страдал, а все ж не говорю,
Чтобы со мною ты рассталась,— о жизнь, что делать мне с тобой?

И добрые дела, и злые припишут мне, и я умру,—
А где мой облик? Все распалось, о жизнь, что делать мне с тобой?

Уйдешь — назад не возвратишься, придя — меня ты не найдешь,
Да ты найти и не пыталась, о жизнь, что делать мне с тобой?

Где то, что я тебе доверил, доверив, ласку находил?
Что приобрел я, то осталось — о жизнь, что делать мне с тобой?

Юнус несчастный, ты, наверно, свой путь свершив, покинешь нас,
Но боль пребудет и усталость — о жизнь, что делать мне с тобой?

■ ■ ■

Наука — это узнаванье, наука есть самопознанье,
Себя не знаешь ты — к чему же твое усердье и старанье?

В чем смысл учения? В глубоком познанье человека-бога,
А ты, учась, не научился, напрасным было прилежанье.

Не говори, что ты учился, что ты познал, что ты молился,
О, если ты не знаешь бога, то все, что знаешь ты,— незнанье!

В одном элифе смысл находим книг четырех[1], вовек священных.
Учась, искал, но что нашел ты? Чем кончилось твое исканье?

Ты изучаешь двадцать восемь слогов, прочел — и вновь читаешь,
Но разве одного элифа тебе открылось пониманье?

Юнус воскликнул: «О паломник, зачем сто раз входил ты в Мекку?
Войти в одно людское сердце — не в этом ли твое призванье?»

■ ■ ■

Бог мое насытил сердце удивленьем беспрестанным,
Миг — оно полно печалью, миг — веселием нежданным.

Миг — оно морозом дышит, стужей зимнею лютует,
Миг — сверкает вертоградом, цветником благоуханным.

Миг — не вымолвит ни слова, ничего не растолкует,
Миг — слова его как жемчуг, как лекарство тяжким ранам.

[1] Элиф — первая буква арабского алфавита. Поэт хочет сказать, что одна буква — ключ к пониманию четырех книг, которые почитаются мусульманами как священные: Пятикнижья, Псалтыря, Евангелия и Корана.

Миг — вздымается над раем, миг — спускается в геенну,
Миг — подобно малой капле, миг — простерлось океаном.

Миг — в невежестве скудеет, ничего оно не знает,
Миг — становится премудрым Джалинусом и Локманом [1].

Миг — оно как дэв и пери и в развалинах томится,
Миг — предстанет Сулейманом, джиннов и людей султаном [2].

Миг — оно стремится в церковь и Евангелье читает,
Миг — оно в мечеть приходит, преклоняясь пред Кораном.

Миг — становится Исою [3], к жизни возвращает мертвых,
Миг — вступает в град гордыни то Фиравном, то Хаманом [4].

Миг — архангелом нисходит, людям возвещая радость,
Миг — Юнуса изумляя — отравляется обманом.

■ ■ ■

Кто говорит, что он — дервиш, тот мучиться стыдом не должен.
Он должен сердцем быть широк, а жить как скопидом не должен.

Дервиш смиренным должен быть, не поднимать на бьющих руку,
Молчать, когда его бранят,— идти дурным путем не должен.

О, если ты дервиш — весь мир тебе пребудет добрым другом,
Дурное замени благим, владеть чужи́м добром не должен.

Лишь нищета — богатство тех, кто объявил себя дервишем,
Помимо нищеты, дервиш и думать ни о чем не должен!

О, если душу ты вручил святому, кто постигнул бога,
О ученик, ты предавать учителя потом не должен!

Юнус, ты тоже лицезрел святого мужа, но не хвастай:
Дервиш, ты всюду вздор молоть о том и о другом не должен!

■ ■ ■

Мельницу напоминает этот бренный мир страстей,
Жернова ее — беспечность, мелет мельница людей.

Мельница — юдоль земная — господу подчинена,
Азраил [5] муку́ уносит — целые мешки смертей.

---

[1] Джалинус — знаменитый врач и естествоиспытатель Галлен (ок. 130—200); Локман — легендарный арабский врач и мудрец.

[2] В Библии и в Коране царь Сулейман (Соломон) считается повелителем всех духов — джиннов.

[3] Иса — Иисус. В Коране считается воскресителем мертвых.

[4] Фиравн (Фиран) — легендарный властитель Египта; Хаман — его везир.

[5] Азраил — ангел смерти.

Желоб — этот мир, а божье бытие — рука судьбы.
Кто заметил те подобья, стал спокойней и мудрей.

Мельница подвластна богу. Что по желобу течет?
Ты обеспокоен этой смесью вод, забот, скорбей.

Различай, где мощь, где слабость, осторожен будь, Юнус,
Сколько сильных мы ни видим — длань одна другой сильней.

■ ■ ■

Искал я в этом мире бога, я долго в край из края брел,
Я землю обыскал и небо, но там я бога не обрел.

Вникал я в книгу доказательств, изображенья осмотрел,
И надписи, и свитки знаний, и вседержителя престол,

Я много приложил усилий, обследовал я все места,
Но местопребыванье бога лишь в человеке я нашел.

Я вдруг лицо его увидел, но я ни слова не сказал:
Его сияющую тайну не в силах выразить глагол.

Ему, когда его увидел, я отдал самого себя,
И он забрал меня и властно от самого себя увел.

Оглядывался я с восторгом, воспрянула моя душа,
Как только понял, изумленный, что в город сердца я вошел.

Юнус исчез, и стало богом отныне существо его,
Все прочее — не существует, я все сомненья поборол!

■

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ. Мост около Арля.
Рисунок

Критика

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО

МИР ЭТОТ ТАК ОГРОМЕН...

«Что дает Вам общение с художественным миром Толстого?» С этим вопросом журнал «Советская литература» на иностранных языках обратился к ряду известных зарубежных писателей. На анкету откликнулись Джеймс Олдридж и Чарльз Сноу (Англия), Имре Добози (Венгрия), Анна Зегерс (ГДР), Долорес Медио (Испания) Ярослав Ивашкевич (Польша), Фернандо Намора (Португалия), Эрскин Колдуэлл и Роберт Крайтон (США), Анри Труайя и Арман Лану (Франция), Зденек Плугарж (Чехословакия).

Каждый из писателей находит в творчестве великого реалиста то, что наиболее созвучно его поискам и его мироощущению: для одного самое важное в Толстом — просветительское, воспитательное начало, для другого — простота и мудрость для третьего — высокий накал патриотических и гражданственных чувств.

Мы печатаем эти высказывания писателей с согласия журнала «Советская литература».

Джеймс Олдридж

АНГЛИЯ

Случилось так, что в тот самый момент, когда мне положили на стол анкету, посвященную Толстому, я читал биографию Бернарда Шоу, написанную Хескетом Пирсоном, и книга была раскрыта на одном из тех двух мест, где упоминается Толстой. Наиболее важный пассаж касается спора между Шоу и Толстым о боге. Шоу послал Толстому экземпляр своего романа «Разоблачение Бланко Поснета», сопроводив его пространным изложением своих мыслей о боге. Толстой однажды посетовал на то, что в пьесе «Человек и сверхчеловек» Шоу недостаточно серьезно говорит о боге. А Шоу заметил с иронией: «А что, если мир — всего лишь одна из шуток бога...»

Любопытно, что, когда бы я ни читал Толстого, у меня каждый раз было такое чувство, что он смотрит на дела людские как на своего рода божественную шутку — шутку не христианского бога, а языческих богов, которые постоянно вмешивались в дела людей и имели обыкновение сходить на землю, коль скоро у них являлась охота сыграть ту или иную роль в разыгрывавшейся перед ними человеческой драме. Я не говорю, что сами герои Толстого были полубогами. А просто хочу сказать, что Толстой будто был как-то связан с языческими богами — творцами вселенной, ибо он умел так изобразить, так ярко обрисовать поведение людей, как если бы он, и только он один, обладал неким удивительным даром проникать в людские мысли и поступки.

Как человек, Толстой был моралистом и теистом, но в своей творческой деятельности он был гуманистом в широком значении этого слова, пониманию которого были доступны сферы, находящиеся за пределами его собственного аскетического жизненного идеала. Как только он брался за перо, чтобы создать художе-

ственное произведение, он становился истинным Толстым. Другой Толстой был всего лишь тенью его подлинной сущности.

Мир Толстого был миром мужчин и женщин, сталкивающихся со сложными и предстающими вне связи друг с другом моральными, социальными и интимными проблемами, которые раскрываются в повседневном бытии и в масштабах всего мира в целом. Именно это исключительное умение изобразить не только простейшие чувства и состояния человека, но и показать его место в мироздании и делает Толстого подлинным мастером литературы — мастером, у которого учились и учатся все остальные. Толстой имел свой, особый взгляд на мир, которому он всегда оставался верен в творчестве, и никому еще не удалось сравняться с ним в умении представить историю как дело рук простых человеческих существ, которые порой жертвы в сети событий, а порой сами играют в них сознательно выбранную роль.

Каждого, кто читает Толстого, обогащает его мир. Женщины поражаются тому, с какой легкостью и точностью он улавливал чувства молодых, замужних, греховных, непорочных, наконец, обыкновенных женщин. То же самое можно сказать о любом мужчине, читающем Толстого. Рано или поздно обнаруживаешь в том или ином толстовском персонаже целую гамму собственных эмоций и душевных движений. Это ощущает и простой крестьянин и князь. В этом универсальность Толстого, побеждающая классовое и даже национальное в его мышлении. Толстовские французы в «Войне и мире» так же убедительны, как и его русские. Простые солдаты изображены у него с таким же совершенством, как и его генералы.

Толстой понимал и счастье, и боль, но, изображая то или другое из этих чувств, он показывал, что в жизни есть бóльшая сила, нежели людские страдания и наслаждения. Он говорит, что боли, любви, долга, мужества, чести, трусости, стыда — всего этого недостаточно. По сути дела, он говорит, что за пределами этих чувств и над ними действует некая жизненная сила, и, подобно Шоу, он верит в эту силу всем своим существом. Вот почему вы заканчиваете любую книгу Толстого с таким ощущением, словно вы пережили что-то в реальной жизни. Она становится больше чем книгой: она превращается в часть вашего опыта.

Толстой — один из немногих писателей, которые не нуждаются в эпитафии или в монументе для увековечения их памяти. Его литературное творчество — вот эпитафия и памятник его. И все же мы отмечаем 150-летие со дня его рождения, объясняется это просто: мы сознаем необходимость сделать что-то, что напомнило бы нам — Толстой так же жив сегодня, как был жив в прошлом и как всегда будет жив в будущем, пока люди способны читать и пока мужчины и женщины способны любить, смеяться, плакать, страдать и отчаянно пытаются понять друг друга.

Чарльз Сноу

АНГЛИЯ

Я только что написал довольно длинную книгу «Реалисты», посвященную восьми великим романистам, среди которых первое место отводится Толстому и Достоевскому. В этой книге я пишу, что всю свою жизнь задавался вопросом: какой роман можно признать величайшим в мировой литературе? В молодости я считал таковым «Братья Карамазовы» — этот роман произвел на меня наиболее сильное впечатление.

Став старше, я пришел к мысли, что «Война и мир» обогащает меня в большей мере, просто благодаря своей беспощадной правде. Теперь, когда я состарился, у меня уже нет прежней уверенности. Меня восхищает вечный поиск Толстым истины — самой простой истины об окружающем мире, ради которой, как мне кажется, он пожертвовал всяким украшательством в своей прозе, что является уроком для всех нас. Никто не видел больше, чем Толстой, и более ясно, чем он. Он считал, что Достоевского сбивают с пути истинного его психологические фантазии. Я нынче уже не так в этом уверен. Я думаю, что глубокие прозрения «Братьев Карамазовых» останутся со мной до конца моей жизни. Как бы там ни было, ни одна литература не имеет ничего равного этим двум романам.

Имре Добози

ВЕНГРИЯ

Как ни бился, ни старался Толстой найти дорогу к единственной, спасительной Истине с большой буквы, он так и не нашел ее. Однако многозначные истины бытия мало кем познаны столь глубоко и своеобразно, как им. Это захватывающе точное и в то же время именно толстовское познание, толстовский анализ истин существующих, открываемых, выдумываемых, признанных

человеком, ложно понятых им, сомнительных для него или вообще отрицаемых или высмеиваемых им придавал и придает его творчеству мощные крылья. Его девиз «не выдумывать, а находить» является главной особенностью избранной им трудной поэтики художественной достоверности, созданной достоверным искусством.

И поныне поразительно, сколько знал он человеческого и во внешних проявлениях и в сокровенных его сторонах.

И все же — хотя меня и смущает это — хочу признаться, что именно его достоверность вызывала у меия наибольшие сомнения. Лет тридцать меня занимало описание Бородинской битвы. Я как-то не мог поверить в то, что воинские части, соединения и высшие объединения передвигались на поле боя, насчитывавшем всего иесколько квадратных километров, таким образом, что ни Наполеон, ни Кутузов, по существу, не имели точного представления об их дислокации, а адъютанты и гонцы поэтому не могли доставить донесения и приказы. Я усматривал в этом «писательское» преувеличение до тех пор, пока несколько лет тому назад мне не удалось самому побывать на месте былой битвы. Я ие поленился обойти пешком эту местиость от деревни Бородино до Шевардино, до места бывших шевардинских редутов, откуда — в тот знаменательный день, 26 августа 1812 года,— Наполеон руководил, или, скажем, пытался руководить, наступлеиием своих войск.

Я видел долину реки Колочи, горловину речки Войны. Видел размытые дождем, изъеденные талыми снегами глубокие ущелья и расселины, поросшие редким кустарником овраги. Но как я ни старался, как ни «навострял» глаз, я из этой низины не смог увидеть ни одну из четырех деревень — Бородино, Горки, Семеновское, Шевардино. С холмов, пролегавших между ущелий, я видел только зияющие подо мною расселины, а соседние — уже не видел. «Пересеченная местность,— подумал я,— сильно пересеченная местность». А это означало для меня, что Толстой эту местность наверняка не раз, вплоть до самого затерянного ее уголка, самым внимательным образом изучал и свои способности к творческому осмыслению и художественному изображению подкрепил не выдумкой, а построенным на доскональном изучении материала знанием. А остальное... Да, действительно, воссоздать, нарисовать картину стелющегося дыма от сотен огнедышащих орудий, тысяч и тысяч палящих ружей было уже нетрудно. Суть, однако, не в том, что Толстой пишет о пружинах, в действительности управлявших неуправляемой в условиях той местности битвой. У потрепанной, но все же стремившейся к победе французской армии было еще достаточно сил для того, чтобы дойти от Бородина до Москвы, а русские солдаты, офицеры, лучшие генералы уже обладали такой решимостью, единой волей к победе, верой в свои силы и готовностью к самопожертвованию, что это делало их способными нанести смертельную рану непобедимой доселе армии Наполеона.

Таким образом, местность, которую я видел, не была главным фактором. Она помогла понять, на что оказался способен русский солдат и что двигало им.

Толстой отразил, говоря профессиональным языком, «морально-боевые качества» русского солдата и в других произведениях, прежде всего, пожалуй, в «Севастопольских рассказах». Эти морально-боевые качества — очень емкое понятие. Сюда входит все, начиная от физической стойкости до уровня боевой подготовки, от моральной закалки, от понимания целей борьбы и принятия их до воинской морали. Коснусь лишь одного слагаемого, к которому Толстой неоднократно возвращается, рисуя образы солдат. Я не могу найти для него более удачного определения, чем презрение к смерти.

В августе 1975 года я был в Севастополе со свежими впечатлениями от только что перечитанного рассказа «Севастополь в августе 1855 года». Толстой в одном месте писал: «Под стенкой держитесь, ваше благородие! — сказал солдат.— А что? — Опасно, ваше благородие; вон она аж через несеть,— сказал солдат, прислушиваясь к звуку просвистевшего ядра, ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы. Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел посередине улицы».

Участвуя в Крымской войне молодым артиллерийским офицером. Толстой, думаю, не раз ходил по улицам Севастополя. Наверно, он бодро ходил. Потому что вот это пренебрежение к опасности, полное отсутствие страха перед смертью у Толстого — отнюдь не признак незрелой дерзости, а еще менее того — хвастовства.

Может быть, я слишком много рассуждаю по данному поводу? Но эта лишь приблизительно очерченная мною особенность характера весьма ценна. В том числе и на войне. Кто хоть раз получил приказ — оставив укрытие, окоп, броситься в атаку, знает, что в бою трудно удерживать в руках управление даже отделением, взводом. Не говоря уже о полках, дивизиях, корпусах и армиях. А на поле боя тотчас же появляется ощущение полной беззащитности. Все виды оружия — пистолеты и винтовки, автоматы и пулеметы, минометы и орудия, авиационные бомбы,— весь этот ад обращен против меня. Где уж мне беспокоиться о других, если я сам в себе не уверен? Кто способен преодолеть это чувство, подчинить второстепенное главному — хороший солдат, хороший командир. (В 1944—1945 годах я видел советских солдат в бою, сражался вместе с ними. Я узнал много хороших солдат и хороших командиров.) Но и в мирное время упомянутая особенность имеет важное значение. Ведь многие беды, как правило, проистекают из-за того, что кто-то — в силу тех или иных черт своего характера —

как раз и уклоняется от самой важной, самой трудной задачи.

Ныне нередко приходится слышать, что верность действительности связывает руки художнику. Разве можно с этим согласиться? Мировая литература — именно в лице своих величайших представителей — уже дала на это ответ. Жизнь, действительность — единственный неисчерпаемый источник подлинного творчества.

Анна Зегерс

ГДР

Когда я была еще совсем молодой, много читала и вольно или невольно брала себе в учителя многих писателей, Толстой стал для меня подлинным, великим учителем, и я старалась находить в нем опору в тяжелые часы моей жизни. Образы людей, которых я находила у Толстого (а это ведь были у него — например, в «Войне и мире» — отнюдь не только лица из его непосредственного окружения), я воспринимала ясно и отчетливо, а реальные люди, мои близкие и знакомые, именно благодаря Толстому словно обретали своеобразный отсвет.

Вот пример. В первое время эмиграции, в 30-е годы, роман «Война и мир» настолько захватил меня, что я часто читала вслух моим детям — тогда еще совсем маленьким — сцену, в которой Кутузов узнает, что Наполеон оставил Москву. Не знаю, получили ли мои дети благодаря этому чтению веру в возможность свершения чуда. Читала я им также — со страстью и отчаянием, не особенно задумываясь об их возрасте и особенностях восприятия в этом возрасте,— о гибели Анны Карениной.

Много позже Илья Эренбург рассказал мне об одной девушке, которая в войну несколько месяцев пряталась от оккупантов в подвале и озаряла и ускоряла ход этих дней тем, что читала страницы из «Анны Карениной». А когда ее спросили: «Ты же говоришь, в подвале было темно, как же ты могла читать?» — она ответила: «Я знала роман наизусть».

Сейчас, в дни болезни, я перечитывала одно из произведений, давно уже ставших моими любимыми,— «Хаджи-Мурата». Я и сегодня рекомендовала бы эту повесть в качестве обязательного чтения для семинарских занятий, на которых изучается колониальная политика империалистических держав.

Долорес Медио

ИСПАНИЯ

Старый, дорогой граф!.. Тогда я еще не знала его как романиста. У меня, с головой ушедшей в учебу, не было времени для чтения его произведений. Однако он вторгся в мою жизнь, жизнь учительницы,— провозвестник Новой школы, как ее тогда называли.

Это были дни молодой испанской Республики. Нам, представителям молодого поколения, было поручено внедрение новой системы воспитания. В это время и попал в мои руки перевод педагогического журнала Толстого «Ясная Поляна», изданного в Париже, а также книга Шарля Бодуэна «Толстой-воспитатель», опубликованная в Нёшателе. Эти книги составили тогда основную часть нашего «рациона». По ним и по комментариям, посвященным Толстому и его педагогической системе, которые публиковались в разных журналах, я знакомилась с жизнью и творчеством великого писателя. В Толстом, как это часто случается с писателями, которых волнуют общественные проблемы их времени, сочетался романист и воспитатель. Так это и должно быть. Я не согласна с Оскаром Уайльдом и другими эстетами, защищавшими его мнение, что искусство совершенно бесполезно, а еще менее с тем, что таковым оно и должно быть. Напротив, искусство вообще, литература в частности, несет в себе двойную воспитательную функцию: социальную (открывать пути к созданию нового, лучшего мира) и эстетическую (воспитывать читателя, доставлять ему эстетическое наслаждение, украшать его жизнь). Занимать чисто эстетскую позицию, то есть «писать для критики», по-моему, неразумно. Наши великие романисты Гальдос, Кларин, Бароха не стояли на этой позиции, и, может быть, благодаря своему врожденному бунтарству и верности простому читателю, жаждущему подняться до их уровня и понимать их, они считаются корифеями нашей литературы.

Эта черта воспитателя масс была первой из черт облика Льва Толстого, которую я узнала. Позднее, познакомившись с его произведениями, я была удивлена тем, что они точно отражают его мысль или, говоря другими словами, что он всей своей жизнью отвечал за свое творчество. Это созвучие жизни и творчества меня восхищало, как всегда восхищали честные люди, отдающие всю жизнь защите высоких идей. Редкая самоотдача, страстность в отстаивании своих идей являются, может быть, главной чертой настоящего писателя. Толстой не был только теоретиком. Он основал знаменитую яснополянскую школу и

литературно-педагогический журнал, он выступал со статьями, в которых излагал суть тех педагогических методов, которые разрабатывал. Все это подтверждает полную отдачу писателя своему делу. Ясная Поляна была отличной лабораторией для испытания его педагогических методов, которые затем широко применялись, а порой служили вдохновляющим примером для так называемых Новых школ.

«Толстовский дух,— пишет Бодуэн в упомянутом произведении,— проявился в России в интересных педагогических экспериментах, проводимых отдельными людьми. Новые школы в других странах не были доступны детям трудящихся, а только баловням судьбы, в России же после революции 1917 года возникают народные школы типа яснополянской, своей предшественницы». Влияние Толстого хорошо прослеживается в новых коммунистических школах. «Воспитательная концепция Луначарского,— замечает Лоуренс Фильо,— взявшего на себя задачу реорганизации школы после революции, большинству его последователей кажется счастливым сочетанием «реализма» Толстого с американским «прагматизмом».

Поэтому на вопрос «Что дает Вам общение с художественным миром Толстого?», обращенный к современным романистам, мы должны честно ответить: его прекрасные произведения — огромный вклад в литературу. Они — пример нравственного и социального начала; их автор — человек с ясной позицией, заботящийся о воспитании масс, что является долгом каждого писателя — художника и гражданина.

Ярослав Ивашкевич

ПОЛЬША

Художественный мир Толстого дал мне так много, что даже трудно сформулировать, чем я ему обязан. Мир этот так огромен, так обширен, что вряд ли его можно охватить мыслью.

Мир Толстого — это громадное пространство, заполненное множеством живых людей, порой очерченных всего лишь несколькими штрихами, но всегда живых, действительно существующих, о которых думаешь как о знакомых, об иных даже как о друзьях. И это знакомство совершается совсем естественно, без какой-либо назойливости или навязчивости. Я знаю, что не навязываюсь им, они же радушно принимают меня в свою среду, удивительно обогащая мои знания о людях.

Да, это громадное пространство. Однако пространство не нейтральное — фон, на котором Толстой рисует своих героев, никогда не бывает нейтральным, никогда не бывает бесцветным. Люди у Толстого существуют в реальном пространстве: они действуют в определенной обстановке, их окружает мир определенной природы. Чаще всего — русской.

Картины, изображенные Толстым, поражают своей жизненной правдой, и в то же время их всегда отличает художественная завершенность.

Возьмем, к примеру, сцену с купающимися солдатами. Она захватывает нас своим реализмом, своей правдивостью. Вместе с тем эта сцена написана как знаменитые фрески Леонардо или Рафаэля, в ней свет искусно чередуется с тенью, обнаженные тела образуют живописные группы.

И все-таки я ни на миг не забываю, что вскоре именно эти тела, разорванные снарядами, обагренные кровью, упадут на поле сражения или будут искромсаны примитивными хирургическими инструментами, как в той памятной сцене, когда ампутируют ногу Анатолю.

Эта наглядная предметность образов Толстого, его неизменная конкретность, его восхищение действительностью, человеческим телом — отнюдь не чувственное, а чисто художественное — всегда тесно связаны с самой сутью изображаемого, с тем, что таит в себе это тело или предмет, что они определяют, какова их роль и как глубоко они проникли в наше сознание.

Приверженность действительности и умение видеть ее изначальную основу и разнообразные ее проявления — вот в чем всепобеждающее, непреходящее очарование Толстого. Умение нащупать связь между явлениями прошлого и будущего — это ценнейшее свойство человеческого ума и чувства — мы обретаем благодаря великому искусству Толстого.

Фернандо Намора

ПОРТУГАЛИЯ

Толстой — один из наиболее популярных и читаемых в нашей стране писателей, представляющих мировую литературу; можно сказать, что португальская культура сложилась не без его влияния; впрочем, у нее вообще много точек соприкосновения с русской культурой.

Следует ли считать это явление случай-

ным, особенно если иметь в виду все то, что с точки зрения географической нас разделяет, и вспомнить, как редко скрещивались пути развития наших двух народов? Думается, что не стоит удивляться этой известной схожести, она более оправданна, чем может показаться на первый взгляд.

Всякое подлинное произведение искусства, и пример Толстого это отлично подтверждает, характеризуется открытием целого мира, для «познания» которого у писателя имеются собственные средства художественной выразительности. Вот почему это произведение неповторимо, и не только выбором материала, но и манерой подачи. К тому же всякое художественное произведение представляет собой пеструю мозаику связей со многими другими произведениями, и специфика его в том и состоит, что автор по-своему использует общие параметры. Существует своего рода социология литературного творчества, связанная с историческими горизонтами, которые не всегда совпадают с горизонтами географическими. Следовательно, литературное произведение, будучи самостоятельным и неповторимым, находится в то же время в тесной связи с целым рядом книг, выделяющихся сходным восприятием климата эпохи и окружающей обстановки, сходным решением поставленных в них проблем. Это означает, что в большинстве произведений, с большей или меньшей отчетливостью, можно различить, с одной стороны, влияние современного писателю поколения, а с другой — кровное родство с далеким по расстоянию и нередко по времени художественным произведением. В русле самой истории литература отрабатывает сюжеты и шлифует их по типам, на которые накладывают отпечаток контекст, личность автора, а также те жизненные условия, что делают сходными произведения искусства, на первый взгляд резко отличающиеся друг от друга.

Творчество Толстого представляет собой монументальный литературный мир, неиссякаемый источник, из которого мы все должны постоянно черпать вдохновение, но это и не менее впечатляющий человеческий документ. И возможно, именно то, что несет в этом документе отпечаток противоречий жизни, эмоционально окрашено, возвышенно и чарует португальского читателя наиболее сильно. Глубочайшая драма Толстого, контраст между стремлением к моральной чистоте и погружением в сточные канавы жизни придают ему величие, а португальцы — народ, склонный к драматизму: вся галерея разнообразных толстовских персонажей — от господина до слуги, от расточителя до скупца, от идеалиста до человека расчетливого, от неистового до непротивленца — удивительным образом соответствует сложной португальской действительности. Солдат, ненавидящий войну, аристократ, стремящийся быть скромным выразителем интересов народа, грешник, жаждущий искупления,— это несоответствие между убеждениями и поступками и составляет плоть и кровь творчества Толстого. Напряженное биение пульса жизни одного человека и всего мира, извечная борьба света и мрака, добра и зла в прозе Толстого находят особый отклик у весьма впечатлительных португальских читателей.

Для всех нас Толстой — это тот писатель, который сражался ежечасно против своих внутренних демонов, вел непрекращающуюся борьбу с несправедливостью — с власть имущими, с лицемерами, со всеми теми, кто словом и делом отравлял очарование жизни, жизни, любимой им с таким пылом и таким возвышенным чувством жертвенности. Для писателей, независимо от того, где они живут и творят, Толстой остается образцом художника, слившего литературу с действенным вмешательством в мир людей, художника, который обогатил свое искусство даром кропотливого наблюдения, способностью психологического анализа и возвышения событий до степени эпопеи, сложной простотой архитектоники произведения и языка. Он не пренебрегал всем тем, что необходимо романисту для наибольшей выразительности,— искренностью, остротой реплик, красноречием, сделавшими живыми и доступными творения этого гения человечества.

Если его дом в Ясной Поляне свидетельствует о всегда сопутствовавшей ему скромности, то все творчество его отражает духовное начало, которое разрушает интеллигентские башни из слоновой кости, дабы литературное произведение смогло достичь земли, откуда оно взяло начало.

Эрскин Колдуэлл

США

Человек, прочитавший Толстого, выносит из этого события своей жизни ощущение, что он обрел какую-то новую проницательность, больше стал понимать и сама мысль его стала масштабнее. Толстой подарил своим современникам и последующим поколениям читателей неподражаемые шедевры, будящие мысль, волнующие и всесторонне обогащающие.

Роберт Крайтон

США

В течение многих лет мир Льва Толстого не был мне доступен. Из-за него мой мир был уже и мельче. Виноват в этом был мой отец, писатель-сатирик, сотрудничавший в левых журналах, предназначенных для интеллектуалов, и мечтавший по-настоящему о больших темах. Хотя он зарабатывал на жизнь пером — и очень хорошо зарабатывал,— он не желал называть себя писателем.

— Это слово,— говаривал он,— принадлежит гигантам, великим творцам: Толстому, Достоевскому, Диккенсу, Мелвиллу, Гёте.

Он был твердо убежден, что писать следует, только если ты способен создать шедевр, иначе это бесполезная трата собственной жизни.

— Будь ты художником, неужели ты был бы доволен, если бы всю жизнь ограничивался лишь мелочами? А ведь подавляющее большинство писателей только этим и занимается, просто это не так заметно. Послушай моего совета: попробуй писать как Толстой или займись раскраской пасхальных яиц по русскому обычаю. Я бы на твоем месте не смирился с тем, чтобы навсегда остаться пигмеем.

В результате, хотя я мечтал стать писателем и чувствовал, что обладаю писательским дарованием и интуицией, я смертельно боялся испытать свои силы. Ну, а что касается Толстого, так я видеть не мог ни «Войны и мира», ни «Анны Карениной» — ведь они знаменовали стоящую передо мной задачу, были тем, с чем мне предстояло соперничать, тем, что считал образцом мой отец, которого я любил и уважал. Из самых лучших намерений, памятуя о собственных обманутых надеждах и мечтах, мой отец парализовал меня. Мало-помалу я возненавидел Льва Толстого — разумеется, потому, что его не знал.

Я писал — ведь мне надо было зарабатывать на жизнь, а ничего другого я делать не умел — только пустячки для журналов: безобидные рассказы и статьи. Я целился так невысоко, что никто не мог бы обвинить меня в соперничестве с великими творцами. Я раскрашивал пасхальные яйца.

Не помню уж, почему я в конце концов взял в руки книгу Толстого и как у меня хватило духу (я даже не видел ни одного фильма, снятого по роману). Это была «Анна Каренина». Но зато я помню, что, когда закрыл книгу, уже рассвело и взошло солнце: я читал всю ночь напролет, не в силах оторваться.

И меня охватила радость. Талант Толстого, могучий полет его мысли и духа не сокрушили меня, а освободили. В этой книге не было ничего такого, с чем я так или иначе не встречался бы в собственной жизни, чего бы не ощущал. Как говорил сам Толстой, искусство проистекает из основ человеческой натуры, а эти основы незыблемы. Что же, ведь я — человек.

В то утро я осознал, что мне вовсе не надо быть Львом Толстым — стать Львом Толстым я не мог, и стремиться мне следовало только к тому, чтобы дать все, на что способен Роберт Крайтон. Этим исчерпывался мой долг перед самим собой и перед миром. Но я узнал и многое другое. В книге не было никакого литературного штукарства, никаких особых приемов, чтобы угодить элите или снискать одобрение посвященных. Построение романа, его стиль отличались простотой, глубокой и освежающей, рожденной искренностью. Какую уверенность черпает из этого всякий писатель! Конечно, тут действовал колоссальный талант, подкрепленный неуемной энергией, но за ними скрывалось, вдохновляло их, придавало им смысл человеческое сердце. А сердце есть и у меня. Остальное же всего лишь вопрос степени. Он видел шире, чувствовал глубже, но и я способен видеть, способен чувствовать; если меня оцарапать, у меня пойдет кровь [1].

Открытие, что Толстой был человек, великий человек, но человек, а не бог — литературный бог, было и продолжает быть очень важным для меня. Когда книга у меня не получается, как, например, теперь, я часто обращаюсь к произведениям Толстого и вижу, как просто и прямо он выражает то, о чем хочет сказать читателю. Судьбы его персонажей сложны, сложной может быть и его мысль, но подход к ним всегда ясен, прям, искренен и человечен. И я возвращаюсь к своей работе с новыми силами, успокоенный и, главное, ободренный. Ободренный убеждением, что, если я постараюсь смотреть на вещи со всей честностью, на какую способен, а потом выражу их со всей прямотой, на какую способен, созданное мной, возможно, не будет великим — кому нужен этот ярлык, это бремя! — но, во всяком случае, отражением лучшего, что есть во мне, а в конечном счете ничего больше дать миру я не могу.

Я всегда понимал это, но чтение Толстого укрепило мое убеждение. Когда оно ослабевает и мной овладевает желание писать, как пишут другие — подражать, обезьянничать, следовать моде и последним течениям, я возвращаюсь к Толстому и другим великим писателям и вновь нахожу путь к источнику всей литературы — к человеческому сердцу, человеческой жизни. Я краснею, вспоминая мое желание угодить читателю, трюки, к каким иногда прибегаю, и вновь берусь за работу.

---

[1] Парафраз цитаты из «Венецианского купца» В. Шекспира, акт III, сцена 1.

Анри Труайя

ФРАНЦИЯ

Кто такой Толстой? Как ответить на этот вопрос? По-моему, одного Толстого не существует. Их не меньше сотни, и все они переплелись в одном человеке. И каждая часть его «я» постоянно вступает в противоречие с другой. Он хотел бы быть аскетом, но горячая, требовательная кровь до самой старости не позволяла ему предаться духовным радостям воздержания. Он хотел бы познать блага бедности, но не осмеливался подвергать лишениям свою семью. Он хотел бы превратить свое имение Ясную Поляну в пустыню, но чем более проповедовал он отрешенность и одиночество, тем больше почитателей его окружало. Он хотел бы быть отлученным от церкви: она предала его анафеме, но слава его после этого только возросла, и весь цивилизованный мир с еще большей силой восхищался его талантом. Он хотел бы быть осужденным и изгнанным, как многие его последователи, но царь не решался признать его ответственным за тот дух неповиновения, который он пробудил своими книгами. Физические мучения, нищету, невзгоды душевные, тюрьму, каторгу — все, что Достоевский познал на опыте, вовсе того не желая,— Толстой добивался сам, тщетно стараясь стать мучеником.

Если драма некоторых преступников заключается в том, что они уходят от кары, то драма Толстого — в том, что он не мог уйти от материального благополучия, которое отрицал. Человек, который чувствует себя несчастным потому, что он счастлив! Не правда ли, неплохой сюжет для размышлений в нашу эпоху, когда материальные блага стали культом? Толстой, по-моему, велик не столько учением, которое он нам оставил, сколько страданиями, которые он перенес, пытаясь воплотить это учение в жизнь, не столько стремлениями к истинам небесным, сколько удивительным знанием земли. Стефан Цвейг писал, что когда читаешь Толстого, кажется, что ты смотришь сквозь окно на реальный мир. И действительно, каждая его страница захватывает читателя поразительной верностью деталей. Такая верность показывает, что жизнь в этих персонажей вдохнул не творец, опьяненный своим всемогуществом, а трезвый и внимательный наблюдатель, который просто и свободно рассказывает о том, что он увидел вокруг себя.

Такой мастерской простоты Толстой достигал упорнейшей работой, свидетели тому — исчерканные рукописи. Он испещрял их пометками. Какая-нибудь ненужная фраза или чересчур утрированный образ могли повергнуть его в такой ужас, что, уже отослав корректуру издателю, он просил задержать печатание до получения его указаний. Лишенная каких бы то ни было художественных ухищрений, эта проза неподвластна моде. Она не имеет возраста, она не стареет, она несокрушима. И сверх того, она — в точном смысле слова — проста. В Толстом не было ничего от ясновидящего. Его герои не бьются в мистической лихорадке, как герои Достоевского. Его произведения, в отличие от произведений Достоевского, не пронизаны молниями пророчеств. Читая Достоевского, словно чувствуешь, как автор задыхается, захваченный неутолимой страстью. Читая же Толстого, слышишь ровное дыхание человека, идущего спокойным шагом по широкой дороге под ярким полуденным солнцем. Если изобразить творчество Достоевского графически — это зигзаги, творчество же Толстого — прямая линия. Ни на миг его мысль не уходит за грань того, что доступно ему. Пределы его опыта и его размышлений — это наши пределы. Но он более глубоко, чем обычные люди, ощущает потребности всего сущего. Он с равной силой регистрирует ощущения охотничьей собаки, учуявшей дичь, и юной девушки на ее первом балу. Пишет ли он о сенокосе, раненни князя Андрея или о гибели Анны Карениной, это тысячи научно-точных наблюдений над психологией своих персонажей. Сами эти персонажи, собственно говоря, вовсе не исключительны. Но не состоит ли высшая заслуга Толстого именно в том, что он навеки запечатлел в нашем сознании тех, кто не вызвал бы у нас ни малейшего интереса, если бы мы встретили их наяву? За свою долгую жизнь Толстой успел изведать все: он был гулякой, игроком, солдатом, помещиком, мужем, отцом, послушным сыном церкви, ниспровергателем религии, пророком, аскетом, ловеласом, педагогом, кудесником, хулителем искусства и гениальным писателем. В этом разнообразии его сила. Все человечество узнает себя в его творениях, ибо он сам вмещал в себя то, что присуще всему человечеству.

Арман Лану

ФРАНЦИЯ

Тридцатипятилетний человек, приступающий к работе над «Войной и миром» — величайшим своим произведением,— беспокойный барин, сельский помещик, русский, которого переполняет «русскость». Несмотря на карточные

проигрыши и беспорядочную жизнь, он может не заботиться о материальных проблемах. Но его беспокоит кое-что в мироустройстве. Он плохо чувствует себя в этом мире. Его мучит больная совесть. Физически крепкий и здоровый, офицер, охотник, прекрасный наездник, человек с языческими вкусами, он относится к своему телу с уважением — а это редкость в ту эпоху. Он холит, лелеет и развивает его, он занимается гимнастикой на различных снарядах. Однако он считает себя уродливым. В действительности же внешность его хотя и не красива, но своеобразна. Знаменитая борода еще не стала тем спутанным снежно-белым лесом, который сохранят для нас его последние портреты. Все в нем производит впечатление скорее мрачное и львиное, вполне соответствующее его имени—Лев Толстой. Широкий нос, чувственный рот, крупные уши, высокий лоб говорят о могучих инстинктах. Подбородок и скулы — выступающие, щеки — впалые. Общее впечатление — тревожное.

Взгляд этого человека, который в грядущем будет прославлен на весь мир своей добротой, суров. Почему? Кажется, что он ищет себя где-то за пределами, положенными обычным людям, допрашивает себя, копается в своей душе, даже презирает себя.

В двадцать пять лет он уже говорил себе: «Раз навсегда надо привыкнуть к мысли, что я исключение, что или я обогнал свой век, или — одна из тех, несообразных неужившихся натур, которые никогда не бывают довольны» [1]. Он смутно понимает, что в нем сосуществует и то и другое. Возникает разлад между нарочитой «доступностью» романа, легкостью, с которой стремится писатель, жаждущий завоевать как можно более широкую публику для распространения своих идей, и загадкой личности автора.

Чтобы представить себе, как жил и работал творец «Войны и мира», надо увидеть его в Ясной Поляне, близ Тулы, в двухстах километрах к югу от Москвы. Между кожаным диваном, на котором мать рожала его, и его собственной могилой в тени деревьев Толстой и стал Толстым — стариком с необычным лицом, покрытым густой сетью морщин, отражающих сомнения, угрызения, печали, тревоги и противоречия, которые его жизнь углубляла, вместо того чтобы сглаживать.

Толстой со всеми своими пороками, которые были столь же велики и разнообразны, сколь велик его гений,— это первый «гражданин мира»; и тем не менее ни один русский никогда не уходил своими корнями столь глубоко в «русскость» — даже Гоголь, даже Достоевский, которого он считал слишком далеким от реальности; он был русским до преувеличения и написал для себя кредо, от которого сам же постоянно отступал:

Не впадайте в гнев.
Не клянитесь.
Не противьтесь злу насилием.
Не прелюбодействуйте.
Не воюйте.

Во времена «Войны и мира» это был крепкий мужчина с военной выправкой, который каждое утро упражнялся с гантелями и бегал в парке. Доказательством его исключительной жизненной энергии служит тот факт, что в шестьдесят лет он трижды, в 1886, 1888 и 1889 годах, прошел пешком из Москвы в Ясную Поляну ради подлинного или притворного — а вернее, и подлинного и притворного — самоуничижения и самоистязания. И однако, проходя по Туле, где березы отражаются в серебряной реке, он не мог удержаться и искоса бросил взгляд на те жаркие улицы, где молодым офицером кутил с цыганами.

Мы видим, как Толстой работает над своим бесконечным романом, сидя на стуле с укороченными ножками, чтобы близорукость не заставляла его нагибаться. Он пишет целыми днями или диктует свояченице Тане, расхаживая по огромному дому, разделенному на бесчисленные маленькие комнатки согласно тогдашней русской моде, которая совершенно не умела найти правильное соотношение между кабинетом и сторожкой. Вот он перед нами, Толстой, в солнечный день конца зимы, в этом специфически русском отсвете заснеженных холмистых полей, окружающих Ясную Поляну, или в акварельные дни весны, когда деревенские девушки приходили сюда собирать первые фиалки, или в прекрасные летние вечера, когда они пели, усевшись в кружок около березы.

Теперь это колхозницы, слышны их смех, их песни, там тот же пруд, весь укрытый шумящей листвой; и плетеная хижина, служившая купальней; и яблони, которые велел посадить сам Толстой.

Этот человек, достигший ко дню окончания «Войны и мира» середины своей жизни, заключил перемирие с самим собой. Теперь он относится к себе с определенной терпимостью. Но не будем обманывать себя — это всего лишь «брак по расчету». С самого детства делом чести для него было познать самого себя. Наконец он себя познал. И он себе не нравится! В нравственном отношении еще меньше, чем в физическом. Он яростно отвергает свое прошлое, полное мерзостей, которые он, впрочем, склонен преувеличивать. Его натура слишком сильна, слишком порывиста, слишком богата, и воля, хотя и крепкая, недостаточна для того, чтобы держать в узде его страсти.

Таков автор «Войны и мира» — человек угрюмый и мрачный, живущий в беззаботном и взбалмошном окружении, к которому он приспосабливается и о котором можно было бы сказать, что оно заставляет вспомнить «Сон в летнюю ночь», если бы

[1] Дневники. 3 ноября 1853 г., т. 46, стр. 191.

такое сравнение с Шекспиром не выводило его из себя.

...Лев Толстой держит в руках последний том «Войны и мира», только что напечатанный, еще пахнущий типографской краской. Солнце за окном освещает сыпучие снега. Крупные ноздри его раздуваются. Он выпрямляется во весь свой невысокий рост. Он смотрит в окно — на Россию, на снега и березы. И внезапно ощущает себя пустым, как эти зимние поля...

Зденек Плугарж

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Хемингуэй где-то сказал: «Я начал весьма скромно — победил Тургенева. Потом — и мне это стоило больших усилий — победил Мопассана. Со Стендалем дважды выходил вничью, но в последнем раунде, полагаю, выиграл по очкам. Однако ничто не заставит меня выйти на ринг против Толстого, разве что я сошел бы с ума или достиг несравненного совершенства».

Я думаю, что если говорить об оценке величины Льва Толстого как писателя, то Хемингуэй выразил мнение подавляющего большинства литераторов всего мира. Если задуматься над тем, чем Толстой больше него повлиял на меня с точки зрения профессионально литературной, то я бы сказал, что прежде всего огромным нравственным пафосом его произведений, мужеством, которое начинается там, где человек забывает о себе во имя других людей, во имя дела, которое он отстаивает. Я уважаю его за глубокий патриотизм, неразрывно связанный с любовью к народу и русской природе. Едва ли найдется писатель, которому бы не импонировала толстовская гуманистическая концепция мира и человека, его уважение и любовь к правде, то, что в простых людях и природе он видел самый высший критерий, от которого он не отказался в течение жизни, несмотря на изменение его мировоззрения. Со страниц произведений Толстого к людям обращается стомиллионная масса тогда еще патриархального угнетенного русского крестьянства, неизбежно движущегося к взрыву 1905 года, воплощенная в точнейшим образом вылепленных индивидуальностях.

Бесспорно, Ленин с полным основанием увидел в его позиции зеркало зреющей русской революции.

Как писатель Лев Толстой для меня недостижимый пример способности художественного анализа повседневной жизни, проникновения в суть явлений и вещей, способности нырять на самое дно человеческой души. А также способности влиять на читателя — несмотря на совершенно другую эпоху и другие общественные формации — избытком жизненной и творческой энергии, полнотой своего бытия. Если говорить о творческой лаборатории в узком смысле слова, я учился у него не связывать героев заранее созданиой жесткой фабулой, а наоборот, позволять им в процессе создания книги логикой характеров влиять на автора и вынуждать его к другому, непредвиденному развитию их судеб и их натур во имя жизненности.

Каждый писатель, признает он это или нет, в своей работе, в нравственном плане или подсознательно, опирается на творческое наследие корифеев предшествующих эпох. Яркая звезда художественного и идейного наследия Толстого будет сиять над миром, покуда он будет населен читателями.

◆

Критика

А. МУЛЯРЧИК

ВОЙНА И МИР ДЖЕЙМСА ДЖОНСА

Вторая мировая война, столь повлиявшая на судьбы человечества, с огромной силой воздействовала на творческое сознание писателей разных стран мира. С каждым новым десятилетием неиссякающий поток художественной, документальной, мемуарной литературы о днях войны оставляет все более глубокий и яркий след в духовном развитии советского общества. Важное место военная тема заняла и в литературе Соединенных Штатов Америки. Уже во второй половине 40-х годов там сложилась школа «военных романистов», объединившая молодых талантливых прозаиков — для многих из них успешный дебют стал предвестием примечательной литературной карьеры.

К началу 60-х годов в США наметился новый всплеск интереса к проблеме «человек и война». Как раз в это время увидела свет знаменитая «Уловка-22» Хеллера, были напечатаны наиболее значительные «военные романы» Херси, Майрера, Стайрона, Пауэлла — почти все эти книги переведены на русский и другие языки народов СССР. Но вот минуло еще 10—15 лет, и — усилиями официозной печати и других средств обработки общественности в Соединенных Штатах — возобладало мнение, что у современных, целиком поглощенных повседневными заботами американцев проблемы, а тем паче уроки не очень отдаленного прошлого не вызывают уже сколько-нибудь заметного интереса. «В глазах большинства моих соотечественников вторая мировая война предстает ныне малозначащей абстракцией главой из полудревней истории, драмой, разыгранной на отдаленных подмостках»,— писал в своей весьма тенденциозной книге «Русские» (1976) журналист Х. Смит, а его коллеги из «Нью-Йорк таймс», развивая мысль о разнице в советском и американском отношении к великой войне, утверждали, что эта страница минувшего (в США) «забыта почти всеми, за исключением профессиональных историков и беллетристов».

Беллетристы, как и историки, бывают, однако, разные: ура-патриотическому направлению в американской историографии соответствует и известное число последовательно конформистских по своему идейному звучанию квазихудожественных сочинений, которые регулярно публикуются в США. Среди их авторов можно особенно выделить Германа Вука, одного из наиболее активных (следует признать, усердно читаемых) поборников внешнеполитических доктрин американского правящего класса. Как «военный романист» Вук дебютировал еще в 1952 году «Восстанием на «Кейне», а в 70-е годы он вновь обратился к знакомой теме. Его роман «Ветры войны» (1971) — первая часть многотомной, рассчитанной на дальнейшее продолжение эпопеи — ставил целью в подчеркнуто одностороннем освещении донести до массового читателя в США дипломатическую и военную историю мирового конфликта.

Знакомясь с «Ветрами войны» (тираж этого романа только на родине писателя превысил три миллиона экземпляров), сразу же замечаешь, что персонажи Вука — как реальные, так и вымышленные лица — действуют не в соответствии с внутренней логикой художественного произведения, а на основании хорошо известных доктрин буржуазных идеологов. Характер-

но, что главный герой книги, американец Виктор Генри, созерцает войну исключительно сидя в кабинетах государственных деятелей и штабных помещениях, словно с высоты птичьего полета следя за интригами политиков и замыслами стратегов. Ограничившемуся рассказом о столь элитарной сфере Вуку, разумеется, было гораздо удобнее оперировать общими тезисами и слегка «сдвинутыми», а по сути фальсифицированными данными, например, о послуживших прелюдией к войне событиях весны и лета 1939 года, о взаимоотношениях СССР и Германии на протяжении двух последующих лет, о нелегком процессе создания антигитлеровской коалиции.

Но не литераторам официозного толка принадлежит в США наиболее веское слово в художественной интерпретации памяти о второй мировой войне. Писателем совершенно иных воззрений, неизмеримо превосходящим Вука по масштабу художественного дарования, зарекомендовал себя Джеймс Джонс (1921—1977), которому с бо́льшим основанием, чем кому-либо другому, можно было бы присвоить титул ведущего в США «военного романиста», хотя далеко не все его книги имели непосредственное отношение к изображению военных действий.

В отличие от буржуазных публицистов Джонс неизменно был убежден в том, что в забвении великих испытаний повинны не только законы человеческой памяти. Дело в сознательном умолчании, а то и в искажении прошлого, полагал он: «Минувшие годы навели на события второй мировой войны глянец и отполировали их порой до неузнаваемости». И одной из главных причин свершившегося является, по мнению Джонса, то обстоятельство, что в Америке «история пишется представителями высших классов исключительно для собственного употребления», и поэтому, в частности, она «дает широкий простор стратегам, тактикам и теоретикам, но лишь в самой минимальной степени позволяет судить о мыслях и чувствах солдат, обросших, быстро постаревших, взятых в армию из бедняцкой среды и волей командования брошенных на переловую».

Джеймс Джонс сам носил солдатскую форму, причем ему суждено было оказаться в числе тех застигнутых врасплох американцев, на чьи головы 7 декабря 1941 года посыпался град бомб с японских самолетов, атаковавших военно-морскую базу Пирл-Харбор. Через несколько месяцев роту, в которой служил двадцатилетний пехотинец, перебросили с Гавайев для штурма слывших неприступными японских укреплений на Соломоновых островах. Там, в ходе боев за Гуадалканал, он был дважды ранен и после долгого лечения вернулся в Соединенные Штаты. Боевой опыт Джонса не был продолжителен, но впечатления оказались столь яркими, что их хватило на долгие годы — вплоть до книги, которой писатель незадолго до своей смерти откликнулся на тридцатилетие разгрома Японии и Германии. Называлась она подчеркнуто просто — «Вторая мировая война» (1975).

Последняя прижизненно изданная книга Джонса — не роман, а документированный и лишь в незначительной степени опирающийся на личный опыт репортаж о четырех годах сражений, в которых США участвовали на тихоокеанском, африканском и европейском театрах военных действий. Но не стремлением к «всеохватности», а скорее особым ракурсом писательского зрения эта книга, помимо прочего, отличается от сочинений Г. Вука, К. Райена и других апологетически настроенных авторов. Показателен уже ее подзаголовок «Хроника солдата», а точнее — «солдатчины». Как и четверть века назад в первом своем романе «Отныне и во веки веков» (сокращенный русский перевод — «Отсюда и в вечность», 1969), Джонс чувствует себя прежде всего «одним из...» — крошечной частицей огромного многоголового организма, товарищем в борьбе, радостях и несчастьях каждого «Томми Аткинса» (это обобщенное солдатское имя закрепилось в англоязычной литературе со времени Киплинга), облаченного на сей раз в обмундирование американской армии.

«Вот он стоит — когда-то желторотый, а теперь совсем заматерелый пехотинец или танкист, в пропотевшей и оттого сделавшейся непромокаемой форме, готовый изо всех сил сражаться за свою жизнь, а если придется отдать ее, то по самой дорогой цене». Таков портрет героя не только этой книги Джонса, но и всех его «военных» повестей и романов, обобщенный образ, выдержанный далеко не в восторженных тонах, не просящийся, быть может, на помпезное полотно, но зато в высшей степени достоверный и убедительный. Во «Второй мировой войне» тезис «ординарности» американского солдата особенно заострен, и работа во многом стала для писателя (как говорилось в издательской аннотации) «книгой-итогом, взглядом в прошлое, воскрешающим веселье, дух приключения и смертную тоску, всю глубину пережитого каждым, кто либо сам побывал на войне, либо много слышал о ней».

Ведя счет битвам и высадкам, покоренным островам и освобожденным странам, Джонс особенно выделяет «внутренний», психологический аспект военного конфликта, то, что он называет «эволюцией солдата». Участие в войне — это несколько рубежей, на которые выходит истерзанная душа человека в военной форме. Вначале возникает оглушительный шок как результат казарменной муштры и первого столкновения с реальностью пролитой крови, затем следует самая низшая точка смирения с мыслью о смерти, и лишь гораздо позже, когда война стратегически уже выиграна, в сознании забитого, изверившегося, но все-таки уцелевшего рядового пробивается первый слабый росток надежды. Полностью перевоплощаясь порой в своего анонимного героя, Джонс пишет о «муках безвестности», одолевающих

моряка или пехотинца до той поры, пока имя его не будет вытиснено на продолговатом цинковом ящике, в котором останки погибшего начнут свой далекий путь в Соединенные Штаты. «Конечно, с такой перспективой тоже можно смириться,— замечает автор,— но уже сама мысль об этом так иссушает душу солдата, что он становится непохожим на самого себя — навсегда или, по меньшей мере, на очень долгие годы».

Оценивая многие факты минувшей войны и войну как таковую с позиции своего «ординарного» персонажа, Джонс вместе с тем эпизодически, но зато в самых важных, композиционно особенно выигрышных местах прибегает к авторскому комментарию. И выясняется, что взгляды прозаика далеко не тождественны складывающимся подчас стихийно представлениям солдатской массы. Известно, что освободительный смысл второй мировой войны не всегда до конца осознавался американцами, и в мыслях многих из них, вчерашних безработных, немало хлебнувших из горькой чаши житейских тягот и унижений, ее содержание было окрашено порой в пессимистические тона, совершенно иные, нежели восприятие войны их союзниками на Восточном фронте. Что же касается точки зрения Джонса, то ей в значительной мере присущ подлинный историзм. Корни опустошительной войны писатель усматривает не столько в неподвластных разуму «темных началах» человеческой психологии, сколько в объективной реализации «вселенского зла», принявшего вполне конкретные формы фашистской идеологии и практики. «Продуманным, организованным варварством» нарекает Джонс фашизм; одним из проявлений чудовищного «заговора против всего мира» явилось, по мнению автора, и нападение Германии на Советский Союз — это следствие «безумных амбиций Гитлера».

Столь же определенно звучит голос писателя и при рассмотрении вопроса о степени внутренней «вовлеченности» в войну миллионов американцев, внезапно поставленных перед фактом резкого перелома в их судьбах. Поднимаясь до принятия критерия классовости, Джонс решительно расправляется с мифом о безграничном и якобы внесословном одушевлении, охватившем Америку после атаки на гавайскую бухту. «В то время как бедняки,— пишет он,— и даже некоторые представители состоятельных кругов толпились у призывных участков, другие (и их было немало) прикидывали с не менее пламенным чувством патриотизма, какую выгоду можно извлечь благодаря переходу нации от мирной жизни к военному укладу». И в то же время участие в антигитлеровской коалиции для рядовых американцев не было просто результатом стечения обстоятельств или прихоти отдельных лиц. «По-видимому, никто тогда не выступал против правительственной политики, и не потому, что это была политика данного правительства, а потому, что она диктовалась волей всего человечества»,— так, справедливо и корректно, разрешает Джонс основной вопрос, возникавший в США перед каждым, всерьез писавшим на «военную тему», вопрос об отношении американцев к войне, которая все долгие четыре года шла за тысячи миль от их родного дома и, как казалось иным несведущим или безразличным, не имела прямого отношения к жизненно важным интересам нации.

Заключительной фазой второй мировой войны датируется у Джонса возникновение в Соединенных Штатах весьма специфической и зловещей тенденции, ведущей к дальнейшему сужению прав и возможностей отдельной личности. Американские генералы, считает он, все в большей степени ориентируются не на личные качества бойцов и даже не на вооружение, а на фактор организации, на «военный менеджеризм», почти полностью устраняющий человека из соотношения сил. Подобные милитаристские построения в полной мере возымели силу позднее, во времена корейской войны и в особенности военных действий в Индокитае. Во второй половине 60-х годов требование полной подчиненности человеко-единиц нуждам безликой военной машины обрело «классические» по своему бездушию формы в концепциях профессиональных «ястребов» типа Р. Макнамары и М. Банди, сыгравших особенно зловещую роль в эскалации вьетнамской авантюры.

Мысль о том, что война — часть индустрии, продукт «большого бизнеса» (или «военно-промышленного комплекса», как стали говорить впоследствии), составившая итоговый вывод книги-эссе, возникала у Джонса еще в пору работы над произведением, принесшим ему громкую славу и сразу же выдвинувшим его автора в первые ряды современных американских прозаиков. Роман «Отныне и во веки веков» (1951) был охарактеризован прогрессивным американским литературоведом М. Гайсмаром как «отличное, глубокое произведение», а консилиум критиков, собравшихся осенью 1962 года для обсуждения вопроса «Кто займет место Фолкнера и Хемингуэя в американской литературе?», указал на Джонса как на одного из максимально вероятных продолжателей реалистической традиции. Молодому писателю, демобилизованному после ранения и безвылазно просидевшему несколько лет за пишущей машинкой в родном иллинойсском захолустье, действительно удалось ближе, чем кому-либо из его поколения, подойти к реализации извечной мечты каждого пишущего в Соединенных Штатах — созданию Великого американского романа. Задача, которую поставил перед собой Джонс (а одновременно с ним, в романе «Нагие и мертвые», и его ровесник Норман Мейлер), была поистине титанической: подвести итог идей-

но-художественным исканиям писателей США в 30-е годы и перекинуть мост в новую, послевоенную эпоху. В качестве «материала» для проникновения в возникавшие перед ним социально-нравственные проблемы Джонс избрал наиболее знакомую ему к тому времени среду — американскую армию на Гавайях накануне нападения японцев на Пирл-Харбор.

«...Скофилд — очаровательный гарнизон» — эта фраза не раз повторяется в романе Джонса, и читателю, закрывающему огромный девятисотстраничный том, подчас нелегко понять, какая интонация преобладает в словах американского прозаика: ирония или, напротив, твердая убежденность. Скофилдские казармы — место действия большинства эпизодов, а заключительная сцена на корабле, отплывающем в Штаты ровно через месяц после японской бомбардировки, сводит вместе некоторых ведущих персонажей книги. Среди них нет, однако, главного героя — рядового Роберта Ли Э. Прюитта, нелегкая судьба которого до сих пор находилась в центре внимания повествователя.

«Нигде уходящим в море судам не устраивают таких проводов, как в гавани Гонолулу»,— свидетельствовал еще в начале века в новелле «Алоха Оэ» один из кумиров Джонса Джек Лондон. Рыдающая мелодия прощания сопровождает думы жены офицера Карен Холмс, возвращающейся на родину и не надеющейся когда-либо снова увидеть Гавайи, хотя, по ее признанию, «это слишком прекрасное место, чтобы жить от него вдалеке». Случайная встреча Карен на корабле с возлюбленной Прюитта Лорен способствует рождению, быть может, одной из первых романтических легенд, на время заместивших суровую и жестокую правду об американской армии и испытаниях войны. В этой легенде, сочиненной Лорен и получившей поддержку у Карен, прекрасно знавшей всех солдат роты, которой командовал ее муж капитан Холмс, по прозвищу Динамит, плебей Прюитт именуется потомком аристократического рода, внуком генерала, сражавшегося под знаменами конфедерации южных штатов. Как утверждает Лорен, он был не пехотинцем, а летчиком, пилотом бомбардировщика, убитым возле своего самолета во время обстрела японцами аэродрома Хикем. На самом деле к моменту гибели от руки такого же, как и он сам, американского солдата рядовой Прюитт вот уже несколько недель числился в самовольной отлучке и на его совести было по меньшей мере одно убийство своего же «товарища по оружию».

Больше всего на свете Прюитт любил армию, в которую добровольно завербовался на весь тридцатилетний срок службы. Ему всегда был по душе нестройный хор звуков казармы и гарнизонного двора — лязганье стальных ободьев на колесах повозок, шум моторов и слова команды, ритмичное шарканье десятков солдатских ботинок, хриплая брань раздраженных сержантов. «Где-то на жизненном пути,— пишет Джонс уже на первой странице романа,— ты встретил все это, и оно стало частью тебя самого. Ты узнаешь себя в каждом звуке, который слышишь. Нельзя отречься от этого, не отрекаясь в то же время от самой своей сути». Однако по мере движения сюжета к развязке может сложиться впечатление, что герой книги, действуя сознательно или нет, во многом сам приблизил свой конец. «Я всегда портил все, к чему прикасался»,— вслух размышляет Прюитт, когда главные события его жизни уже позади, и эти слова почти буквально воспроизводят смысл знаменитого афоризма Оскара Уайльда: «Любимых убивают все», который он сформулировал как обобщение опыта собственной жизни. Не отказывая горькому парадоксу в известной правоте, следует вместе с тем в случае с Робертом Прюиттом сделать основательную поправку на те реальные и для многих вполне гибельные обстоятельства армейской регламентации и отразившихся в ней социальных нравов Америки, показ которых занимает основное место в эпическом произведении Джонса.

Среди десятков персонажей «Отныне и во веки веков» больше всего «нижних чинов» — от «замухрышки» рядового Маггио до старшины роты Милта Уордена, и изображение солдатского быта составляет главный и наиболее удачно разработанный пласт содержания книги. Кстати, определение «военный роман», которое применяется к ней вот уже свыше четверти века, можно признать неточным или, по крайней мере, неполным. И не потому только, что отблеск войны возникает лишь в эпилоге произведения. Армейский уклад на далеких Гавайских островах — это, по замыслу Джонса, сколок со всего монолита жизни простого народа Соединенных Штатов, и среди одетых в хаки солдат легко различимы все те же бывшие рабочие, фермеры, батраки, бродяги, городские пролетарии, образы которых впервые вошли в литературу США и стали фактом коллективного сознания нации благодаря созданным в 30-е годы книгам Дос Пассоса, Фолкнера, Фаррела, Стейнбека. Тема войны, армии всегда неразрывно связана у Джонса с размышлениями об обычном, мирном укладе. Война, как таковая, коснулась романа Джонса лишь краем; писатель сознательно пожертвовал экзотикой батальных сцен ради запечатления относительно «нормального» существования, способного с большим основанием претендовать на выражение типичного и универсального.

Типичен в «Отныне и во веки веков» жизненный путь Роберта Прюитта, типичны обстоятельства, приведшие его в армию. Сын бедняка-шахтера, он, пишет автор, «не мог не стать солдатом; это была единственная дорога, открытая для таких парней, как он» Поворотным пунктом в предыстории Прюитта послужила стачка горняков Гарлана, штат Кентукки, оставившая заметный след не только в анналах рабочего движения Америки, но и в ее ли-

тературе. «Говорят горняки Гарлана» — под этим заглавием в 1932 году была издана брошюра, в составлении которой приняли участие Драйзер, Дос Пассос, Ш. Андерсон и другие литераторы, вставшие на сторону эксплуатируемого пролетариата. Впоследствии в перекличку с голосами подлинных участников знаменитой забастовки вступили персонажи произведений нового поколения американских прозаиков: Прюитт у Джонса, Ред Волсен из «Нагих и мертвых» у Мейлера. Так в литературе США сомкнулись две эпохи, объединенные идейно-психологической общностью — протестом против социальных порядков в капиталистическом обществе.

Бунтарство, непокорность — главная черта личности Прюитта, выделяющая его из общего ряда. В казарме за ним прочно закрепилось прозвище «большевик», и товарищи Прюитта, Ред и Магтио, никак не могут взять в толк причины его бескомпромиссного максимализма. Он конфликтует с начальством, переходит из одной части в другую и, наконец, попадает в гарнизонную тюрьму, потому что выше любого «тепленького местечка» ставит свое право на раскрытие человеческой индивидуальности — пусть в тех пределах, что предоставлены ему, как и каждому солдату его роты, армейским режимом.

Современному читателю, хотя бы бегло знакомому с нынешней военной реальностью, условия службы Прюитта и его друзей вряд ли, впрочем, покажутся так уж обременительными. Американские войска на Гавайях до Пирл-Харбора не зря именовали «ананасной армией». И сержанты, и рядовые в роте Прюитта могут позволить себе немало вольностей, начиная от свободного построения на марше вплоть до открытого сожительства с туземными женщинами. Им платят довольно высокое жалованье, регулярно отпускают в увольнение на конец недели в штатском платье, позволяют держать спиртное и играть в карты на деньги в расположении роты, глядят сквозь пальцы на всевозможные нарушения строевого устава.

Однако у жалоб на «проклятую жизнь» и «несчастную судьбину», по привычке, почти автоматически слетающих с губ солдата, есть тем не менее и вполне основательные причины, корни которых уходят гораздо глубже поверхности армейского быта. Мотив одиночества человека, его атомарности и анонимности, составивший впоследствии идейный стержень многих книг Джонса, зарождается уже в его первом романе. Армия США всегда оставалась строго иерархическим учреждением, отражающим классовую структуру буржуазного общества. «Ты не новобранец и должен знать, что для армии личность — ничто,— внушает Прюитту капитан Холмс.— Может показаться, что у меня больше свободы в действиях, но это не так. Как бы высоко ты ни забрался, всегда есть кто-то, стоящий выше тебя и знающий обо всем лучше тебя». Американская армия, по Джонсу, это та же «гражданка», только противоречия между высшими и низшими здесь более подчеркнуты и обнажены. Борьба за восстановление подавленных человеческих прав, попытка вернуть утраченное еще до рождения ощущение социального и психологического равновесия — вот что, по мысли писателя, составляет главный нерв наиболее цельных натур, выделяющихся из солдатской массы,— будь то рядовой Прюитт или старший сержант Уорден.

Руководствуясь принципами критического реализма, Джонс неизменно трезв и прям в изображении своих персонажей, но особенно беспощаден по отношению к скофилдским офицерам. В их числе полковник Делберт, одержимый идеей, согласно которой из способных спортсменов непременно вырастают толковые командиры, беспринципный карьерист Холмс и «коротышка» Калпеппер, являющий собой не более чем неудачный постскриптум к длинной родословной профессиональных вояк, берущей начало еще в армии южан-конфедератов. Вся их служба давно обратилась в сплошной досуг, заполняемый гольфом, попойками и любовными похождениями. Заметный, однако, контраст к этой галерее одновременно комичных и жалких лиц составляет фигура бригадного генерала Сэма Слейтера.

Создавая этот образ и подробно излагая «теории» Слейтера, к которым с известным испугом, а вместе с тем и с воодушевлением прислушивается капитан Холмс, Джонс позволяет себе заглянуть на несколько лет вперед. Как уже отмечалось, концепции «военного менеджеризма» и «тотальной организации» армии пышным цветом распустились в США уже после разгрома Германии и Японии в обстановке истерического антикоммунизма конца 40—50-х годов. Идеи Слейтера предвосхищают законченное обоснование антидемократических мероприятий, продиктованное стремлением империалистических кругов Америки к мировому господству. Основным средством для «укрепления дисциплины» в Соединенных Штатах должен стать, по Слейтеру, «социальный страх». Превращение Америки в военизированный лагерь, обходящийся без «абсурдной морали» и «противоречивых сантиментов», составляет конечную цель генерала, и он твердо убежден, что «объединить все под единым централизованным контролем способны только военные».

Свои полуфашистские воззрения, которым не хватает только проповеди расизма и национальной исключительности, Слейтер старательно связывает с заботой о сохранении и «организованного общества», и западной цивилизации. Нынешняя степень контроля монополий над всей хозяйственной и в значительной мере общественно-политической жизнью Соединенных Штатов его не устраивает. «Американская мощь расходуется понапрасну,— провозглашает

А. МУЛЯРЧИК
ВОЙНА И МИР ДЖЕЙМСА ДЖОНСА

Слейтер.— Стране необходимо твердое руководство, и если мы поймем это, то в сочетании с нашими производственными способностями и промышленной техникой мы будем непобедимы, даже в столкновении с Россией, когда пробьет этот час». Так в случайной обмолвке во время застольной беседы до конца раскрывается кредо этого типичного представителя антикоммунистической идеологии, влияние которой и по сей день остается одной из основных пружин внешней политики Соединенных Штатов.

Появляющаяся в романе лишь однажды фигура Слейтера подана ярко, броско, пожалуй даже плакатно, и этот прием, по-видимому, достигает своего назначения. И в целом, как в «Отныне и во веки веков», так и в последующих книгах, диапазон психологического мастерства Джонса своеобразен. Его палитра небогата оттенками, зато чистые, сильные тона ложатся уверенно и ровно. Это касается в особенности близких сердцу романиста тем, когда речь идет о любовном томлении или тоске одиночества, о мужской дружбе или горечи утраты. Солдаты у Джонса — это и есть «мужчины без женщин», по крылатой фразе, брошенной Хемингуэем. Им доступна, как правило, только покупная любовь, хотя у некоторых и сохранилось представление о высоком и чистом чувстве. Объяснение Прюитта с Лорен в тускло освещенной комнате дома свиданий по силе вложенных автором эмоций способно соперничать с лучшими сценами из произведений мировой литературы: та же приподнятость и страстность тона в попытке двух несчастных, измученных душ найти пути друг к другу. Обычная для Джонса сухость художественного языка сменяется подлинным лиризмом. Солдат и проститутка — пара, словно перенесенная со страниц полной гнева и разочарования поэмы Вордсворта «Вина и скорбь»,— обретают новое воплощение в персонажах американского писателя.

Взаимоотношения Прюитта и Лорен образуют, по замыслу Джонса, как бы первичную клетку всего социального организма, по которой можно получить не только представление, но и знание об обществе в целом, о мужчинах и женщинах, его составляющих. Какова психологическая сердцевина взаимной тяги двух людей, встречающихся на короткий миг, чтобы затем неизбежно расстаться? «Мы не просим, чтобы по нас скучали, достаточно и того, чтобы о нас помнили»,— говорит Прюитт, чувствуя, что его, еще молодого, но не склонного к сентиментальности человека, все-таки зацепил крючок иллюзий, без которых в его положении просто невозможно удержаться на ногах в этом мире.

В отличие от поддающегося, хоть изредка, романтическим грезам Прюитта Лорен воплощает как бы квинтэссенцию женского практицизма и здравого смысла, той единственной разновидности мудрости, что способна противостоять разрушительным силам окружающего ее мира. «Жить как все, быть порядочной — значит быть в безопасности»,— рассуждает она. Мечта Лорен трезва: работая в публичном доме, она сколотит нужную сумму и, сменив имя, вернется в свой тихий орегонский городок, где никто никогда не узнает о ее недавнем занятии. Иной конец ждет Прюитта, который оставляет укромное убежище и, словно движимый безотчетным инстинктом, устремляется навстречу гибели. В этих кульминационных сценах идея солдатского долга (одна из центральных в романе) возведена Джонсом чуть ли не в степень слепого фанатизма, граничащего с манией самоуничтожения.

Даже сидя в гарнизонной тюрьме и в полной мере вкусив от ее каторжного режима, Прюитт остается в плену ставших частью его натуры убеждений о неколебимой связи солдата и армии. Он не одобряет намерения своего лучшего друга Маггио, задумавшего «расторгнуть союз с Соединенными Штатами» и бежать в Мексику, и с ужасом вспоминает о судьбе героя читанной еще в детстве хрестоматийной новеллы Р. Гейла «Человек без родины», морского офицера, осужденного на вечное изгнание. Своеобразие психического склада Прюитта производит впечатление на его товарища по «бараку смертников» Джека Мэллоя, ветерана рабочего и социалистического движения, убежденного противника американского капитализма. «Ты другой человек, чем я,— говорит он Прюитту.— Я бы отдал все что угодно только за то, чтобы найти наконец предмет любви, какой ты нашел в армии. Если человеку удалось найти предмет любви, он должен оставаться с ним во что бы то ни стало, даже если нет ответной любви». И этому совету Прюитт остается верен вплоть до последних мгновений своей жизни.

Когда, закончив работу над романом «Отныне и во веки веков», писатель посвятил его «армии Соединенных Штатов», это вовсе не было «ироническим жестом», как считал М. Гайсмар. Нельзя отрицать внутренней близости между Джонсом и центральным персонажем его книги, который одновременно и протестовал против армейского уклада, и искал в нем защиты от еще более неприглядных проявлений американской действительности. Вместе с тем совершенно очевидно и то, что Джонсу органически чужды идеи милитаризма и воспевания американской военной мощи. Привязанность Прюитта к армии, к товарищам есть не что иное, как форма его единения со всей страной, с демократической Америкой, воспитавшей в нем инстинкт бунтарства и вместе с тем внушившей мысль о существовании чего-то более высокого, нежели индивидуалистическая бравада. Одиночество многих — это уже не одиночество одной тоскующей и мечущейся души. Армия, согласно Джонсу, не только подавляет, но и помогает устанавливать связи, и таким средством высказаться сразу перед всем миром для Прюитта становится его горн, искусство трубача, которому посвя-

щены едва ли не самые вдохновенные страницы романа.

Впервые взяв в руки инструмент, Прюитт понял, «что горн — его призвание, что если играть так, как ему хочется, его жизнь на земле будет оправдана... Он сразу почувствовал, что в этих звуках есть что-то такое торжественное, чего словами не выразишь». «Чего словами не выразишь» — один из лейтмотивов огромной книги, ибо ее автор не раз подчеркивает, что он ждет от своего читателя не только внимания к фабуле и идеям, но и сопереживания эмоциям, скрытым под нарочито шершавой стилистикой и наслоением порой однообразных подробностей. Чувство смутного беспокойства и тревоги, а затем и полумистическое наваждение, охватывающие солдат Скофилда при звуках горна Прюитта,— вот лишь некоторые «полоски» эмоционального спектра произведения, сочетающего самый трезвый и беспощадный реализм с задушевной романтичностью. «Блюз сверхсрочника», сочиненный Прюиттом и его друзьями и напечатанный в качестве постскриптума к роману, таит в себе песнь о Великом одиночестве, которое «заползает в сердце и, подобно ветру пустыни, иссушает его». «То была,— восклицает Джонс в одной из наиболее патетических и, к сожалению, отсутствующей в русском переводе глав книги,— песнь о людях, лишенных пристанища, и исходила она от человека, которому тоже негде было приклонить голову, и поэтому он смог сочинить ее. Вслушайся в нее, вспомни этот мотив. Ты ведь знаешь его, не так ли? Ночью, пытаясь заснуть, ты напрасно зажимаешь уши, а вечером оглушаешь себя пятью мартини подряд, чтобы не слышать его... И солдаты тихо выходили из глубины бараков, слушали горниста, и вдруг у них перехватывало горло от ощущения страха и той близости друг к другу, что перечеркивает все личные вкусы... Затем так же тихо они возвращались обратно, опустив глаза и стесняясь самих себя, как бы не желая больше всматриваться в выставленную напоказ обнаженную человеческую душу».

Многие из тем, ставших популярными и даже расхожими в послевоенной американской прозе, были заявлены Джонсом в его первом романе. Отчуждение и некоммуникабельность, анонимность, деперсонализация — все эти социально-психологические категории и ведущие к ним выкладки представлены в нем в сценах армейской жизни. «Армия всегда была и до известной степени и сейчас остается антидемократическим учреждением... Это далеко не идеальная школа для обучения демократии, и ее трудно представить в качестве составной части демократической культуры»,— справедливо отмечал недавно профессор Принстонского университета Ш. Волин. Книги Джонса об американской армии и о войне не спорят с подобного рода оценками, а напротив, развивают и уточняют их, не останавливаясь подчас перед суждениями, кажущимися на первый взгляд парадоксальными. «Ужасен мир, а не война»,— читаем мы в одном из произведений, последовавших за «Отныне и во веки веков», и в этой короткой реплике по сути схвачен центральный пункт писательской позиции Джонса.

В известном смысле жить в условиях военного времени проще, чем в условиях мира, и, наверное, легче писать о борьбе и страданиях, вырастающих из одного, пусть чудовищного, но всеобъемлющего, четко очерченного конфликта, чем пытаться вникнуть в хитросплетение человеческих желаний и общественных норм, правил и предрассудков, составляющих в совокупности подчас бесцветную ткань обыденной жизни. Похоже, что американский писатель тяжело переживал исчезновение в послевоенную эпоху (и так тогда думали в США многие) ясных социально-политических ориентиров и критериев. Это относится не только к нему, но и ко всему старшему поколению «военных романистов» (Мейлеру, Бурджейли, Видалу и др.), духовное и творческое созревание которых совпало с периодом второй мировой войны. Послевоенный мир действительно оказался для них ужасным еще и потому, что на Западе вчерашний фронтовик обнаружил вокруг себя социальный вакуум и отчетливо ощутил, что взамен дававших ему прежде точку опоры твердых реалий борьбы, жизни и смерти, товарищества и взаимной выручки над его головой готова сомкнуться трясина буржуазной пошлости.

В течение четверти века после издания «Отныне и во веки веков» Джонс обращался попеременно то к военному опыту, то к «мирным» темам. Хотя последующие произведения прозаика заметно уступали по силе художественного изображения его литературному первенцу, Джонс все же не остался в представлении читателей автором лишь одной, впрочем, в самом деле, замечательной книги. Правда, в 50-е и 60-е годы творческие удачи посещали его нечасто. Подчеркнутая фактографичность, ведущая к отказу от широких социально-исторических обобщений, приглушила антивоенный пафос романа «Тонкая красная линия» (1962), посвященного высадке американских войск на островах Тихого океана. Еще менее убедительными в идейном отношении, композиционно рыхлыми оказались романы «И подбежали они» (1958) и «Убирайся к Костлявой» (1967), в которых Джонс пытался передать свои ощущения от послевоенной американской действительности.

В отличие от этих многостраничных томов, небольшая повесть «Пистолет» (1958) была отмечена подлинной глубиной мысли. Эпизод из военных воспоминаний Джонса получил тут притчеобразную форму, напоминавшую о «Жемчужине» Стейнбека. Пистолет для Маста — американского солдата на Гавайях — такой же амулет, ка-

ким была жемчужина для индейца Кино, и его утрата символизирует беззащитность простого, «естественного» человека перед наступающими на него отовсюду мрачными роковыми силами.

Отразившиеся в «Пистолете» пессимистические настроения были характерны для того времени, когда у многих писателей США метафизические размышления оттесняли на задний план изображение живой социальной действительности. Однако напряженная общественно-политическая атмосфера конца 60-х годов многое изменила и в творчестве Джонса. Покинув Соединенные Штаты и надолго обосновавшись во Франции, он не стал экспатриантом, отвернувшимся от насущных проблем ради служения «чистому искусству». Живя в центре Парижа, на островке Сент-Иль, Джонс был свидетелем самых бурных за послевоенную историю страны студенческих выступлений в майско-июньские дни 1968 года. Его роман «Веселый месяц май» (1971) стал не просто откликом на увиденное и пережитое. Одним из первых среди американских романистов Джонс попытался уловить исторический и философский смысл движения «молодых бунтарей» и отразить как его моральную правоту, так и многочисленные внутренние слабости.

Подчиняясь возникшей в последние годы тяге к документализму, Джонс строит повествование в строгом соответствии с подлинными фактами: Описание хроники событий — от занятия театра «Одеон» и превращения его в штаб восставших до последних уличных демонстраций — проникнуто симпатией автора к студентам левых убеждений. Зрелище парижских баррикад волновало Джонса и как писателя-баталиста. Американского журналиста Джека Хартли, от лица которого ведется рассказ, чуть ли не каждый вечер влечет на левый берег Сены, в сердце Латинского квартала, поближе к площадям Мобер и Сен-Мишель, где вздымаются облака слезоточивого газа и слышатся выкрики участников столкновений. Это походило на самую настоящую войну, и чтобы наблюдать за ней, достаточно было перейти Сену и углубиться на несколько сот метров к югу. И конечно же, Джонс с его военным опытом и вкусом к каждому проявлению мужественности, удальства и бесшабашности не мог остаться в стороне и пренебречь такой захватывающей возможностью.

В романе «Веселый месяц май» немало впечатляющих картин французской столицы, охваченной всеобщей антиправительственной забастовкой. Наблюдая из окна квартиры за тем, что происходит на набережных Сены, Джек Хартли сравнивает происходящее с кадрами фантастического фильма, рисующего будущий конец цивилизации. Безлюдные улицы, зловещий отсвет далеких пожарищ, зеленые армейские грузовики и полицейские фургоны, мигание огней светофоров в неизменном механическом ритме, лишь подчеркивающем полный паралич городского организма.

Неудачливый поэт и романист, одиноко живущий в своей холостяцкой квартире, Хартли в состоянии трезво подойти к оценке и либералистских иллюзии насчет «просвещенного капитализма» и тотальности «молодежного» отрицания. В лице своего знакомого, преуспевающего сценариста Гарри Галлахера, герой Джонса не без основания видит обобщенный портрет американских либералов, к которым в первую очередь был обращен вызов бунтующей молодежи. Конфликт в семье Галлахеров — частица конфликта «отцов» и «детей», столкнувшего на Западе кипучий молодежный радикализм с буржуазным самодовольством. Вместе с тем под пером писателя складывается и многогранная, реалистически точная картина «студенческой вольницы».

Уже при первой встрече с активистами движения Хартли настораживают некоторые детали: упрямое пристрастие, например, фрондирующей молодежи к военному лексикону, нежелание придерживаться последовательного, логического рассуждения. Позднее, столкнувшись с разгулом уличных страстей, он уже более жестко и непримиримо выговаривает своим молодым собеседникам за нарушение ими собственной «великой хартии вольностей», адресованной демократической Франции. Уступки и компромиссы «революционной» морали открыли путь к анархическим, вандалистским выступлениям. Вслед за демонстрациями альтруистически настроенных студентов, которым одно время сочувствовало все общество, на улицы Латинского квартала хлынуло человеческое отребье, потомки обитателей Двора Чудес из «Собора Парижской богоматери» Гюго, только на этот раз вовсе лишенные романтического антуража. Так в стилистику высокой патетической драмы вплелись органически чуждые ей черты низкопробного бурлеска. И нужно сказать, что аналогичная символическая метаморфоза уже отмечалась в литературе, обращенной в иных обстоятельствах все к той же вечной теме бунтарства против авторитета. Еще под пальцами мелкана Лямшина, одного из колоритнейших «мелких бесов» в романе Достоевского, мотив «Марсельезы» трансформировался в «Ах, майн либер Августин», этот пошлейший гимн всеевропейского мещанства...

Развенчанию левацкого анархизма посвящен и роман «Прикосновение опасности» (1973), написанный в жанре детектива, действие которого разворачивалось на дивно прекрасном, экзотическом острове, расположенном в шести часах морского путешествия к югу от греческой столицы. На Тцатосе, как и повсюду в этом благословенном регионе, лежащем при скрещении путей мировой контрабанды, процветает торговля наркотиками. Одного из перекупщиков, картинного красавца Гиргиса, находят убитым, с перерезанным горлом. Через несколько дней при не менее таинственных обстоятельствах гибнет другой приметный персонаж книги — обольстительная

наяда по прозвищу Любезная Мэри. Все улики указывают на вмешательство мафии, но к концу книги выясняется, что подоплекой преступлений была не корысть, а ревность, и убийство Гиргиса и Мэри — дело рук ие плутоватых контрабандистов, а старательно имитирующего «молодежный стиль» своего рода «люмпен-миллионера» Сонни Дюваля, до сих пор, согласно золотому правилу жаира, тщательно скрываемого среди периферийных действующих лиц романа.

Развязка детективного сюжета, сама по себе довольно надуманная, вместе с тем несла и определенное этическое обобщение. Неприязненное освещение писателем жизненного уклада и философии хиппи указывало на углубление критики левачества в литературе США 70-х годов. Хиппи в книге Джонса далеко не столь романтичны и живописны, какими они выглядели всего несколько лет тому назад в произведениях Мейлера, Дидион, Герлиги. Одетые в бесформенные балахоны и выцветшие джинсы, живущие в пещерах и гувервиллях образца всемирного кризиса 30-х годов, своим видом они напоминают скорее узников концлагерей, нежели одухотворенную вольницу, обещавшую стать залогом всеобщего возрождения. Мало обнадеживают их мировоззренческие принципы, тоже изрядно пообносившиеся к середине нынешнего десятилетия. И вовсе не случайно виновником кровавой драмы становится у Джонса великовозрастный жрец «новой морали» американец Сонни Дюваль. «Сонни — защитник свободной любви и враг насилия, Сонни — миллионер, который тратил на себя только то, что зарабатывал ремеслом лодочника, тот самый Сонни, что провозглашал: «Сегодня — университеты, завтра — весь мир».

«Я не доверяю любой браваде, считаю ее смешной и опасной. Храбрящиеся молодые люди даже против своего желания могут вызвать войну и втянуть в нее всех нас»,— писал Джеймс Джонс в одном из своих романов 70-х годов, объективно обращенных против эксцессов левацкого авантюризма. Словно повинуясь давней латинской мудрости, писатель и в этих произведениях на «мирные темы» не забывал о постоянно присутствующей в современную эпоху военной угрозе. В последние годы жизни Джонс уже прямо связывал эту опасность с интересами «большого бизнеса», о чем он писал в эссе «Вторая мировая война», а также в рукописи посмертно опубликованного романа «Свисток» (1978); он должен был завершить трилогию, начатую «Отныне и во веки веков» и «Тонкой красной линией». В «Свистке» под новыми именами оживали герои первой книги Джонса: рядовой Прюитт и старший сержант Уорден, для которых война закончилась после серьезных ранений, полученных ими на Соломоновых островах. Когда-то отправка домой представлялась американским солдатам несбыточной мечтой, но тоска тыловых госпиталей оказалась ничем не лучше строго регламентированного армейского режима. С другой стороны, демобилизованным ветеранам стал доступен более широкий дианазон вопросов и сомнений, касающихся уже организации не только армии, но и буржуазного общества в целом; тяжелая травма, вырвавшая этих людей из привычной среды, может — так полагает автор — послужить толчком к их духовному прозрению.

В 70-е годы в США Джонса нередко пытались объявить «старомодным», а то и «устаревшим» писателем, имея в виду никогда не покидавшее его стремление к эпичности и верность принципам реализма. Но непредубежденный анализ подтверждает актуальность творческих установок того, кто считал себя продолжателем традиций социальной литературы, идущим вслед за Стивеном Крейном, Лондоном, Хемингуэем.

Американский прозаик скоропостижно скончался в ночь на 9 мая 1977 года, в тридцать вторую годовщину прекращения военных действий в Европе. Хотя Джонс долго жил вдали от родины, его смерть не прошла незамеченной для литературной общественности Соединенных Штатов. Символично, что проститься с Джонсом пришли те его коллеги, кого сближали с писателем не только общие военные воспоминания, но и приверженность реалистическому искусству. «Свежий порыв правды в книгах Джонса преобразил облик казарм и полей битвы, сложившийся в американской литературе»,— сказал в прощальном слове автор известного романа «Молодые львы» Ирвин Шоу, рядом с которым стояли Джон Херси и Уильям Стайрон...

Джеймс Джонс никогда не был теоретиком и комментатором собственного творчества, но в последней напечатанной при жизни книге «Вторая мировая война» он впервые для себя остановился на роли художника в исследовании одного из самых драматических аспектов действительности. «Специалисты всегда чувствуют себя более удобно и непринужденно,— писал он,— если разговор о той или иной войне носит сугубо профессиональный характер, без обращения к деталям социального, этического, религиозного и психологического плана... Но всегда тем не менее находится кто-то, кто не довольствуется чисто внешним рисунком и идет дальше; только так и можно понять, что представляет собой война — любая война». Этому призыву к выявлению «человеческой специфики военного конфликта» сам прозаик был верен в своих наиболее характерных произведениях. Но война и армия не воспринимались Джонсом изолированно — в них он видел отдельные важные грани «удела человеческого» в военное и мирное время, к постижению которого были обращены все его книги за тридцать лет служения американской литературе.

◆

Наши публикации

В. БАШТАННИК
Н. КУЗНЕЦОВА

У ИСТОКОВ «ТИХОГО ДОНА»

Во время научно-теоретической конференции в мае 1978 года, посвященной 50-летию выхода в свет романа М. А. Шолохова «Тихий Дон», были прочитаны доклады о месте выдающегося этого произведения советской литературы в современном художественном процессе, а также о мировом значении романа «Тихий Дон».

Раскрывая источник своего творческого вдохновения, Михаил Александрович говорил: «Социалистический реализм — это искусство правды жизни, правды, понятой и осмысленной с позиций ленинской партийности».

Именно эта правда жизни, правда Шолохова покорила миллионы читателей у нас и в огромном зарубежном мире. Правда лирических чувств и красоты любви, правда душевных потрясений и неповторимых донских пейзажей, правда исторических событий и философских раздумий, правда героизма, противоречий жизни и великих мук, в которых рождалась коммунистическая новь на земле. Шолоховское слово о судьбах людей труда звучало для широчайших кругов читателей как правда эпохи великих революционных преобразований.

Не однажды мир изумлялся бесподобными подвигами нашего народа, пафосом новаторского его созидания, возведением исторических строек, индустриальным триумфом на советской земле. Во всем этом с огромной силой проявилось торжество коммунизма в нашей стране.

Но духовное могущество, торжество революционных идеалов, советский образ жизни народ наш утверждал с помощью неостановимого движения новой, социалистической культуры, советской литературы, благодаря такому классическому творению, как шолоховский «Тихий Дон».

И так же, как пятьдесят лет назад, «Тихий Дон» продолжает теперь, в эти дни, свое победоносное сражение. И пока жив человек, ярким воплощением нашей современности будет для него бессмертное это создание.

Не без чувства глубокой признательности потомки наши будут черпать свои знания из «Тихого Дона», из чистого этого источника, постигать будут то, что корни их здесь, в нынешнем, шолоховском веке, в муках и снах, в вере их предшественников, великой вере наших современников. Этот высокий пример служения своему народу и светлому опыту человечества, пример, потрясающий своей дальнозоркостью и гуманизмом, художественной правдой, будет покорять людей грядущих поколений.

Мы публикуем с некоторыми сокращениями доклад «У истоков «Тихого Дона» двух авторов — учительницы Вешенской средней школы Н. Т. Кузнецовой и преподавательницы Вешенского педагогического училища В. С. Баштанник. В этом докладе проливается свет на неповторимый мир реальных прототипов «Тихого Дона», человеческих судеб, характеров и образов романа.

На тщательно изученном фактическом материале авторы доклада убедительно показывают, как писался «Тихий Дон», как именно шолоховское знание донской действительности, шолоховское видение правды жизни, вера в победу революции привели писателя к созданию его шедевра.

Публикуя доклад на страницах журнала «Иностранная литература», который читают не только в нашей стране, но и за ее пределами, мы надеемся, что этот материал привлечет внимание и зарубежных исследователей творчества М. А. Шолохова, в частности романа «Тихий Дон».

НИКОЛАЙ ФЕДОРЕНКО

К «Тихому Дону» каждый приходит своим путем. В мир Шолохова, в мир яркий и неповторимый, в мир вымысла и реальности входишь с чувством тайного трепета, с ожиданием чуда. И чудо вершится.

Вдыхая аромат донской степи, присутствуя на казачьей свадьбе, вместе с Григорием мучаясь поисками правды, мы все это время находимся в полной власти романа. Безусловно, каждый воспринимает произведение литературы, искусства, живописи в зависимости от того, насколько богат его собственный духовный мир, как воспитан человек, каковы его нравственные устои. Но в том-то и секрет творчества выдающихся писателей, что оно, при всем своем величии, просто и доступно любому.

Для нас, живущих на Дону, всегда было естественным то, что Шолохов, наш донской писатель, своим особым талантом и великим трудом создавший целый мир образов, опирался при этом на живую жизнь. Материала было много, надо было только бережно и умеючи поднять его.

Образы «Тихого Дона» настолько живые, что читающий Шолохова в какой-то момент задумывается над судьбой его реальных прототипов. Издан целый ряд работ по творчеству Шолохова. Их авторами являются крупнейшие советские и прогрессивные зарубежные ученые-литературоведы.

Готовясь к 70-летию М. А. Шолохова, учителя и учащиеся, краеведы Вешенской средней школы организовали шолоховскую комнату и занялись исследованием прототипов героев шолоховских книг. Поиск был начат с походов по местам, связанным с «Донскими рассказами».

«Тихий Дон» вырос из «Донских рассказов», а «Донские рассказы» — из донской действительности. Так, в рассказе «Семейный человек» есть сцена избиения пленных белыми казаками. Казак Микашара избивает одного своего сына, убивает второго. О реальном Микашаре, подобном тому, который описан в «Семейном человеке», нам рассказала 80-летняя казачка станицы Еланской Трушихина Федосья Степановна.

В станице Каргинской краеведы встретились с Крамсковым Алексеем Федоровичем, о голодном детстве которого поведал читателям М. А. Шолохов в рассказе «Алешкино сердце».

Старожил станицы Каргинской Фролов Илья Емельянович назвал нам имя Клюкина Арсентия, очевидно, послужившего прототипом для создания образа Арсения Клюквина из «Двухмужней».

Таким образом, в «Донских рассказах» встречаем не только факты и события, но и фамилии реально существовавших людей.

Мы решили побывать в хуторах вблизи станицы Вешенской, связанных с Михаилом Александровичем Шолоховым в разные годы его жизни. Эти хутора встречаешь на страницах «Тихого Дона», там происходят основные события романа, и в них могли жить люди, о которых писатель сказал, что второстепенных героев он мог вывести под своими именами. Мы посетили хутор Плешаки, хутор Кружилин, станицу Каргинскую, станицу Еланскую, хутор Базки.

Нам посчастливилось встретиться с людьми, в юности ставшими участниками событий, описанных в романе, с родственниками, знакомыми, сослуживцами прототипов героев романа.

Был ли хутор Татарский? Вот что говорит об этом казак хутора В.-Кривского Дергачев Матвей Иванович. «Плешаки похожи на хутор Татарский. Хутор Плешаки от Елани, где была церковь, только Дон отделяет. И рыбалки Пантелея Прокофьевича были там же, а рыбу носили продавать купцу. собаками их там травили, и с девчатами там познакомились, в Елани; Дон, меловые горы — все это плешаковское. Эти события связаны с Плешаками и Еланью, луг — вот он же, по Дону ездили туда».

«Татарский хутор — он выведен из трех хуторов: Плешаков, Елани и Каргинской, оттуда кусок, отсюда кусок, и получился хутор Татарский»,— так сказал нам другой старый казак станицы Боковской. Красноглазов Александр Данилович. Вместе с тем эти хутора упоминаются в «Тихом Доне» и под своими именами. И все-таки образ хутора Татарского — образ собирательный. Об этом писал и наш вешенский журналист Петр Елизарович Чукарин. Многие исследователи, правда, считают прообразом Татарского хутор Калининский (бывший Семеновский). Он расположен к югу от Дона, и «крутой восьмисаженный спуск меж замшелых, в прозелени, меловых глыб» от мелеховского двора схож с крутыми тропинками хутора Калининского. Магазины по типу тех, что были у каргинских купцов Озерова и Левочкина, церковь вроде той, что была в Базках... Плешаковская мельница тоже «перекочевала» на новое место. «Придвинулся» вдруг и плешаковский луг.

Остается напомнить, что эти хутора хорошо знал писатель. По свидетельству самого Шолохова, свое отрочество он провел в станице Каргинской и хуторе Плешаки. Шолоховы жили на квартире у Дроздовых, снимали две комнаты в круглом доме.

В. БАШТАННИК, Н. КУЗНЕЦОВА
У ИСТОКОВ «ТИХОГО ДОНА»

На вопрос, напоминает ли хутор Калининский описанный им Татарский, писатель коротко отвечает «да» — и продолжает: «Это вымышленный хутор. Он мог напоминать что угодно: и Подлучку, и Боковскую. У меня была сложная задача — выдумать этот хутор и переместить туда много действующих лиц из разных мест».

Волей творческого воображения писателя братья Ковалевы (по-уличному Ковальковы) стали братьями Шумилиными (по-уличному Шамилями). Сама фамилия не выдумана писателем, она принадлежала как прозвище семье Лосевых, тоже проживавших в Каргинской, но нисколько не похожих на шолоховских Шамилей. Зато о братьях Ковалевых так все в Каргинской и говорят: «Вот это Шамили».

И действительно, жили в Каргинской четыре брата Ковалевых: Аким, Иван, Мартын и Алексей, по прозвищу Четвертак. Между прочим, в Каргине мы услышали и историю возникновения этого прозвища от Фролова Ильи Емельяновича, который рассказал, что в ответ на вопрос: «Почему ты стал Четвертак?» — человек, которого так называли, отвечал: «Был царь Александр III, а я — четвертый».

Мы встретились с сыном Мартына Шамиля, Петром Мартыновичем Ковалевым. Ему 58 лет, работает токарем в механических мастерских совхоза. Петр Мартынович вспоминает о своей семье, о родителях: «Отец не особенно грамотный был. Мы читаем вслух «Тихий Дон», а он ишо, отец, и тогда говорил: «Это, говорит, Мишка написал про мине, записал нас, говорит, Шамилями. И матерю он описывает. Когда отец пришел, а сыч на могилках кричал, а отец его хотел застрелить, а мать говорит: «Ты что, я на сносях хожу». Этот подлинный случай был описан М. А. Шолоховым в I томе. В III томе мы находим описание того, как возвратился Мартын Шамиль с фронта и как билась в истерике жена Прохора Шамиля и рвала на себе рубаху от великого горя, узнав, что мужа ей уже не дождаться.

«Билась головой о жесткую землю жена Прохора Шамиля, грызла земляной пол зубами, наглядевшись, как ласкает вернувшийся брат покойного мужа Мартын Шамиль свою беременную жену, нянчит детей и раздает им подарки. Билась баба и ползала в корчах по земле, а около в овечью кучу гуртились детишки, выли, глядя на мать захлебнувшимися в страхе глазами. Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи! Рви жидкие от безрадостной, тяжкой работы волосы, кусай свои в кровь искусанные губы, ломай изуродованные работой руки и бейся на земле у порога пустого куреня! Нет у твоего куреня хозяина, нет у тебя мужа, у детишек твоих — отца, и помни, что никто не приласкает ни тебя, ни твоих сирот».

Эти берущие за душу строки тем и сильны, что отражают подлинную человеческую трагедию, о которой нам поведала дочь Ивана Ковалева, прототипа Прохора Шамиля, Дегтярева Агафья Ивановна, 78-летняя казачка станицы Каргинской. «Шолохов описывал за маму, книга такая была. Когда дядя Алексей ездил под Турцию, приезжает оттедова, мать пришла, услыхала, что отец приехал. Я как раз была на мельнице, там говорят: «Дядя приехал, отца нету, мать там все на себе порвала», последнюю рубаху она на себе рванула. Что в книге писалось, то и она точно, мать-то, говорила. Только он не написал, что Ковалева. Мужчина стоял на квартире, преподавал в мясосовхозе, а он эту книгу читал вслух, ишо мать живая была, и мать заплакала. Отец не вернулся, погиб под Турцией».

По ее же словам, Алексей Ковалев, как и Алексей Шамиль, был без руки, но обладал большой физической силой, был непременным участником всех хуторских драк и наносил своей культей разящие удары. В I томе «Тихого Дона» мы читаем: «Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак не особенно чтоб особенный — так, с тыкву-травянку величиной, а случилось как-то на пахоте на быка осерчать, кнут затерялся, стукнул кулаком — лег бык на борозде, из ушей кровь, насилу отлежался».

А по свидетельству Петра Мартыновича Ковалева, «их когда-то, Ковальков, дражнили мослами. И кулак крепкий, а потом ишо вроде кулак не берет, уже мосол, и так их прозвали мослами».

Еще одно доказательство сходства Алексея Ковалева с Алексеем Шамилем приводит Илья Емельянович Фролов. «Фактически он Алешку Ковальчонка косорукого описывал, у него одна щека дергалась, у Шолохова так и написано».

Вот описание драки на мельнице: «Безрукий Алексей — посреди двора, мечется по поджарому животу холостой, завязанный в конце рукав рубахи, всегдашней судорогой дергаются глаз и щека».

Когда И. Е. Фролов читал казакам вслух первое издание «Тихого Дона» в «Роман-газете», у Алексея Ковалева текли по щекам слезы. Громкая читка состоялась прямо на улице станицы Каргинской, у магазина. Собралась толпа хуторян, а когда стемнело, то стали просить, чтобы читали еще, принесли для этого керосиновую лампу.

Михаил Александрович Шолохов хорошо знал своих Шамилей. Петр Мартынович Ковалев рассказывает: «Шолохов жил вот тут, недалеко. Он приходил к отцу подстригаться, с братом они старшим играли, с Маркой». Старожилы показывали нам дом, в котором жила семья

Шолоховых, он стоял через улицу, почти напротив усадьбы Ковалевых.

Не только фамилии, но и детали казачьего быта, которые писатель наблюдал в детстве, описание казачьих обычаев, суеверий органически вплетаются в ткань повествования.

Вспомните, как с тревогой Ильинична говорит о том, что на Наталью «порчу напустили»; как соседка Коршуновых Пелагея рассказывает сон и бабка Дроздиха советует ей, чтобы отвести беду: «Отнеси, грит, на коровий баз кусочек воску, отломи от свечки, скатай в шарик и отнеси, в коровий свежий помет закопай, а то беда под окном караулит». Кинулась я, а свечки-то нету, была одна — ребята покатали, тарантулов из норь выманували, что ли». Вы, вероятно, помните, что это к бабке Дроздихе ходила Аксинья, чтобы «присушить» Григория; как всю дорогу в поезжанье пшено, всыпанное за голенище сапога, терло иогу Григорию — а пшено сыпали, чтобы не сделалось чего с женихом с дурного глаза. Как во время империалистической войны дряхлый дед с хутора Ея, участник турецкой войны, завел разговор с казаками с Татарского и как просил их: «Помните одио: хочешь живым быть, из смертного боя целым выйтить — иадо человеческую правду блюсть... чужого не бери — раз. Женщин упаси бог трогать, и ишо молитву такую надо знать... Молитву скажу. Всю турецкую войну пробыл, смерть за плечьми, как переметиая сума, висела, и жив остался через этую молитву». Казаки списывали молитвы на выбор: молитву от ружья, молитву от боя, молитву при набеге».

И сейчас еще в разговоре со старыми казаками можно услышать, как в станице Каргинской бабка Хрустоножка «присушивала», торговала различными травами лечебными и какими-то корешками, и к ней всегда очередь людей была.

Сильны были социальные преграды. Наталья Васильевна Парамоиова, племянница братьев Дроздовых, рассказывала нам, что оиа не имела права выйтн замуж по любви, так как ее жених «победнее был». «Когда его бабка спросила моего отца обо мне, он ответил: «Голошеей курице за лохматой ие гоняться». И так мой Колюшка век прострадал, и я тоже».

Живут еще в речи простых людей неповторимые казачьи пословицы, поговорки, меткие слова: «Сладка рыбка чикамас, ио ловил я не для вас», «Исть с панами, а спать с свиньями», «Муж был здоровый, из вербы выходила одна колодка».

Продолжая нашу работу, мы поставили задачей узнать и о людях с фамилиями второстепеииых героев «Тихого Дона». Хотя слово «второстепенный» вызывает у иас внутренний протест. Если даже сами по себе эти герои «второстепенные», тем не менее они играют в обрисовке главных характеров столь важную роль, что без них невозможно представить себе роман в целом.

Вот, например, Лукешка Косая, у которой, по роману, стоял иа квартире Штокман. В станице Каргинской действительно жила бедная казачка, Лукешка Косая, по словам Фролова Ильи Емельяновича, «несчастная женщина», брат у нее был калека, ходил побираться, а она нанималась мазать сараи за 25 копеек в день. Шевцова Евдокия Константиновна, Топилина Апросинья Артемовна в станице Каргинской тоже помнят Лукешку Косую как разбитиую, легкого нрава женщину.

В «Тихом Доне» мы встречаемся с представителями хуторской интеллигеиции в доме купца Мохова. В числе прочих был и поп Виссарион, дом которого могут и сейчас показать в станице Каргинской. Нам рассказывали старожилы, что в Каргинскую школу приходил этот священник, «но его трудно было понять, он в нос говорил, гундосый в полиом смысле». В доме священника была богатая библиотека, и в Каргине говорили, что в ней есть даже тома Карла Маркса, «а он, М. А. Шолохов, между прочим, имел возможность пользоваться книгами, разговор такой был».

В беседе с нами Михаил Александрович, вспоминая о своих юношеских годах, действительно рассказал о библиотеке отца Виссариона, где ему разрешали брать книги. О самом отце Виссарионе М. А. Шолохов рассказывает, что он очень много читал и любовь к книге сохраиил до старости.

Кроме Виссариона каргинцы помнят еще двух попов — попа Емельяна и попа Николая. Николай пользовался барометром, когда взывал к богу о дожде. Он именем божиим благословлял карателей на расстрелы красных. Об этом вспоминает Фролов Илья Емельянович: «Он, всегда только он, выезжал благословлять на расстрел, туда вон, за песчаный курган, а мы соберемся, пацаны, едет он с кучером, мы говорим, ну, значит, давайте слухать, стрельба будет, и точно».

Вспомните, как «лечил» Мишку Кошевого военно-полевой суд в станице Каргинской. «Было у суда в те дни две меры наказания: расстрел и розги. Приговоренных к расстрелу в ночь выгоняли за станицу, за песчаный курган, а тех, кого надеялись исправить, розгами наказывали публично на площади».

Образ Григория Мелехова настолько типичен, что в каждом донском казаке мы можем найти что-то от него. По глубине воздействия на читателей — это образ огромнейшей силы, и он вполне может быть поставлен в один ряд с та-

---

В. БАШТАННИК, Н. КУЗНЕЦОВА У ИСТОКОВ «ТИХОГО ДОНА»

ким героем мировой литературы, как Андрей Болконский.

Многие исследователи и литературоведы до сих пор считают Харлампия Ермакова прототипом Григория Мелехова.

Михаил Александрович говорит об этом так: «Биография Мелехова и биография Ермакова (служивская) совершенно идентичны, вплоть до момента расположения полка перед войной у Бродов». А уже в дальнейшем развитии событий мы не находим ничего общего с Григорием в воинской биографии Ермакова.

Из воспоминаний дочери Харлампия Васильевича Ермакова Пелагеи Харлампиевны Шевченко (она учительница, пенсионерка, живет в Базках, в трех километрах от Вешенской) мы узнаем, что Харлампий Ермаков был простой казак. Образование имел три класса начальной школы, которую окончил в станице Вешенской. Он был хорош собой, высокий, статный, горбоносый, очень подвижный, в его жилах действительно текла турецкая кровь, так как его прадед был женат на турчанке, которую привез с последней турецкой войны. Он был человеком отчаянной храбрости, прекрасно владел шашкой.

В «Тихом Доне» мы читаем, как искусно владел холодным оружием Григорий Мелехов. За какие-то мгновения до нанесения удара он молниеносным, неуловимым движением перебрасывал шашку из правой руки в левую и, ошеломляя противника, наносил разящий удар огромной силы.

«С детства Григорий был левшой... Он мог с успехом делать левой все, что делал правой. И левая у него была даже сильнее. В атаке Григорий всегда с неизменным успехом пользовался этим преимуществом. Он вел коня на выбранного противника, как и обычно все, заходя слева, чтобы правой рубить, также норовился тот, который должен был сшибиться с Григорием. И вот, когда до противника оставался какой-нибудь десяток саженей и тот уже чуть свешивался набок, занося шашку,— Григорий крутым, но мягким поворотом заходил справа, перебрасывая шашку в левую руку, обескураженный противник меняет положение, ему неудобно рубить справа налево, через голову лошади, он теряет уверенность, смерть дышит ему в лицо... Григорий рушит страшный по силе, режущий удар с потягом».

В свое время в разговоре с Харлампием Ермаковым писатель попросил его продемонстрировать ему «баклановский удар». «Харлампий лично наточил шашку. Это было зимой. Во дворе были сложены срубленные молодые березки, довольно толстые, диаметром до 15—20 см. Ермаков воткнул березу в сугроб, слегка присел и срезал наискось ствол. Срубленная половина березы воткнулась в снег...»

О воинской доблести Харлампия Ермакова Пелагея Харлампиевна Шевченко рассказывала нам: «Его спрашивали: «Страшно ли бывает в бою?» Он отвечал: «Вначале, может, и страшно бывает, а потом страха как не бывало». О доблести его свидетельствовали награды. Он был полный георгиевский кавалер. Молодецкая удаль — его отличительная черта.

Запомнился мне эпизод, описанный М. А. Шолоховым в романе: «Отец приехал домой, посадил нас с братом на колени. Мы все вместе сидели за столом. Во время гражданской войны отец был и у белых, и у красных: в армии Буденного командовал кавалерийским эскадроном. Была у нас фотография, на которой отец был вместе с Буденным. К сожалению, фотография эта не сохранилась».

Интересно было услышать рассказ сослуживца Харлампия Ермакова — Фролова Ильи Емельяновича. «С Ермаковым я служил вместе в Красной Армии. Их прислали на пополнение в 14-ю дивизию. Он был выше среднего роста, черный. Его старые казаки дражнили «волк», у него глаза были такие выразительные. Он очень хорошо сражался. Я, например, случай один знаю такой: польская кавалерия выступила с пиками, а он был заместителем командира 80-го полка; он скомандовал в атаку и сам повел, и там в какие-то минуты все польские кавалеристы пики побросали... А последнее время он был начальником дивизионной школы по подготовке младшего комсостава.

Я в 23-м году был у него на квартире, навещал как земляка. И когда его демобилизовали, то предлагали ему работу в Майкопе, но он поехал сюда, на Дон».

По словам Шевченко, когда Харлампий Ермаков вернулся из армии Буденного, он был председателем комитета бедноты. Работал Харлампий Ермаков грузчиком на пристани, так как обладал большой физической силой. Положение грузчика резко отличалось от его недавнего положения помощника командира полка. Он испытывал тяготение к воинской службе, хотел восстановиться в армии и по этому поводу обращался с просьбой к М. А. Шолохову, чтобы писатель поговорил с Буденным. Но судьба его закончилась трагически.

По свидетельству самого писателя, при работе над образом Григория Мелехова он взял только военную биографию Х. Ермакова — «служивский период, война германская, война гражданская». Из поля зрения исследователей обычно выпадает биография молодого Григория Мелехова. Каково же было наше удивление, когда на вопрос, не был ли кто в хуторе Плешаки похож на Григория и Петра Мелеховых, старый казак Алексеев Иван Алексеевич воскликнул: «Какие Мелеховы? Это же Дроздова ребята, Алексей и Павел, а Дарья, Петрова жена, это Мария, Мария Андриановна».

В чем же находили хуторяне сходство между Григорием Мелеховым и Алексеем Дроздовым, Петром Мелеховым и Павлом Дроздовым, Дарьей Мелеховой и Марьей Дроздовой?

Павел Дроздов напоминал Петра Мелехова даже внешне. Когда мы слушали Наталью Васильевну Парамонову, родную племянницу Павла и Алексея Дроздовых, мы находили это внешнее сходство с портретом Петра, данным в «Тихом Доне»: «небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, с пшеничными усами». Наталья Васильевна говорит: «Дядя Павел был белейький, он был небольшого роста. Я дядю Павла помню, фотокарточки видела, и живого все-таки помню его. Красиво он одевался, полушубок у него был вот тут опушенный... Дядя Павел офицер белый был».

Старый казак хутора В.-Кривского Дергачев Матвей Иванович в молодости был знаком с Алексеем и Павлом Дроздовыми, встречался с ними на Плешаковской мельнице; с Алексеем Дроздовым встречался в последний раз, когда тот вернулся с фронта германской войны. На наш вопрос, находит ли он сходство между Павлом Дроздовым и Петром Мелеховым он твердо сказал: «Это не то что похоже, это точно, никуда не денешься, ведь он же был командир восставшей сотни в 19-м году».

И погиб Павел Дроздов так же, как Петр Мелехов в «Тихом Доне». Старожилы хорошо помнят, как жена Павла, Марья Дроздова, охваченная злобой и чувством мести, убила своего кума, Сердинова Ивана Алексеевича, который выведен в романе как большевик Котляров Иван Алексеевич. В революцию большевик Сердинов и белый офицер Павел Дроздов неизбежно должны были столкнуться. Это столкновение произошло. Иван Алексеевич участвовал в том бою между красными и белыми, когда погиб Павел Дроздов, что дало повод для Марьи Дроздовой считать, что Иван Алексеевич убил ее мужа. И когда Ивана Алексеевича, страшно избитого, в числе других пленных конвоиры вели через хутор Плешаки, Марья Дроздова крикнула ему: «Расскажи, кум, как ты моего мужа убивал» — и стала избивать его, несмотря на то, как говорит Наталья Васильевна Парамонова, что он просил ее: «кума, я не бил кума», потом Марья выхватила винтовку у рядом стоявшего конвоира и выстрелила в Ивана Алексеевича.

Вот как это описано в романе: «Расскажи-ка, родненький куманек, как ты кума своего... моего мужа...» Дарья задохнулась, схватилась руками за грудь. Ей не хватало голоса.

Стояла полная, туго натянутая тишина, и в этом недобром затишном молчании даже в самых дальних рядах услышали, как Дарья чуть внятно докончила вопрос:

— ...Как ты мужа моего, Петра Пантелеевича, убивал-казнил?

— Нет, кума, не казнил я его!

— Как же не казнил? — еще выше поднялся Дарьин стенящий голос.— Ить вы же с Мишкой Кошевым казаков убивали? Вы?

— Нет, кума.. Мы его... я не убивал его...

— А кто же со света его перевел? Ну кто, скажи?..

Дарья не сразу осознала то, что совершила, и только тогда поняла, о ком говорят, когда услышала, как стонет Иван Алексеевич, принявший смерть от ее руки».

В романе есть и описание того, как награждал генерал Сидорин женщин хутора Татарского, которые «особенно отличились» в вооруженной борьбе против красных. Он назвал их героинями-казачками. В их числе была и Дарья Мелехова.

В станице Еланской мы встретились с 90-летней Аиной Ивановной Оводовой, которая хорошо знала женщин семьи Дроздовых еще с дореволюционных пор, так как часто шила им. («Большие, бойкие женщины».) Анна Ивановна лично наблюдала эту сцену награждения. Она рассказывает: «Приехал генерал, а с ним еще двое (на них совсем другая форма). Тогда на фронт что-то не дюже шли казаки, генерал хотел воодушевить их. И этот генерал им, сестрам Дроздовым, по пятьсот рублей привез. Они в белых платьях, длинных, с оборками, в черных коклюшных шарфах, нарядные. На столе лежат деньги, кучки по 500 и 500, это вот они убивали, это им награда. Вот одна подходит, берет деньги и за пазуху, и другая за ней».

Михаил Александрович Шолохов вспоминает: «В это же время, когда был Сидорин, я был в Плешаках, но меня отец не пустил туда».

По признанию самого Шолохова, семья Дроздовых послужила в какой-то мере основой для написания первой книги романа, в которой большое место отводится как раз казачьей семье Мелеховых.

Наталья Васильевна Парамонова вспоминает: «Дядя Павел — офицер белый был, это известно. А уж вот дядя Алешка, этот же в красных служил... Дядя маленький — Павло, а Алексей повыше ростом, он такой натоптаный. Одевался просто, парень был вольный, пригуливал хорошо. Когда еще неженатый был, то гулял с Таней, соседка была. Она славненькая была. У Тани в армии муж был, она жалмерка была, ну и она же от него и родила. А девочка эта померла от болезни какой-то, маленькая еще была, еще из армии муж не пришел. От отца Алексею не

поздоровилось, он-то не хотел, что Алексей так делает, это же некрасиво, рядом живем, через плетень, а муж у нее в армии, когда вернулся муж, бил Татьяну сильно. Она рассказала сама, что она грешная. Петро, муж Татьянин, потом ночи не ночевал дома, куда он пошел, это не ее дело».

По словам Натальи Васильевны, Алексей «жену первую бросил, он ее и не дюже знал хорошо. Она обиженная была, и хорошо обиженная. Прожили они лет восемь. Расшелся с первой женой, взял себе с Кубани, уехал на Кубань, и с ней, со второй, жил все-таки долго, но потом и с этой расшелся».

Михаил Александрович Шолохов рассказал нам, что Алексей Дроздов на свидания к невесте своей ездил в Сигин, за двенадцать километров от Плешаков. Это было не просто — уехать на игрища верхом на коне так, чтобы отец не видал, и вернуться до зари, конь запотеет, Алексей трет его мешком досуха, чтобы не навлечь гнев отца. И запаливать коня нельзя было. Хозяйство было небогатое: два коня, пара быков — и все. Так что коня надо было беречь. Дроздовы работали без батраков. Наталья Васильевна Парамонова рассказывает: «И рабочих рук и тягла не хватало, кое-когда слажались пахать, может быть, но не часто».

Люди, знавшие Дроздовых, подтверждают, что все в семье были работящие, дружно управлялись по хозяйству. Это трудолюбие отличает и семью Мелеховых в «Тихом Доне». Пахали, сеяли, косили, убирали урожай, ездили на мельницу, на ту самую мельницу Симонова в хуторе Плешаки (а по роману в Татарском), на которой работали братья Бабичевы, Давид и Василий. О Давиде мы знаем, что он до недавних пор работал в совхозе «Калининский». В «Тихом Доне» в работниках у Мохова был помощник вальцовщика, молодой белозубый парень Давыдка, который говорил молодому хозяину о том, какой у него скупой, «жила», отец.

На этой же мельнице работал машинистом Иван Алексеевич Сердинов. В романе изменена только фамилия. Ивана Алексеевича Сердинова, первого председателя Еланского ревкома, помнят многие и в Елани, и в Плешаках. Приемный сын Ивана Алексеевича, Иван Иванович Сердинов пишет: «Все, что я слышал об отце от матери и старших, почти целиком совпадает с тем, что рассказывает М. А. Шолохов в романе «Тихий Дон». Мы жили на хуторе Плешаки. Отец работал машинистом паровой мельницы, принадлежащей Симонову. Был он статным, красивым казаком, веселым, общительным, хорошо пел и танцевал. Был кумом чуть не всему хутору. Люди уважали его, хуторяне приходили к нему за советом. Выучился грамоте. Как только на Верхнем Дону установилась советская власть, его сразу же избрали председателем Еланского станичного ревкома.

Ярко запал в память день, когда я последний раз виделся с отцом. Это было весной. Отец приехал в Плешаки утром. Мать бросилась к нему на шею, обняла его и сказала: «Доколе ты будешь скитаться?» Он ласково погладил ее по голове и ответил: «Эх, Дарья, ничего ты не поняла. Мы строим новый мир».

Из-за предательства командования Сердобского полка мой отец и его товарищи попали в руки восставших, их погнали из Елани в Плешаки и всю дорогу их зверски избивали. Отцу выбили один глаз. В Плешаках на них набросилась толпа. Коммунисты вели себя мужественно. Андрей Поляиский перед смертью крикнул: «Умираю за свободу, а свободу не убьете!»

Отца моего убила Марья Дроздова, наша соседка, его кума. Она с бешеной яростью ударила моего отца прикладом в лоб. Винтовка переломилась, отец упал на спину. Дроздова выхватила винтовку из рук стоящего рядом казака и штыком проколола грудь его.

Мария Дроздова умерла несколько месяцев спустя, осенью 1919 года. После того как в припадке лютой злобы она убила моего отца, стала чахнуть. Когда спрашивали у нее: что с тобой случилось, отвечала, что тоскует сильно, совесть ее мучает. «Каждую ночь во сне вижу Ивана Алексеевича. И все одно мне говорит: «Не убивал я твоего мужа, кума, не виновен в его смерти».

В станице Вешенской есть улица, названная именем Сердинова. Иван Алексеевич Сердинов был одним из тех, кто отдал жизнь за становление советской власти на Дону. Борцы за утверждение советского строя на Дону: Федор Григорьевич Подтелков, Михаил Васильевич Кривошлыков, Иван Лагутин — с первых же дней революции решительно встали на ее сторону и благодаря своим незаурядным способностям смогли оказать решающее влияние на весь ход борьбы с контрреволюцией на Дону. Образы представителей революционного народа — Подтелкова, Кривошлыкова, Щаденко, Головачева, Минаева, Лагутина — таким образом, тоже имеют реальных прототипов.

До М. А. Шолохова в советской литературе не было показано верхнедонское, так называемое «Вешенское», белоказачье восстание 1919 года. Весь материал Шолохов черпал главным образом из бесед с оставшимися в живых участниками тех событий. В Боковском краеведческом музее есть раздел экспозиции, посвященный землякам — борцам за советскую власть на Дону. Там мы увидели фотографию Петра Семигласова в форме лейб-гвардейского Волынского императорского полка. Это тот самый Петр Семигласов (в романе Петр Семиглазов), которому в «Тихом Доне» посвящен короткий, но сильнейший эпи-

зод: читая его, мы ощущаем почти физическую боль за прекрасную, рано оборвавшуюся жизнь, отданную революции.

«...Григорий узнал всадника. Это был каргинский коммунист из иногородних, Петр Семиглазов. В семнадцатом году с германской первый пришел он, тогда 24-летний парняга, в невиданных доселе обмотках, принес с собой большевистские убеждения и твердую фронтовую напористость. Большевиком он и остался. Служил в Красной Армии и перед восстанием пришел из части строить в станице советскую власть. Этот-то Семиглазов и скакал на Григория, уверенно правя конем, картинно потрясая отобранной при обыске, годной лишь для парадов офицерской саблей».

Кстати, об этой сабле мы услышали в Каргине нечто вроде легенды от Шевцовой Евдокии Константиновны, родственницы Семигласова. А племянник Семигласова, проживающий сейчас в Боковской, вспоминает, как его отец (брат Семигласова) хоронил Петра. Такова народная память о герое революции Петре Семигласове.

Много было трагического в то бурное время. И в «Донских рассказах» и в «Тихом Доне» мы читаем о том, как люди, связанные кровным родством, оказывались по разные стороны линии фронта.

И необходимо было именно шолоховское знание донской действительности, шолоховское видение мира, шолоховский талант, чтобы так смело, ярко и убедительно выразить идею непобедимости дела революции. Эта убежденность должна была «жить» в крови писателя, чтобы, будучи облеченной в талантливое и первозданное шолоховское слово, так сильно повлиять на миллионы и миллионы человеческих сердец и умов, стремящихся постичь правду о нашей революции. Мы говорим о подлинном гуманизме и огромной притягательности произведений Шолохова.

Изучение творчества Шолохова дает будущим исследователям богатейший материал. Снова и снова будут думать, как могло родиться такое произведение, как удалось Шолохову создать такой роман. Однако кто положа руку на сердце готов сказать, что может разгадать секрет таланта великого мастера слова, разложить по полочкам все в его творческой лаборатории, или, как говорит Михаил Александрович, «на кухне писателя»?

Во время одной из бесед о прототипах Шолохов прочитал нам письмо Льва Николаевича Толстого Луизе Ивановне Волконской, в котором он отвечает на ее вопрос о прототипе Андрея Болконского. Там есть такие строки: «Спешу сделать для вас невозможное, то есть ответить на ваш вопрос. Андрей Болконский — никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, если бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить...»

То, что писатель прочитал нам это письмо, послужило и хорошим напоминанием, и многое объяснило.

Мы думаем продолжить свою работу, и, приобщаясь к «святая святых», попытаться постичь тайну того, как жизнь становится высоким искусством на страницах шолоховских книг...

◆

ВИНСЕНТ ВАН ГОГ. Крестьянская ферма в Провансе. Рисунок

Культура и современность

Заметки на полях

НЕ СОЗЕРЦАТЕЛИ, НО ДУХОВНЫЕ ВОЖДИ!

В чем смысл литературы, каковы ее главные цели и предназначения? Ответ на этот вопрос, казалось, давался не раз и не два. Но он снова и снова встает перед писателями, в особенности если их путь в литературе только начинается. Волнует этот вопрос и писательскую молодежь Болгарии, о чем свидетельствует состоявшаяся в декабре прошлого года Третья Национальная конференция молодых литераторов. Особое значение этому важному событию в культурной жизни страны придало то, что перед участниками конференции с большой речью выступил Первый секретарь Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии, Председатель Государственного совета НРБ Тодор Живков.

Во всех документах конференции — и в докладе председателя Союза болгарских писателей академика Пантелея Зарева, и в содокладах Драгомира Асенова (о прозе), Здравко Петрова (о поэзии), Ивана Цветкова (о критике) — отмечалось, что в литературу приходит новая достойная смена, среди которой есть немало талантливых авторов, утвердивших свое имя, активно работающих в самых различных жанрах и во многом уже определяющих облик сегодняшней болгарской литературы. Вместе с тем было указано на недостатки, свойственные молодым литераторам, и не только в том, что касается их художественного мастерства. Докладчики подчеркивали, что не всегда произведения молодых отличает идейная зрелость, что в поэзии гражданские мотивы порой звучат приглушенно, а в прозе недостаточно полно отражаются главные процессы современности.

Именно поэтому так актуально в речи Тодора Живкова прозвучали слова о неразрывной связи болгарской литературы с социально-политической действительностью:

> «Основой основ болгарской литературы является борьба болгарского народа за свободу, прогресс и социализм, костяк болгарской литературы — политика. Политика и литература, политика и искусство неразделимы».

Тодор Живков, напомнивший молодежи, что болгарская литература «всегда была тревожным набатом, призывающим народы на борьбу за свободу и счастье человека», говорил о нерушимом единстве партии и интеллигенции в социалистической Болгарии, об ответственности таланта перед обществом, о постоянно растущих требованиях читателей, о том, что оценка народа — это единственно верное мерило ценности художественного творчества.

Вот уже несколько месяцев вопросы, обсуждавшиеся на конференции молодых писателей, выступление на ней Тодора Живкова находятся в центре внимания болгарской литературной общественности. Орган молодой творческой интеллигенции «Пулс» поместил отчет о состоявшемся в редакции разговоре, в котором приняли участие многие ведущие поэты и критики. Обсуждению речи Тодора Живкова и задач, стоящих не только перед молодыми писателями, но и перед всей литературой в целом,

было посвящено и собрание писателей, на котором с докладом выступил известный прозаик Богомил Райнов. Выражая общее мнение, он назвал речь Тодора Живкова «всеобъемлющей творческой программой художественной интеллигенции». В своем докладе, опубликованном в еженедельнике «Литературен фронт», Б. Райнов поделился раздумьями по всему кругу проблем, поднятых Тодором Живковым, подвел итоги конференции молодых, затронул многие важные проблемы современной литературной жизни Болгарии, а также вопросы идеологической борьбы. Доклад Б. Райнова очень точно отражает мысли и чувства, волнующие сегодня болгарских писателей от старшего поколения до самого молодого.

Напоминание Тодора Живкова о связи литературы с политикой, подчеркивает Богомил Райнов, не случайно и очень своевременно. Оно сделано в момент обострения идеологической борьбы в международном масштабе, требующий от творцов культуры более высокой политической активности. Райнов полемизирует с теми, кто утверждает, будто политический характер присущ только литературам социалистических стран и является признаком их художественной слабости, отсутствия у писателей творческой свободы. Он подчеркивает, что политизация искусства в капиталистических странах стала неоспоримым фактом, что большая часть видных западных писателей обращается в своих произведениях к острым политическим проблемам.

> «...Когда вражеские радиостанции сетуют на то, что наши писатели якобы пишут по указке или что они — слепые исполнители партийных директив, их злоба вызвана не тем, что мы служим политике, а тем, что мы служим не той политике, какой служат они. Когда занимаются политикой диссиденты,— а они только политикой и интересуются,— то на Западе им лишь рукоплещут.
>
> ...Западные стратеги рассматривают партию и интеллигенцию как две силы, которые можно противопоставить друг другу, раздувая недоверие, сея недовольство. Только нет двух противоположных сил, сила — одна. Это — партия, партия творцов во всех областях жизни, в которой интеллигенция занимает достойное место...»

Партия, отмечает Б. Райнов, ставит перед литературой те же самые задачи, какие во все времена стояли перед настоящим искусством. Он вспоминает Бальзака и Домье, целью которых было изображение современности со всеми ее проблемами, русских классиков, и, в частности, Льва Толстого, которого Ленин называл «зеркалом русской революции». Болгарские писатели, подчеркивает Богомил Райнов, смело могли бы заявить своим оппонентам, что действительно воспринимают слово партии как директиву, но отнюдь не потому, что готовы не рассуждая выполнять любые указания, а потому, что противопоставить себя партии — это все равно что отречься от самих себя.

Конференция показала, что современная тема должна быть, по выражению Райнова, прежде всего территорией молодых. Он говорит:

> «Естественно, это территория и писателей старшего поколения. Однако, хотим мы того или нет, мы одной ногой в прошлом, оно отметило нас своими невидимыми метами, мы носим в себе и его героику, и его кошмары... Самое же молодое поколение целиком в современности. Оно рождено в эпоху социализма, выросло в животворной атмосфере, сложившейся после исторического Апрельского пленума. И радостно, когда в поэзии и прозе молодых талантливых писателей показаны новый быт и новые трудовые будни нашего народа, увиденные свежим глазом и проникнутые захватывающим и покоряющим духом подлинности, когда находишь в них тревожные раздумья над большими проблемами времени, глубокую веру в наш коммунистический идеал».

Об отношении молодых писателей к современной действительности говорили все выступавшие на конференции. Пантелей Зарев отметил пристальное внимание литературной молодежи, по своему мировоззрению и мироощущению детей социалистического общества, к нравственным проблемам, что как нельзя более соответствует нынешнему этапу развития социализма в Болгарии, когда на первый план настойчиво выдвигается вопрос о гармоническом воспитании личности. Он подчеркнул органическую связь молодого поколения с традициями прошлого, со своими предшественниками, которая прежде всего проявляется в стремлении не стоять в стороне от жизни, а творить историю вместе со всем народом.

Анализируя на конференции работу молодых прозаиков, Драгомир Асенов сказал, что их связь с жизнью становится все более прочной и глубокой, что «молодые прозаики интересуются жизнью трудового человека на селе и в городе, внимательно присматриваются к будням и праздникам рабочего класса, стремятся разглядеть проявления социалистической нравственности, ищут ростки нового в душе современника». В прозе молодых все чаще встречаются и верно подмеченные характеры, и точно описанные конфликты, и смело поставленные проблемы. По мнению Асенова, это говорит о царящем в болгарской литературе здоровом климате, благотворном для самых смелых творческих замыслов.

Много внимания было уделено на конференции центральному, как его назвал Пантелей Зарев, вопросу — вопросу о положительном герое. Подробно останавливается на

этой важнейшей проблеме литературы и Богомил Райнов. Во все эпохи эстетический идеал находил свое воплощение в образе положительного героя. Его отсутствие свидетельствует о том, что у данного общества нет позитивной программы, что оно клонится к закату. Именно такова ситуация, замечает Райнов, в современном буржуазном искусстве, и это вынуждены признавать многие его теоретики. Совсем по-другому проблема положительного героя решена в советской литературе и литературах социалистических стран. Многие из положительных героев литературы нового, самого передового общества вошли в ряд лучших художественных творений мировой литературы. Этим образцам стремятся следовать молодые болгарские писатели. Правда, как отмечалось на конференции, в их произведениях чаще удачно переданы отдельные черты, особенности человеческого характера, присущие нашему современнику, но еще нет художественного обобщения, масштабных, законченных образов.

Главную причину неудач молодых писателей выступавшие на конференции видят не просто в недостатке художественного мастерства, а в нечеткости авторской позиции, в пассивной констатации жизненных явлений. Именно это Драгомир Асенов считает самой распространенной слабостью прозы. Отмечая эти же недостатки в поэзии, Здравко Петров призвал молодежь «быть на гребне общественной волны», расширить радиус своего общественного воздействия, изгнать мелкотемье и излишнюю камерность, а Пантелей Зарев закончил свой доклад призывом к участникам конференции — «быть не созерцателями, а духовными вождями своего времени».

В преодолении недостатков в творчестве молодых важную роль должна сыграть критика, которая, как подчеркнул в своем содокладе на конференции Иван Цветков, добилась за последние годы значительных успехов: возросла ее активность, повысилась принципиальность и взыскательность, углубился классово-партийный подход к оценке литературных явлений, пристальнее стало внимание к актуальным проблемам современной литературы, к текущему литературному процессу. Молодые критики, по мнению И. Цветкова, все уверенней входят в литературу, все меньше у них дилетантизма, все выше уровень теоретической подготовки и общей культуры, шире круг историко-литературных интересов. Тем не менее критике все еще не хватает остроты, вдумчивости при разборе произведений молодых авторов, умения анализировать их в соответствии с самыми высокими художественными критериями. О большой роли критики в становлении литературных дарований говорит и Богомил Райнов:

> «...Критике есть что сказать молодым. Прежде всего талантливым, тем, кто радует нас и внушает уверенность в завтрашнем дне нашей литературы. Этих бесспорно талантливых индивидуальностей не так уж много, но талантов ни в одном поколении и никогда не бывало очень много. И потому их необходимо поддержать и утвердить, ведь, как указывал товарищ Тодор Живков, талант — это не только возможности, но и ответственность».

Возвращаясь к вопросу о роли литературы в жизни социалистической Болгарии, Богомил Райнов подчеркнул, что одним из самых важных мест в речи Тодора Живкова на конференции были слова о так называемых диссидентах, которых следует считать фактом не литературным, а политическим, явлением современной идеологической борьбы. Даже большей части буржуазной интеллигенции, замечает Райнов, ясно, что шумиха по поводу «прав человека», защиты свободы личности есть просто-напросто, по выражению одного американского профессора, «гуманный империализм». Реакции хотелось бы создать в социалистических странах оппозицию, но поскольку политическую оппозицию, как сказал Тодор Живков, искусственно создать нельзя, то она пытается опереться хотя бы на отдельных заблуждающихся людей или откровенных предателей. «Мы могли бы добавить,— заявляет Богомил Райнов,— что в нашей стране и отдельных диссидентов нелегко завербовать».

Третья Национальная конференция молодых болгарских литераторов, последующее обсуждение поднятых ею проблем убедительно показали, что верность народу и партии хранят не только представители старших поколений, но и самого молодого, вступающего в литературу. Оно готово продолжить славные традиции болгарской литературы, всегда кровно связанной со своим народом, его революционной борьбой и созидательным трудом. Это является основной мыслью в докладе Богомила Райнова:

> «...Болгарские писатели в своей повседневной работе всегда вдохновлялись и будут вдохновляться гражданским и творческим предназначением — быть достойными высокого доверия партии».

М. ТАРАСОВА

◆

Публицистика

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ

ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

Литература ГДР: портрет в диалогах [1]

II. БОЛЕЕ ВСЕГО — О ТОМ, ЧТО ПРЕДШЕСТВУЕТ ЗАМЫСЛУ И СЛЕДУЕТ ЗА СВЕРШЕНИЕМ...

Семь крупиц соли для семи частей света...

Пауль Винс

Вы спрашиваете, что мне труднее всего дается, когда я сижу за письменным столом и пишу стихи... Ну, во-первых, стихи за письменным столом я не пишу почти никогда. Почти никогда. А во-вторых, дело в том, что я вообще о поэзии думаю очень мало,— о языке думаю, но очень мало размышляю о каких-то теоретических проблемах, будь то проблемы формы или того, насколько мое стихотворение или же все мое творчество в целом соответствует канонам какого-нибудь направления, или о чем-нибудь в этом роде... О чем же думаю? Я думаю не о стихах, я думаю, собственно, о мироздании, о мире... Ведь, согласитесь, так близко к природе, как поэзия, не стоит никакой другой вид искусства. И наиболее привлекательным в образе поэта мне кажется некий идеал мудреца, который в пятидесяти небольших стихотворениях сумеет ухватить и удержать время и мир, в котором он живет. Поэтому-то мне так трудно говорить о себе как о поэте и о поэзии тоже...

У меня всегда вызывает раздражение, например, когда меня называют лириком, ведь под лириком понимают нечто эдакое ласково-интимное, чувствительное. А я не чувствителен. И чувства у меня не пресные, мысли у меня не пресные — в своих мыслях я скорее резок... Итак, мое представление о поэтах, прежде всего, противоречит общепринятому, во-вторых, мое представление о поэтах и о поэзии противоречит традиционным литературоведческим определениям. Признаюсь, я вообще имею весьма сильное личное предубеждение против литературоведения и истории литературы... Многие литературоведы — люди милые и умные, ничего лично против них я не имею, они исследуют, скажем, какой отклик получает античность в современной лирике ГДР, да? Ну, разумеется, она получает отклик: разные поэты разных поколений формируются по-разному, воспринимают античную литературу и античное духовное наследие и перерабатывают их, осваивают — каждый на свой лад. И вот ученые проводят исследования и приходят к определенным выводам. Что ж, все это закономерно, но меня нисколько не волнует... такое направление мыслей для меня абсолютно чуждо, мне это все в принципе не интересно. В людях, пишущих стихи, меня занимает всегда одно: встречу ли я личность, человека. Одни мне кажутся ближе, другие — дальше, но я хочу знать, как они смотрят на тот или другой предмет,— ко-

[1] Окончание. Начало см. в № 5 за 1978 г.

роче говоря, совсем не то, чем занимается теория...

Судя по вашим намерениям, нам предстоит с вами обсудить миллион вопросов — и о моей собственной работе, и обо всем, о чем вообще человек задумывается и что только есть на белом свете... Давайте начнем с самых общих вещей, не с моего творчества, а с того, что волнует меня в плане политическом, общественном... Например, как писатель приходит к читателю, или как читатель приходит к писателю, или наши дискуссии с писателями из других стран, или еще что-то в этом роде — это меня интересует, это очень меня интересует. Уже года три, как я веду на телевидении передачу «Слово предоставляется...» — провожу беседы с писателями, поэтами. Как они строятся? Обычно мы делаем так: приглашенный, например Эва Штриттматтер, читает какое-то свое стихотворение. А потом я с ней беседую полчаса или три четверти часа о ее жизни, задаю ей разные вопросы, а она отвечает, или мы говорим о стихотворении, которое она прочла. А под конец она еще раз читает стихотворение. И потом слушателей просят написать нам. Передача бывает поздно, часов в десять вечера, она стала уже привычной: я провел такие беседы уже с двадцатью поэтами, среди них были и советские, например Михаил Дудин из Ленинграда выступал у нас, поэт из Вьетнама. И мы получаем много писем, очень много писем, зрители присылают и свои стихи. Например, Эве Штриттматтер адресовали письма более ста женщин, они рассказывали о своей жизни и вообще... Это очень интересный опыт. Сейчас я в первый раз готовлю что-то вроде беседы за круглым столом — не хочу больше ограничиваться одними писателями, в этот раз мы приглашаем, например, кроме писателей, спортсменку, архитектора, двух актеров. Беседа идет в эфире час с четвертью — на самом деле мы проговорили почти три часа, но из трехчасовой дискуссии выкроили час с четвертью, завтра это пойдет в эфир. О чем разговор? Обо всем: о любопытстве, об игре и о работе, почему выбирают ту или иную профессию, об отношении к детям, о том, какие сны видят... То есть личное и общественное, серьезное и развлечения, фантазия и реальность — беседа получилась очень живой, посмотрим, как эту передачу примет публика. Мне кажется, такие формы дают возможность преодолеть некоторые недостатки наших средств массовой информации — сухость, официальный характер многих материалов и передач. Надо пробовать показать — как это делает книга или художественный фильм — и личное, внутренний мир человека...

Вас интересует, о чем пишут зрители... Большинство писем, пришедших, скажем, после беседы с Эвой Штриттматтер — адресованы они были ей и мне,— это письма женщин. Что их волнует? И тексты стихотворений, и тот факт, что женщина пишет стихи, выражает в них свою жизнь, себя. Довольно много писем — и это весьма любопытно с точки зрения социологии — от пожилых женщин, от женщин, у которых по пять, по шесть, по семь детей, очень загруженных; представьте, крестьянка, живет где-нибудь в деревне, в кооперативе, одна с четырьмя или пятью детьми на руках, всегда она занята. И в то же время, пишут они, нам нужна красота, и даже когда глаза совершенно уже слипаются — вечером, перед сном,— мы читаем иногда стихи, просто не можем без этого, и раз вы пишете, то, может быть, и нам надо попробовать? Они в самом деле пробуют... Очень многие присылают стихи — конечно, часто совсем слабые строки,— но все же всякий раз это попытка открыть душу. Разве это мало, когда, читая книгу, кто-то вдруг находит в ней самого себя, свою жизнь, проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться... По-моему, именно в этом суть воздействия, которое искусство способно оказать на общественную жизнь. Я не очень верю в литературу как прямого воспитателя; помочь человеку найти себя, придать ему сил, помочь ему осуществить в большей степени свое личное «я» — вот ее миссия...Очень многие с удовольствием смотрят нашу передачу, хотя разговоры в ней ведутся только о стихах и о литературе,— правда, какую-то часть зрителей привлекают не столько стихи, сколько возможность увидеть писателя или поэта, познакомиться с ним ближе, увидеть, как он размышляет, как реагирует на те или иные проблемы жизни.

Скажу вам и о том, что меня не устраивает в нашей гражданской поэзии — декларативные стихи по торжественным поводам, которые подчас появляются в газетах; у нас — и, кстати, у вас тоже — не так уж редко они линейны, плосковаты, не содержат никакого второго плана... Личность автора, особые переживания, связанные со временем, в которое он живет, его жизненный опыт отражены в таких стихах абстрактно, безлико, а претендуют они вроде бы на многое... Я думаю, что как читателю мне такие стихи не нужны. У меня ведь есть свои чувства, и одного хорошего стихотворения, которое я прочел на эту тему, достаточно. От поэта я жду другого... Меня интересует другое: как он видит, что нового обнаруживает в устройстве человека или мира, какие новые краски... Картина, нарисованная космонавтом, например, или те ощущения, которые переживает космонавт, впервые увидевший землю со стороны, мне интересны гораздо больше подобных стихов. Вот. У меня есть стихотворение, кстати, его у нас слишком часто цитируют,— я написал его много лет назад, в пятидесятом или пятьдесят первом году. Оно называется «Завещание». Звучит оно примерно так (привожу в своем подстрочном переводе):

Вот наше завещанье —
Хорошая, точная память.
А наше наследство —
Лето, полное света и соков,
Лето ветреное, но мягкое.
Глубок, глубок лес,

Пашня...
Дороги вокруг земли шире,
Люди дружелюбнее, разумней.
Облик и мысли без изъяна,
Стихи на тумбах для афиш.
Каждый дом обвит любовью,
Радостен каждый ребенок, и вообще...
Горечь народа — лишь капля.
А радость — шириной во все моря...

Ну, как вы находите? Но ведь так можно писать один раз в жизни, и не надо превращать это в общее место, цитату... Я думаю, что официальный «протокол» не нужен в литературе,— нужны строки, так сказать, единственные и неповторимые...

Мне лично гораздо больше дает документально-художественный репортаж режиссера, который побывал, скажем, в Чили или в США или побывал на нашем предприятии и показал, как люди живут и работают, чем стихотворение на эту тему какого-нибудь поэта, воплотившего впечатления от поездки в лирико-эпическом жанре. Для этих целей надо использовать телекамеру, для этого мне не нужна стихотворная форма. Стихи здесь мне не нужны, ведь и режиссер, делающий репортаж, имеет своего лирического или эпического героя, и в образе его отражается позиция этого режиссера — как он видит события, как он их снимает... И, по-моему, в тех случаях, когда я, например, еду в какую-то страну и вижу там что-то интересное или хочу рассказать о каком-то конкретном человеке — последнее мне лучше удается, я это гораздо больше люблю,— я с удовольствием расскажу о нем, но я не стану писать об этом поэтическую книгу, для данного случая такое решение мне не кажется оптимальным, понимаете? Лучше я сниму фильм. А что же тогда остается для стихотворения?—спросите вы. Сущность, которую я увидел в каком-то дереве так, что могу показать ее в очень короткой фразе. Но чтобы было сразу понятно, что речь идет не просто о березе и даже не о русской березе, или о немецком дубе, или немецкой липе, не, так сказать, о символах, а о том конкретном дереве, как его вижу только я! Или в стихотворении используется чисто языковой прием, игра словом... Русской поэзии это отлично известно — вырвать, так сказать, внезапно слово, изъять его из общепринятого обращения и так его повернуть, найти такое его сочетание с другими словами, что оно будет восприниматься как свежее, новое, яркое, и через это привести к пониманию сущности...

Таинство озарения? Каждый раз, когда я чувствую, будто во мне что-то поднимается, требует выхода, я начинаю работать. Чувство такое, словно ранним утром выходишь куда-то, на какую-то скалу, на тебе ничего нет, ты не способен говорить, ото всего отрешился — нет, не вдохновение, просто в такой момент я знаю — надо работать...

Уже много лет со мной происходит именно так — именно такое ощущение перед началом работы... Помню, я был в Италии, лет мне было 14 или 15, ходил по дорогам, останавливал машины, у вас это называется «голосовать», да... ходил по Италии, денег у меня было мало...

Как-то ночью сел в грузовик, к рассвету приехал в Геную; четыре часа утра, какой-то маленький кабачок, завтрак: макаешь хлеб в большую чашку кофе с молоком — прямо как суп. Рядом — грузовички стоят, шоферы — в кафе... А потом шел один... вдоль набережной... И вот, знаете, такое совсем легкое, светлое голубое небо, совсем прозрачное, солнце еще не взошло, домики на берегу — ну, такие же, как в Советском Союзе, в Крыму... светло-голубые или красные, розовые, малиновые... и вот такое, совсем прозрачное небо было, какая-то птица, чайка... взмыла в небо... Прямо перед глазами — дом и стена малиновая, и это голубое небо, и чайка... И все вместе — такое острое, такое утреннее чувство жизни...

Я, наверное, потому вообще пишу, что не устаю удивляться, что живу, мне всегда кажется каким-то чудом, тайной сознание, что я живу и все вижу и что я могу об этом размышлять и это чувствовать — это такое счастье...

Вы спрашиваете, в чем ощущаю я воздействие времени на себя. Опять надо возвратиться в детство... Помню первый момент, когда я как-то резко вдруг осознал, что я существую, я есть... Мне было, наверное, шесть или семь лет, и был я.— даже не знаю где, видимо со своей матерью или с детским садом,— на море, только помню: сильный ветер, и я бегу — просто так, против ветра, вдоль моря... и сразу — в первый раз в жизни, и оттого я этого мгновения не забуду — подумал вдруг, что вижу себя со стороны — это я, мальчик, который бежит здесь вдоль моря... Впервые как-то материализовалось представление о том, что я — это я...

Я думал, что когда-нибудь, когда я повзрослею, так, скажем, в 25 или в 30 лет, вот тогда... все буду видеть в истинном свете. Когда мне было 20 лет, а потом 30, когда прошел через войну — я очень много пережил,— мне казалось, ну, теперь я знаю многое, я зрелый... работал, писал, но каждый раз, когда случается перечитывать вещи, написанные, скажем, десять лет тому назад или даже пять,— всегда опять натыкаешься на куски по поводу которых думаешь: ну и глуп же я был тогда... ну, как я не понимал, что это же совсем по-другому... Вот в таком виде я, пожалуй, отчетливее всего ощущаю, что время делает со мной и что я делаю со временем...

Сейчас мне 55-й год, проходит мимо мужчина или женщина — думаешь: молодой какой (или молодая) — наверное, лет 25, теперь — даже 40 лет, а пятнадцать лет тому назад люди в этом возрасте казались старыми — так вот все ошибаюсь и ошибаюсь... Когда мне было 15—20 лет, я уже очень любил поэзию и философию, и до сих пор меня волнуют — в философском

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

смысле — проблемы бытия, связей, сцеплений жизни и смерти. «Я» как часть чего-то, и что, если я — часть и чего часть? Сознание себя как искры из вселенной в этом все время горящем огне... Как мы с этим сознанием справляемся и живем, почему у нас есть это сознание? Размышляю обо всем этом... Можно сказать, со вновь обретенным удовольствием погружаюсь в самосозерцание...

Какая книга вышла недавно? Последний мой сборник стихов — «Избранное» — был издан в 1972 году, теперь вот уже семь лет работаю над одной книгой, она еще не готова, ее нельзя назвать книгой стихов... Там будут и стихи и разные короткие заметки — «Sprüche»; называться она будет, вероятно, «Die nähste Wirklichkeit — Die Sitten der Zukunft», по-русски это примерно «Ближайшая действительность и обычаи будущего». Если хотите, могу вам одно или даже два коротких стихотворения оттуда прочитать (*читает и переводит*).

DER SALZMANN

1. Ich sehe ihn kommen
uber die ebenen nachts
Er bringt uns das salz
Seine füsse sind wund
Er glaubt nicht. Er lächelt
dem kalten sternenraum zu
der kein zelt ist.

Er sieht alles. Er lässt
die verhungerten kinder
links liegen und rechts
die herrlichkeit der staaten.
Er bringt uns das salz.
Für sieben erdteile
sieben körner.

2. Ich sehe — die zeit
eine lichtflüssigkeit
Sie glänzt unbegrenzt
Nichts. Alles blinkt.
Ihr spiegel in mir
steigt und sinkt.

ПРИНОСЯЩИЙ СОЛЬ

1. Я вижу, как он приходит
через равнину ночью.
Он приносит нам соль.
Его ноги натружены.
Он не верит. Он улыбается
холодному звездному пространству,
И это пространство — не шатер.

Он видит все. Он оставляет
умерших от голода детей
лежать слева, а справа —
величие государств.
Он приносит нам соль.
Для семи частей света
семь крупиц соли...

2. Я вижу, время —
светящийся поток,
заливающий безграничное
пространство...
Ничто. Все сверкает.
Отражение его во мне —
то вспыхнет, то вновь исчезает...

Как материализовать страсть

Ирмтрауд Моргнер

С каким чувством садишься за письменный стол? Это вопрос особый для женщины, для мужчины тут, собственно, и вопроса нет... Письменный стол — самое любимое мое место на земле. Не люби я его так сильно... и, наверно, не только я, все пишущие женщины, уж такая у нас жизнь... мы бы просто не могли писать. Есть много хороших писателей-мужчин, которые садятся за свой стол вовсе не с такой уж охотой,— разве не так? Но если для женщины письменный стол — не самое любимое место, я думаю, она попросту не пишет. Чем дорог? Это место, где я не должна на кого-то оглядываться, где я могу делать то, что хочу, где я сама собой распоряжаюсь. Обычно жизнь закручена текучкой, семьей. А при этой текучке не до вдохновения. Не я одна, многие писательницы (у нас, во всяком случае) трудятся как обычные работницы, ведут домашнее хозяйство — безо всякой прислуги, всё сами. Правда, помимо плохого, есть здесь и хорошая сторона. По-моему, неплохо, что все меньше женщин перепоручают черную работу другим. Мне кажется справедливым, когда человек сам вычищает за собой мусор, заботится о своем белье, о квартире, когда он знает, что такое простая работа. Это тоже важно: человек понимает, как дается повседневная жизнь, как растить детей. Я думаю, и работнику умственного труда, и всякому иному не вредно этим позаниматься. Интеллектуалу, ученому — очень полезно, это не только дает представление, что такое черная работа, воспитывает уважение к ней, это, я бы сказала, помогает соприкасаться с землей, с земной реальностью. Но когда таких дел сверх головы, творчеством уже заниматься трудно. У нас и во всех социалистических странах равноправие женщин гарантировано законом, и правительство, да не только оно, делает много, чтобы помочь женщинам действительно пользоваться своими правами. Но мало иметь равные права, когда обязанности у тебя двойные. Социологические исследования показывают, что 80 процентов домашней работы и забот по воспитанию детей приходится на долю женщин. Это значит, что они делают у нас в стране примерно две трети всей текущей работы, считая не только труд на предприятиях, но и труд домашний, без ко-

торого в жизни не обойтись. Это несправедливо, и это мешает развернуться творческим возможностям женщин. В конечном счете, это невыгодно обществу, и — я в этом совершенно уверена — законами тут всего не переменить, нужен подход творческий. Чтоб что-то переменить, надо избавляться от традиций и нравов вековой давности, для социализма они никак не годятся. Существует естественная пролетарская солидарность, она требует действовать, когда рабочие в других странах борются. Там солидарность проявляется незамедлительно. А где пролетарская солидарность в семье? Тут коммунисты не так уж солидарны со своими женами, вот о чем говорят эти 80 процентов. Вот почему женщинам трудно заниматься профессиями, где рабочий день не восемь часов, а больше,— и в правительстве их еще мало, и в партийном руководстве... У них просто слишком много других обязанностей, другой работы: возможности всякого человека не беспредельны, ему и поспать надо... Для писательницы, например, проблема сна — творческая проблема. Когда меня спрашивают, откуда берется вдохновение для творческого труда, я отвечаю: самое главное для меня — поспать часов восемь. Потому что, если не выспишься, ничего стоящего в голову не придет, пустая будет голова. Это относится и к писателям, и к ученым. Когда у женщины такая профессия, что она работает восемь часов на предприятии, потом еще восемь часов занимается домашним хозяйством,— с этим как-то еще можно справиться. Конечно, она изматывается, и у нее прибавляется морщин, которых лучше бы не было, однако работа делается. Но когда профессия требует от тебя полной отдачи сил — полной, и мужчины как раз с такой отдачей работают, тут женщине конкурировать трудно, потому что у нее нет... как бы это сказать... форы. У нее нет прислуги. У мужчины прислуга есть — это его жена, сама себе она тоже прислуга. Это очень сказывается на результатах творческой работы — судить можно хотя бы по тому, что у нас еще сравнительно мало женщин-писательниц, женщин-ученых, женщин-политиков. Дело не в том, что у них меньше творческих способностей, а в том, что творческие способности распыляются. А человек тем и силен... тогда у него что-то и получается, когда он долго сосредоточен на определенной проблеме, на каком-то одном предмете. Женщине приходится сосредоточиваться сразу на многом, в том-то и сложность: и хозяйство вести, и готовить, и о ребенке заботиться — все это требует творческих сил, требует идей, а уж на собственно литературное произведение идут остатки; потому и не редкость — учтите это,— когда работы, которые выходят из-под пера писательниц, оказываются ниже их творческих возможностей. Помощь по хозяйству?.. Нет, если б я даже сумела кого-то найти, я бы не смогла этим воспользоваться, появился бы новый человек, в котором я должна принимать какое-то участие: работница ведь не предмет неодушевленный, это не для меня...

Как стала писательницей? Я выросла в рабочей семье, мой отец — машинист. У нас даже книг не было дома — только году в сорок пятом мне кто-то подарил сундук с книгами, там были немецкие классики: Гёте, Шиллер. Мне было тогда лет одиннадцать-двенадцать, тогда я впервые по-настоящему стала читать. Прежде я думала, что тайну мира способна выразить лишь музыка, а слова, думала я, слова — это так... У нас дома слова не особо жаловали, слов было мало, о чувствах или о чем-то таком не говорили. И только в 1945 году, двенадцати лет, я впервые прочла «Фауста» Гёте, прочла Шиллера — «Разбойников», «Дона Карлоса», «Коварство и любовь», прочла Канта, правда, Иммануила, не Германа (с м е е т с я). Да, двенадцати лет... Конечно, я не все понимала, но могущество слова почувствовала—в «Фаусте», например. Когда никого дома не было, я доставала эти маленькие книжицы и читала вслух — «Дона Карлоса» в первую очередь. И разумеется, выбирала себе роль Дона Карлоса. А в «Коварстве и любви», конечно же, не Луизой хотела быть, а Фердинандом. Почему? Почему... Тут для меня не мужской или женский голос решал, а голос человека, чего-то ищущего; Гретхен, которая только ждет, но не действует, была мне неинтересна, мне нужен был голос человека действующего, вот что меня интересовало. Позднее я, конечно, поняла, что действие — дело мужское, так, что ли?.. Но двенадцатилетней девочке это было все равно. О том, чтобы писать, я и не помышляла, сама мысль об этом показалась бы нелепой. Тогда, после 45-го, я пошла в среднюю школу и сначала больше дружила с такими же, как я, у кого дома тоже не водилось книг. У нас в классе многие были из образованных семей, из семей врачей и прочих, только у двоих отцы были рабочими: у меня — машинист и еще один — плотник. Нам нелегко приходилось — ни книг не было, ни культуры, ничего. Дружили мы с такими же детьми рабочих, и вот тогда я стала интересоваться политикой. Это было естественно, это был одновременно и интерес к отношениям между людьми, например детей с родителями. Дети из образованных семей нам не нравились — они к своим родителям словно бы никак не относились, ни хорошо, ни плохо, говорили про них «старики», «предки» — без всякого чувства. А я, например, своим отцом всегда восхищалась, я тоже всегда хотела быть машинистом! Это желание держалось долго, я никому не говорила, но в душе все мечтала: вдруг случится чудо и я стану машинистом! И мамой своей я всегда восхищалась, она из ничего умела соорудить такое! То есть у моих родителей было воображение, только выявлялось оно не в словах, а в том, что они делали. Мама была

портнихой и создавала из ничего нечто, когда шила, отец — когда мастерил. Он не умел научно объяснить, что такое электричество, но умел строить, умел чинить — мне это нравилось, я этим восхищалась. И мне были близки те, кто относился к родителям так же — как к друзьям. Это были, как и я, дети из пролетарских семей, они тоже интересовались политикой. У некоторых родителей не было, они погибли в концлагерях. Были дети замкнутые... Это были евреи, сироты. Один учитель — у него жена была еврейка, и он при фашистах не имел права преподавать — тайком давал уроки этим еврейским детям. Он спас их, выучил, и после 45-го они смогли пойти в среднюю школу. Они казались старше своего возраста — после всего, что пришлось пережить. Да... Вот они и ребята из пролетарских семей — такая у нас была группа. Сложилось это совершенно естественно, потом мы рано вступили в партию, уже в 16 лет,— это было прекрасно. Можно рассказать о борьбе, которая происходила в школе, о нашем директоре... Вот был человек, которому хотелось подражать,— он не подавлял своим авторитетом, совершенно не подавлял, ходил в фетровых валенках, курил в школе, никому не запрещал курить, авторитет его держался без крика, без нажима — очень, очень простой. Герой, который обходился без шума, так, что ли...

Никогда не думала о дальнейшем ученье, мне и в голову не приходило, что можно учиться в университете. Но мне сказали: надо учиться, ты нам нужна. Вот так. Я интересовалась математикой, естественными науками, литературой, конечно. Но девушка — и вдруг математика, естественные науки... как-то это, знаете... Родители спрашивали: чего ты хочешь? Занимайся языками, а языки меня не интересовали. Словом, не знала, чем буду заниматься, потом случайно услышала про германистику — вот это предмет, и слово звучное. Выбрала я германистику, это уже было связано с литературой, это меня интересовало. Изучала я германистику четыре года и, пока училась, думать не думала, что буду писательницей. Это случилось уже потом, когда я после учебы стала младшим редактором в журнале «Нойе дойче литератур». Так вышло... все были больны, и мне пришлось редактировать все подряд: статьи, эссе, стихи, проза — все шло ко мне на стол... В университете нам говорили о святом искусстве, а в редакционном потоке встречаешь, конечно, не одни шедевры — попадает и, как немцы говорят, на водице замешанное, а то и просто макулатура, в общем — ничего сверхъестественного. Тогда я подумала: пожалуй, так, на водице, и я смогу... Со мной в школе учился один писатель, тот еще мальчишкой знал, что будет писать — он сэкономил много времени просто потому, что знал. Не написал еще ни книжки, но уже знал, что поэт. А я лишь примеривалась что-то замешивать на водице. И только лет примерно в тридцать, даже позднее, набралась духу и решила заняться искусством. Долгое время у меня просто не было мужества чего-то захотеть. И у многих женщин не оказывается такого мужества. Тут тоже нужна сила, мужество — прежде всего нужно захотеть. Но пока это созреет, теряешь немало времени...

Так что вопрос о том, с чем приходишь к письменному столу, связан с тем, о чем мы говорили. Женщина социологически живет по-другому, чем мужчина, и теперь тоже так — тому свидетель литература. Характер жизни человека, который погрязает в текучке, у которого на плечах семья, хозяйство, ребенок, муж, вся эта ответственность порождает иное жизнеощущение, чем у человека, который имеет возможность больше думать о себе, более независим. Хочешь не хочешь — а в литературе это отражается... хоть между строчками, но как-то отражается. Моя тема, вообще говоря,— выход женщины на историческую арену. До сих пор поэты писали в основном о мужчинах, они в этом просто лучше разбирались. Посмотрите любой спектакль — мужских ролей там куда больше, чем женских. И это понятно, мужчины писали о своих делах и проблемах. Так же понятно, что в произведениях, написанных женщинами, много женщин. Эта область вообще еще не разработана. Тут кругом целина. Согласитесь, ведь до сих пор женщины выходили такими, какими их представляли себе мужчины... Очень трудно впервые себя найти, увидеть разницу между тем, какими представляют женщин мужчины (а женщина должна соответствовать этому образу), и тем, какие они есть на самом деле. Какие мы — трудно сказать, но, во всяком случае, не такие, как на картинках, мы другие — вот предмет исследования, причем предварительно никем по существу не разработанный. В литературе ведь нужны и предварительные разработки. Не только жизненный материал, он тоже нужен, но и предварительные разработки; надо сначала выяснить, как подступаться к теме,— у Шекспира было много предшественников, прежде чем его гений все обобщил. На пустом месте и гений ничего не сделает, вот в чем трудность... Сырой материал надо исследовать, осмыслить не только художественно, но поначалу просто обдумать—философски, скажем так. А потом делать выводы. Литература — это совершенные, завершенные формы, а завершенная форма требует системы, завершенной системы мышления — здесь взаимосвязь. Предмет, который только еще предстоит исследовать, не удается рассмотреть в рамках уже готовой системы мышления. Получается противоречие: система — исследование. Художественная работа поэтому требует формы, которая служит исследованию и одновременно создает способ исследования. Я такой способ, такую форму нахожу для себя в своих книгах. Но, естественно, эту форму приходится каждый раз отыскивать заново, в зависимости от предмета — она должна быть подвижной, иначе с самого начала уже будет ясен конец. Если б я с самого начала знала, к чему приду, я была бы связана, мне б оста-

валась только техническая работа... Словом, я (для себя, по крайней мере) — за строгую, но открытую форму, которая позволяет мне воплотить движение своей мысли, своей жизни, свое «я»... Поэт воплощает в книге свое лирическое «я», прозаик — свое эпическое «я». Мне надо показать, что каждый день обрушивается на меня в этом невероятном мире, где ежедневно столько информации, столько политических событий... Мне кажется, все это должно войти в произведение, вся эта лавина, все эти события, которые обрушиваются на человека...

Сколько времени уходит на книгу — решает жанр: над большим романом работаешь примерно лет пять. При завершенной, замкнутой форме приходится практически держаться одной концепции — мне это кажется невозможным, все равно что саму себя запереть. Вот почему проблема для меня в том, чтобы создавать открытую форму, а это очень трудно. Куда труднее, чем замкнутая форма, потому что тут постоянно нужны новые гипотезы, от которых без конца отказываешься, и опять начинаешь сначала, и опять отбрасываешь, отбрасываешь, отбрасываешь, и опять ищешь, и опять начинаешь. Это еще и потому трудно, что как раз у женщины не бывает времени долго думать над одной темой, время у нее урывками. С утра попишет, а в два — бросай работу. Может, ты как раз расписалась, может, стали приходить как раз самые лучшие мысли — все равно. Шабаш! Когда я утром провожу сына в школу и сажусь за письменный стол, знаю, что надо сразу начинать — а бывает, чувствуешь себя усталой или работа не клеится, и надо бы сперва почитать,— но знаешь, что время уходит, уходит, уходит... И только войдешь в форму — кончай. Словом, нет времени, чтобы настроиться. «С ходу» должна включаться, а это очень изматывает. Сразу собреть все силы—большое напряжение... И когда время так поджимает, думаешь: о боже мой, сколько там еще осталось — еще два часа, еще час. А в два часа — все. С возрастом совсем трудно переключаться, особенно когда пишешь большой роман и в голове выстроено целое здание. Отодвигаешь его куда-то (но оно все тут), переключаешься... приходит сын из школы, рассказывает, что там у них было, и все это важно, все так и должно быть, или приходит муж, рассказывает что-нибудь очень важное, интересное, про какие-нибудь политические события, которыми я интересуюсь,— но такое переключение дается ужасно трудно, до боли в голове. Действительно, хочется иногда сбежать куда-нибудь... Переключаться стоит больших нервов, очень порой тяжело...

...Мне кажется, в моих книгах можно найти все, чем отмечена моя жизнь. Во всех моих книгах встречаются паровозы. Любой мальчишка мечтал когда-нибудь стать машинистом. Теперь, правда, хотят стать космонавтами, но когда у тебя отец машинист, разве не захочешь стать машинистом? Мне всегда было невероятно интересно глядеть на паровозы, отец брал меня иногда с собой. Противоречие было в том, что мне, собственно, незачем было этим интересоваться, машинистом я стать не могла, я была женщина, мне надо было играть в куклы. Куклы мне тоже были интересны, но не только они. До четырнадцати лет я занималась рукоделием и, должна вам сказать, с успехом, строго говоря, рукоделие принесло мне больше славы, чем впоследствии мои книги, во всяком случае, у себя в семье. Так вот... главным было то, что мне нравилось нечто совсем естественное. Стать машинистом — в этом проявлялось любопытство, активность, желание открыть мир. А этого-то я и не могла, моим уделом было — сидеть дома. И все же я не отступалась от мечты, она жила во мне тайно вместе с какой-то надеждой на чудо, кажется, это и был тот единственный капитал, который позволил позднее стать писательницей. Если женщина хочет стать писателем, ей надо все силы черпать в себе самой.

И еще об одном хочу вам рассказать — о встрече с пролетарским поэтом Людвигом Туреком. Она произошла на первом собрании в Союзе писателей, на партийном собрании. Я тогда не была членом Союза писателей, но как сотрудник редакции «Нойе дойче литератур» имела право участвовать в партсобраниях. Первой моей реакцией на собрание был испуг. Кругом сплошь люди, творящие святое искусство,— страшновато ведь, правда? Поэты... все незнакомые. Села я в уголок, и тут пришел Турек, которого я тогда не знала, Людвиг Турек. Он был на дедушку моего похож. Не свысока говорил со мной, нет — говорил так, будто мы давно знакомы. Ну... а потом мы с ним вместе плавали, у него была своя парусная лодка. Он как человек умел внушить другим мужество. Это был пролетарский поэт, прекрасно умевший сочинять, вот что важно. Тут всегда были трудности. По моим книгам вы можете увидеть — и у меня были трудности; кое-кто говорил: если это пишет коммунистка, зачем она так фантазирует? Что общего это имеет с диалектическим материализмом, как это можно совмещать? Я отвечала: можно — но кое-кто сомневался. Турек как раз умел писать с фантазией: про морские приключения, и всегда он был их участником. Он всегда писал: я. И все происходило с ним. Мы обычно говорили: вот врет. Да... но в этом он и поэт. Это не ложь, это импровизация, мы считали, что это с социалистическим реализмом совместимо. Пожалуй, дружба с ним помогла мне правильно определить свой путь, придала мужества... У Турека была большая сила, он умел — как бы это сказать — овладеть миром, выразить свое представление о нем. Я тоже хотела выразить свое представление о мире — а создается оно системой поэтических образов. Это было для

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

меня важно как ободрение: значит, моя способность видеть мир сквозь призму фантазии вполне совместима с коммунистическим взглядом на вещи. Ведь Людвиг Турек был коммунист — он доказал это всей своей жизнью, так ведь? Он с самого начала связал свою судьбу с коммунистической партией и так далее, то есть... ну, в общем, вам ясно, что я хочу сказать...

Ну, и особый этап — первые зарубежные поездки, хотя сильно мешало слабое знание языков. Я плохо умела объясняться — не очень интересовалась языками,— потому, наверно, что учитель, который преподавал у нас в классе иностранный язык, был человек реакционных взглядов,— может, отчасти потому я ненавидела его предмет. Будь на его месте прогрессивный учитель, может, было бы по-другому, но он вызывал у меня к своему предмету отвращение. Знаете, я была почему-то уверена, что никогда не увижу чужих стран,— и вот они стали казаться мне издали все прекраснее, я прямо тосковала по ним. Потом, когда я туда попала — я говорю о Западе,— оказалось, что тоска представила мне эти места совсем не в том свете. Я думала: Париж, Рим, Венеция... когда я туда попаду, вряд ли я буду в состоянии увидеть какие-то изъяны — все будет, наверно, так прекрасно, а я ведь не должна поддаваться соблазну видеть одно прекрасное, я должна видеть и многое другое. Но вышло все совсем иначе. Совсем иначе. Я умела видеть прекрасное очень четко и именно благодаря этому как бы заново открыла по-настоящему, во всем ее превосходстве нашу социалистическую действительность. В том числе, например, и своей ГДР. Я лишь там, за границей, по-настоящему осознала, как дружелюбно, без злобы и недоверия умеют здесь у нас жить люди, не требуя за все денег, ну и так далее,— для меня это было очень важно, иначе бы я, наверно, так резко этого не ощутила, ведь я выросла в социалистической стране, никогда бы не узнала, что это такое, когда люди думают только о том, как бы пробиться в жизни... Очень важно было по-новому понять некоторые вещи, например, что социалистическая революция — единственное реальное условие освобождения женщины, впечатления о жизни женщин в странах Запада были для меня живым доказательством тому. Для писателя важно увидеть и пережить это в разных проявлениях. Я смогла благодаря этому лучше оценить все, что сделано в социалистических странах, у нас в частности, для освобождения женщины. Это огромный исторический шаг, а жизнь коротка, поэтому важно увидеть разницу — хотя бы в этой области — между капиталистическими странами и социалистическими. Словом, повторяю, это было для меня очень важно...

Первые книги... Сейчас я их не очень всерьез принимаю — это была как бы подготовка к будущим работам, была в них система, то есть я владела некой истиной и хотела поведать ее читателю. Разумеется, мне заранее был известен конец. Принцип вполне наивный; примерно так бывает на иных дискуссиях, когда ведущий собрание знает заранее, к чему все придет и чем кончится, и вот начинает дискуссию, по сути от нее — одно название. Читатель тоже такое понимает, его не обмануть, он всю эту механику знает, ведь удовольствие от чтения состоит как раз в том, чтобы самому докопаться до истины — самому, а не получать готовое! Важна только истина, которую добыл сам, только она способна изменить жизнь, верно ведь? Самые лучшие истины, если ты не сам до них дошел, не пережил их по-настоящему, никому не нужны. Их не то что умом, а вообще не воспримешь. А вот когда сам автор, писатель медленно, медленно, медленно доискивается до истины на опыте и весь этот процесс постепенного, постепенного поиска отражается в книге — неизвестно как, но отражается,— тогда читатель может сам включиться в этот процесс. Ведь книга — это основа, в которую читатель вкладывает и свой собственный опыт; на этой основе он может найти какую-то истину и для себя, может, даже что-то очень важное... Я получала письма, в которых говорилось, что моя последняя книга, например, оказалась важной для многих женщин. Для мужчин тоже, но особенно для женщин; она помогла им в каких-то трудных ситуациях — не сама книга, но она дала им толчок, помогла самих себя найти, справиться с собственной ситуацией. Тут, я бы сказала, литература способна на многое. Конечно, не каждый раз это случается, но читаешь ведь много-много книг, и какая-то из них становится для тебя событием, воздействует по-особому. У писателя, конечно, немного таких читателей, для которых его книга что-то значит, но стоит писать для этих немногих, это окупает издержки...

Так вот, хочу сказать вам: с того момента, как я перестала писать так, словно я сам господь бог, все знаю и смотрю на людей с высоты вниз; с момента, когда я стала говорить с читателем на равных, искать истину, выражая мое эпическое «я»,— тогда я действительно и началась как писательница. Произошло это, когда я написала роман «Свадьба в Константинополе»...

Любимые авторы? В книгах отражаются мои литературные интересы — или нет, нет, не литературные интересы, а вообще интерес к материалу, мемуарам и тому подобному. Книги, с которыми я имею дело,— не обязательно современная литература. Это, конечно, немецкие классики — всегда Шиллер и Гёте; влечение к ним у меня с двенадцати лет, и оно не проходит. Читаю Бюхнера, многое у него перечитываю постоянно, возвращаюсь к его книгам, хотя говорить о каком-то определенном влиянии их на меня и на мою работу вряд ли могу. Люблю читать плутовские романы... Как отношусь к критике моих произведений? Признаюсь, чаще всего я просто ее не помню. Говорю так не из кокетства, я действительно забываю это очень быстро, потому что вышедшая книга для авто-

ра умирает... По-моему, как только дописана последняя фраза, ты уже в новых заботах, достаточно сложных, а критика и тому подобное — это уже неважно, важно, как откликается на книгу читатель,— вот что действительно важно... Насколько книга нужна человеку в жизни, не только как литература, как развлечение — насколько она ему нужна для жизни, ведь и я писала книгу потому, что это была для меня жизненная необходимость — писать...

Вы спрашиваете об интересных письмах... У женщин мало времени, поэтому они редко пишут письма. Так что если я получаю письмо от женщины, это почти всегда важное письмо. Например, мне написала одна учительница, она была в отчаянии — не знала, как ей справиться одновременно с семьей, с детьми, с учениками. Она очень уставала, была не особенно хорошей учительницей, но хотела найти общий язык с учениками, ей нравилось отыскивать одаренных ребят, а на собственных детей времени не хватало. Муж чувствовал себя заброшенным: известно ведь, что, кроме противозачаточных пилюль, женщины у нас держат в своих сумочках и успокоительные таблетки — не то что они злоупотребляют ими, но это знак, медицинское подтверждение того, что проблема двойной нагрузки очень остра, очень часто гармонии удается достигнуть лишь с помощью медикаментов. Вот эти проблемы грозили женщине отчаянием, она уже говорила себе, что ничего не может, ничего не стоит, ничего не добьется — а благодаря книге вдруг увидела себя в широкой исторической перспективе, это довольно существенно. По-моему, женщины-труженицы в каком-то смысле еще не обладают сознанием своей исторической роли; она у них есть, но они ее не чувствуют, потому что эта история не зафиксирована, ведь так? История рабочей семьи, ведь она не записана ни в одной книге — не то что у благородного рыцаря, который еще в XII веке знал всю свою родословную, он ее чувствует, он присутствует в истории. Это важно. Трудно строить государство, не чувствуя себя участником истории, когда не знаешь, кто был твой дед, твои предки — дельные, порядочные люди, каким должен быть и ты... Без этого трудно. А женщины вообще в истории не выступают. Они всегда были прислугой, им хуже, чем рабам. Сооружения, воздвигнутые рабами, можно видеть и сейчас, того, что сделано женщинами, то есть теми же рабами, нигде не увидишь — никаких сооружений, ничего. Но разве при всем этом у нас нет истории? Словом, женщины не знают своей истории, потому что она не писана в книгах...

Мне кажется очень существенным, что литература дает человеку чувство истории. И вот для той женщины оказалось важным увидеть себя в широкой исторической перспективе, увидеть, что социалистическая революция меняет не только экономические отношения, но всю совместную жизнь людей. Изменилась вековая система иерархии — это происходит не так быстро, тут нужно иметь терпение... Совместная жизнь людей уже не может строиться на иерархии: муж, жена, ребенок,— должно быть иначе. И когда ощутишь себя внутри этого исторического течения, легче преодолевать трудности. В своей книге я пыталась вскрыть эту историческую взаимосвязь. Я выступала с чтением этой книги у врачей, там было много женщин, в обсуждении участвовала одна читательница, со слезами, так сказать, на глазах: трое детей, научная работа — трудно. Писателю нужно это знать. Но вот интересно, мне написал один мужчина, инженер-нефтяник, материально хорошо обеспеченный, образованный, разбирается в классической немецкой литературе, «Фауст» всегда у него на столе или на ночном столике у кровати. Может, это единственное, что у нас общего,— не знаю. Вот он прочел мою книгу, держал ее рядом с «Фаустом»... Не знаю, может, мы в чем-то схожи — и он любит классическую литературу, и я. Ему эта книга так понравилась, что он ее перечитывает. Удивительно!.. Видите — это я окольным путем отвечаю на ваш вопрос о читательском восприятии на разных уровнях эстетической подготовленности. Когда моя книга вышла в Западной Германии, я совершила туда лекционную поездку, и молодые студенты меня спрашивали, понятна ли моя книга работнице у станка. Меня этот вопрос поразил, здесь бы такого никогда не задали. Работницы у станка могут иметь разное образование, но они не требуют упрощенной литературы, они никогда не спросят: почему вы так трудно пишете? Они скажут: объясните-ка, что это значит. Ей нравится, только надо объяснить, почему это и как это понимать. Но не упрощать. У наших читателей высокие требования, они не хотят упрощенной литературы для простых людей. Это было бы для них даже оскорбительно. Они хотят познавать мир и объяснять его во всей сложности. В книге, конечно, много слоев. Можно прочесть ее наивно, а можно увидеть разнообразные связи, отношения, которые поймешь, только если прочтешь не один раз. Понятно, что эти связи не сразу открываются. Но тем большее удовольствие выявлять их. Трудна книга только для тех, кто, как я заметила, не отдается ей, а уже имеет твердое представление, какой она должна быть. Читатель относительно наивный, доверяющий книге способен понять ее легче, нежели тот, кто, например, в вымышленной истории ищет аллегорию, в игре — заднюю мысль. Схематическое представление о том, какой должна быть книга, мешает. Правда, я не вижу в этом большой проблемы. Думаю, так же обстоит и в кино. Идти смотреть посредственный развлекательный фильм — слишком большая роскошь, если у тебя есть квартира и телевизор. Мне кажется, телевидение заставляет

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

литературу специализироваться на том, что составляет ее суть,— с информацией, новостями телевидение справляется лучше и быстрее. И подает их удобнее для восприятия. Специфика литературы — в способности дать поэтический импульс. Прежде и проза содержала большую дозу информации. Конкуренция телевидения, по-моему, сделала это ненужным. Зачем нужны большие книги, если всю информацию может дать телевидение? А вот творческого, продуктивного импульса телеспектакль не даст, там во всем уже есть точка зрения режиссера, режиссерская интерпретация. Когда читаешь книгу, ты сам ее режиссер — согласны вы со мной? Книга должна воздействовать творчески, поэтически. Прежде проза не обязательно должна была обладать поэтичностью, она могла быть и просто информативной. Конкуренция телевидения такую возможность исключила. Теперь телевидение опять требует от прозы поэзии. По-моему, неплохо, что есть такой нажим,— как вы считаете?..

Мои наставники в ремесле? Есть литературные спутники, к которым обращаешься все время, такие, как Гёте, Шиллер, Бюхнер. Их вымысел перечитываешь всегда по-другому, всегда заново. Дело, наверно, не только в материале, а в том, как пишешь, в характере работы над прозой. Прозой, понимаемой как поэзия. Я хочу быть краткой, эта краткость для меня связана с моим образом жизни, ведь я должна на чем-то очень сконцентрироваться, поскольку не знаю, смогу ли завтра сесть за письменный стол. Это объясняет известную законченность глав внутри моих романов. Но не так-то часто встречается проза поэтичная, густая. Вот у вас Бабелю это удалось — писать книги наполненные, многогранные. У него открытая форма, и при этом значительность мысли, значительность действия, точность, я с давних пор нахожусь под его властью. Дело, наверно, в том, что он овладел материалом совсем новым, овладел точно и каждый раз открывает его с новой стороны, не прибегая к обычной романной форме. Поэтому меня привлекает Бабель, его тип прозы...

В чем вижу главные приметы движения времени? Интересней всего для меня то, что в наше время уважающий себя мужчина имеет работающую жену. Человек, у которого жена домохозяйка, чувствует себя неловко, у него совесть нечиста. Нравы изменились так, что кажется обычным и естественным, когда у женщины есть профессия. Иначе чувствуешь себя нехорошо. Мне представляется это очень важным, это произошло за короткий срок, и хоть я нетерпелива, но это, скажу вам, прекрасно, это меня очень радует...

О наших контактах... Я думаю, отношения в своей стране и в других странах лучше видны в контрасте. Не только писатель, но и все вообще лучше понимают свою страну, свои дела, самих себя, свой пейзаж, свою культуру, если они познакомятся с культурой и жизнью другого народа. Это развивает патриотизм. Культура, наука, вообще производительная деятельность требуют постоянного обмена: в своей стране привыкаешь к определенному образу мыслей. Неплохо, так сказать, сойти с этих наезженных рельсов, попробовать по-другому. Это весьма полезно. Когда побываешь где-то еще, учишься удивляться тому, что тебя окружает каждый день,— само собой это помогает взаимопониманию, но это и творчески полезно, это дает взгляду новую высоту, поэтому меня особенно радует, что между социалистическими странами налажен постоянный обмен, взаимные связи очень важны, они побуждают идти дальше, будоражат мысль, чего замкнутость не дает. Я не говорю о военных, политических вопросах и тому подобном, там своя специфика. Но просто, когда вместе; становишься сильней, как в семье... Когда речь идет не о конкуренции, а о соревновании, когда видишь других, лучше видишь себя, критичней к себе относишься...

Гармония, анализ, парадокс...

Петер Хакс

С чего начинается работа над пьесой? С потребности высказать нечто, что тобою движет, с попыток нащупать, схватить то, что возникает как замысел... Какие свои пьесы сам считаю принципиально лучшими, наиболее интересными? Пожалуй, это «Адам и Ева» и «Номер», правда, «Номер» еще не закончен... Почему они? Я думаю, что и в той, и в другой мне лучше всего удалось на особенно важном и особенно строптивом материале прийти, как мне кажется, и к эстетической удаче, и к сценической действенности. Материал «Адама и Евы» столь же труден, сколь и важен,— относится он, так сказать, к самым существенным сферам жизни человечества, не будучи в драматургическом отношении особенно податливым. «Номер» — тоже очень трудная и важная вещь, материал современный, как бы его назвать — о совершенном социалистическом правительстве...

Поиск в современной драматургии... Я думаю, искусство драматургии прекратилось вместе с Гёте, потом были окольные пути и блуждания, и я пытаюсь... да, я пытаюсь выяснить, было ли придумано за это время что-либо такое, ради чего стоило бы продолжать стремиться к тому уровню формального совершенства, достигнутого до Гёте.

Вас интересует, так сказать, таинство современного звучания моих пьес, по материалу — интерпретаций классических сюжетов, значительно удаленных от наших

дней... Да... если они столь современно звучат и воспринимаются — благодарю. Пожалуй, я назвал бы две причины, по которым мысли, содержащиеся в моих пьесах, интересуют современность: это постановка проблем с позиций марксизма и постановка проблем с позиций развитого социализма, а, во-вторых, я думаю, это объясняется тем, что не все еще мои собратья по перу поняли, что наше общество снова требует такого рода форм. Я думаю, что здесь нет никакого таинства... В моей голове или в моей папке с набросками, заметками всегда ждут своего часа несколько авторов, которых я люблю и которых, я считаю, надо представить читателю сегодня или завтра. Одним из таких авторов был автор «Розвиты» — Гросвита Тандерсгеймская, монахиня, жившая в XI веке.

О поэтических опытах... Наверное, я так долго сердился на современную лирику, что в один прекрасный день решил сообщить всему свету, как, по моему мнению, надо писать стихи...

Почему занялся обработками: был один такой год, когда я устал и не хотел писать большую пьесу, а вместо этого сделал несколько обработок. Правда, «Розвита» возникла одновременно с «Ярмаркой в Плюндервайлерне» — в тот год я ленился...

Вы считаете «Битву при Лобозице» антивоенной драмой... Но война — это не моя тема, моя тема — мир...

Движение в сценических судьбах моей драматургии? Нет... нет никакого особого изменения, бывает, что я не слишком уверен в успехе на сцене той или иной пьесы, случается, что интерес, который они вызывают, обязан скорее фабуле, чем тому, чем они, на мой взгляд, хороши,— не более того... Хотя со времени моей обработки аристофановского «Мира», то есть примерно с 1960 года, пожалуй, я знаю, как писать пьесы. И я знаю, что мои пьесы, если они не совсем скверно поставлены, будут иметь успех...

Вкус к теоретическому эссе, анализу искусства? Но ведь это традиция, проходящая через всю немецкую литературу,— немецкие писатели склонны размышлять над проблемами эстетики. Это можно сказать как о Лессинге, так и о Гёте, о Гейне, о Шиллере и о Брехте... Еще с самой ранней юности я испытывал эту потребность — не только делать искусство, но и понять, что это такое и как его делают... Очень интересуют меня и вопросы собственно ремесла писателя, техники...

Какая из моих пьес имела самый большой успех и какую я вижу здесь закономерность? Пожалуй, нет таких законов, которые срабатывают наверняка и которые срабатывают в меньшей степени. «Прекрасная Елена», «Ярмарка» и «Госпожа Штейн» принесли значительно больший кассовый успех, чем «Прексасп» или «Маргарита в Эксе». Иначе говоря, когда я начинаю писать пьесу, я примерно могу прикинуть: если буду работать год-полтора, скорее всего, гонорар окажется невелик, но я могу написать пьесу и за восемь недель — финансовый итог окажется ощутимее... (Смеется.)

Чем питается неиссякаемое творческое воображение художника, мое, в частности? Я думаю, что главное качество воображения — это то, что у него нет происхождения. Боюсь, это свойство врожденное. Дар воображения — врожденный, и от того, насколько писатель знает жизнь, зависит, станет ли его воображение художественным переживанием.

Материал для пьесы обычно долго вылеживается у меня — так сказать, в полуготовом состоянии. Для пьесы нужны разного рода предпосылки: нужна философская находка, философская концепция, нужен материал, нужно подвижное внутреннее состояние — это все никогда не приходит одновременно, а может быть, это я лично никогда не обретал всего этого одновременно... Я думаю, недостаток всех посредственных пьес в том, что авторы их считают, что можно найти все это сразу, одновременно...

Как отношусь я к идее «memento mori»? Меня не очень волнует тот факт, что время уходит, я всегда доволен своим возрастом, я не имею ничего против старости, я думаю, что если буду стареть долго, то сил у меня несколько убавится, но зато тем больший приобрету опыт... Я думаю, что все времена жизни человека выносимы — за исключением юности...

Почему в одном случае обращаешься к драме, в другом — к эссе? Я уже говорил, что испытываю потребность в теоретической работе, но одновременно и тем и другим заниматься нельзя, то есть накапливается либо художественный материал и с ним необходимо справиться, либо накапливается теоретический материал и с ним необходимо справиться. Конечно, искусство — главное, теоретическими работами я занимаюсь обычно в перерывах, в паузах между пьесами...

С каким внутренним багажом встретил конец войны? С чувством большой радости, конечно. Я воспринял конец войны как свою победу, поскольку я имел счастье родиться в политически порядочной семье, тогда я жил в Западной Германии. Хотя я, к сожалению, не был политически достаточно образован, чтобы сознавать, что это освобождение не было настоящим освобождением. Так что это было для меня великое время, которое я использовал для того, чтобы немного поумнеть...

Как принял решение переехать в ГДР? Повод был совсем простой: Брехт собирался дать мне квартиру, а поскольку сам я не обладаю организаторскими способностями, таким образом разрешались мои собственные затруднения... Но, как я сказал, это был повод, а не причина... Что же касается причины, то я никогда не понимал, почему там, собственно говоря, вообще кто-то остается...

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

Как я отношусь к разгулу антисоциалистических провокаций? Главным образом я понимаю их как оборонительную позицию империализма, находящегося в состоянии кризиса...

Критика о ярких характерах в моей драматургии... Я думаю, что если в моих пьесах находят, например, характеры, то это объясняется тем, что я заново открыл в драматургии несколько старых истин; одна из этих истин — драматургическая объективность, то есть обязанность автора признать за каждым характером свою правоту, иначе говоря: я пишу моих персонажей не для того, чтобы их повергнуть, уничтожить, во всяком случае, как правило, а для того, чтобы заставить их ж и т ь. Только это способно дать силу персонажу, и это я считаю главной причиной их воздействия на зрителя, если такое воздействие имеет место... Впрочем, я, конечно, разбираюсь в людях не лучше, чем все другие,— я заставляю моих героев обращаться ко мне за решением проблем современности, иначе говоря, если время требует от меня создания характера, я ищу в себе ответа на вопрос о том, как поведет себя этот характер. Конечно, я беру характеры из самого себя, как каждый писатель..

О пьесах-песнях. Песни попадались в основном в моих ранних пьесах. Пока я не встретился с Брехтом, я находился под сильным влиянием австрийских драматургов Реймонда и Нестроя, потом был еще один баварский автор пьес для кукольного театра... во всех их пьесах были песни... Я думаю, это была тяга к поэзии... Склонность к поэзии заставила меня писать такие же пьесы с песнями. Когда я познакомился с Брехтом, эта тяга очень усилилась, хотя, пожалуй, я никогда не злоупотреблял сценическими песнями для чтения проповедей. Но я отошел от этого раннего пристрастия, больше не пишу песен в пьесах...

Новейший автор, интересующий меня? Бернард Шоу, я вижу в нем последнего драматурга, который еще по-настоящему писал пьесы...

Вы говорите об «излучении» легкости и творческого счастья в связи с моими пьесами. Я очень рад, что вы так их воспринимаете, потому что хотя я, конечно, пишу с муками, но с намерением доставить публике радость. Правда, по поводу мук я должен уточнить, что я испытываю вполне обычные рабочие трудности, порой они достаточно выматывают. А вообще-то, насколько я себя помню, никогда не находился в состоянии какого-бы то ни было духовного кризиса...

Феномен всемирной славы? В искусстве существует один закон, который, наверное, установили боги, чтобы художники не зазнавались,— этот закон гласит: известность приходит всегда позже, чем ее заслуживают. По этой причине я считаю, что все художники несут бремя славы с интересом или со скукой...

Представление о творческом счастье? Есть мгновения, когда чувствуешь себя счастливым в своей профессии — когда приходит озарение, которое наверняка обещает свершение. Или один из тех редких моментов во время работы над произведением, когда все, что задумал, вдруг выстраивается перед тобой, словно вещь уже готова... А потом, в конце работы, никогда не бываешь особенно счастлив, успех тоже уже не приносит с собой особого счастья...

Примечание к успеху

Герман Кант

Вы рассказываете, какое впечатление произвела на вас очередь за моим новым романом на первомайской книжной ярмарке в Берлине. Да, для меня это была по-настоящему великая минута. Правда, во времени она составила ни много, ни мало — четыре часа с четвертью, стало быть, минута весьма длинная... Как-то вдруг пришло сознание: значит, стоило так долго мучиться с этой огромной рукописью. Да, вы правы, наверно, лучше того, что случилось со мной, с писателем вообще произойти не может... Я подписал автографы на 978 экземплярах — кажется, это рекорд в ГДР! Конечно, ничего подобного заранее и вообразить не мог. Но вот подходят к моему стенду люди, говорят: знаете, какая там очередь — отсюда, из самого дальнего угла, и до самой Александерплац! И все просят: оставьте, пожалуйста, ваш автограф на память, подпишите книгу — неужели не заслужил я за сто десять минут ожидания! Да... И еще потому я так радовался всему этому — что, скажем прямо, прожили мы накануне довольно-таки трудную пору и не такую уж короткую в нашей литературной жизни, можно было даже предположить, что кое-какие мои... ну, скажем, очень резкие... суждения не всеми будут и приняты, возможно...— короче говоря, все это явилось для меня своего рода положительной демонстрацией политического характера.

Суждения по существу? Еще не знаю, опубликовано только несколько рецензий. Правда, одна женщина купила два экземпляра, посмотрела на меня и вдруг говорит: ну вот, Первое мая совсем праздничное! Секрет популярности? Не знаю, допускаю, что один из способов объяснить ее — принадлежность моя к числу писателей, которые, не будучи поверхностными, остаются веселыми и, не нагромождая приключений, все-таки умеют повествовать интересно, в таких случаях говорят: «увлекательный рассказчик»...

Чем займусь в ближайшее время?.. Если

врач разрешит, как можно скорее заберусь в лес и буду там недели три просто кататься на велосипеде или бродить — смотреть, как зеленеет трава, цветут деревья, гулять с собакой и вообще не думать о литературе, только вечерком почитать книгу, послушать музыку — и все, больше ничего, несколько «перебрал» я сейчас от мира, сыт им по горло...

Что еще сказать... Скорее всего — это мечта, наверняка реальность окажется несколько иной. Вы, конечно, знаете, что в июне в Софии состоится международная встреча писателей, так вот я — один из ее организаторов. И потому, видимо, придется немножко подготовиться, может, что-то вроде речи доведется произносить... Мечты об идиллии остаются мечтами, мир не устает заявлять о себе, и весьма энергично... Между тем, признаюсь, зв последние годы я буквально ни минуты не отдыхал, писал как бешеный эту свою книгу, занимался политической деятельностью, да еще болезнь противная — рука мучит ужасно,— да, последствия автомобильной катастрофы, не отстает боль адская, и еще — семья моя сломалась, тоже за это время...

Вы говорите, «Актовый зал» называют памятником первым годам новой жизни на нашей земле? Не знаю, как насчет памятника, но что речь идет не только о студентах рабоче-крестьянского факультета, пожалуй, верно. Обо всех тех она, наверно, кому когда-либо пришлось заново учиться в том возрасте, когда они и не предполагали, что это возможно. Я думаю, все, что выходит за рамки темы рабфака, можно сформулировать так: жизнь ежеминутно продолжается и требует от нас все нового и нового, и секрет этой книги, вероятно, в том, что она говорит: такую борьбу можно выстоять и что... да, это история успеха, победы над самим собой...

Почему написал «Местопребывание»[1] сейчас, а не раньше? Это моя шестая книга и третий по счету роман — написан он последним, до него вышло пять книг. Это не случайность, это связано с моим представлением, что для такой книги нужна была какая-то особая зрелость — своя и общества. И потому я рад, что вышла она не раньше, а сейчас, хотя начал примерно три с половиной года назад... Принял окончательное решение взяться за эту книгу. Написал 60 страниц, а потом попал в автомобильную катастрофу, пролежал четыре месяца в больнице. И все время меня не оставляла мысль: еще немного — и эта книга никогда не была бы написана, значит, теперь ты должен написать ее как можно быстрее; если вдруг опять что-нибудь случится, пусть работа будет завершена. Сначала написал несколько рассказов, чтобы просто попрактиковаться, а затем полтора года работал — знаете, в каком ритме? Два, нет, три раза в неделю ездил в город на лечение, а четыре дня с семи утра до семи вечера — почти без отдыха — писал роман. 642 страницы в нем, то есть за полтора года — 580, а потом, когда дописал, подумал: вот теперь ты сделал достаточно. Только это, конечно, полнейший идиотизм, какой только может прийти в голову писателю,— секундой позже он уже, разумеется, думает о новой книге...

Хоть немного о замысле?

Нет, новая книга пока, так сказать, в той стадии, когда я не рассказываю ничего — обо всех своих книгах я говорил только тогда, когда они были закончены...

Главное, что побудило обратиться к последнему роману: мне всегда хотелось написать о плене и всем, что с ним связано, но я не знал, как сделать, чтобы из самого по себе натуралистического переживания получилась литература. Я долго этого не знал, но хотел заниматься литературой, а не какими-нибудь шаблонными репортажами о том, что-де было холодно, далеко, что-де голодали и тому подобное,— такое меня вовсе не интересовало. И в один прекрасный день я понял, что для меня — как, впрочем, и для сотен тысяч других, но для меня очень лично и по-особому — плен оказался самым важным «местопребыванием» в жизни. А писатель, который помнит об этом, обязан писать о таких вещах...

Что больше всего доставило хлопот, когда писал... Трудно сказать, ведь я не наблюдаю за собой, когда пишу, и за работой не веду ничего похожего на дневник — ни в душе, ни на бумаге. Ничего не могу сказать, знаю только, что самое главное для меня было найти верную интонацию повествования, чтобы миновать, так сказать, Сциллу и Харибду: сентиментально-жалостливый к себе тон, с одной стороны, и эдакое бойкое бодрячество — с другой. Ухватить точную тональность между этими двумя крайностями — вот чего я ни на минуту не упускал из виду; надеюсь, мне это удалось в конце концов...

Правомерно ли сопоставление моего романа с «Берегом» Юрия Бондарева, согласен ли я с суждениями литературоведа Евы Кауфман по этому поводу... Что ж, вероятно, правомерно — я знаю Еву Кауфман как умного ученого: она наверняка судит основательно. Сам я еще сравнивать не могу — по-немецки напечатан пока только отрывок из книги Бондарева, и потому трудно говорить о целом. А вообще, по-моему, в литературной критике, в литературоведении справедливо то же, что и в литературе,— все допустимо, если только по-настоящему знаешь свое дело. Нужно пробовать, пытаться, если подойти к делу с умом и по-своему,— вот, пожалуй, секрет удачи...

Что я думаю о самом себе? ...Вопрос сложный — пожалуй, тот, кто слишком здорово умеет отвечать на вопросы такого рода, человек несколько подозрительный, по крайней мере для меня. А вообще-то,

---

[1] См. беседу с К. Симоновым в «Софийском дневнике» («ИЛ» № 10, 1977, стр. 234).

наверно, это был бы довольно любопытный объект для наблюдения. Но такими познаниями о самом себе я не располагаю... то немногое, что могу сказать, сводится к следующему: с давних пор я известен как заядлый спорщик, с удовольствием «воюю» «за» и «против» и всегда стараюсь со всей резкостью отстаивать свои мысли, свою точку зрения... Кажется, это самая большая моя страсть, и я спокойно, так сказать, принимаю ее к сведению, коль скоро — в противоположность любви — жажда спора, вероятно, никогда не утихает. Что больше всего сердит? Можно было бы, конечно, назвать многое, но, пожалуй, выделю два момента. Первый: всегда ужасно возмущаюсь, прямо-таки воюю с людьми, которые плохо делают свое дело, с людьми непринципиальными, трепачами, бездельниками. По-моему, главное — быть принципиальным, отдавать максимум сил своему делу, любой работе. Это во-первых. А второе — вопрос сугубо политический... Я уже... лет тридцать слежу за ходом идеологической борьбы классов. Мне кажется, я могу сказать о себе, что нашел в этой идеологической борьбе свое место и свой язык в полемике с теми, кто не любит социализм. Я его страстно люблю, потому и страстно защищаю...

Занятное, между прочим, совпадение — только что подумал вдруг о нем: за этим столом, где вы сидите, я написал «Выходные данные» и «Стокгольмский дневник» — тут стояла моя пишущая машинка, в комнате, где вы сейчас остановились, я жил несколько лет...

(В этом месте беседа моя с Германом Кантом оборвалась — рука его разболелась так, что он не мог больше говорить. Закончили мы ее через месяц — в Софии — в перерыве между заседаниями, после того как Герман Кант выступил с трибуны. Боль в руке он явно превозмогал и на этот раз. — Е. С.)

Что ж, попробуем во время этого перерыва завершить наш разговор о моем последнем романе.

К сожалению, когда писатель начинает что-то дополнительно разъяснять по поводу того, что он уже написал, это всегда производит несколько странное впечатление — он ведь однажды уже сделал, что мог, чтобы сказать с предельной точностью все, что он хотел сказать, после этого ему уже нечего добавить, и, говоря о своем произведении, он неминуемо лишь скользит по поверхности, а то и создает подобие жалкой карикатуры на собственную книгу... И все же попытаюсь в двух словах сформулировать суть: в этом, видимо, есть и свой резон — в данном случае. С точки зрения внешней, событийной стороны это история человека, попавшего в плен. А с точки зрения внутренней, идейной, что ли, это история становления в нем человека, все остальное изложено на шестистах страницах и нуждается в прочтении. Мы уже обсуждали с вами вопрос о том, почему такого рода книги должны быть написаны. Мы, писатели, и мы, читатели ГДР, наконец, поняли, что то время было пусть не самым прекрасным, но зато самым важным периодом в нашей жизни, временем, когда мы стояли на распутье и должны были выбрать свою дорогу. Именно в то время мы сформировались как личности. До сих пор в нашей литературе, в нашем искусстве, в наших фильмах почти ничего не говорилось об этом периоде, лишь очень немногие затрагивали это время. Они писали о себе самих или о своих товарищах, которые, как и они сами, боролись за правое дело — в Сопротивлении, в эмиграции, в тюрьмах или концлагерях, то есть об антифашистах. А вот о тех, кто находился в рядах их противников, о тех, кто был послушным орудием зла, служил злу, а потом осознал свою роль и порвал с прошлым,— о них сказано куда меньше. В каком-то смысле это понять можно — молчание-то это от стыда. Но уж коль скоро ты писатель и знаешь, что в твоей жизни был период, определивший твою судьбу,— твой долг написать об этом. Как известно, существует закон сохранения энергии. Но есть и другой закон — закон сохранения энергии жизненного материала, требующей своего воплощения. Нечто, несущее в себе достаточно силы, чтобы превратиться в повествование, в один прекрасный день вырывается наружу. Теперь этот день наступил...

Что более всего занимает мои мысли сейчас, в Софии? Видите ли, этот вопрос связан, в сущности, с целым рядом мыслей, которые не так легко додумать до конца. Вот я сижу во время наших заседаний за большим четырехугольным и в то же время круглым столом — круглым потому, что за этим столом нет иерархии, нет старших и младших,— с писателями всего мира, в окружении живых людей, давно ставших на моих глазах волшебниками, людей, написавших такие книги, в которых я прочитывал свою жизнь. Мне никак не удается привыкнуть к мысли, что и я теперь в какой-то степени принадлежу к их кругу. Это первая мысль, которая не дает мне покоя. А вторая — вот о чем: я знаю, конечно, что в этих людях, сидящих за одним столом со мной, представлены выдающиеся по величию и масштабу судьбы их народов. По другую сторону стола, прямо напротив меня, сидят советские писатели. Большинство из них, насколько я знаю, были участниками Великой Отечественной войны. И наши народы были противниками в самой смертоубийственной войне, какую только знала история. А теперь мы сидим за одним столом и боремся за наше общее дело, за мир. Событие это настолько грандиозно, что трудно даже осмыслить его до конца. Но в то же время и настолько радостно, что наверняка даст мне новые силы для работы...

Вы просите меня привести эти мои мысли в некое сцепление с 60-летием Октября. Согласен, такое приведение, можно сказать, само напрашивается, когда мы собрались здесь за одним столом и боремся

за самое главное дело на земле... Оно действительно имело свой исторический исходный пункт, юбилей которого мы празднуем осенью. Могли бы мы собраться здесь, в Софии, в социалистической стране, вместе со многими нашими коллегами из стран, все еще принадлежащих к капиталистическому лагерю, или из стран «третьего мира», так называемого «третьего мира», а также с множеством коллег из большого числа социалистических стран — оказалось бы все это мыслимо вообще, не будь в нашей жизни Октября? Видите ли, от слишком частого употребления некоторые выражения стираются, становятся торжественной, пышной фразой. Ну, например, фраза о глобальной преобразующей роли Октябрьской революции... Но если мы захотим наполнить ее конкретным содержанием и спросим себя, в чем же состоят эти преобразования, то здесь, в Софии, мы имеем случай с редкостной силой по-новому ощутить их смысл... Здесь собрались представители Болгарии, Сибири, Литвы, Москвы, Молдавии, Венгрии, Чехословакии, Монголии, Вьетнама, Кубы, Югославии... Все они, собравшиеся здесь,— граждане социалистических стран, в которых ко времени Октябрьской революции хозяйничали короли, императоры, цари, временщики... И если задаешься вопросом, в чем же состоит преобразующая историю мира роль Октябрьской революции, то нужно лишь вспомнить о том, как изменились те части мира, из которых все они родом...

Ну вот — это, конечно, чистая случайность, что в комнату, где мы беседуем, вошел сейчас Ежи Путрамент. Но мне лично кажется исполненным особого значения и этот факт — что вошел именно он, потому что он — поляк, а я, немец, именно в Польше, в плену, стал человеком. С помощью поляков. И для завершения нашей с вами беседы я не придумаю ничего более удачного, чем сказать: жизнь сочиняет лучше любого писателя...

Самое важное в жизни

Анна Зегерс

О чем думаешь, садясь по утрам за письменный стол? Прежде чем сесть за работу, мне обязательно нужно подвигаться... Сама работа? Бывает очень по-разному, как с любой работой. Иногда все идет легко, а другой раз приходится много исправлять — то, что было написано, ничего не говорит мне, я рву это снова и снова. Один рабочий как-то спросил меня, бывают ли у меня отходы. Да, очень много. В мусорной корзине...

Творческий процесс? Об этом я не могу сказать вам точно. Если бы я знала это совершенно точно, тогда это не был бы процесс, который после многих опытов осуществляется как бы сам собой... Чтобы получить совершенно точные сведения о творческом процессе, наверно, лучше побеседовать с филологами — они всегда все знают точно...

От замысла до книги... На этот вопрос тоже трудно ответить. Ни об одном «эпизоде» я не могу с уверенностью сказать, будет ли он важен когда-нибудь для какого-нибудь рассказа. Для настоящей работы нужна фантазия и часто упорный труд, чтобы все стало ясным, чтобы можно было думать, что и люди поймут тебя. Иногда что-то становится ясным сразу. Тогда появляется потребность выразить это тотчас же, сделать это зримым и ясным для других. Повторяю: иногда.

У других писателей? Как раз когда вы позвонили, я говорила с фрау Г. об одном писателе, который нравится нам обеим. Я думаю, у вас в СССР он не очень известен. Это Теодор Фонтане. Его, по-моему, у вас недооценивают. Но я не собираюсь читать вам лекцию о Фонтане. Я привожу его как пример, потому что он мог написать новеллу из людей и событий, в которых, казалось, нет ничего важного. Например, он, наверно, мог бы сделать нечто удивительное и захватывающее из нашей с вами беседы — беседы четырех женщин за чашкой кофе. Возможно, вы именно это имели в виду, задавая ваш вопрос...

Конечно, я пытаюсь всегда постигать то, что происходило и происходит вокруг меня, постигать с моей точки зрения, с социалистической точки зрения. Например, меня особенно радует, что ваша спутница, молодая, красивая женщина, принимающая участие в нашей беседе,— туркменка по национальности... Для Фонтане это было бы в лучшем случае странностью, необычностью, а для меня благодаря этому наша встреча четырех женщин — именно потому, что она в каком-то смысле случайна,— являет пример близости народов... Только это я вам сейчас так говорю. В рассказе этот пример должен действовать сам по себе, без специального подчеркивания. Чисто поучительный момент и еще излишне подчеркнутый, по моему мнению, не имеет отношения к художественной литературе, она должна приводить читателя к истине без нажима, пользуясь своими особыми средствами.

Какую из собственных книг я люблю больше всего? Я не очень-то над этим задумываюсь. Я думаю, мне удались «Прогулка мертвых девушек», «Транзит», некоторые легенды и сказки, некоторые части моих романов... Почему нравятся эти книги? И на этот вопрос я не могу ответить точно. Я даже не могу гарантировать, что это верно, потому что мне пришлось бы очень многое перечитывать, что я делаю очень редко. Вот сейчас подумала, что,

---

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

пожалуй, мне нравятся «Настоящий синий цвет» и какие-то куски «Силы слабых». И то, что я сейчас писала или пишу, мне близко, иначе я бы вообще не стала писать...

«Транзит»? Когда я его писала, положение было тяжелым и сложным. Я писала в разных местах — в кафе в Марселе, на корабле, в тех местах, куда нас интернировали. Я настолько была погружена в работу, что забывала об ожидании и об опасности. Над чем работаю сейчас? Я только что закончила две повести, они выйдут одной книжкой в этом году в издательстве «Ауфбау». Одна из них уже переведена у вас, это «Каменный век»... Если ее можно назвать «холодной вещью», то вторая повесть, напротив, очень горячая — она называется «Встреча»... Потом я, возможно, буду писать совсем маленькие новеллы, такие короткие, как эпизоды «Три дерева» — наверно, вы их не знаете. Большую повесть напишу позже.

Что бы хотела передать советским читателям? Я от души приветствую всех моих читателей в Советском Союзе. Я прошу их судить о моих вещах искренне, ибо искренность — знак настоящей дружбы. Что бы я хотела сказать в заключение? Нечто важное. Космонавты рассказывают, как прекрасен земной шар, если смотреть на него извне. Когда читаешь и слышишь об опустошениях, которые произвели в Северном море загрязнение или газовые катастрофы в Италии, испытываешь страх, что люди сами могут разрушить свою прекрасную землю. И все же что значат эти разрушения по сравнению с войнами, которые подготовляют монополисты?

Это надо разъяснять людям не только в призывах и лозунгах, но и проникновенными образными средствами, люди должны сделать все, чтобы не разрушить землю, на которой мы живем. Если они до старости участвовали в этом — в борьбе за мир,— значит, они делали самое важное в своей жизни...

III. ...И КАНУН ЗАВТРАШНЕГО

Пора посева, пора жатвы

Бруно Апиц

Вы спрашиваете, откликаются ли до сих пор читатели на мою книгу «Голый среди волков»?

Да... Выхожу я сегодня — представьте, именно сегодня — из метро и по улице Шиллинга поднимаюсь вверх по лестнице, ко мне обращается совершенно незнакомая женщина, извиняется и спрашивает: не тот ли я человек, которого она, как ей кажется, во мне видит. И убедившись, что я — это я, сообщает, что «Голый среди волков» — вроде библии в ее жизни, да, прямо так и сказала; говорит, когда у нее тяжело на душе, когда бывают трудные минуты, она достает эту книгу и, читая ее, снова обретает силу и мужество. Она еще очень много рассказала мне, всего я и не запомнил. Только... очень меня это разволновало. Услышать такое о своей книге — через четверть века после ее выхода, да еще, можно сказать, от первого встречного... Более ранние воспоминания об откликах на этот роман — а было их великое множество — уже почти стерлись в памяти. Раньше я очень много ездил, много выступал с публичными чтениями не только в Берлине, но и по всей республике, и за границей — в Москве, в Варшаве, в Западной Германии,— везде я выступал с публичными чтениями перед молодыми людьми, перед школьниками, перед студентами, и все хотели узнать как можно больше про эту книгу, но сейчас трудно восстановить что-либо конкретное, все это уже как-то сгладилось в памяти — как-никак, ровесник века, 77 лет через неделю исполнится...

О новой работе... Да, «Радугу» свою — первый том — я закончил совсем недавно. Революционное развитие рабочего класса на моей родине, лейпцигского рабочего класса — этому посвящена книга. Герои? Мать рабочего, немецкая рабочая мать и ее сын. Мне хотелось показать пролетарскую среду кайзеровских времен с начала нашего века и проследить ее судьбы вплоть до 1933 года. Хотел показать, как простые люди дорастают до понимания сложных политических проблем. Конечно, в этой книге очень много личного, пережитого мной самим, хотя главный герой — Артур Бальке, а не Бруно Апиц. Но все-таки в жизнь Артура Бальке я внес многое из моей жизни, вовсе не собираясь при этом писать автобиографию... Сегодня мне как-то очень трудно говорить... Не знаю, в чем тут дело... В романе есть один символ, помните?.. Наивный вопрос ребенка: почему радуга круглая? — помните? От этого-то вопроса — к проблемам жизни, смысла бытия, политики ведет книга. Из обыкновенного, простого вопроса вырастают большие политические проблемы... С чего началась книга? Наш покойный Председатель Государственного Совета Вальтер Ульбрихт — мы с ним были знакомы с четырнадцати лет, вместе в Союзе социалистической рабочей молодежи действовали — однажды, когда мы встретились в Берлине, я был уже известным писателем после выхода в свет романа «Голый среди волков»,— так вот, на одном из приемов он отвел меня в сторону и сказал: «Ты... Ты ведь из Лейпцига, как и я. Ты должен

написать о рабочем движении в Лейпциге». Я это запомнил. Жизнь моей матери и моя собственная жизнь — в рамках лейпцигского рабочего движения — таков был замысел. Самым трудным, пожалуй, оказалось вплавить судьбы героев в исторический фон. Я отношусь к тем писателям (это вовсе не достоинство, а просто особенность), которые при описании исторического факта стремятся быть абсолютно точными — исторический факт должен полностью подтверждаться документами, свидетельствами. Моя работа заключается в том, чтобы «пронизать» исторические факты своей писательской фантазией. Посмотрите, видите здесь вокруг книги... Это все материал для моего романа. Сейчас работаю над вторым томом, в центре его — капповский путч. Это очень важная глава, путч был попыткой контрреволюции, которая привела к поражению пролетариата в те годы...

Вернее, трудность заключалась не в изображении самой политической ситуации, но в размещении в ней героев романа. В воссоединении фабулы с конкретной политической ситуацией. Собственно, документальную книгу было бы написать легче, в романе имеешь дело с живыми людьми, часто они действуют и думают совсем иначе, чем, казалось бы, требует ситуация; вот тут-то и натыкаешься на «узелки» — не такая уж редкость в писательском ремесле. Случился во время работы такой «узел», и встало дело — ни с места. Я — жаловаться жене, дочке маленькой: опять узел... А узелок-то иногда совсем крошечный. Ну, например, диалог между двумя героями: я вдруг не знаю, что ответит один на слова другого. Что он ответит? Мысль, которую я хочу выразить, кружится где-то здесь в комнате, как муха, а я не могу схватить ее — узел. Что я в таком случае делаю? В таком случае я отправляюсь на кухню и принимаюсь варить обед — я умею готовить. Моя жена не готовит, совершенно не умеет готовить. (Смеется.) А если и готовит, то одно и то же. (Смеется.) Таким образом я отвлекаюсь, то есть удаляюсь от «узла» на странице, беру его с собой на кухню. И, бывает, пока помешиваешь в кастрюлях, узел развязывается. Тогда я снова сажусь за стол — и узла как не бывало. Правда, обед подгорает. (Смеется.) Да, в шутку говоря, это и есть основные писательские трудности. И потом еще... Когда приступаешь к работе, голова пустая, совершенно пустая. Проходят часы — по крайней мере, у меня, я пишу очень медленно,— проходят часы, пока я, наконец, могу взять в руки перо. И еще одна прихоть: не могу усадить себя за пишущую машинку, не могу записывать себя на магнитофонную ленту. Я должен производить ручную работу писания, понимаете? Другим способом моя мысль не развивается. Иногда просто пишу фразы, не имеющие смысла. Чтобы почувствовать, что пишу, пишу. И на смену бессмыслице приходит смысл. Какие еще прихоти? Посмотрите, вон там лежит папка с рукописями — толстая такая. Да, да, эта. Видите здесь зачеркивания? Зачеркивания... зачеркивания... зачеркивания... поправки, видите? Если я делаю поправку, то на этом листе уже больше не пишу, откладываю его в сторону и начинаю новый. Не могу выносить вида листа с поправками. Видите? Вот. Иначе говоря, до конца исписанной странице иной раз десять черновых предшествует. Я должен иметь перед собой чистую картину, понимаете? Только так могу продолжать писать...

Я сохраняю эти уже ненужные мне рукописные листы... для будущего литературоведа, его, наверно, тоже — вот как и вас — будет интересовать, как работает писатель. В готовой книге ответа он не найдет, только здесь, правда? Когда я умру, я уже ничего не смогу объяснить, он должен будет сам во всем разобраться, почему я должен облегчать ему работу?.. Мне ведь тоже приходилось разбираться самому...

Что больше всего удалось в романе, на собственный взгляд? Есть два-три места, пожалуй, которые нравятся мне самому, которые я люблю, за эти места сам себя, что называется, похлопываю по плечу. И... и... и говорю: ты молодец, ты просто гений! Шучу я, конечно, самая острая самокритика заключена здесь... в этих перечеркнутых страницах...

Да, всего лишь отдельные удавшиеся места... Например, сцена, где четырнадцатилетний пролетарский подросток впервые соприкасается с наукой. Дал ему приятель книжицу почитать, совсем тоненькую — «Млечный Путь», обыкновенный популярный учебник астрономии, читал я такой в молодости. Теперь-то я отдаю себе отчет, почему так меня взбудоражила именно эта книжка. Я учился в «народной школе», знаете, что это такое? Короче говоря, торчит мальчишка ночью на кухне у окна и смотрит в небо, в звездное небо — вообразите такой вот момент. И этот момент становится для него потрясающим переживанием, можно сказать, открытием: взгляд его устремлен прямо к звезде, которая... даже не знаю, в скольких тысячах световых лет лежит она от этого человеческого глаза! И ощущение этой прямой линии, устремленной от его глаза к этой звезде, к этой неописуемой бесконечности и огромности, потрясает мальчика. И он не знает, что то, что он в данный момент переживает, другие уже давным-давно пережили. Он чувствует себя как первый и единственный человек, которому пришлось пережить это, сознание своей причастности, связи его маленького человеческого бытия с бесконечностью мироздания. Тогда это потрясло меня, это потрясает меня еще и сегодня, и это всегда будет потрясать меня, когда я буду думать о бесконечности мироздания, когда я буду представлять это в воображении. И это потрясение я попытался здесь, в книге передать

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОВРАЖАЯ ВРЕМЯ...

словами. Вот это место мне дорого, понимаете? В романе есть и другие эпизоды, перенесенные из моей юности, но все-таки это было, пожалуй, одним из самых ярких переживаний. Недаром я так хотел стать астрономом. Но я был сыном пролетария, а таким была закрыта дорога в университет. У нас в Лейпциге был миллионер, на его фабрике изготовляли сапожный крем. Этот сапожный крем сделал его миллионером, он построил себе огромную виллу, это был почти дворец... В центре этого строительного комплекса находилась большая круглая башня. Четырнадцатилетним мальчишкой я вечерами часто стоял перед этой виллой миллионера и мечтал: мне хотелось стоять на крыше башни с подзорной трубой. И смотреть в бесконечность мироздания. Интересно, что бы сказал мне миллионер, если бы я обратился к нему с подобной просьбой? Но у меня не было подзорной трубы и... я ничего не понимал в физике и математике, я научился только писать, читать, считать—и больше ничего, и, таким образом, эта моя юношеская мечта осталась неисполненной в моем сердце. Но и сегодня, в мои почти семьдесят семь лет, я счастлив, что когда-то в четырнадцать лет имел такую красивую, прекрасную мечту, хоть она, к сожалению, не осуществилась... Эта мечта — реликвия моей ранней юности... А вообще — признаюсь честно — я стал бы охотнее пекарем или столяром, чем писателем...

От неисполненных желаний и неосуществившихся устремлений — к политической активности в рамках общественной системы, которая мне как пролетарию враждебна,— таким был мой личный путь. Капиталистическая общественная система не дает возможности исполнить обыкновенные, простые желания. Не хочет исполнять! А ведь они могли бы исполниться, правда? Ведь в нашей республике сейчас каждый из детей рабочих может сам по своему желанию выбрать себе путь в жизни, верно же? Вот из всего этого родилась эта книга, ясно вам? И хотя прямо этого не прочитать в тексте, но кто умеет заглядывать за слова и видит, что за ними прячется, тот прочитает об этих уносимых ветром мечтах бедного человека, которые, однако, преображаются, набирают силу, растут и приводят его к политической активности, а смысл ее — в том, чтобы построить новую, более красивую, более достойную человека общественную систему. Вот что, собственно, и составляет содержание всей этой книги. Да, больше я, пожалуй, ничего не могу сказать об этой книге, действие ее, естественно, вплетено в общую политическую атмосферу — демонстрации, забастовки, листовки, в этой политической ситуации действуют мои герои — моя мать и ее сын, Генриетта Бальке и Артур Бальке. Вот что я могу сказать о моей книге. В ней действует целый ансамбль героев, понимаете? В этом ансамбле свое место занимает также и женщина по имени Ольга Цайтлер — так я назвал ее,— буржуазка до мозга костей. Она — а действие развертывается в первую мировую войну, примерно в 1914—1918-м,— так вот, она — жена одного националистически настроенного немецкого артиллерийского офицера, капитана. Да. И сама называет себя в этой книге «хрестоматийной» немецкой женщиной... Переживания во время войны и знакомство с другом своего мужа постепенно очень многое меняют в ее взглядах — из восторженной шовинистки она превращается в противницу войны. Я показываю ее путь — в годы войны она присоединяется к маленькой группе «Союз Спартака» в Лейпциге. Не становясь членом группы, она помогает в организации нелегальных собраний, помогает распространять листовки, так немецкая «хрестоматийная» женщина становится немецкой революционеркой. Люди из буржуазного круга тоже приходили к революции — в нашей партии, в СЕПГ, есть немало товарищей, чье прошлое связано с буржуазией. Я вспоминаю хотя бы Людвига Ренна, который прежде был графом Фитом фон Гольсенау,— сейчас его зовут товарищ Людвиг Ренн. Мне вспоминается Карл Эдуард фон Шницлер, чьи родственники и сейчас на Западе способствуют неофашизму, а он сам хороший партиец, работает главным комментатором телевидения. Назову еще хотя бы только барона Густава фон Вангенгейма, который тоже пришел к нам,— таким образом, есть немало представителей буржуазии, которые пришли в революционную партию. Именно в этом и состоял мой замысел, когда я изображал превращение Ольги Цайтлер из немецкой «хрестоматийной» женщины в помощницу группы «Союз Спартака». Во втором томе героиня пойдет дальше — она вступит в Коммунистическую партию Германии. Об этом не так легко будет рассказать. Но я хочу попробовать...

Что помню о Бухенвальде... Едва ли не самым сильным впечатлением было появление пленных красноармейцев, я как сейчас вижу перед собой две сотни тощих фигур — изголодавшихся, раздетых, их гнали по лагерной улице... и сейчас еще слышу их выкрики: «Хлеба, хлеба, хлеба!» Вступать в какие бы то ни было контакты с советскими военнопленными было строжайше запрещено, но мы сразу же организовали сбор хлеба и передали его красноармейцам. Разместили их в отдельном бараке, окруженном колючей проволокой, нам не разрешалось приближаться к этому бараку, при этом и нас и военнопленных посылали на одни и те же работы, там мы и вступали с ними в контакты. Потом эти военнопленные организовали отряд Сопротивления, он принял участие в нашем освобождении 11 апреля 1945 года. Правда, четыреста красноармейцев фашисты угнали из лагеря до 11 апреля: словно сейчас я вижу, как они идут к месту построения, потом к выходу из лагеря... а мы стоим все, машем им и кричим: «До свиданья!» И это тоже было одним из самых сильных моих переживаний...

Так вот, в 1945 году вернулся я из Бухенвальда домой, в Лейпциг. Люди, кото-

рых я встретил, были в безнадежном отчаянии. Лейпциг разрушен, как и многие города, люди потеряли всякую перспективу, всякую надежду на то, что когда-нибудь положение может измениться к лучшему, и мы, коммунисты, в первое время наталкивались не только на непонимание этих людей, переживших, как говорил Ганс Фаллада, двенадцать лет озверения и фашистской обработки, но и не могли помочь им: мы говорили на другом языке, чем эти люди. И прошло еще довольно много времени, пока люди смогли начать настраиваться на наш образ мыслей. Так начинался путь нашего государства в пору, когда оно, собственно, и не было еще государством,— в 1945 году. Строительство заново, а не восстановление, строительство нового общества. Его мы, коммунисты, должны были создавать с теми людьми, которые у нас были, Ленин об этом тоже говорил: строить социализм с теми людьми, которые есть. Так было и у нас. И это — одна из великих мудростей Ленина, которые мы восприняли, еще оставаясь советской оккупационной зоной. С людьми, которые были еще отравлены ядом фашизма, начинали мы строить наши дома и наши предприятия. В 1945—1946 годах — да, да, именно в эти годы,— помню, мы изготовляли транспаранты, на одном из них стояло: снова на один кусок хлеба больше! Кое-кто над этим смеялся: снова на один кусок хлеба больше!.. И это и есть новое общество? — вопрошали они. Ведь они голодали, мы все голодали, понимаете? И «на один кусок хлеба больше» — это был для нас тоже шаг вперед в ту пору. Но люди этого еще не понимали. Прошли годы, пока немецкий народ, немецкая общественность срослись, сроднились с новым, и это произошло благодаря труду. Труд! Да, я написал о том, что они совсем не знали — люди того времени,— что они были героями. Ворчащими героями были они. Да, именно так, помнится, я и написал... Началось движение активистов. Помню, как смеялись, когда в кинотеатре смотрели кинохронику,— свистели, смеялись, язвили... сегодня об этом даже вспоминать дико. Сегодня ворчат уже совсем по-другому, в «конструктивном», в «положительном смысле». По поводу наших недостатков и ошибок, которые мы еще допускаем. Главное, что удалось осуществить моей партии и моему правительству,— это медленно и терпеливо привить людям новый образ мышления. Посмотрите сейчас на наши демонстрации! Сколько тысяч, десятков тысяч маршируют в честь памяти Карла Либкнехта и Розы Люксембург! Сколько тысяч, десятков тысяч людей заполняют улицы в День памяти антифашистов! А как заполнены улицы Первого мая! И это значит: с помощью труда, с помощью трудовых успехов удалось завоевать людей. И если я сегодня спрашиваю какого-нибудь рабочего: хочешь снова работать на капиталиста? — он мне отвечает: нет, мой дорогой! С этим покончено. В 1945 году мысли людей не шли дальше мешка картофеля, понимаете? Или пакета муки — такие были у них тогда мысли. А сейчас? А сейчас они думают о выполнении плана, сейчас они думают о новаторстве, они думают о производственных методах, о том, что составляет содержание нашей хозяйственной, политической и культурной жизни. Вот все, что я могу ответить на вашу просьбу рассказать о самых главных переменах — как они совершались. В этом состоит превращение, которое нам удалось. И я горжусь моей партией, которая терпеливо, но последовательно и умело воспитывает в немецком народе совершенно новое сознание. Поэтому наше государство сильно и поэтому оно неодолимо. И поэтому мир обеспечен, и он будет обеспечен — я убежден в этом,— и войны не будет, потому что социализм сейчас сильнее не только у нас, но и на целом полушарии...

Недавние эстетические переживания? Когда ты уже немолод, и уже писатель, и открываешь вдруг другого писателя — ты загораешься и не можешь ничего воспринимать с таким удовольствием и так глубоко, как чтение его книг. Я говорю об Арнольде Цвейге. Для меня самого это загадка. Да. Вы это записали? Тогда мне больше ничего не нужно об этом говорить. Что мне ближе всего в нем? На это нелегко ответить. То, чем Арнольд Цвейг является для меня лично, вытекает из его житейской мудрости, из его универсальных знаний, из красоты его языка. Я могу... я, например, несчетное количество раз читал «Воспитание под Верденом» и «Унтера Гришу» и продолжаю до сих пор перечитывать. И при каждом новом чтении открываешь для себя что-то новое. Я десять... двенадцать раз читал «Гришу» и «Воспитание под Верденом» и снова и снова обнаруживаю что-нибудь совершенно новое, чего прежде не замечал. Это — как... родниковая вода, понимаете? Всегда как будто бы одна и та же вода бьет из ключа, и все-таки не та же... Так у меня с Арнольдом Цвейгом. Я могу его читать снова и снова... Или вот еще фильм «Брак в тени» — не помню режиссера,— много-много лет назад он шел у нас. Посмотрел я его и поклялся себе, что не пойду смотреть второй раз, хотел сохранить в себе первое, непосредственное переживание, ведь смотреть второй раз — все равно что чай пить на старой заварке, разве не так? Потрясение, которое я в свое время испытал, не повторится, а я хочу сохранить именно это первое, непосредственное потрясение...

Какой тип человека особенно близок мне в жизни? Люблю людей, которые обладают чувством юмора и понимают его. В моей книге — вы уже читали ее? — есть один врач, его зовут доктор Лембке, прототип его — мой лечащий врач. Юмор его жестковатый, немного вроде бы сухой, именно такой мне по душе. И я сказал ему: доктор, я возьму вас в свой роман.

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

И я сдержал слово! Он в романе! Такой, каким он по утрам заходил в мою палату, серьезно спрашивал: Готовы ли вы к приему капель? Я отвечал: Так точно! Всегда готов!..

И еще о моем издательском редакторе — он живет в Лейпциге. Вообще-то, грешен, не люблю редакторов, но этого — люблю. Это — друг, человек, который не просто считается с писателем — вы понимаете, о чем я говорю? Нет, это человек, который помогает писателю, не навязывая ему своего редакторского диктата, который любит мою работу так, как если бы она была его собственной. И когда у меня возникает совсем трудный «узел» — помните, я говорил об «узлах»? — беру телефонную трубку и звоню моему редактору — приезжай в Берлин. И мы сидим здесь: он сидит вон там, а я сижу здесь, и мы с ним разрубаем «узел» надвое, как Александр Македонский. Это настоящий друг...

Вы спрашиваете, в чем секрет моей внутренней «пружинки»... Вчера вот мы с моей одиннадцатилетней дочкой разыгрывали дома представление-кабаре — ужасно люблю мистификации... Я объявил, что меня зовут «По-другому», и тогда моя дочь спросила: «Но как же все-таки тебя зовут?» А я все отвечал: «По-другому». «Но как же тогда?» И обыгрывая это слово, мы с дочерью целый час смеялись... Я думаю, для хорошего коммуниста очень важно не утратить чувство юмора, даже если ему очень плохо, если он попадает в очень трудную ситуацию. Жизнь, которую я прожил, научила меня этой истине — чувство юмора, способность радоваться так же необходимы, как для тела — баня. Да, как парная для сердца...

Сабина — это, наверно, самое главное, что мне удалось в жизни. Если вы меня спросите, что я переживаю, глядя на свою дочь, то было бы мало сказать, что я переживаю заново мою собственную юность, неверно, потому что не в этом дело, понимаете? Я переживаю в своей дочери «вертикального» и «горизонтального» человека, который выстроен с правильными углами. По-другому я не могу это выразить. Именно это я переживаю, глядя на мою дочь. Сабина — очень серьезный, исполненный чувства ответственности человек. Это мне хотелось бы подчеркнуть как самую выдающуюся черту моей дочери. Она ответственна! Другая основополагающая черта моей дочери состоит в том, что она в любой момент готова любому прийти на помощь. Не только нам, родителям, но всем людям. Она помогает везде, где только может помочь. Третья заключается в том, что она, в свои одиннадцать лет, уже очень много занимается общественной работой: она активная пионерка, член Совета дружеской взаимопомощи... Занимаясь, всегда схватывает главное, самую суть проблемы. В общем, продукция «со знаком качества» — большое мое счастье.

На чем же мы закончим — на нынешней работе? Платформа моя в «Радуге» остается прежней, я ее вовсе не навязываю своим читателям... просто за каждым словом они, надеюсь, и здесь узнают мои антифашистские позиции: своим принципам, однажды добытым в борьбе, я никогда не изменял. Моя мать воспитала меня молодым социалистом, сейчас я — старый социалист, но в принципе все тот же, каким был в молодости, только, быть может, вижу вещи более ясно, более зрело, более проницательно... да это закономерно. Но мировоззрение мое, мой взгляд на мир с тех пор не изменился. Должен вам признаться, второй том «Радуги» движется со скрипом — труднее первого. Почему? Не знаю... Что-то не получается никак... центральная фигура романа — рабочая мать... в первом томе у меня это получилось... ее конфликты, ее развитие, ее борьба, а вот во втором — не могу пока поместить ее фигуру в фокус драматического развития, надеюсь... что однажды ночью меня осенит... и тогда... я стану счастливым, можно сказать, со всех четырех сторон...

Лаузиц и вокруг...

Иоахим Новотный

Сейчас у меня, так сказать, передышка: недавно закончил большую работу, для меня это был новый жанр — впервые попробовал силы в романе. Этот роман вышел в свет; признаюсь, он стоил мне больших мук, я и теперь еще не совсем от них оправился. До сих пор я писал главным образом для детей и юношества, а если иногда и для взрослого читателя, то обычно это были новеллы или короткие рассказы; даже на повесть не отваживался, а тут вдруг роман. Правда, я пытался сохранить верность своим пристрастиям: мой роман состоит из коротких отдельных новелл. Очень было интересно, что из этого получится, я и сейчас еще живу этим — книга вышла только в конце августа. И напряжение не спадает: теперь я уже знаю — в какой-то аудитории роман понравился, другая — не приняла его, не поняла. Эта двойственность, конечно, тревожит. Получается, что именно герои моих книг сами их не читают... Главный персонаж? Совсем простой человек, рабочий в первом поколении — его отец еще крестьянствует, этот социальный слой мне очень близок, полагаю, что знаю его неплохо, а потому и пишу о нем.. За последние 20 лет у нас в деревне произошли крупные социальные изменения, сдвиги, и привели они к тому, что там остается все меньше крестьян в прежнем смысле этого понятия, все больше речь идет о рабочих, живущих в деревне. Вот такой рабочий,

живущий в деревне, и есть герой моего романа, культурный уровень его еще не очень высок: берясь за книгу, он хочет удовлетворить свою — весьма примитивную пока — потребность в захватывающем чтении. С удовольствием читает криминальный или приключенческий роман, в общем, предпочитает нечто выходящее за рамки обыденности. Читать о собственных проблемах, об обществе, в котором он живет, о своих родителях и предках кажется ему скучноватым, особенно если повествование отличается по характеру от того, к которому он приучен приключенческой и детективной литературой, где действие одноплановo и целеустремленно разворачивается во времени, если оно — вроде моего — то и дело прерывается, перебивается различными рассуждениями, ассоциациями — в такой прозе события не только не «пришпорены», автор, наоборот, подолгу задерживается на какой-то точке, размышляет, вплетает в ткань повествования философские или исторические, социальные или еще какие-то рассуждения; в одну сюжетную линию вклинивается вдруг вторая, третья... Другими словами, читатель вполне может потерять терпение и воскликнуть: «Когда же, черт побери, дело, наконец, сдвинется с мертвой точки?» Здесь-то и есть главная трудность для читателя того слоя, о котором я говорю: с великим трудом он продирается сквозь книгу, особенно вначале. А ведь как много зависит от того, прочтут ли до конца книгу или отложат, с этим я не раз сталкивался... Идешь, например, на читательскую конференцию, на встречу с читателями... Думаешь: раз уж пришли, значит, прочли книгу и теперь собираются ее обсуждать; и вдруг слышишь признание, что дальше начала дело не пошло. Правда, взыскательному читателю роман понравился, похвалы в мой адрес раздаются с разных сторон, рецензий немало появилось в прессе, хвалят книгу... То есть до искушенных, опытных читателей она, видимо, дошла — говорят, что читают с удовольствием. Но я-то, когда писал ее, совсем не имел в виду знатоков и ценителей; я рассчитывал и на тех, кто не разбирается в эстетических тонкостях... Образовались, так сказать, ножницы между тем, чего я хотел достичь, и тем, что фактически получилось. Все это меня, конечно, волнует, даже очень волнует... Не дает покоя вопрос, удастся ли когда-либо дойти до этой аудитории... Конечно, читательский опыт постепенно совершенствуется — это другая сторона вопроса, я ее тоже принимаю в расчет, она вселяет надежду,— я говорю о том, что круг читателей, способных справиться с книгой, имеющей более сложную структуру, и не просто справиться, но и оценить такую книгу, становится у нас шире, есть признаки этого процесса... В чем я их ощущаю? Ну, прежде всего — выступая на читательских конференциях; после того, как расскажешь о книге, обычно многие из присутствующих решают снова взяться за чтение. Но ведь не станешь же каждой книге «объяснительную записку» предпосылать (с м е е т с я)— книга должна сама говорить за себя. Так что я очутился перед выбором: либо найти путь к тем читателям, для которых я пишу, либо пойти на эстетический компромисс. Дилемма сложна, я терзаюсь, к решению пока не пришел, еще не знаю, как поступлю, скорее всего, в ближайшие месяцы подожду браться за прозу, займусь инсценировкой своих прежних вещей для телевидения. Где-то про себя немножко надеюсь, что при этом актерам и режиссеру — посредникам между мной и читателями — лучше, чем мне, удастся раскрыть, донести до них без утрат мой замысел. В общем, все это тревожно и сложно...

О чем роман... В центре — сорокалетний шофер, живет, как я уже говорил, в деревне. Водит грузовик, работа у него, в сущности, весьма однообразная, подвозит гравий, стройматериал, от каменоломни к крупной стройке, большую электростанцию воздвигают. День за днем водит грузовик по одному и тому же маршруту — с гравием туда, порожняком обратно; вот уже несколько лет ездит так, и вроде бы жизнь текла нормально. До тех пор, пока в последнее время не почувствовал себя не в форме: ему кажется, что он стал импотентом. У него благополучная семья, двое детей, здоровая жена, он ее любит... И вот Робель — так зовут моего героя — решает отправиться к врачу, который принимает в их сельской амбулатории. При этом хватается за любой предлог, который ему подворачивается, чего только не затевает, только бы оттянуть визит к врачу: встречается со многими людьми, которые ему что-то рассказывают, раскрывают перед ним душу, попадает куда-то в новые места, где с ним случаются разные происшествия; обнаруживается при этом, что он и сам умелый рассказчик; вспоминает события прошлых лет, задумывается над вещами, над которыми раньше никогда не думал,— короче, день оказывается заполненным до краев, на редкость содержательным. Вечером возвращается домой, так и не попав к врачу, но теперь ему кажется, что, может, обойдется и так, что, может, все дело в том, чтобы вдруг «споткнуться» о такую разрядку, как в этот раз,— чтобы нашлось время и подумать, и поговорить с людьми, и передохнуть, и посмотреть, насколько мир и общество, в котором он живет, причастны к его состоянию и насколько они в силах ему помочь. Каким-то образом он понимает, что скорее всего его случай — не органического заболевания, а итог психического «ступора», состояния, которое может измениться, если преодолеть стрессовую ситуацию, в которой он оказался... Однако я взялся за неблагодарное дело — вы не находите? — пересказывать роман, да еще собственный. Если бы можно было несколькими словами передать то, что он содержит, не надо было бы и писать его,

---

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

наверно. Главное — мне важно было совершить вместе с читателем поиск, итогом его — и для меня, и для него — оказывается, как я надеюсь, мысль примерно такая: в обществе, подобном нашему, те же самые факторы, которые могут привести к перенапряжению, стрессу, содержат и потенциальную возможность разрешить, снять их, в том-то, между прочим, и состоит принципиальное отличие нашего уклада. В обществе с антагонистическими противоречиями состояние психического тупика чаще всего оказывается необратимым, в то время как у нас возможности преодоления обусловлены самой природой общественного устройства — так я мог бы коротко ответить на ваш вопрос о «надстройке», «философской надстройке»... истории, рассказанной в романе. Не надо, разумеется, понимать все это упрощенно — я хотел только дать представление о схеме «сверхзадачи»...

Как я расшифровываю для себя понятия «национальной специфики», диалектики патриотизма и интернационализма?.. Я вижу прямую связь между представлениями людей об этих идеях и тем, что и как пишут писатели об особенностях нашего общества, возникшего на земле ГДР, с какой точки вглядываются в него так, чтобы читатель мог легко узнать себя в героях наших книг и сказать: да, это наша страна, это наше общество, это наше государство. Разные писатели подходят к этому по-разному, иные поверхностно, с помощью пустых фраз и голословных деклараций, есть и такие, кто не видит здесь никакой проблемы, просто старается пристальнее всматриваться в жизнь и писать «с натуры». Они полагают: если в действительности существует эта национальная специфика, если существуют эти особенности нового государства, значит, они сами собой проникнут и в наши книги. Я избираю другой путь, пытаюсь как можно глубже постигнуть душу так называемого «простого человека» — я называю его «простым», хотя эпитет этот весьма условен. Я имею в виду вовсе не забитых, бесправных или социально отсталых; я имею в виду, собственно, тех, кто непосредственно занимается производством материальных благ.

Так вот, я поставил себе задачу выяснить, что в душах этих людей за тридцать лет существования и развития ГДР, так сказать, «опустилось» в сферу привычного, не осознаваемого больше как нечто особенное. Можно выразить это и более простой формулой: только тот социализм истинен, который, так сказать, проникает в самые глубины, в самый фундамент жизни, становится повседневностью, чем-то само собой разумеющимся, а не только выдвигается как моральное требование, как желаемая цель... Я исследую именно это: что и как уже вошло в повседневную жизнь, стало привычным настолько, что люди даже не думают об этом, не замечают этого, а просто действуют по-социалистически. Меня это интересует больше всего, я этим занимаюсь, и мне кажется, что если это найти для себя, а потом суметь точно передать, то тем самым неизбежно будет выражена специфика и неповторимость такого государства, как ГДР, так что никто в мире уже не мог бы говорить о «немцах» вообще, а обязательно почувствовал бы потребность добавить: немцы из ГДР или немцы из ФРГ... Я думаю, что такие черты сложились в жизни рядового человека и что их-то и надо увидеть и отразить и в литературе, и в кино, и что это отражение окажет свое «обратное» действие на них, то есть на становление национального самосознания. Для нас, как вы сами понимаете, это, можно сказать, «болевая точка» — не могли мы просто обратиться к старым традициям, нам пришлось многое, очень многое выбросить за борт, начисто отвергнуть, от многого отмежеваться, кое-что при этом оказалось подавленным, загнанным вглубь — потом, в ходе спокойного, мирного развития, постепенно оно может выйти наружу, уже не представляя прежней опасности...

Что вносит время в эти коллизии? Расскажу для примера об одном моем дружеском споре с молодым доцентом, моим коллегой. Правда, это был не вполне классический спор, здесь не оказалось ни победителя, ни побежденного, скорее сопоставление позиций, хотя к общему мнению мы так и не пришли. Я утверждал, что подлинный социалистический интернационализм предполагает исходное чувство родства со своей собственной нацией. Другими словами — кто прочно и уверенно чувствует себя среди своих соотечественников и не подвергает сомнению свою принадлежность именно к этой нации, тот будет в состоянии по-настоящему понять и принять своеобразие других наций и даже найти прелесть в этом своеобразии. А тот, кто лишен такого чувства прочной национальной принадлежности, у кого национальное самосознание расшатано, тот будет чувствовать себя неуверенно и на международной арене, в общении с другими народами,— может быть, он окажется нетерпимым, а может, сочтет странным то, что для них вполне естественно, или примет чересчур близко к сердцу то, что этого совсем не заслуживает. То есть из непрочности его национального чувства вырастет непрочность его интернационализма. Это моя точка зрения, которую я в том споре защищал. Мой более молодой коллега, имеющий другой, отличный от моего жизненный опыт — он, например, окончил вуз в Советском Союзе,— заявил, что для него лично такой проблемы просто не существует. У него нет нужды в национальном чувстве, чтобы ощущать себя интернационалистом. Просто ему естественно присущ интернационалистический склад мышления. Он даже высказался в том духе, что национальное чувство вообще становится архаизмом в наш век, что теперь на повестке дня стоит совсем другое понятие, а именно: «социалистический гражданин мира» — человек, который в любой социалистической стране чувствует себя одина-

ково свободно и просто, которому там хорошо, как дома, ничто не покажется чуждым и отталкивающим — будь то в Монголии, или у нас в ГДР, или в Венгрии, ему это безразлично — он везде встретит радушный прием и людей, с которыми ему будет легко и приятно, а все остальное не так уж и важно... Что же касается меня лично, то я настолько крепко, можно сказать «намертво», привязан к родным местам, что просто не представляю себе, как бы я мог долго жить где-нибудь еще,— по-настоящему способен чувствовать себя дома только вблизи от родных мест, и, уезжая из своего Лаузица — это недалеко от Лейпцига,— я всегда увожу с собой ощущение потери. Вполне отдаю себе отчет в том, что такая привязанность граничит с провинциализмом, вернее, может к нему привести; и потому стараюсь бороться с этой опасностью... Повторяю, спор наш так и закончился вничью — каждый остался при своем мнении...

Проблемы, волнующие литературу? Многие из моих коллег обратились к тем явлениям общественного развития, которые произошли на территории ГДР после 1945 года. Я имею в виду, например, образование сельскохозяйственных кооперативов — это была настоящая революция в деревне. Каким образом общество справилось с этой ломкой, как каждый его член, каждый человек с ней справился? Над этим вопросом стоит поразмыслить всерьез. Ведь в самом деле, за тридцать лет на нашей земле произошли огромные перемены — перемены в самом человеке. Расскажу вам об одном своем знакомом крестьянине. У него была когда-то пара лошадей, в войну лошадей забрали, но оставались еще волы, волов на войну не брали. После войны он вновь взялся за хозяйство, правда, лошадей уже так и не смог приобрести, хотя после войны ему даже прирезали земли от большого поместья по соседству, чтобы как-то помочь встать на ноги. Естественно, в то время его окрыляла одна мысль: я — хозяин на своей земле! Потом, и не так уж легко, он стал членом кооператива — отчасти по собственной воле (а отчасти и не по собственной) вступил. Теперь его окрыляла уже мысль о своем кооперативе — это означало уже мыслить более масштабно: если раньше его кругозор был ограничен своим личным двором, теперь он расширился до границ земель кооператива. Окажись он, как говорится, «в воронке» этого развития, мог бы превратиться всего лишь в «местного патриота», то есть отстаивал бы, вполне эгоистично, интересы своей деревни против других деревень; такие явления у нас бывали, и не единично, а в массовом порядке. Но и эта стадия скоро ушла в прошлое. Опять пришлось моему знакомцу перестраиваться — образовались межхозяйственные объединения, в которые входят пять, шесть, семь, восемь деревень, теперь рассуждать он должен в еще более широких рамках. Попадая в специализированное хозяйство, крестьянин думает теперь уже не о полевых культурах и скоте, как это было прежде, а либо о культурах, либо о скоте. Короче, за несколько лет несколько раз приходилось крестьянину менять характер и масштабы своих забот, и каждый раз радикально. Очень интересно для писателя вникнуть в этот процесс. Житейски рассуждая, совсем не так все просто: представьте себе, что у вас есть сын и ваша цель — воспитать его в каком-то определенном духе, например сделать из него крестьянина. Через десять лет вы ему говорите: нет, ты будешь не просто крестьянином, а членом кооператива. А вскоре, может быть, придет пора объявлять, что механизация сократила нужду в рабочих руках на селе и не лучше ли ему пойти работать в промышленность? Значит, отцу приходится трижды менять взгляды на будущее своего сына. Это могло бы привести к сложностям, трениям; и мне кажется, в этом смысле у нас здесь проявляли немалую мудрость — каждый в отдельности и все вместе... Проблемы эти пока как-то мало освещаются, но меня лично они очень остро волнуют, думаю заняться ими глубже. Среди моих коллег есть такие, кто тоже мыслит в этом направлении...

Но я хочу все же довести до конца рассказ о своем знакомом крестьянине, у которого в войну отобрали лошадей. Когда он вступил в кооператив и передал свою землю и свой скот — волов, корову — кооперативу, когда он наконец-то смог зажить нормальной жизнью, то есть получать отпуск и выходные дни, располагать свободными вечерами — до них ли, когда держишь свой скот,— когда он, значит, смог начать жить по-человечески, а все его односельчане, да и вообще крестьяне во всей округе, попродавали своих лошадей, тут-то он и... догадываетесь, что он сделал? Купил себе лошадь. Кооперативам уже и в ту пору они были не нужны, разве что в особых случаях, сейчас все быстрее и лучше делается машинами, лошадь стала предметом спорта, роскошью. Ну, так вот, крестьянин этот приобрел лошадь — со всеми вытекающими отсюда последствиями: нужно было каждый день ее кормить, запрягать, прогуливать — не может же она все время стоять в конюшне... Отпуска он лишился, а односельчане, конечно, тут же решили, что стар он, слегка ослаб умом и не соображает, что к чему. Стали потешаться над ним — им казался смешным человек, который в наши дни вдруг надумал держать лошадь... Вот тут мы и подходим к тому, почему я все это рассказываю вам... Если бы я взялся судить обо всем этом с точки зрения, так сказать, общего прогресса, то, наверно, присоединился бы к его односельчанам, с их насмешками. Но я знаю этого человека, знаю с детства, знаю еще с той поры, когда у него были лошади, знаю и волов, которыми ему пришлось заменить лошадей, взятых на войну,— волы

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

были упрямые, своевольные, может, потому что он обращался с ними, как с лошадьми. Так вот, из-за того, что я знаю этого человека, знаю хорошо, много лет, я понимаю, я сразу понял, что он не просто купил лошадь, а осуществил свою давнюю-давнюю мечту, свое заветное желание, которое раньше не было возможности исполнить: теперь лошади — спроса-то нет — стали не так уж дороги, а у него накопилось немного денег на книжке, теперь он мог себе это позволить. Конечно, крестьянин остается крестьянином, разве откажешься от экономической выгоды — в деревне всегда найдется надобность в перевозках: ручная тележка мала, трактор великоват — лошадь тут в самый раз. Стал он подвозить разные грузы — и для здоровья полезно: пожилому человеку надо побольше двигаться, он и сам это знает. человек развитой. Может быть, когда-нибудь поймет он, что с современной точки зрения его поступок выглядит смешным, а сам он — отсталым; может, такая точка зрения покажется ему логичной и разумной. Хотя меня лично здесь интересует именно тот факт, что иногда отдельные люди могут вести себя вроде бы странно, с «чудинкой», наперекор миру,— и это обнаруживаешь, внимательнее приглядываясь к отдельному человеку. Конечно, история эта вовсе не свидетельствует о возврате к крестьянскому частнособственническому образу мышления в нашей деревне, поймите меня правильно. Конечно, этот крестьянин, купив лошадь, не остановил и не затормозил социального прогресса на селе. Но он ведет себя не как все, он проявляет свою индивидуальность, как бы утверждает свою непохожесть, неповторимость в ходе всех этих событий. Мне кажется, для писателя отображение, художественное воплощение такого человека должно представлять увлекательнейшую задачу: с одной стороны — неповторимая человеческая личность, безусловно симпатичная и своеобразная, с другой стороны или, скорее, на ее фоне — процесс общественного развития, еще четче оттеняемый этой личностью...

(Через несколько месяцев, вновь попав в Лейпциг и встретившись с Иоахимом Новотным — на этот раз не у него дома, а в Литературном институте, где он преподает,— я попросила его совсем коротко рассказать о самых последних творческих заботах, в которые он погрузился после нашей первой встречи. — Е. С.)

Знаете, это уже действительно новые заботы... У нас здесь, в Лейпциге и в Лаузице, расположены крупные месторождения бурого угля. Собственно, это — энергетическая база нашей экономики. Потребность в энергии у нас означает потребность в угле, в буром угле, которым питаются все наши крупные электростанции. Месторождения нужно разрабатывать — при этом на больших площадях нарушается весь ландшафт, сносятся целые деревни, людям, жившим в этих деревнях, приходится бросать насиженные гнезда и переселяться в новые места, иногда в совершенно непривычные условия — например, из маленьких крестьянских домиков в многоэтажные блочные дома, они теряют прежних соседей — приходится сталкиваться с множеством проблем. Люди, можно сказать, веками жили в родной деревне, с ее исконными традициями и укладом, и теперь приходится все это бросать — ради других людей, которые, видите ли, не желают отказываться ни от каких современных удобств. В сущности, ведь именно для этого и требуется вся эта энергия, если опустить, конечно, множество промежуточных ступеней, я не буду на них останавливаться. Так вот, эта проблема меня тоже уже давно волнует. И в последнее время мне удалось посетить одну из таких деревень. Она имела еще свой прежний вид, то есть дома, дороги, мосты, деревья, сараи, амбары — все было на месте. Только людей в ней уже не было. Целый день я провел в этой мертвой деревне и мысленно представил себе судьбы многих ее жителей: мне совсем не трудно было вообразить, какие люди жили в том или этом доме и каково было у них на душе, когда они узнали, что скоро придется все это покинуть. Ну и вот эти свои впечатления — то, что я там увидел и почувствовал, я собираюсь использовать как материал для двух разных работ, вернее, хочу попытаться использовать этот материал, я подчеркиваю этот глагол — «попытаться». И первая из задуманных работ — телевизионный фильм. Чаще всего в тех случаях, когда я работаю по заказу телевидения или кинематографа, то сначала пишу прозаическое повествование. Думаю и в этом случае сначала показать на телевидении прозаический текст. А второй работой будет книга для детей и юношества — говоря «для детей», я имею в виду старших школьников, примерно 11—12 лет и старше, а вовсе не малышей. Над этими двумя замыслами работаю сейчас, так сказать, параллельно. Кажется, что-то получается, конечно, только в начальной стадии, в стадии создания общей концепции — как только дело дойдет до работы над самим текстом, придется решиться на что-то одно, вероятно, возьмусь сначала за телефильм. И если бы вы спросили меня, чего я опасаюсь, то ответил бы, что отнюдь не уверен, захочет ли телевидение браться за эту тему... Тогда, может быть, сделаю из этого литературного сценария рассказ...

Педагогические контакты с творческой молодежью... Да, это существенная часть моей жизни. Конечно же, трудно учить писательскому мастерству. Есть люди — и я почти согласен с ними,— которые считают, что это вообще невозможно — «учить на писателя». А я вот, значит, преподаю в Литературном институте, даже возглавляю сектор прозы, веду семинар по прозе — то есть, в сущности, должен был бы считать, что это возможно. Но, к сожалению, очень часто приходится констатировать, что до границ возможного мы добираемся довольно быстро... Доцент не может пи-

сать за своих учеников, за письменным столом начинающий писатель — несмотря на помощь института, на шефство над его работой — все равно один, он должен сам справляться со своим материалом, со своими проблемами. Что мы можем для него сделать? Попытаться прояснить то, что он ощущает смутно — неосознанно или подсознательно. Таким образом, молодой автор, занимающийся в нашем институте, получает чуть-чуть больше возможностей, чем пишущий вполне самостоятельно.

Да и вообще это ужасно трудно — работать с молодыми литераторами. Конечно, если относишься к делу с полным сознанием ответственности. Почему? Во-первых, потому, что они — вполне естественно — подражают каким-то образцам и нельзя преждевременно их кумиров развенчивать. Во-вторых, необходимо признавать за ними право писать по-своему, вносить что-то свое в литературный процесс: это признание нам, как правило, дается с трудом, потому что «свое», если только оно подлинное, нередко удивляет, отталкивает, даже пугает. Приходится постепенно привыкать, приглядываться: люди, пишущие в совершенно «непохожей» манере, сперва, как правило, шокируют. Чутко подходить к поиску, не шарахаться, не пугаться сверх меры, уметь вовремя ободрить и поддержать, хотя писательская манера их пока ничего не говорит твоему эстетическому чувству,— все это совсем не легко, но это наш долг... Мне кажется, теперь у нас в ГДР с большим пониманием относятся к стремлению молодых сказать свое слово и по-своему внести свой вклад в литературу, пусть порой поначалу это новое озадачивает. Потому что если молодые не станут дерзать, им не решить своих задач в будущем. Конечно, это легче декларировать в общем виде, чем выполнить на самом деле... После войны у нас писатели принимали шефство над молодыми, начинающими литераторами из рабочих. Вот и я тоже — я тогда еще не преподавал в Литературном институте — помогал в те годы одному молодому рабочему с небольшого заводика электроприборов в Лаузице. После, уже по поручению Союза писателей, взял над ним индивидуальное шефство, так это у нас называлось. Этот молодой человек потом пришел в наш институт и стал нашим студентом-заочником. Все это время он работал над рукописью. Мы с ним много раз обсуждали его работу, вновь и вновь возвращались к ней. Вскоре, вероятно, книгу его опубликуют — вполне нормальный ход событий, почти бесконфликтная ситуация, можете вы сказать. Да, если скользить по поверхности. А ведь душу этого молодого человека не раз терзали сомнения, сотрясали бури, много-много раз. Я-то знаю, ведь я был его руководителем. Сколько раз он говорил себе: пора кончать с этим делом, ничего все равно не выйдет. А потом опять наступал подъем: получается, становлюсь писателем. Все эти годы он бросался из одной крайности в другую, и мне кажется — не будь у него старшего товарища, который то подбадривал его, то, наоборот, указывал на недоделки, из этого, пожалуй, и впрямь ничего бы не вышло... Но, конечно, далеко не всегда дело кончается так безоблачно, много есть и таких молодых, с которыми я, например, так и не сумел найти общего языка, подхода к ним, «антенны», что ли. У моих коллег такая «антенна», может быть, есть; значит, они и должны заниматься с ними. А вот с тем молодым рабочим из Лаузица у меня было много общего, оттого наше сотрудничество и принесло плоды...

Есть у нас и такие писатели, и их большинство, которые приходят в литературу без этого руководства и без Литературного института: сами пробивают себе дорогу, без всякой помощи и поддержки. В конце концов, это ведь и есть самый правильный путь: в литературу не ведут под руки, туда приходят сами — и только те, кому дано сказать что-нибудь свое. Когда мы замечаем в начинающем авторе эту самобытность, мы стараемся ему помочь, ускорить процесс созревания. Иногда это удается. Но бывают и такие случаи, когда скорее можно утверждать обратное, когда одаренный автор нашими стараниями... даже теряет свою прежнюю самобытность. То, что самоучке казалось ярким пламенем его собственной одаренности, в институте, в атмосфере, так сказать, соседства со светочами мировой литературы, вдруг представится едва тлеющим угольком, который вскоре и впрямь гаснет. Такие случаи тоже бывают, случается, что многие, окончив наш институт, по три-четыре года вообще не могут взяться за перо — сказывается перенапряжение, потеря непосредственности ощущений. Потом, справившись с этим, кое-кто вновь обретает прежнюю форму, начинает писать. Мы считаем становление их как писателей все-таки нашей заслугой, поскольку их новый уровень, как правило, намного выше прежнего. Вот что я хотел вам рассказать о своем опыте работы с молодыми авторами. Точности ради надо добавить, что понятие «молодой автор» употребляется и по отношению к людям, отнюдь не молодым по возрасту; они молоды лишь по «стажу» в литературе. У нас в институте учатся и 45-летние, просто язык иногда не поворачивается назвать их молодыми авторами. В литературе они, правда, недавно, но у них уже есть жизненный опыт, многие имеют детей, некоторые даже внуков. Не очень подходит к ним этот эпитет «молодой», но другого термина у нас нет. А ведь это совсем не одно и то же, берутся ли за перо в таком возрасте или приходят в литературу и впрямь молодыми, молодыми по годам, с другими представлениями о жизни, с другими предпосылками. Эти приходят к нам, не имея ни жизненного, ни литературного опыта, на-

---

ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВСКАЯ
ПРЕОБРАЖАЯ ВРЕМЯ...

верно, в непосредственности и состоит их главная сила. Правда, требуется время, пока они окончательно забудут школьные уроки литературы; хотя теперь преподавание этого предмета стало вестись намного лучше, чем в прежние времена, все же годы проходят, прежде чем выпускники наших школ отвыкают смотреть на занятия литературой как на труд неприятный, хотя и необходимый для получения оценки в журнале, прежде чем они уже на другом уровне займутся литературой. Вот с этими-то молодыми людьми нам и приходится потом работать...

О контактах с советской литературой? Я только что вернулся из поездки в Советский Союз, с так называемого ежегодного двуязычного коллоквиума, организуемого Союзами писателей СССР и ГДР попеременно то у нас, то в Советском Союзе. Ездил на этот коллоквиум, он состоялся на этот раз в Риге, в Латвии. В день открытия всех участников пригласили в сауну — финскую баню. И судьбе было угодно устроить так, что в одну группу со мной — баня маленькая, и всех нас пришлось разбить на группы — попали советский писатель Сергей Антонов, пользующийся у нас большой известностью, литовский прозаик Миколас Слуцкис и два латышских писателя, имен их я не знал, а также двое моих коллег из ГДР. Все мы вместе сидели в сауне, вместе парились, вместе прыгали в озеро и выскакивали из него, потом вместе пили и ели, как и положено в настоящей финской бане. Пока сидишь в сауне и паришься, никуда не торопясь, приходишь в эдакое особое состояние духа, помню, я и подумал, сидя там, что та естественность, с которой мы, литовцы, латыши, русские и немцы, встречаемся здесь, на этой исторической земле,— тоже пример осуществления на деле идей интернационализма и патриотизма, которым и был посвящен наш коллоквиум. Все эти народы оставили на земле наших хозяев свой след, а мы, немцы, отнюдь не лучший. И все же мы можем так по-дружески беседовать друг с другом, до такой степени чувствовать себя в своем кругу, что вообще забываем о национальной принадлежности друг друга. Тем более, что сидели-то мы в сауне, то есть все были в костюме Адама! Советовались, как лучше переносить жар, как лучше париться,— все это вместе оставило в моей душе такой глубокий след, пожалуй, более памятный, чем все умные и ученые речи, которые потом прозвучали на коллоквиуме...

Это первое. А второе событие, тоже глубоко запавшее мне в душу,— это встреча с таким человеком, как Сергей Антонов. По возрасту его не отнесешь к молодым людям, но он являл нам всем пример того, как можно оставаться молодым, несмотря на годы: сохранять задор, боевой дух, напористость, страстность в спорах — предметом их была и литература и эстетика. Знакомство с Антоновым вернуло мне то чувство, то ощущение, которое я в какой-то мере стал терять. Сразу добавляю — то, что я сейчас скажу, вероятно, моё субъективное мнение: одно время Советский Союз и советская литература играли у нас в ГДР огромную роль — это было в мои молодые годы, в период моего становления. Тогда я читал запоем — Максима Горького, Шолохова, Островского «Как закалялась сталь» и многие другие книги. Я был потрясен этой литературой, она оказала на меня такое глубокое влияние, что, пожалуй, определила все мое отношение к жизни, склад мыслей, манеру письма, во всяком случае, вначале. Потом у меня появилось ощущение, что советская литература как-то перестала оказывать на меня столь сильное воздействие и играть в моей жизни прежнюю роль. Может быть, это вполне естественный процесс — становишься старше, самостоятельнее, появляются собственные критерии, несколько слабеет тяга к образцам для подражания. Показалось даже, что советская литература на какое-то время утратила нечто от былой притягательной силы для наших читателей. А в последние годы ее роль у нас в стране вновь начала возрастать. Сейчас у нас многие — и прежде всего молодые — с огромным интересом и вниманием следят за тем, как советские писатели решают многие нравственные проблемы, какие выводы и насколько последовательно они делают. И, конечно, многие молодые авторы стремятся подражать им, учатся у них и очень рады новым свершениям в советской литературе, им легче проводить в жизнь свои взгляды, решать трудные задачи, имея такую опору. И еще хочу добавить: в частности для меня, например, такие люди, как Сергей Антонов, немало способствуют утверждению этого — на новом уровне — отношения к советской литературе...

Берлин — Бауцен — Галле — Лейпциг — София—Москва. Ноябрь—декабрь 1976 г., май — июнь 1977 г.

◆

Антирубрика

ДОРОТИ ПАРКЕР

Из цикла «ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРУ С ВЫСОТЫ ПОРОСЯЧЬЕГО ПОЛЕТА»

Перевод с английского МАРИНЫ БОРОДНИЦКОЙ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ДЖОНА КИТСА, ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ И ДЖОРДЖА ГОРДОНА НОЭЛЯ, ЛОРДА БАЙРОНА — КЛАССИКОВ.

Лорд Байрон, Джон Китс, Перси Шелли
Различные чувства воспели:

у Шелли роскошная грива — фальшива,
у Китса папаша охоч был до пива,
а Байрон за юбками бегал ретиво...
Вот вам бы, юнцам бы,

стихам бы учиться
у Байрона, Шелли,
у Байрона, Шелли,
у Байрона, Шелли и Китса!

СТИХИ К ОДНОЙ СОБАКЕ

Твой взгляд сияет верой неземной,
Не встретишь у людей такого взгляда,
О, как ты чист склоненный предо мной...
(И доедаешь тапки?! Фу — не надо!)

Да! Этот мир был создан для тебя.
Ты на меня взираешь, как на гостью:
Так мудро, снисходительно, любя...
(Эй! Прочь с подушки с этой грязной костью!)

Открытая и чуткая душа!
Клянусь, в твоем присутствии неловко
Нам, циникам. Мы смотрим чуть дыша,
Как ты... (Оставь в покое полировку!)

Как ты силен и как хорош собой!
Ты в поисках опасности и риска
Готов на ратный подвиг и на бой...
(Не подходи к аквариуму близко!)

Мне нравится воинственный твой дух.
Звучит твой голос радостно и звонко,
И боевой твой клич ласкает слух...
(Сейчас же прекрати трепать котенка!)

От носа и до кончика хвоста
Ты — оптимист. Тебе чужда рутина,
И косность, и мирская суета...
(Не мог прогулки подождать, скотина!!)

НАДПИСЬ НА ПОТОЛКЕ СПАЛЬНИ

Каждый, каждый божий день
Наступает новый день.
Я зеваю, я встаю,
Одеваюсь, ем и пью,
То рыдаю, то смеюсь,
Там — учу, а здесь — учусь,
Шелком делаю стежки
И корябаю стишки,
Ненавижу и дружу
И в кровати вновь лежу...

Буду брать или давать —
К ночи ждет меня кровать.
Буду сеять или жать,
А в конце одно: кровать.
Тех, кто слаб и кто силен —
Всех во тьме сравняет сон;
Поджидает всех Морфей:
Кто умней и кто глупей...
Утро — день—закат—кровать...
Может, вовсе не вставать?!

ЖОРЖ САНД

В часы досуга неустанно
И между главами романа
Она любила — как в романе!
(Живут же эти парижане!)

ОПЫТ

Одни мужчины тонко льстят,
Другие вводят в грех,
А третьи просто не глядят.
И эти — лучше всех!

ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Ждет счастье в старости меня:
Покой, воспоминанья...
И я, усевшись у огня,
Забуду жар желанья.

Я волосы в пучок сколю
Под чепчиком крахмальным,
И на колени лечь велю
Рукам своим печальным.

И, утопая в кружевах
Просторного халата,
Я позабуду о слезах,
Что жгли глаза когда-то...

В качалке пить вечерний чай,
Со спицами дружить...
Мой бог! Нельзя ли этот рай
Немного... отложить?!

■

ЖАК СТЕРНБЕРГ

РАССКАЗЫ

Перевод с французского Н. ПОПОВОЙ

Представитель

Когда он покинул заводские цеха, где десять лет трудились над его созданием, то так поразил всех своим совершенством, что родилась мысль, а не снабдить ли его удостоверением личности, да и не застраховать ли заодно.

Но в конце концов, это был всего лишь робот.

Внешне он ничем не выделялся. Не слишком высок и не слишком привлекателен — таким его и запрограммировали. Очевидно, чтобы не бросались в глаза скрытые в нем необыкновенные способности — настолько безграничные, что возник новый вопрос: как использовать этого робота?

То есть проблема заключалась в выборе, а выбрать было чрезвычайно трудно. В фирме, по заказу которой его сконструировали, внезапно обнаружили, до чего же преувеличена сложность торгового дела. Робот один мог без труда управлять и самой фирмой и ее филиалами. Ему ничего не стоило вести самостоятельно всю бухгалтерию, руководить персоналом, решать административные вопросы и полностью подменять секретариат. Иными словами, координировать функционирование нескольких сотен служб, слив их в единый мощный центр, способный справиться с любой проблемой посредством не просто эффективного, а сверхэффективного решения, выбранного из сотен возможных.

Но поскольку генеральный директор общества мнил себя незаменимым и все его окружение точно так же заблуждалось на свой счет, то постановили, что к роботу нужно относиться как к самому заурядному служащему — не более и не менее способному, чем другие. Пусть-ка наравне со всеми начнет с самой нижней ступени служебной лестницы, а там видно будет.

И его водворили в подвал, где помещалась экспедиция. В течение часа робот ликвидировал десятидневный завал, выполнил норму и текущего дня и следующего.

Тогда его перевели на первый этаж, рассудив, что подобный пример может пагубно повлиять на кладовщиков.

Из упаковщика робот превратился в секретаря. За полчаса он выполнил задания всех машинисток и с гениальной находчивостью принялся отвечать на письма, в том числе и на те, что еще не успели дойти, ловко преградив дорогу будущей корреспонденции.

Х. ХЕЛЬМЕССЕН. ФРГ. Без слов.

Административный совет общества понял, что нет должности, на которой робот не выделялся бы среди остальных служащих. Необходимо срочно его изолировать, чтобы грозящая распространиться эпидемия комплекса неполноценности не приняла массовый характер.

И решили назначить робота представителем.

Обязанности у него были сложные, но вполне определенные: разъезжать по городам, поддерживать контакты с филиалами фирмы и регулярно посылать отчеты, а если нужно, то и рекомендации.

В течение года робот успешно справлялся с порученной ему миссией. Координировал, организовывал, докладывал, курсировал с места на место и за все это время не позволил себе и часа передышки, а его думательный механизм ни разу не заело.

Благодаря рекомендациям, поступавшим от него тысячами, уже в первый месяц общество утроило число заключаемых сделок, а через несколько месяцев трест так разросся, что администрации стало не под силу им управлять. Короче, гигантское предприятие вышло из подчинения директоров и их замов, озабоченных теперь лишь сохранением видимости, будто они — все еще хозяева положения, что не составляло большого труда, так как дело приносило миллиардные прибыли и управлялось само по себе.

И вдруг контакт с роботом прервался.

Представитель был послан в Италию. Он благополучно туда прибыл и даже успел отправить первый рапорт. И все. Никаких вестей. И никто не знал его римского адреса.

Прошли месяцы.

Лучшие умы фирмы пытались разобраться в сложной системе, порожденной мозговым аппаратом робота, и с помощью интегральных вычислений и химических формул решить не терпящие отлагательства проблемы, но тщетно. Пришлось капитулировать, смирившись с катастрофическим снижением товарооборота и с надвигающимся полным крахом.

Что же до представителя — ни Интерпол, ни частные детективы не смогли его отыскать. Следов его обнаружить не удалось. Оставалось только гадать — или он сломался, или бесследно исчез.

А все было совсем иначе.

Робот по-прежнему существовал. Причем в Риме. Но он забросил дела. И начисто забыл о своих обязанностях, о своем предназначении и возложенной на него ответственности. Он все забыл.

Целые дни проводил он в небольшом зале одного из столичных музеев. Приходил туда ранним утром и оставался до самого закрытия.

И не было теперь в его жизни иной цели, кроме этой.

Случилось так, что робот безнадежно влюбился в одну из музейных редкостей, хранимых под стеклом: в прелестную музыкальную шкатулку работы XVIII века.

Призвание

Даже специалисты, полгода занимавшиеся этой машиной, не подозревали о ее назначении.

Они знали схему ее устройства, сама сложность которой предполагала и многосложность ее применения. Знали, что от них требовалось не так уж много, поскольку машина удивительным образом сооружала себя сама, построив себе огромный ангар, где и разместилась. Поговаривали, что даже чертеж собственно конструкции разработала машина. А может быть, она вообще полностью самоизобрелась.

В полдень и в шесть часов вечера машина кормила рабочих, которые без толку околачивались вокруг нее. Случалось, давала им советы. Однажды оказала помощь пострадавшему. Иной раз распекала мужчин за аморальное поведение. Частенько музицировала. И если бы на строительной площадке вдруг родился ребенок, машина, наверное, принялась бы вязать ему приданое. А не состояло ли ее призвание в том, чтобы просто демонстрировать свои возможности? Или поддерживать заблуждение нескольких специалистов, будто они и в самом деле работают? А не начнет ли она после всего саморазрушаться, а затем самочиниться? Кто знает. Во всяком случае, машина ни в ком не нуждалась.

Она доказала это, безошибочно завершившись, определив себе гарантию на десять лет и застраховавшись от пожара, а перед этим выступив в собственную честь на своем торжественном открытии

Длина ее была сто метров, а высота — двадцать.

Специалисты снова осмотрели машину и на сей раз, уже с некоторым беспокойством, задались вопросом: как лучше ее использовать? Тогда машина заявила, что уже готова и они могут покинуть помещение. И стоило им удалиться, как она захлопнула за ними двери. А что, если в этом и заключалось ее назначение?

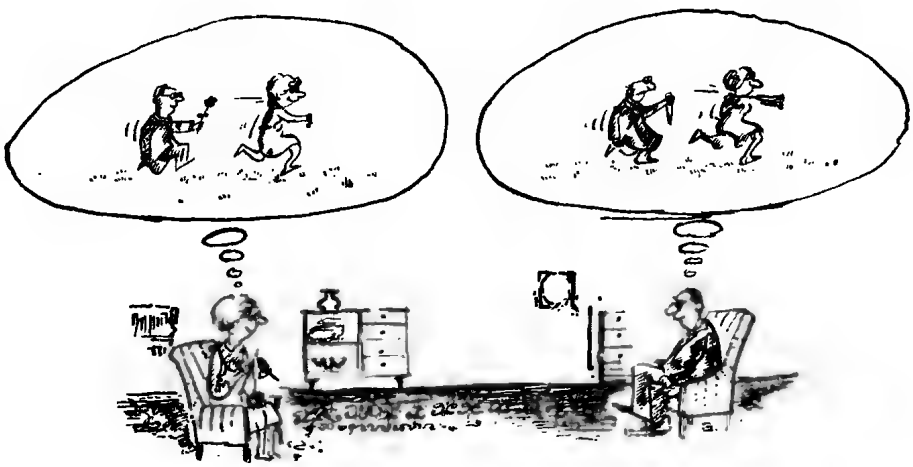
Оставшись в одиночестве, машина слегка размялась и что-то изрекла. Но как-то неуверенно. Полистала книги, покрутила кино, продекламировала пару стихов. Но как-то неуверенно.

Вскоре она затихла.

И принялась скучать.

Это и было ее истинным призванием.

◆



В. РЕНЧИН. ЧССР. Без слов.

Наши гости

Нгуен Динь Тхи

ВЬЕТНАМ

Странно устроена память: встретив друзей после долгой разлуки, припоминаешь иной раз самые неожиданные вещи. Увидев Нгуен Динь Тхи в особняке на Пятницкой улице, где находится редакция «Иностранной литературы», я вспомнил похожий двухэтажный дом на ханойской улице Нгуен Зу [1], резиденцию Союза вьетнамских писателей. Вспомнил витую цементную лестницу, по которой «хозяин» дома генеральный секретарь СП Нгуен Динь Тхи одиннадцать лет назад вывел нас на крышу. «Здесь,— сказал он,— прекрасный наблюдательный пункт. Бо́льшая часть города — как на ладони, и небо открыто чуть не до горизонта». Оттуда и впрямь хорошо видны были перипетии воздушного боя, стремительные угловатые силуэты самолетов, грибы зенитных разрывов, дымные трассы ракет. Когда они настигали акулью тушу «фантома», из груди притихшего города вырывался вдруг тысячеголосый победный крик.

Здесь, на этом импровизированном НП, у Тхи и родился, как он рассказывал, замысел книги о защитниках вьетнамского неба. Конечно, материал собирал он уже далеко отсюда. И следы этой его работы — книжки и фото с автографами, рассказы о «своем» писателе — встречал я потом в землянках зенитчиков у легендарного моста Хамжонг и в аэродромной «дежурке» знаменитого полка «Красная звезда», чьи «миги» прикрывали с воздуха столицу. А книг у Тхи получилось две: «В огне» — об артиллеристах-зенитчиках и «Линия фронта прочерчивает небо» — о первых вьетнамских летчиках, поднявшихся в небо на реактивных машинах [1]. Повести эти переводились у нас на разные языки, выходили они и в других странах.

Конечно, успехом своим обе повести Тхи во многом обязаны были тому интересу, с каким следило человечество за так называемым «вьетнамским феноменом»: небольшой, по сути дела, народ сражался против главной империалистической державы. Однако истинной причиной их успеха было несомненное мастерство автора, реализм и точность его письма, психологическая достоверность персонажей. Нгуен Динь Тхи этими своими вещами внес лепту в разработку темы, и сегодня волнующей писателей многих стран,— темы, которую можно определить словами «человек и война».

Истоки этого успеха, думается, надо искать в первой повести Тхи «Вперед, в атаку!», написанной более четверти века назад и также переведенной на русский язык. Тогда во Вьетнаме шла война против французских колонизаторов. И в освобожденных от врага районах отпечатана была на серой ноздреватой бумаге эта первая книга Тхи, удостоенная вскоре премии Ассоциации культуры. Автор ее, политрук прославленного Столичного полка Нгуен Динь Тхи, и завершал-то работу над рукописью в считанные недели отпуска, предоставленного ему по просьбе Ассоциации. И здесь, как в последующих двух повестях о войне, в фокусе авторского внимания были не отдельные человеческие судьбы, а история воинской части, в которой преломляется эпопея всенародной войны. Здесь сложились уже и особенности стиля Нгуен Динь Тхи — четко выстроенная динамическая драматургия сюжета, умение точными и скупыми штрихами воссоздать батальные сцены и в то же время проникнуть в самую суть характера своих героев — бойцов и командиров революционной армии. Наверно, понять их высокий душевный накал, а равно и осознать до конца сущность и формы народной войны помогли Нгуен Динь Тхи нелегкие годы подпольной борьбы, «универси-

[1] Нгуен Зу (1765—1820) — великий вьетнамский поэт.

[1] Повести Нгуен Динь Тхи «В огне» и «Линия фронта прочерчивает небо» печатались в «Иностранной литературе» (№ 6 за 1966 г. и № 11 за 1968 г.).

теты» тюремных застенков, где из уст в уста, из камеры в камеру передавалось учение о теории и практике революции.

Именно эта сторона жизненного опыта Тхи, мужавшего вместе с революцией, легла потом в основу его работы над романом-дилогией «Рушатся берега», увидевшим свет в начале 60-х годов. (Оба тома дилогии — «Рушатся берега» и «Разгневанная река» — переведены на русский язык). Мы видим в романе, как неотвратимо собирается, близится революционная буря, как поднимаются воды могучей реки, которая потом, в августе сорок пятого, смела и унесла прочь все запруды старого мира. В романе «Рушатся берега» ярче, чем прежде, раскрывается еще одно качество прозы Нгуен Динь Тхи — ее лирический, поэтичный настрой. Пожалуй, до того оно проявилось достаточно ясно лишь в его рассказах[1]. Конечно же, поэтичность эта, а также изобразительность прозы Нгуен Динь Тхи объясняются тем, что он еще и поэт, поэт незаурядный. Стихи его переводились у нас, в том числе и в «Иностранной литературе»[2].

О чем бы ни писал Тхи — а фоном большинства его поэтических вещей была война,— стихам его свойственны щемящая задушевность, ясность образов и отточенность формы. Он одинаково легко владеет и традиционными рифмами, и сравнительно новым для вьетнамской поэзии свободным стихом. А в прелестной сказке «Как котенок Миу встречал Новый год» показал себя мастером веселого и звонкого детского стиха. Ее читали и наши малыши. Хотелось бы, чтобы они, вслед за своими вьетнамскими сверстниками, увидали котенка Миу и воочию — в отличной картине, выпущенной Ханойской студией мультфильмов.

Казалось бы, годы перевалили уже за пятьдесят, многое сделано, устоялись свои, привычные формы письма, свои темы. Тут вроде бы и идти дальше проторенной уже дорогой. Но, слушая его рассказ, мы узнаем, что сегодня он с увлечением, одержимостью, которой бы впору позавидовать и многим писателям помоложе (примем еще в расчет и хлопотливое бремя административных трудов), отдается новому делу.

— Существуют две разновидности влюбленных. Одни с первого же мгновения дают волю чувству. В других страсть созревает постепенно, но зато со временем овладевает всем их существом и потом уж не ведает удержу и границ. Сознаюсь, я принадлежу к «медлительным» влюбленным. Объект моей нынешней страсти — театр.

Театр, по словам Нгуен Динь Тхи, привлекает его сочетанием интеллектуального начала с высоким накалом страстей, временной протяженности с остротой конкретных ситуаций; в нем действуют еще и пластические законы, ритмы изобразительного искусства и музыки. (Заметим в скобках: в том, что касается музыки, Тхи отнюдь не просто меломан; он не без успеха пробовал свои силы и как композитор. Да и его увлечение живописью — не поверхностное пристрастие, а серьезный интерес, основанный на знании предмета. В этом я не раз убеждался, бывая с Тхи в музеях и на выставках не только в Ханое, но и у нас, в Москве.)

— Мне кажется сегодня,— продолжает наш гость,— будто книги, написанные мною раньше, были лишь подходом, ступеньками к театру. Пожалуй, я никогда еще не работал так самозабвенно, как над тремя пьесами, которые написал за последние пять лет. Они разные и по теме, и по жанру. «Хоа и Нган» (вещь названа по именам двух главных ее героинь) — четырехактная драма о наших современниках. Действие ее охватывает 17 лет, с 1956 по 1973 год, а за это время, как вы помните, на долю моего народа выпало немало тяжелых испытаний. «Хоа и Нган» — рассказ о человеческой стойкости и самоотрешении во имя общего дела, о мужестве и величии тех, кого обычно не упоминают в докладах и сводках. И прежде всего — рассказ о судьбах наших женщин. Я думаю, мы, писатели, перед ними в неоплатном долгу... Собратья мои по перу и критики встретили ее по-разному; не скажу, чтобы я вкусил один лишь мед похвал.

Правда,— смеется Нгуен Динь Тхи,— упрека в приверженности к феминизму мне предъявлено не было. Тогда я опять осмелился искусить судьбу и главным действующим лицом в новой пьесе «Бамбуковая чаща» вывел принцессу Ли Тиеу Хоанг. Это, на мой взгляд, один из самых трагических персонажей нашей средневековой истории.

Третья пьеса... Впрочем, хорошо ли все время рассказывать о своих собственных делах? Я не был у вас в журнале уже несколько лет. За это время во Вьетнаме произошло столько событий: победа в патриотической войне против американских захватчиков и сайгонского режима, воссоединение нашего отечества и 50-миллионной нации. К этой цели вела нас партия, о ней как о близкой реальности всегда говорил наш вождь Хо Ши Мин.

— Где вы встретили победу?

— Если говорить о формальной дате, я встретил победу в Ханое, куда незадолго до этого возвратился с Юга. Дома от меня долго не имели известий и одно время даже считали погибшим. Но как и героя популярного у нас стихотворения Симонова, меня «умели ждать» — и я вернулся. Я прошел насквозь почти весь Юг, двигаясь от дельты Меконга навстречу освободительной армии. Большую часть пути — пешком. Это ни с чем не сравнимо: своими глазами видеть в районах, только что оставленных врагом, как, подобно бабочке из куколки, сбрасывая пожухлые, старые покровы, рождается новая жизнь. Множество человеческих судеб обернулись ко мне самой не-

[1] Рассказ Нгуен Динь Тхи «Пленный негр» напечатан в «Иностранной литературе» № 11 за 1965 г.

[2] См. «Иностранную литературу» № 9 за 1975 г.

ожиданной стороной... Я видел смерть и горе, отчаянье и радость, торжество справедливости. Видел, говоря фигурально, «противление добру»; увы, не всем и не все сразу было понятно. А кто-то цеплялся за старое и не желал ничего понять...

— Какие главные проблемы стоят теперь перед Югом?

— На Юге много трудностей. Есть они после войны и на Севере, но на Юге их больше. Масса крестьян ушла в города. В Сайгоне и других городах значительная часть предприятий и рабочих рук, торговля — крупная и мелкая — существовали за счет войны. Отсюда возникли сложности с трудоустройством тысяч людей.

Сейчас началось возвращение крестьян из городов в сельскую местность. Но огромные массивы обрабатываемых земель после бомбежки и боевых действий пришли в негодность. Во многих местах крестьяне не пытаются уже восстанавливать прежние свои участки, а начинают вести хозяйство сообща. Создаются товарищества по совместной обработке земли, им помогает государство. На уцелевших землях в деревнях избираются комитеты, которые направляют хозяйственную жизнь, сводя воедино наметки и планы крестьян-единоличников, распределяя удобрения и горючее. Мы надеемся постепенно перевести жизнь южновьетнамской деревни на новые рельсы.

Большую помощь Югу оказывает Север. Опыт Севера важен не только в хозяйстве. Ведь повсеместное бесплатное образование внове для Юга, как, скажем, новинкой были и открывшиеся лишь недавно первые детские сады. А на повестке дня создание широкой сети библиотек, клубов, короче — базы новой, народной культуры.

— Расскажите, пожалуйста, о культурной жизни на Юге.

— В Советском Союзе во время нашей освободительной войны переводились стихи южан Тхань Хая, Зианг Нама, Тху Бона, проза Нгуен Чунг Тханя, Ань Дыка, Чан Минь Хьеу, Нгуен Тхи, Зианг Нама, Ха Кхан Линь, Фан Ты, шли фильмы студии «Освобождение», выставлялись картины художников-патриотов. Все эти люди работали в партизанских районах и входили в Освободительную Ассоциацию культуры.

Культура Юга тысячью живых нитей была связана с Севером. В Ханое издавались книги южан, проводились выставки, фестивали. В то же время творчество северян становилось достоянием жителей освобожденных районов Юга, а многие произведения, созданные в ДРВ, проникали и на захваченную врагом территорию. Между прочим, некоторые писатели, выходцы с Юга, после войны с колонизаторами (1946—1954) жившие и добившиеся литературного признания в ДРВ, во время последней войны вернулись на Юг и писали под псевдонимами. Теперь, разумеется, необходимость в таком «раздвоении личностей» отпала.

— А как обстояло дело в оккупированных городах?

— Там находилась значительная часть творческой интеллигенции. В среде ее произошло резкое расслоение. Я не буду говорить здесь о продажных писаках, о тех, кто по собственной воле сотрудничал с врагом. Но немало было и сторонников так называемого «третьего пути», выступавших против засилья американцев и прогнившего сайгонского режима, но и настроенных против коммунистов. Многие из них были введены в заблуждение той клеветой на ДРВ, на Советский Союз и другие социалистические страны, которой, как вы понимаете, занимались средства массовой информации. Разумеется, эти ретивые «поборники демократии» стыдливо отвращали свои взоры от массовых репрессий и убийств, совершавшихся американской и сайгонской военщиной, они не замечали демонстраций трудящихся, выступлений студенчества и даже духовенства с требованием тех самых свобод, о которых они пеклись. И все же ловко состряпанная ложь многих вводила в заблуждение. Влиянием на интеллигенцию пользовались и реакционные религиозные, в особенности католические, организации, располагавшие собственной прессой и, кстати, имевшие широкие связи в литературно-художественных кругах. Свои колледжи, прессу, культурные центры имели и буддисты. Сайгон был буквально наводнен низкопробными образцами западной книжной и кинопродукции.

Если многие люди лет пятидесяти и старше, помнившие войну с французскими колонизаторами, связанные когда-то личной и творческой дружбой с писателями, деятелями искусства, находившимися на Севере, в той или иной мере испытывали чувство вины, отступившись от революции, от борьбы за освобождение родины, то молодому поколению интеллигенции такое чувство присуще не было. И все эти хитросплетения разворачивались под гул отдаленной канонады, в последние годы все чаще доносившейся до Сайгона и других городов...

Как вы, наверное, знаете, перед вступлением освободительных войск в Сайгон много людей покинуло страну. Само собой, о предателях сожалеть нечего. Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство достойных людей осталось, хотя наших солдат очень многие интеллигенты встретили со страхом. Я слышал, что один писатель заготовил яд для себя и своей семьи. Люди опасались террора, репрессий. Но их не последовало, что вызвало у многих своего рода психологический шок. Я бы назвал это лечением правдой. В один из первых же дней после освобождения Ассоциации культуры было предоставлено здание; по радио передали обращение ко всем писателям и деятелям искусства, их приглашали прийти в Ассоциацию за рисом. В городе тогда с продовольствием было трудно. Пришли почти три тысячи человек. Многим из тех, кто почему-либо не явился, товарищи отнесли рис домой.

Мы открыли курсы для деятелей культу-

ры. Цель их — помочь людям разобраться в происходящих переменах, понять, что такое революция и социализм. Мы стараемся действовать не нажимом, не спорами, а убеждением. Кое-кто из южан побывал на Севере. Мы не скрывали от них затруднений и сложностей. Но зато они увидели бесплатные школы и больницы, новые жилые дома, институты; увидели, какой заботой окружены дети, старики, потерявшие на войне близких...

Сделано нами уже немало. Прошел прием в члены Союза писателей на Юге; принято примерно сто человек, среди них и те, кто находился в освобожденных зонах, и люди, оставшиеся в городах. Так что в нашем объединенном Союзе насчитывается теперь более трехсот членов. Увеличились тиражи книг, и это естественно — читательская аудитория выросла. Еженедельник «Ван нге» («Литература и искусство») выходит теперь не только в Ханое, но и в Хошимине. Есть в Хошимине и своя газета, посвященная проблемам культуры. На Севере давно уже почти во всех провинциях издаются литературно-художественные альманахи; теперь более десяти таких альманахов выходит и на Юге.

— Какие новые книги привлекли ваше внимание? Есть ли новые имена?

— Оговорюсь сразу: читать мне удается далеко не все, и оценки мои, конечно же, субъективны. Прозаики наши по-прежнему много пишут о войне. Я бы отметил романы Нгуен Нгока «Земля в Куанге», Тху Бона «Под небом сизым, как крыло выпи», Нгуен Куанг Шанга «Когда дует пронзительный ветер». Интересен роман Нгуен Минь Тяу «Выжженный край», где речь идет уже о послевоенных событиях. Судя по главам, печатавшимся в «Ван нге», хорош новый роман То Хоая «Улица». Там история одной из ханойских улиц становится как бы оптическим фокусом, в котором пересекаются людские судьбы. Я бы еще посоветовал вам обратить внимание на прозу Ву Ханя. Это одаренный писатель с большим тематическим диапазоном, он живет на Юге и вашим читателям пока неизвестен.

Среди дебютантов я бы назвал новеллистку Ле Минь Кхюэ, поэтесс И Ни и Лам Тхи Ми Зиа, поэта Тхань Тхао. Интересно работают и их собратья по поэтическому цеху из поколения тридцатилетних — Банг Вьет, Фан Тиен Зуат, поэтесса Суан Куинь. Ну и, конечно, по-прежнему в центре внимания читателей и критики стихи признанных мастеров, авторов вашего журнала То Хыу, Суан Зиеу, Те Лан Вьена, Те Ханя, Хюи Кана, Хоанг Чунг Тхонга, Нгуен Суан Шаня...

Появилось немало хороших пьес. Назову лишь две самые «нашумевшие». Это драма Нгуен Кхая «Революция», история одной семьи, живущей в оккупированном Сайгоне, и написанная в жанре традиционного музыкально-разговорного жанра кайлыонг пьеса Нгуен Куанг Шанга «После свадьбы» о войне с колонизаторами.

— Раз уж мы заговорили о театре, не пора ли вернуться к вашим собственным пьесам?

— Охотно. Я остановился на третьей моей пьесе. Она называется «Видения». Это пьеса-притча, персонажи ее не конкретные люди, а собирательные, символические образы; и связь между ними определяется не логикой жизненных ситуаций, а столкновением и развитием идей. Главное действующее лицо—тяжело раненный солдат. Смерть (тоже действующее лицо) пытается погасить тлеющую в Солдате искру жизни, подавить его волю и, в более широком смысле, доказать тщетность человеческого бытия. Ввел я в пьесу и героев древней нашей легенды — принцессу Тиен Зунг и ставшего ее мужем бедняка Тьы Донг Ты, символизирующих верность в любви, непобедимую силу трудолюбия и воли человека. Еще один персонаж — Император—олицетворяет злое начало, твердолобость и догматизм. В какой-то мере прототипом его послужил древнекитайский государь Цинь Ши-хуанди, печально прославившийся сожжением книг и искоренением всяческого свободомыслия.

В противоборстве жизни и смерти, любви и ненависти, воли и бессилия Смерть терпит поражение. Сюжет и персонажи подсказали мне и форму пьесы; она написана ритмической прозой с вкраплением стихотворных фрагментов.

Пожалуй, следует восстановить справедливость в отношении драмы «Бамбуковая чаща», о которой Нгуен Динь Тхи сказал лишь одну шутливую фразу. Это чрезвычайно интересная и сильная вещь. В центре пьесы — судьба принцессы Ли Тиеу Хоанг, личная драма которой разворачивается на фоне столкновения важных исторических событий. Молодая династия Чан собирает силы для борьбы с готовящимся нашествием из Китая. И в этой борьбе вьетнамский государь вынужден опираться на народ, выходцы из которого играют важную роль в пьесе.

— Почему у вас возник интерес к исторической теме?

— Каждый народ, завоевав свободу, задается вопросом: откуда пошли мы? Кто мы есть?

Да, для вьетнамцев и сегодня их многовековая история, пронизанная борьбой против иноземных завоевателей, полна огромного жизнеутверждающего смысла. С этим народом тщетно разговаривать на языке угроз и вымогательств, как бессмысленны и любые попытки оторгнуть и малую частицу его земли, в которую вложен труд и талант многих поколений вьетнамцев. Уже работая над этим очерком, я получил из Ханоя письмо от Нгуен Динь Тхи. В нем есть такие слова:

- «Ты знаешь, конечно, о последних событиях у нас, о вставших перед нами трудностях, но зато духовные горизонты очищаются от тумана, с каждым днем все яснее, на чьей стороне правда...».

М. ТКАЧЕВ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ПОЭЗИЯ ИРЖИ ТАУФЕРА

Иржи Тауфер. Стихи. Перевод с чешского. Предисловие И. Рыбака. Москва. «Художественная литература», 1977.

Эта книга народного писателя Чехословакии, известного чешского поэта Иржи Тауфера вышла почти одновременно с его новым поэтическим сборником, появившимся в Праге. Издания несколько разнятся по составу. Но каждое из них представляет собой своего рода сколок с поэзии И. Тауфера разных лет — от 20—30-х годов, когда были напечатаны его первые поэтические сборники, возвестившие о появлении в чешской литературе нового талантливого поэта-коммуниста, до стихотворений последних лет.

Иржи Тауфер обладает особым даром живописать человеческий труд. Сколько радостного восхищения в его «Кружевницах», стихотворении о рыбаках Азова или в «Балладе о кузнеце»:

Как свистульки из ракиты,
резал гайки
тот кузнец на верстаке дубовом...
. . . . . .
Искры,
словно алые кораллы,
под тяжелым молотом катал он.
В грубых пальцах было столько ласки,
в зной и стужу или дождь и вьюгу,
каждый раз, когда коней ковал он,
клал себе копыто на колено,
обувая туфлю недотроге...
И затем,
как белую звезду,
колесо вставлял в каленый обод
с дымной арабеской.

(Перевод Ю. Вронского)

Чешский поэт умеет с такой зоркой наблюдательностью и проникновенностью изобразить работу каменщика или гончара, так впечатляюще передать форму, краски, запах материалов, что вас завораживает поэзия труда и обаяние мастерства, захватывает ритм работы и пластика движений. В русской поэзии, пожалуй, в чем-то сходное ощущение вызывают стихи Василия Казина, его «Рубанок» («Живей, рубанок, шибче шаркай») или «Рабочий май».

Труженики для Тауфера — основные носители ценностей человеческого бытия. В книге воспоминаний «Партия, люди, поколение» поэт пишет о своей молодости: «Мы влюбились в фабрики, в людей в синих блузах... эти люди нравились нам за присущий только им дух созидательности... мы не могли не полюбить этих людей-созидателей, от которых веяло неведомой и увлекательной новизной. Позже мы убедились в том, что эта новизна — одна из черт будущего, мы тянулись к рабочим и открывали для себя источник их силы».

Не случайно к числу любимых произведений Тауфера в мировой скульптуре относятся «Руки» О. Родена, а в его поэзии руки стали символом не только рукопожатия, солидарности, дружбы, ласки, но и деятельности, творчества. Где-то на пересечении этих представлений родилось и название одного из его стихотворений «Прислушайтесь к моим рукам», взятое сейчас в качестве заглавия книги, выпущенной на родине писателя в серии «Клуб друзей поэзии».

В самом характере дарования Иржи Тауфера, в его обращении со словом есть что-то от трудолюбия и виртуозности чешских умельцев — рабочих и ремесленников, пытливых знатоков своего дела и сек-

ретов профессионального мастерства. Недаром он, наверное, один из лучших в мире переводчиков В. Маяковского, творчество которого, по определению чешского поэта, проникнуто диалектикой искусства и искусности. В Чехословакии вышло уже восемь томов сочинений Маяковского в переводах И. Тауфера, которые блестяще опровергают известное изречение: поэзия — это то, что теряется в переводе. А переводить Маяковского, как справедливо заметил чешский критик В. Рзоунек, значит создавать новую поэтику, открывать новые возможности родного поэтического языка, быть его творцом.

Все это доступно, разумеется, лишь подлинному мастеру, каким предстает Тауфер и в своем собственном творчестве. Он может непринужденно выдержать целую главу поэмы в определенной гамме созвучий, извлекая из «переклички» слов, из их взаимоотражений и перезвонов все новый и новый смысловой и эмоциональный эффект. Он любит рассыпать в стихах целые аккорды сравнений и метафор, каждый из которых — единый и вместе с тем разветвленный образ, точнее, целая поросль образов, словно взметнувшихся от одного корня.

Поэзия Тауфера несет в себе сильно выраженное рациональное начало, благодаря чему читатель с интересом следит уже за самим развитием мысли, но вместе с тем его образы часто отличает какая-то особая натурность, предметность изображения.

Чешский поэт отзывчив на самые разнообразные проявления прекрасного в жизни. Он способен засмотреться, как «солнце заходит за фиолетовые горы слив на зеленном базаре», увидеть богатство красок ночи:

...есть ночи как тушь бархатистые
с капелькамн серебра
Есть синие ночи но у этого синего цвета
не существует названия
Есть ночн в себя вобравшие солнечный
свет
Есть ночи зеленые в прожилках золота
из-за которого не убивают друг друга
Есть туманные ночи похожие
на березовые рощн...

(«О человеке, который зажигает погасшие огни», перевод Р. Рождественского)

Но при всей многоликости запечатленного бытия в поэтическом мире Тауфера всегда ощущается дыхание большой истории. Сама влюбленность в реальную, земную красоту земного мира неотделима у него от жизнеутверждающего мироощущения, свойственного революционным, прогрессивным силам нашей эпохи: «Перед искусством жить склоняюсь. И ненавижу антижизнь» («Простое, как признание»).

Да и зачарованность человеческим трудом, магией трудового мастерства коренится у него в глубинном философском представлении о самой сущности жизни как о созидательной и преобразующей человеческой деятельности. Поэзия Тауфера воплощает одно из главных качеств социалистического искусства — она проникнута идеалом активности человека, прежде всего активности в общественно-исторических макропроцессах, в созидании мира, в его гуманизации, в борьбе за социальные и нравственные идеалы социализма. Его поэзия — это поэзия любви к жизни и бескомпромиссного обличения сил социального гнета, агрессии, войны.

Для довоенного поэтического творчества Тауфера характерен как бы сдвоенный образ мира: за обликом знакомой буржуазной действительности все время вырисовывается вторая действительность, которая стала уже реальностью в Советском Союзе и вместе с тем была мечтой, образом будущего для соотечественников поэта. В одном из стихотворений Тауфер сравнил людей своего поколения с деревьями, которые росли в тени, но вершины которых были освещены солнцем. Такой же солнечной стала в его поэзии лирическая тема Советского Союза, где он впервые побывал в начале 30-х годов. В результате этой поездки Тауфера появилась лирическая книга «До свидания, СССР».

Часто я возвращаюсь
В глубины прошедших лет.
Это моя Москва. Мой мир. Мой свет.
Жизни моей след...

(Перевод Л. Самойлова)

напишет он затем в поэме «Люблю».

Нельзя без глубокого волнения читать стихи Тауфера о Великой Отечественной войне, которую он пережил в нашей стране, разделяя с советским народом все тяготы и невзгоды военного времени, познав и горечь отступления, и бомбежки, и голод, и труд с напряжением всех сил, и радость победы. Стихи запечатлевают врезавшиеся в память события, человеческие трагедии, подвиги. Здесь и с болью нарисованные образы бойцов, павших на поле боя, но спасших столько жизней; и воспоминания о том, как жена поэта через заминированный мост уходила от наступающих фашистов; и образ сотрудницы московского издательства, сын которой погиб под Остравой, освобождая Чехословакию, и обобщенные мысли о «величии Отечественной войны, которая стала войной за свободу народов».

Проблема активности человека в общественно-исторической борьбе получила философское осмысление в поэме Тауфера «Тема—память» (1966). Поэт окидывает мысленным взором исторический процесс последнего столетия — от Парижской коммуны и Октябрьской революции до наших дней. С логикой философа, видящего глубинные связи вещей, и с темпераментом памфлетиста Тауфер развенчивает представление о том, что истиной обладает якобы лишь сторонний наблюдатель истории, и развивает мысль, что не только непосредственная социально-историческая активность, но и сам опыт этой активности, запечатленный в человеческой памяти, в человеческом сознании, становится огромной

деятельной силой и бесценным достоянием человечества. Деяния борцов за прогресс светят нам не только из прошлого, но и из будущего, становясь ориентиром, как бы встречая нас в грядущем, указывая путь вперед и оставляя далеко позади всех скептических созерцателей истории.

И в последние годы по-прежнему широким остается творческий диапазон чешского поэта. Он активен не только как лирик, но и как автор вдумчивых и увлекательно написанных литературно-критических анализов. К его прежним работам о М. Горьком, В. Незвале, Б. Вацлавеке добавились яркие книги, статьи и эссе о классиках чешской социалистической литературы — С. К. Неймане, И. Волькере, К. Бнбле, о советских поэтах — В. Маяковском, Н. Асееве, М. Луконине и других. Новыми разнообразными стихами — от лирических раздумий и гимнов созидательному труду до стихотворных плакатов, обличающих силы войны и международной реакции,— пополняется все время и поэзия Тауфера. Его поэтическое творчество — частица того «лирического эпоса социалистического века», если воспользоваться собственным определением чешского поэта, который пишет мировая социалистическая поэзия.

Новое советское издание по сравнению с прежними сборниками стихов чешского поэта, выходившими на русском языке, обогащено стихами и переводами, ранее не печатавшимися у нас. Среди переводчиков — М. Луконин, К. Симонов, Е. Винокуров, Д. Самойлов, Р. Рождественский, Д. Виноградов, Ю. Вронский.

Благодаря большой работе советских издательств у нас в стране сейчас создается по сути целая переводная библиотека мировой социалистической поэзии, делающая доступной ее и широким кругам наших читателей, и многим читателям за рубежом, владеющим русским языком. Новый сборник стихов Иржи Тауфера — ценное пополнение этой библиотеки.

С. НИКОЛЬСКИЙ

ЧИТАЯ ТАНКИ И ХОККУ

Японские трехстишия. Перевод В. Марковой. Москва, «Художественная литература», 1973.
Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. БВЛ. Москва, «Художественная литература», 1977.
Японская классическая танка. Предисловие и перевод В. Марковой. «Иностранная литература» № 5, 1977.

Воспитанный на русской поэтической классике, я время от времени открывал для себя новые иноязычные художественные миры. Эти открытия были важны для моего понимания искусства поэзии. Довольно поздно (но лучше поздно, чем никогда) я прочитал и был очарован японскими стихами в русских переложениях. Эти стихи притягательны, они помогают многое понять в самом себе и в окружающем мире.

Пишу это не как филолог и не как историк. Это заметки читателя. Японская поэзия воспринята мной через русский перевод.

Любая стена может стать воротами, если за дело берется оснащенный знаниями талант. Японская поэзия, казалось, так от нас далека, так далека. Но вот далекое — близко. Стена стала воротами. И во владения, открывающиеся за этими воротами, меня, читателя, вводит Вера Маркова.

Такими начальными воротами оказалась для меня ее книга «Японские трехстишия». Прочитал — удивился. С удивления нередко начинается увлеченность. А увлеченность — если она не легковесна — основа основ в познании поэзии, человека, мира. Равнодушию здесь делать нечего. Оно-то и есть — стена.

Нам известны и нами ценимы переводы японской поэзии, принадлежащие перу других старших мастеров (в частности, Н. И. Конрада, А. Е. Глускиной). В этой же статье речь пойдет о работах В. Марковой, выступающей, кстати сказать, не только в качестве переводчика поэзии, прозы, драматургии, но и историка японской поэзии, теоретика-стиховеда и комментатора.

Как перевести короткое стихотворение-пятистишие, как войти в роль японского поэта XII века, оперируя русской речью XX века? Как гранить кристалл японской строфы? Как сцеплять трехстишия с двухстишиями, эти «рэнга» (буквально: «нанизанные строфы»)? Как воссоздать самобытность японской живописи словом? Как, воспроизводя деталь, не упускать настроя всего стихотворения, его подспудной мысли? Как малыми словами передать большие чувства?

Эти и подобные им вопросы возникали перед В. Марковой на всем пути ее творческих поисков. Сотни вариантов и одно окончательное, вынашенное решение. Это решение предлагается читателю.

Образы в японской поэзии — суть намеки, они не стремятся к логической сомкнутости, к завершенности круга, напротив, они разомкнуты в бесконечность. Натужное глубокомыслие им противопоказано. Естественность движения мысли, оставляющей читателя наедине с безмерным подтекстом. Это поэзия догадок, постижений, душевного перевоплощения. «Ива склонилась и спит. И кажется мне, соловей на ветке — это ее душа» (Басё). Это можно нарисовать, спеть, но слово поэта идет дальше рисунка и мелодии.

Иная строфа японского поэта вбирает в себя большую повесть о жизни. Басё в своем трехстишии говорит о шлеме знаменитого воина XII века Сайто Санэмори. Этот шлем хранился в храме Тода как реликвия последнего сражения воина. Это свидетельство истории. А вот свидетельство поэзии. «О, беспощадный рок! Под этим славным шлемом теперь сверчок звенит». Свидетельствует лирик Сайгё, и видим мы историю двоих — Его и Её: «Меня

покидаешь... напрасно сетовать мне. Ведь было же время, когда ты не знала меня, когда ты не знала меня, когда я тебя не знал». У Такубоку, уже ближе к нашей эпохе (начало XX в.): «Не знаю отчего, я так мечтал на поезде поехать. Вот — с поезда сошел, и некуда идти». Это уже лирика, переходящая в эпос. Эпос, втиснутый в пять коротких строк. Любуюсь у Басё немыслимо конденсированной, емкой и в то же время простой речью: «Как стонет от ветра банан, как падают капли в кадку, я слышу всю ночь напролет». Стон ветра, капли, кадка, ночь — все это дано для того, чтобы виден был человек, и его время, и его состояиие. Мгновенье остановилось, и художник его запечатлел...

В японской поэзни наблюдение само по себе значимо, если оно сочетается с иастроением, с мыслью, в данный момент владеющими поэтом: «Из середины пиона медленно выползает пчела... О, с какой неохотой!» Здесь восклицание заменяет целый лирический период. Наблюдение ие навязчиво, а как бы случайно или исподволь становится мыслью: «Так я и знал наперед, что они красивы, эти грибы, убивающие людей!» В конце XVIII — начале XIX века поэт не мог знать, что в середине XX века вид грибообразиого атомного взрыва безмерно расширит и еще более усугубит этот образ.

Поэт ощущает не только время, но и пространство. У него — чувство перспективы. Это постигается при повторном глубоком чтении авторов.

Мы чувствуем в японской поэзии не только физически выраженное пространство, но и породненные с ним время и движение, то есть пространство прожитой жизни: «Видели все на свете мои глаза — и вернулись к вам, белые хризантемы» (Иссё). Славословие красоте хризантем является одновременно ссылкой на опыт жизни.

Из всего многообразия мира поэт берет частность, деталь, крупицу. Но, от нее отталкиваясь, ступает в беспредельность. А из беспредельности возвращается к конкретности. У поэтессы XVIII века Тиё удивительные строки («Вспоминаю умершего ребенка»): «Больше некому стало делать дырки в бумаге окон. Но как холодно в доме!» Перед нами повесть жизни, реквием, плач без плача. Подобное же у поэта XVIII века Бусои: «Холод до сердца проник: на гребень жены покойной в спальне я наступил». Это драма в трех действиях с прологом и эпилогом — столько сказано!

Природе подчас приписывается роль наблюдающего. Не мы, а она примечает и делает свои заключения: «...Вишни в дворцовом саду! Верно, вам грустно глядеть, как я постарел в разлуке» (Садайэ). Настроение обычно проецируется на природу: «Отбились в пути от своих перелетные гуси» (Сайгё). Это можно изобразить тонкой кистью, но прежде всего — это состояние души поэта.

Психологический рисунок совпадает у поэта с рисунком внешнего облика человека: «...Лицо выражает укор, но влажен рукав от слез» (Сайгё).

Наблюденные детали и ненавязчивые уподобления служат познанию мира: «Меня обмануло облако... Прикинулось вишней в цвету...» (Сайгё). «...Считанные мгновенья гостит на заре белый снег» (Садайэ).

Переводя, Маркова одновременно с этим показывает: краски старинных мастеров не померкли. Они светлы, будто стихи создавались сегодня на рассвете. «Соловьи на ветвях плачут, не пересыхая, под весенним дождем...» У Сайгё же: «Луну ожидала так долго вершина горы!..» Здесь живописцу дана трудиейшая задача. Ему нелегко поспеть за словом поэта. А бывают случаи, когда ему и вовсе не поспеть: тьма, не увидать, «...где затаился фазан. Только крыльев внезапный вспорх да ястреба колокольчик».

Свежесть красок — в силе слова, в живописи словом: «В небе такая луна, словно дерево спилено под корень: белеется свежий срез»; «Какою свежестью веет от дыни в каплях росы, с налипшей влажной землею!» (Басё).

Цвет получает звуковую оценку, голос — цветовую. Это достояиие новейшей поэзии. Но Сайгё интуитивно проникает и в эту область: «Верно, вишен цветы окраску свою подарили голосам соловьев...» В стихе запечатлен жест: речь идет о путнике, бредущем сквозь заросли: «...стебли ему на затылок сбили плетеную шляпу». Поэзия вторгается в область прозы, делая ее владения своими. «Росы не пролив, ветку цветущую каги тихонько сорву, вместе с лунным сияньем, с пеньем цикады». Ветка, срываемая вместе с «сияньем», с «пеньем»... Цвет подчас дается по контрасту черно-белой графики: «Я видел летний луг. Там всеми красками пестрели бессчетные цветы. Теперь у них, убитых стужей, один-единый цвет». Нет, это не столько контраст, сколько переход от живописи к графике.

Цвет сопрягается не только со звуком, но и с запахом. Расцветает слива и, «...сквозь кровлю сочась, лунный свет так горит», «...словно спорит с благоуханьем».

Поэт настаивает на характерном, индивидуальном, своеобычном: «О, сколько их на полях! Но каждый цветет по-своему — в этом высший подвиг цветка!» (Басё). Единичное не теряется во всеобщем, только подчеркивает его.

Вчитываясь в японские стихи, мы все более и более понимаем, что перед иами особый поэтический мир. Благодаря нашим мастерам-переводчикам мы получаем краски, которые русской поэзии, быть может, не свойственны, но очень интересны ей, ценны для нее, как новые возможности художественного видения, постижения и воспроизведения мира в слове.

Японская поэзия в переводах Веры Марковой оказывается не чуждой русской классической (да и современной) поэзии. Здесь

дело не только в стремлении к краткости и остроте образной мысли, ее афористичности. Здесь дело в некоторой общности способов видения и воссоздания мира.

«Воды струились тихо, жук жужжал»— этот пушкинский образ может быть выделен в некое хокку, показывающее меру тишины. «И наутицы тонкий волос блестит на праздной борозде» — деталь и выход в беспредельность (Тютчев). У него же: «мотылька полет незримый слышен в воздухе ночном». У него же: «Из летних листьев разве сотый, блестя осенней позолотой, еще на ветви шелестит». Настоящее трехстишие — хокку — вычленение из тютчевского пятнадцатистишия. У Фета: «И день права свои утратил. В глухой дали стучит топор, вблизи стучит вертлявый дятел» (сравниваю невольно с японскими стихами: «Всюду поют соловьи. Там — за бамбуковой рощей, тут — перед ивой речной»). С чеховской деталью (лунная ночь и горлышко разбитой бутылки на плотине) перекликается деталь в стихотворении Исса: «Вот выплыла луна, и самый мелкий кустик на праздник приглашен».

Строка за строкой, стихотворение за стихотворением мы входим в щедрый поэтический мир, воссозданный В. Марковой. Говоря об ее переводческих работах, я тем самым хочу подчеркнуть роль поэта во втором рождении иноязычной поэзии в стихии русской речи.

Пятистишие-танка принадлежит к числу самых устойчивых литературных долгожителей. Тринадцать веков — срок достаточно убедительный. Танка — форма общения, вошедшая в обиход, как сонет на Западе, как рубайят на Востоке. «Танка — короткая поэма», — предупреждает Вера Маркова. «Танки нельзя «пробегать глазами», они требуют сосредоточенного чтения»,— продолжает она. Хокку — более позднего происхождения. И этой формой Вера Маркова владеет виртуозно: лаконизм — не только умение писать коротко, это понимание весомости слова.

Знакомство с японскими стихами — серьезная школа не только для поэтов, но и для всех беседующих, то есть для всего человечества. Есть еще одно важное объяснение лаконизма японской поэзии. Его дает академик Н. И. Конрад: «Краткость формы была связана с тем, что стихотворение носило характер экспромта, то есть создавалось по данному поводу, и притом тут же, на месте». Поводом для стихотворения могла быть любая житейская ситуация, любая жанровая сцена, любое к месту сделанное наблюдение. В японской прозе встречаются эти вкрапленные в нее стихи, которыми обмениваются действующие лица. По ходу повествования выясняется повод, вызвавший их к жизни.

Старинные японские стихи даже японскому читателю не всегда понятны без специальных объяснений. Это увеличивает трудность перевода. Вместе с тем В. Маркову в ее переложениях понимаешь сразу и без пояснений. Более того, понятны умолчания переводчика, мастерски допускаемые им пробелы и паузы. Сама переводчица дает нам понять это: «Все растолковать до конца — значит не только погрешить против японской поэзии, но и лишить читателя большой радости самому вырастить цветы из горсти семян, щедро рассыпанных японскими поэтами». Мудрая незавершенность японской лирики и есть высшая точка завершенности в искусстве слова.

Усложненное, как это ни странно, переводить легче, чем простое. Усложненное — от искусственного, простое — от естественного. Роковая простота убивает, если не понять ее внутренней сложности. Так подошла В. Маркова к переводу Сайгё, величие которого для японцев (а теперь и для нас) бесспорно.

Читая переводы В. Марковой, я знакомлюсь с разными японскими авторами и вместе с тем с разными типами поэтов. Передо мной проходит то поэт-скиталец, то поэт-созерцатель, то поэт-бунтарь. У каждого своя поступь, своя страсть, своя боль, свой вес строки.

В Японии существуют камни, стелы со стихами. Их называют кахи. Есть такие кахи со стихами Такубоку (1885—1912). Этот острый и глубокий поэт, оставшийся в памяти людей «вечным юношей», потребовал от переводчицы иной палитры, иной интонации: «Зарыться в мягкий ворох снега пылающим лицом... Такой любовью я хочу любить!» Подобной интонации мы прежде не слышали. Ее надо было найти. Мы привыкли к саду и горным склонам, к шуму воды и пенью птиц, к единству человека и природы. А здесь нас встречает город: «Ночью мне почудилось вдруг, будто вся кожа моя — настороженное ухо... В молчанье спящего города — тяжелый топот сапог». Нашему слуху и сердцу льстит стихотворение, которое написано на мотив, ранее не встречавшийся: «Русское имя Соня я дал дочурке своей, и радостно мне бывает порой окликнуть ее»...

Беседа о поэзии нескончаема, как и сама поэзия.

Выразив в начале моих заметок надежду на то, что стена непонимания станет воротами постижения, я вместе с читателем вхожу в эти ворота, широко открытые для нас русским поэтом.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

ВЕРНОСТЬ ПРАВДЕ

Халлдор Лакснесс. Атомная база. Брехкукотская летопись. Возвращенный рай. Перевод с исландского. Составитель и автор предисловия С. Неделяева-Степанович. Москва, «Прогресс», 1977.

> Философ, пошаривши ногами во все стороны, сказал наконец отрывисто: «А где же дорога?»
>
> *Н. В. Гоголь. «Вий»*

С точки зрения бытовой морали многие литературные герои Лакснесса напоминают незадачливого

Хому Брута: они в какой-то мере нашаривают свою судьбу буквально ногами, пересекают вдоль и поперек Исландию и, не останавливаясь перед океаном, добираются до Америки. Но даже если они остаются на месте, в своем доме, то кругозор их все время расширяется за счет углубленного изучения чужих судеб, и на основе лишь событий, происходящих на крохотном хуторе и близ него, они способны приходить к выводам, имеющим общечеловеческую ценность.

Тема «маленького человека» в большом мире хорошо отработана в литературе многих стран. И для того чтобы осветить ее по-новому, недостаточно изощренности письма и тонкости писательских приемов. За судьбой «маленького человека» нужно увидеть судьбу нации, судьбу мира. Главные герои писателя, представители народных низов, не уклоняются от ответственности за судьбу человечества, и в этом их нравственная сила.

В авторском предисловии к русскому изданию своей драмы «Проданная колыбельная» [1] Лакснесс пишет; что ему «довелось увидеть много человеческих трагедий — больших и малых, как в жизни отдельных людей, так и в жизни целых наций».

Как литератор Лакснесс начинал давно: его первый роман, написанный в семнадцать лет, появился в печати еще в 1919 году. С тех пор пройден большой жизненный и творческий путь. Писатель — лауреат Ленинской премии Мира, Нобелевской и многих других литературных премий. В Советском Союзе его хорошо знают как большого друга нашей страны и выдающегося борца за мир.

В трех романах, составляющих сборник, вышедший к семидесятипятилетию Лакснесса в серии «Мастера современной прозы», читатель встречается с послевоенными произведениями писателя. Роман «Атомная база» известен у нас в стране под названием «Атомная станция» с 1954 года. Вышедший в 1948 году в Исландии, он вызвал среди определенных буржуазных кругов яростные нападки на романиста, Лакснесса обвиняли в том, что он искажает историческую правду и позорит свой народ, упрекали даже в антихудожественности. Что касается последнего, то этот упрек был вызван тем, что «Атомная база» написана в несвойственной Лакснессу манере. Здесь привычная для него неторопливая описательность и скрупулезность заменены динамичностью и памфлетной резкостью в обрисовке событий и характеров. Поводом для книги послужило подписание Исландией договора с США, по которому заокеанская военщина получала часть исландской территории под военную базу. Многие действующие лица списаны с живых людей, и именно с тех политических деятелей, которые поступились суверенитетом своей страны, столь долго боровшейся за независимость.

...Угла, деревенская девушка, приезжает в столицу, чтобы научиться играть на фисгармонии, которая будет заменять орган, столь необходимый в протестантской церкви. Правда, самой церкви еще нет, она только строится на доброхотные даяния прихожан. Чтобы оплачивать свои уроки, Угла устраивается на работу служанкой. Ее хозяин — Буи Аурланд — беспринципный делец, являющийся депутатом альтинга от родного поселка Углы. Попав в семью депутата, она видит изнанку капиталистического общества.

Лакснесс всегда иронизировал над идеалами буржуа, но в «Атомной базе» его сатира достигает гротеска, а действующие лица явно символичны. В свое произведение Лакснесс вводит героя — носителя общечеловеческой идеи внеклассового гуманизма, смыкающейся с библейской моралью: «Не судите да не судимы будете». Таковым является органист, учитель музыки и философ, отрицающий окружающий его мир.

Окружение органиста, особенно Бог Бриллиантин и Атомный скальд — фигуры гротескные и камуфлированные. «Всякий, кто умеет красть, богат,— изрекает Бог Бриллиантин.— Бедняки — это те, кто красть не умеет». И поэтому рассыпается в прах мечта отца ребенка Углы, полицейского, стать «честным» богачом. Мир наживы, как известно, подчиняется жестоким законам, где абстрактная доброта и честность не находят себе места. И поэтому в конечном счете герои «Атомной базы» терпят жизненное фиаско — все, кроме Углы. «Страдание и наслаждение так близки друг к другу, что их трудно различить. По-моему, самое большое наслаждение — это быть больным, очень больным». Эти слова органиста — не просто парадокс, они наполнены высоким смыслом. Нет большего наслаждения, как болеть и страдать за великое дело. И этой болезнью заражается Угла. Органист, сам не будучи коммунистом, указывает девушке путь к коммунистам, путь к политической борьбе против капитализма.

Пожалуй, ни в одном из своих произведений Лакснесс не высказывал так открыто свои симпатии коммунистам. Обычно неприятие капиталистического общества писатель выражает в столь для него характерных романах-притчах, где он противопоставляет буржуазии с ее лозунгом «человек человеку — волк» простых людей Исландии.

Роман «Брехкукотская летопись» отсылает нас к самому началу века. Тогда Исландия была лишь провинцией Дании, а нынешняя ее столица Рейкьявик — маленьким поселком на берегу холодного моря. Сурова природа страны, и тяжело достается хлеб ее жителям. Но именно это и делает их отзывчивыми и сердечными. Под крышей жалкой лачуги старика Бьёрна собираются люди, потрепанные жизнью. О матери героя Аульвгримура, от чьего имени ведется рассказ, известно лишь одно: она уехала в

[1] Москва, «Искусство», 1955.

Америку. Старик Бьёрн и его жена воспитывают мальчика как своего внука, внушая ему высокий смысл равенства, существующего между людьми в независимости от их происхождения.

Пользуясь терминологией В. Белинского, можно говорить о «донкихотстве высшего полета» применительно к старикам с хутора Брехкукота, когда верują в возможность примирения начал, диаметрально противоположных друг другу убеждений и взглядов, взаимно исключающих друг друга.

Носителем идеи абстрактного гуманизма выступает в романе и жилец Вьёрна, несколько таинственная фигура «инспектора», нашедшего свое призвание в том, чтобы содержать в идеальной чистоте портовые нужники. «Жизнь научила меня не делать различия между героем и маленьким человеком, между подвигом и воробьиным пометом. С моей точки зрения, все люди и все события одинаково велики или одинаково малы»,— так формулирует свое жизненное и философское кредо инспектор. Так сказали бы и старики Бьёрны, появись у них охота порассуждать на отвлеченные темы.

В небыстром течении жизни Брехкукотского хутора есть и свои события — это приезды в город всемирно известного певца Гардара Хоулма. Выросший в семействе соседа Бьёрнов — пономаря, Гардар Хоулм был отправлен учиться в Данию на деньги «начинающего» исландского капиталиста купца Гудмунсена. Певец на протяжении всего романа остается окутанным флером романтической таинственности. Для маленького, а потом уже ставшего юношей Аульвгримура Гардар Хоулм — недостижимый идеал человека, познавшего «чистый тон».

Еще в детстве, исполняя псалом над могилой, услышал Аульвгримур от старика пастора, что в искусстве существует только один чистый тон. И это понятие Лакснесс применяет ко всем жизненным ситуациям, в которые может попасть человек. «Чистый тон» — это верность самому себе, верность призванию, верность правде, а она ведь одна.

Гардар Хоулм терпит в жизни поражение именно потому, что изменил своему призванию и, потеряв «чистый тон», стал исполнять песенки, рекламирующие исландскую, а конкретнее — гудмунсенскую треску, выхваливаемую к тому же самым хищническим образом. «Ты поющая рыба нашей страны»,— говорит ему малограмотный меценат. Певец кончает жизнь самоубийством. А если принять во внимание, что Гардар Хоулм — это само название Исландии, то писательское предупреждение очевидно.

Старики Бьёрны задолго до трагического конца Гардара Хоулма интуитивно чувствуют зыбкость и неопределенность его существования. Даже когда местная пресса, содержащаяся на деньги все того же Гудмунсена, превращает певца в национального героя, старики избегают говорить о нем с названым внуком и ни в коем случае не желают повторения его судьбы для Аульвгримура. И когда тот получает лестное предложение от Гудмунсена учиться пению за границей за счет фирмы, старики решают расстаться со своим хутором. «Твой дедушка хочет, чтобы ты учился на его деньги,— говорит старая хозяйка хутора.— Твой дедушка хочет, чтобы ты уехал с первым пароходом и учился тому, к чему у тебя призвание». Так противопоставлено строгое достоинство бедняков кичливости и богатству нувориша.

«Брехкукотская летопись» — один из лучших романов Лакснесса. Читается он легко, несмотря на сложность фабулы, потому что сам Лакснесс достиг того «чистого тона», когда прозрачность прозы сродни певучести хорошего стиха.

Неотделимости судьбы одного человека от судеб родины, поиску своего места в жизни посвящен и третий роман сборника— «Возвращенный рай».

Этот роман был опубликован Лакснессом в 1960 году, но описаны в нем события конца прошлого века, когда из Исландии начался массовый исход в Америку. Это бегство из родной страны было обусловлено экономическими причинами: «В те времена исландцы считались самым бедным народом в Европе, такими, впрочем, были и отцы их, деды и прадеды от самых первых поселенцев». Так свидетельствует писатель, хорошо знающий историю своей страны.

Америка притягивала бедноту кажущейся возможностью накопец-то обрести обеспеченную жизнь и — много не надо — хотя бы счастье для своих детей. За этим призраком счастья и гонится герой романа Стейнар Стейнсоон.

Быт на хуторе Лиде, где живет Стейнар, мало чем отличается от быта Брехкукота. Герой «Возвращенного рая» — человек добрый и столь же абстрактно гуманный, как старик из Брехкукота. Для него все люди хорошие — будь-то король Дании, судья, купец Бьёрн. Но нельзя быть хорошим для всех, «добро должно быть с кулаками», как сказал поэт. И действительно, доброта Стейнара, его наивность принесли горе всей семье.

Как и каждый исландец, ведя свою родословную от героев древних саг, Стейнар решил отблагодарить датского короля, даровавшего Исландии самоуправление, великолепным конем, любимцем его детей. Этот подарок в определенном смысле символичен для Стейнара — он ведь не считает себя ниже короля, даже, более того, говорит, что тот ему приходится родственником. И в этом тщеславном подарке исток падения трудяги и семьянина Стейнара.

Отправляясь на следующий год проведать своего коня в Данию, крестьянин случайно встречается с мормоном — епископом Тьоудрекуром, с которым судьба сводила его несколько раз в Исландии. Наслушавшись рассказов о райском житье мормонов, доверчивый крестьянин, в сущности мечтавший лишь сделать своих детей счастливыми, отправляется в Америку.

Этот роман Лакснесса построен на документальном материале — в двадцатые годы писатель бывал в США и познакомился с бытом и нравами этой среды.

Стейнар сочувственно относится к мормонам, особенно нравится ему, крестьянину, их довольно зажиточный быт. Но человек от природы чистый, он не может смириться с ханжеством и сектантской нетерпимостью. Мормонская мораль и этика отталкивают Стейнара.

Лакснесс вовсе не задается целью описать жизнь мормонской колонии. Его задача гораздо шире. Писатель показывает, что отрыв от своего народа при любой кажущейся благостности целей, всегда приводит к духовному поражению.

За те несколько лет, которые Стейнар проводит в Америке, его семья впадает в крайнюю нищету, обесчещена его дочь, после тяжелой болезни умирает жена, становится батраком сын. И само воспоминание о хуторе Лиде исчезает из памяти его соседей.

В самом названии «Возвращенный рай» — горькая ирония. Вернувшись на родину, Стейнар не обретает потерянного. Ему уже не вернуть к жизни ни жены, ни своей самоуверенности потомка древнего викинга. И придя на место, где когда-то стоял его хутор, он начинает с того, с чего начинали его предки: строит каменную изгородь вокруг останков своего дома. Так утверждается основной мотив всего творчества Лаксиесса — счастье человека неотделимо от судьбы его родины, его народа.

Много путей пройдено героями Лакснесса, но «шаря» иногда в потемках, они все же выходят к свету истинной правды. И хотя творчество Лакснесса порой противоречиво и проникнуто духом той самой абстрактной доброты, которую несут его положительные персонажи, «чистый тон» его произведений находит благодарный отклик у советского читателя.

А. БОРИСОВ

Издано за рубежом

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕРЕМОНИИ ПОВЕШЕНИЯ

Aziz Nesin. Surnâme. Istambul, Tekin Yayinevi, 1976.
Азиз Несин. Сурнаме. 1976.

Лет пять назад в Берлине я заглянул субботним вечером в молочный бар на Александерплац, как говорят берлинцы, «ам Алекс». И с удивлением услышал, что немецкая речь звучит здесь наравне с турецкой. В этом баре собирались рабочие-турки из Западного Берлина, чтобы провести субботу и воскресенье в столице ГДР: здесь и цены были доступней их карману, а главное, они не чувствовали себя людьми второго сорта, как там, где официально именовались «гастарбайтерами»— рабочими-гостями.

По-турецки говорили и трое парней за одним со мною столиком и при том явно были убеждены, что здесь их никто не понимает. Не желая оказаться невольным хранителем их секретов, я поспешил развеять эту иллюзию. Пришлось объяснить, что в Берлине я тоже гость, а турецкий язык в некотором роде моя специальность—востоковед по образованию, я занимаюсь турецкой литературой. Востоковедение, литература — все это было для полуграмотных парней из глухой турецкой провинции тайной за семью печатями, в их глазах явственно обозначилось недоверие. Стоило мне, однако, назвать в разговоре имя Азиза Несина, да еще сказать, что я бывал у него дома в Стамбуле, как все переменилось: лица засветились дружелюбием, языки развязались. И когда я поднялся, все трое, по турецкому обычаю, проводили меня как почетного гостя до самых дверей.

Азиз Несин. Нет, пожалуй, в Турции человека, который умел бы читать и не знал этого имени. По тому, как его произносят, можно почти без ошибки определить, что за человек ваш собеседник. У одних оно вызывает улыбку, у других — скрежет зубовный.

Между тем обладатель этого имени не располагает ни властью, ни богатством, не занимает никаких постов, если не считать таковым должность председателя Синдиката писателей Турции, которая не приносит ни доходов, ни привилегий, а лишь налагает обязанности. Он владеет только своим пером и обладает одной лишь властью — над словом.

Поэт, романист, драматург, публицист, юморист, сатирик — все это Азиз Несин. Известнейший из турецких писателей за пределами своей страны он дважды был награжден «Золотой пальмовой ветвью» на международных конкурсах юмористов в Бордигере (Италия), «Золотым ежом» в Габрово (Болгария), побеждал на конкурсе нашего «Крокодила». Его книги выходили на многих языках народов Европы и Советского Союза, его пьесы ставились в США и Азербайджане, его голос звучал на писательских съездах в Москве и на Филиппинах, в Каире и в Хельсинки.

В пятьдесят три года он был автором пятидесяти трех книг. Сейчас Азизу Несину шестьдесят два, и, если я не ошибся в подсчетах, повесть, название которой вынесено в заголовок статьи, его шестьдесят седьмая книга.

Встреча с новым произведением такого писателя всегда полна предвкушений: ждешь и узнавания и новизны. Новая по-

весть Азиза Несина не просто оправдывает эти ожидания — она ошеломляет. Даже тех, кто, казалось бы, мог привыкнуть к стилистическому многообразию, буйству фантазии и художнической смелости,— словом, к любым неожиданностям, которых немало успел преподнести читателям Азиз Несин за тридцать с лишним лет своей жизни в литературе.

Повесть начинается как пародия на торжественные описания — «сурнаме» придворных одописцев и хронистов османских султанов. Средневековые «сурнаме» посвящались многодневным торжествам по случаю свадеб дочерей падишаха или обрезания его наследников. «Сурнаме» Азиза Несина описывает «торжества по случаю повешения врага чести и морали брадобрея по имени Хайри, бесконечную радость зрителей, сверхчеловеческое усердие и служебное рвение, потребовавшиеся для свершения правосудия от судебной и исполнительной власти, а также начальника жандармерии, имама и палача, дабы преподать народу назидательный урок на тему: «Таков будет конец всякого, кто попрал честь и нравственность!» Автор льстит себя надеждой, что, прочитав его сурнаме, те, кому «не посчастливилось узреть сию торжественную церемонию, представят ее себе так, будто видели ее собственными глазами». Если «сурнаме» средневековых хронистов служат ныне бесценным источником для изучения быта и нравов султанской Турции, то «сурнаме» Азиза Несина, по его убеждению, может послужить для грядущих поколений не менее ценным свидетельством нравов и морали сегодняшней республиканской Турции.

Когда читатель с некоторой опаской начинает полагать, что в такой витиеватой, пародийной манере повествование пойдет и далее, Азиз Несин переходит к беспощадной реалистической прозе. Мы переносимся в обстановку турецкой тюрьмы. Здесь арестанты не получают ничего, кроме воды и пайка хлеба. Чтобы не погибнуть от голода, те, у кого нет денег или родичей на воле, прислуживают богатым заключенным, работают в тюремных мастерских, ежели таковые имеются, изыскивают самые чудовищные способы прокормиться. Матерые уголовники проносят в камеры ножи и шила, гашиш и героин, устраивают картежные игры, отсчитывая в свой карман долю с каждого выигрыша, содержат телохранителей и мальчиков-прислужников для оплеух и для постели.

Тюремный быт изображен с таким знанием дела, которое не добывается из вторых рук. Азизу Несину, как многим передовым писателям страны, самому не раз приходилось сидеть в тюрьмах за убеждения, не расходящиеся с делом.

Газеты, специализирующиеся на сенсациях и уголовной хронике, изображают брадобрея Хайри, коему предстоит быть повешенным на стамбульской площади Султана Ахмеда, «патологическим типом», «нравственным выродком», «монстром от рождения». Арестанты, осужденные за убийства, насилия, растраты, сексуальные преступления, полагают, что для такого негодяя одной виселицы мало. А в тюрьму приводят застенчивого, запуганного двадцатилетнего парня, который содержал доставшуюся ему от отца цирюльню и кормил старуху мать.

За четыре года, которые Хайри проведет здесь в ожидании утверждения приговора, он пройдет все круги тюремного ада: от «любимчика» бандита Кямиля, держащего в страхе тюрьму, до презираемой последним воришкой «шестерки». Отчаявшись, захочет наложить на себя руки, но не сумеет. Решит убить своего покровителя и насильника, но вместо этого смертельно ранит другого заключенного, мастера поножовщины Ильхами, к которому не питал никакой вражды. И тогда по всем застенкам Стамбула пойдет гулять легенда о брадобрее Хайри — «джигите из джигитов, защитнике слабых и бедных, человеке, чье слово нерушимо свято, а честь незапятнанна».

Азиз Несин, однако, не был бы самим собою, если был бы склонен следовать легендам. Все его творчество, по сути, посвящено изобличению мифотворцев и осмеянию мифов, будь то миф об извечной испорченности или изначальной доброте человеческой природы, о единстве нации или справедливости буржуазной юстиции.

Брадобрей Хайри — не монстр и не герой. Для Азиза Несина таковых в природе не существует, есть просто люди, люди и обстоятельства.

Азиз Несин давно не ставит перед собой легких задач. В новой повести он решает одну из труднейших — найти человеческое в преступнике, свершившем такое, с чем не может примириться совесть нормального человека: Хайри приговорен к смерти за убийство ребенка. Писателю приходится употребить и все свое мастерство, и умение проникнуть в глубины человеческой психики, дабы показать неоднозначность и сложную обусловленность каждого человеческого поступка, в том числе и бесчеловечного.

Для чего? Чтобы оправдать преступника? Нет, чтобы понять, как он им стал.

В карцере, на твердом от засохшей мочи и крови земляном полу, Хайри приходит в голову мысль, что всю свою жизнь он делал то, чего не хотел. Собирался отомстить насильнику, воспользовавшемуся его слабостью и страхом за старую мать, а в результате убил ребенка. Попал в тюрьму за убийство и насилие, а в тюрьме сам стал жертвой насилия, мало того — против своей воли «пошел по рукам, как продажная женщина». Чтобы избавиться от унижения, решил покончить с собой, но не смог. Чтобы доказать свою мужественность, приставал к парням из камеры несовершеннолетних, хотя ему вовсе это было не нужно. Вида крови не переносил, а возжелал убить бандита Кямиля, но вместо этого смертельно ранил другого человека. После кровавой драки невольно разрыдался на виду у всей тюрьмы. А теперь в полном одиночестве, в темноте хочет плакать, но не может. «Что же это с ним происходит? Отче-

го он не мог жить согласно своим желаниям?»

Раз придя на ум, этот вопрос не дает ему больше покоя. Найти бы человека, которому можно было довериться, который мог бы ему все объяснить!..

Такого человека Хайри находит в другой тюрьме, куда его переводят незадолго до виселицы. Здесь в строгой изоляции содержатся трое политических. «Им не разрешали общаться ни с кем из заключенных, ибо боялись, что они заразят дурными мыслями и собьют с пути сотни арестантов, отбывающих наказание за воровство, шантаж, мошенничество, лжесвидетельство, разбой, грабеж, убийства, казнокрадство, взяточничество, подделку денег и множество других преступлений». Когда Хайри попросил свидания с политическими, начальник тюрьмы попытался его отговорить: «Жаль твоей молодости... Я и сам-то опасаюсь с ними беседовать». Но потом махнул рукой: дескать, так или иначе все равно скоро повесят.

И бывший рабочий, которого остальные зовут мастером, отвечает на главные для Хайри вопросы так: «Мы люди, каждой своей клеточкой, тысячами невидимых нитей связаны с обществом. Но по незнанию, что нами управляют эти нити, полагаем себя независимыми, свободными... Будь ты, к примеру, свободен, разве совершил бы ты свои преступления?»

Эти слова западают Хайри в душу. Он успел повидать, как зло рождает зло. Ведь и бандит Кямиль, потерявший человеческий облик, и его подручные озлобились оттого, что с первых дней жизни видели только зло и бесчеловечность, и теперь мстили за него, но не обществу — для них это пустой звук, а всем людям, целому миру. Значит, главное — вопреки всему не утратить доброты, понимать и себя, и других.

— Не успел я сделать ничего доброго ни себе, ни другим! — с горечью говорит Хайри.

За четыре года, которые Хайри провел в ожидании казни, он стал иным человеком. По-другому смотрит теперь на себя, на мир, на людей.

Наступает весна. Птицы вывели птенцов. Каждое утро Хайри выходит на тюремный двор и, забыв обо всем на свете, следит, как воробьи учат летать своих желторотиков. Отставив локти, хлопает ими по ребрам, словно крыльями, приподнимается на носки, подбадривает нерешительных:

— Лети, сынок, лети! Ну, смелее, лети же, сынок, лети!

Его волнение передается остальным арестантам. Сами того не замечая, они тоже привстают на цыпочках, отставляют локти. И когда птенцу удается выпорхнуть из гнезда, двор тюрьмы оглашается радостным воплем, будто с каждым удачливым воробышком взлетают, обретают свободу и они сами.

Горечь за поруганную человечность, тоска по иной, достойной человека жизни достигают на этих страницах повести Азиза Несина поистине высокого трагизма.

Многоопытные тюремщики знают: во избежание эксцессов после утверждения приговора смертника нужно изолировать. И начальник тюремной канцелярии, заметив, как Хайри поглощен наблюдением за воробьями, решает:

— Сейчас самое время! Берите его, он и опомниться не успеет!

Тем временем исполнительные власти готовятся к «свершению справедливости». Прокурор, ведающий приведением в исполнение приговора,— человек либеральный. На досуге не прочь был порассуждать о необходимости отменить смертную казнь. Но свобода мысли — одно, а служба — другое. Нужно пригласить на казнь судью, муллу, адвоката, медицинского эксперта, назначить дату и час, сообщить в управление безопасности и жандармерию, чтоб обеспечили порядок. Бюрократическая машина запущена. Прослеживая каждый новорот ее маховика, Азиз Несин с присущим ему даром сатирика обнажает главный принцип работы бюрократического аппарата: отчуждение любого дела от его содержания, превращение его в ряд формальных операций, подмену смысла — процедурой. И чем важнее дело — а что может быть важнее жизни и смерти человека? — тем явственней чудовищная бесчеловечность бюрократии, какими бы словами она ни прикрывалась.

«Что надо для гуманного повешения? Ах, да, виселица, веревка. Какой длины, толщины? Что еще? Бидон оливкового масла, чтоб смочить веревку, дабы сразу захлестнулась петля». Последняя публичная казнь состоялась четыре года назад. Казенное оборудование за это время успели сгноить или разворовать. Нужно приобретать новое. А деньги? По какой статье? Очевидно, по статье 15129 — «прочие расходы и приходы». Но денег по этой статье нет, израсходованы. И финансовый год на исходе. Не ждать же смертнику казни, пока утвердят новый бюджет?

Старый финансовый волк — начальник тюремной канцелярии — подсказывает выход: взять в банке аванс в счет будущего года. Для этого нужно гарантийное письмо. И заверенное подписью и печатью прокурора. Подписью прокурора? А отчет? Чтобы были представлены все счета от торговцев! Да, тут еще пропал единственный в Стамбуле палач Али. Разыскать немедля!

С трудом обнаруженный полицией палач отказывается от работы. Он давно просил перевести его в штат на ежемесячный оклад. Сдельщина его больше не устраивает. При нынешнем росте цен не прокормиться. К тому же ему еще не заплатили за два прошлых повешения. «Нет у вас денег, не вешайте! — возмущается он.— И не жалко вам вешать людей задаром? Хоть палачу бы заплатили, чтоб повесил как следует!»

— Да, трудно делать дело в этой стра-

не! — жалуется ошалевший от забот прокурор.

Фантасмагорней бессмыслицы и чудовищной пародией на средневековые мистерии предстает под пером Азиза Несина церемония «торжества справедливости», символом которой становится виселица. Смерть человека превращена в зрелище. Участвующие в нем чины озабочены своей карьерой, их жены — своими нарядами, ученые-тюркологи — будущим успехом статей, посвященных народным обрядам, восходящим к пратюркским племенам Алтая, иностранные и отечественные репортеры — сенсационными снимками и статьями, уличные актеры, гадалки, проститутки, торговцы героином — контрабандными американскими сигаретами и китайским ширпотребом, продавцы детских воздушных шариков и разносчики пирожков — возможностью подработать, жулики и карманники — легкой поживой. «А стамбульский люд, который из-за тягот последних лет: роста цен и дороговизны жизни, транспортных неурядиц, жилищного кризиса и прочего и прочего — лишился возможности ходить в кино и в театр, ездить на загородные прогулки, посещать увеселительные заведения, не преминул воспользоваться дармовым развлечением, которым представлялась торжественная церемония повешения».

Повесть Азиза Несина парадоксальна и выбором сюжета, и сочетанием, казалось бы, несовместимых стилистических средств: полицейский протокол соседствует в ней с проникновенным лиризмом, сарказм — с пародией на средневековую оду. Она шокирует читателя, чтобы заставить его задуматься о том, что такое истинные права человека, какова его зависимость от общества и его мифологии. Но, закрыв книгу, не можешь отделаться от впечатления двойственности. Утверждая социальную обусловленность поведения людей, «тысячью невидимых нитей связанных с обществом», Азиз Несин несколько неожиданным образом подтверждает справедливость этой истины и своей собственной книгой. Чтобы заставить думать читателя, приученного к смакованию убийств, жестокости, сексуальной патологии как к чему-то естественному, он пытается взорвать привычные этому читателю представления изнутри и невольно оказывается в порочном кругу. Отсюда, думается, и столь обширен и подробен перечень сексуальных преступлений в первых главах книги, и вкрапленные в текст заключения медицинской экспертизы, уместные скорее в учебнике криминалистики или психологии, чем в художественном произведении. Да и самая зависимость преступности от общества в конечном счете выстраивается в повести несколько прямолинейно. Верно, в этой школе всех учат быть подлецами. Но почему ты оказался первым учеником? Этот вопрос, который невольно возникает при чтении книги, для автора словно бы не существует.

Сопоставляя повесть Азиза Несина с мыслями, высказанными писателем в последнее время и в частных и в публичных беседах, о необходимости показать всю правду о человеке, всю, без исключения, какой бы она ни была, приходишь к выводу, что недостатки книги связаны не столько с художественными просчетами автора, сколько с неразработанностью передовой общественной мыслью его страны многих философских проблем. Направив в последние десятилетия все свои усилия на выявление общественной обусловленности категорий морали, нравственности и человечности, она часто упускает из виду диалектику этой обусловленности, рождающую такие явления, как «воспитание по контрасту», возникновение в том же обществе иной классовой морали и ее обратное воздействие на общество. В произведениях многих передовых писателей оказались сдвинутыми и эстетические критерии. В результате правда психопатолога и судебно-медицинского эксперта подчас подменяет собой правду художническую.

«Да простятся мне недостатки, да будет благосклонно принято то, что останется,— заключает свою повесть Азиз Несин.— Да хватит моей жизни, чтоб написать еще много книг, лучших, чем эта, а вашей жизни, чтоб прочесть их и тысячи других, живя в радости, изменяя себя и свое окружение».

Новая книга выдающегося турецкого писателя и своими достоинствами, и своими изъянами говорит о том, как непрост каждый шаг на пути изменения мира и нас самих.

РАДИЙ ФИШ

ВЕК ПОЭЗИИ

Robert Frickx et Michel Joiret. La Poésie française de Belgique de 1880 à nos jours. Paris-Bruxelles, Fernand Nathan-Editions Labor, 1977.
Робер Фрикс и Мишель Жуаре. Бельгийская франкоязычная поэзия с 1880 года до наших дней. 1977.

Как это ни парадоксально, лишь очень ограниченное число критиков и эссеистов проявляет у нас интерес к своей родной бельгийской франкоязычной литературе. То ли в силу вкуса, то ли определенного снобизма большая часть из них гораздо охотнее занимается анализом произведений и литературных течений, возникающих в Париже.

Главная заслуга исследования Робера Фрикса и Мишеля Жуаре в том, что они смело выступили против этой тенденции и подобного равнодушия. Р. Фрикс и М. Жуаре — хорошо известные у нас писатели и критики. Р. Фрикс (под псевдонимом Р. Монтале) опубликовал множество сборников стихов, повелл и один роман, а под своим именем выпустил целый ряд исторических и литературоведческих исследований, в том числе посвященных Рембо и Лотреамону. Его перу (в соавторстве с Р. Бюрньо) принадлежит также эссе «Бель-

гийская франкоязычная литература». М. Жуаре — автор десятка поэтических сборников и эссе о Мишеле Гельдероде.

Их совместный труд «Бельгийская франкоязычная поэзия с 1880 года до наших дней» — это не только великолепная панорама поэтических течений, рождавшихся на протяжении века после основания в 1880 году журнала «Молодая Бельгия», это серьезно обоснованное исследование, богатое открытиями и оригинальными суждениями, явно входящими в противоречие с традиционными концепциями. Ведь помимо того, что авторы книги — преподаватели и литературоведы, оба они — талантливые поэты, что, видимо, и определило их намерение заняться подобной работой. В их знании поэзии нет ничего книжного и догматического, их собственный богатый поэтический опыт позволил им глубоко проникнуть и по достоинству оценить произведения, определить их подлинное место в нашем литературном достоянии.

Не случайно, что отправным моментом для своего исследования Р. Фрикс и М. Жуаре выбрали именно 1880 год. В истории бельгийской франкоязычной литературы 1880 год — важная дата, ознаменованная неожиданным расцветом новой и самобытной поэзии, которую оценили по заслугам гораздо позже. Это было время яркого горения одного из наиболее одаренных поколений в нашей литературе — Эмиля Верхарна, Шарля Ван Лерберга, Мориса Метерлинка и Альбера Моккеля. Еще и сегодня удивляет необычность поэзии Метерлинка, его поиски в области языка, его попытки вырваться за пределы символизма и создать новый род лирики.

Авторы скрупулезно анализируют наследие этого поэтического поколения и переходят затем к более поздним направлениям, открывая множество до сих пор неизвестных деталей. Наряду с поэтами, которых называют великими фламандцами, критики справедливо выделяют творчество Альбера Моккеля (жившего в Льеже), страстного поклонника Малларме. Основав журнал «Валлония», он привлек в него немало молодых талантов, в свою очередь развивавших и обогащавших его поэтическую традицию.

По-настоящему новые демократические пути открылись перед нашей поэзией в начале XX века — с вступлением в нее, в частности, Франца Элленса (род. в 1881 г.), испытавшего на себе явное воздействие Горького, с которым он был в дружбе. Крупнейший бельгийский поэт и прозаик, Элленс занимался и переводом: из советских поэтов он переводил Есенина и Маяковского.

Изучая разнообразные поэтические течения, сменявшие друг друга на протяжении века, Р. Фрикс и М. Жуаре специально останавливаются на последствиях того влияния, которое оказывала на наших писателей французская поэзия. Несмотря на географическую близость Парижа и царящую там интенсивную литературную жизнь, влияние это не было господствующим, однако многие поэты все дальше отходили от фламандских традиций, которые вдохновляли Верхарна. «Поэзия начинает ограничиваться тонкими наблюдениями,— пишут критики,— и буйство ярких красок все чаще сменяют полутона. Вкус к живописности и региональные особенности уступают место космополитизму и углублению в собственное «я». В сердцах и умах все прочнее утверждается индивидуализм...»

Однако поэзия не стоит на месте, она продолжает развиваться, и лучшим из поэтов удается преодолеть подобные тенденции и выйти навстречу жизни. Уходящая корнями в национальную почву, наша поэзия многообразна и плодовита — в Валлонии, Шарльруа, Туре и Льеже сегодня действуют очень активные поэтические группы.

В своем исследовании Р. Фрикс и М. Жуаре с большой тонкостью прослеживают преемственные связи, выделяя при этом неповторимые черты каждого из поэтов. Не стремясь подогнать поэзию под заданную схему, они выявляют не только общее у разных художников, но и разделяющие их противоречия. Произведенный ими анализ, включенные в текст поэтические примеры помогают представить себе характер обрисованных ими поэтов и выделить основные тенденции развития бельгийской франкоязычной поэзии. Порой эта классификация может показаться несколько произвольной, но в основном авторам удалось установить справедливую иерархию и, наперекор забвению, привлечь внимание и к талантам первой величины, и менее одаренным, но образующим сообща единую поэтическую семью.

И, наконец, еще одно бесспорное достоинство этой обширной панорамы заключается в том, что ее авторы, помимо уже давно снискавших известность мастеров слова (таких как Морис Карем, Жео Норж, известных и в Советском Союзе), обратились к творчеству совсем молодых поэтов, находящихся еще в стадии роста. Выделив среди только заявивших о себе поколений наиболее способных представителей, которые обогащают поэзию новыми темами и формами, авторы пошли на определенную смелость, но надо отдать должное проницательности их взгляда.

Книга Р. Фрикса и М. Жуаре заполнила имевшийся у нас до сих пор досадный пробел и своевременно напомнила, что франкоязычная литература Бельгии являет собой живую и притягательную реальность.

АЛЬБЕР ЭГПАРС

г. Брюссель

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ТОМАСА БЕРНГАРДА

Новый ромаи известного австрийского писателя Томаса Бернгарда «Дыхание», вышедший в зальцбургском издательстве «Резиденц», привлек внимание критиков не только Австрии, но и Швейцарии и ФРГ. Это продолжение автобиографического цикла, начатого романами «Причина» (1975) и «Подвал» (1976), где рассказывалось о тяжелом детстве героя п о его работе в качестве ученика в продовольственной лавке.

В новой книге писателя читатель встречается с 18-летним Бернгардом в больнице. С запущепиой формой плеврита он оказывается в палате для умирающих. Состояние его врачи считают безнадежным. И лишь огромная жажда жизни помогает юноше преодолеть кризис, подтвердив убеждение его деда, что «дух правит телом».

Это решающий момент в судьбе героя. С иего начинаются его серьезные раздумья о жизни, которые впоследствии приводят его к занятию литературой (тем более, что болезнь заставила его распрощаться с прежней мечтой — стать певцом).

«Ромав иельзя читать без волнения», — пишет критик Люц Хольцингер в органе компартии Австрии газете «Фолькстимме». Рецеизент считает, что автобиографические книги Бернгарда «начали иовую фазу в его творчестве».

Высокую оценку роману дают также критик Герман Бургер в швейцарском еженедельнике «Вельтвохе» и известная западногерманская писательница Габриэла Вомап в журнале «Шпигель».

«В разговоре об этом писателе ие бывает промежуточных оценок,— пишет Вомаи. — Насколько я могу наблюдать, среди читателей, интересующихся современной литературой, нет равнодушного, спокойиого отношения к Томасу Бернгарду». И это не случайно, считает рецензент, поскольку сам Бернгард «не стремится подладиться под читателя»: вместе со своим героем он однажды решился, отбросив всякую ложь, «жить своей жизнью, как считает правильным».

АНГЛИЯ

По рассказу Джозефа Конрада «Дуэлянты» поставлен фильм «Поединок». Эта экранизация рассказа Джозефа Конрада стала режиссерским дебютом Ридли Скотта, который за свою работу был отмечен премией на Каннском фестивале прошлого года.
На сннмке: кадр из фильма.

(Журнал «Фильм»)

ПАМЯТИ ПОЛЯ СКОТТА

На 58-м году жизни скончался видный английский писатель, известный романист Поль Скотт (1920—1978). Английский писатель и литературовед Мервин Джоунз посвятил Полю Скотту большую статью в журнале «Нью стейтсмен».

Поль Скотт известен не только как романист: ему принадлежат также пьесы, сборники стихотворений. Однако самую большую популярность писателю принесли романы. Хотя действие во многих его произведениях происходит в Азии (Индии и Малайе), писатель стремился прежде всего осмыслить в своем творчестве проблемы чисто британские, и в первую очередь отношения Англии с Индией. Именно эти вопросы поднимает он в своем центральном произведении — тетралогии «Раджийский квартет» («Жемчужина в короне», 1966, «День скорпиона», 1968, «Башни молчания», 1971, «Дележ добычи», 1975). Действие охватывает период 1942—1947 гг., то есть наиболее напряженные годы в истории Индии, непосредственно предшествовавшие провозглашению независимости. Поль Скотт долго прожил в Индии, и потому ситуация в стране: ее политика, экономика и культура — была известна ему «из первых рук».

В 1977 году Полю Скотту за роман «Задержавшиеся» была присуждена высшая литературная награда Англии «Букер Прайз». «Задержавшиеся», по собственному признанию Поля Скотта,— постскриптум к тетралогии. Н. Хепбери в рецензии на этот роман в журнале «Листнер» пишет, что действие происходит после официального ухода англичан из Индии. Однако некоторые британцы остались в стране, поскольку долгие годы службы и жизни в Индии накрепко связали их со страной. Таков главный герой полковник Смолли, его жена Люси Литтл, их друзья — семья Ларджесов. Смолли ушел на пенсию, но остался чем-то вроде военного консультанта при индийской армии. На самом деле он только влачит свои дни в Индии, которая, став свободной, меняется у него на глазах. Борясь с душевной тоской, Смолли решает съездить в Лондон, но и там ему неуютно — он «чужой» и среди своих соотечественников. Смолли возвращается в Индию, заболевает и умирает.

Н. Хепбери полагает, что «это самое совершенное произведение об Индии после знаменитого романа Э. М. Форстера «Поездка в Индию». Как ни парадоксально, отношения Великобритании с самой крупной ее бывшей колонией — Индией — не находили должного отражения в английской литературе. Творчество Поля Скотта восполнило этот пробел».

БОЛГАРИЯ

НОВАЯ СЕРИЯ

Книга Ивана Сарандева «Эмелиян Станев», выпущенная издательством Болгарской Академии наук в Софии, открыла новую серию, посвященную творчеству современных писателей Болгарии. Эта серия непосредственно связана с основной деятельностью литературного института — созданием полной истории болгарской литературы.

Написана книга в форме литературной анкеты. Как отмечает рецензент «Пламка» К. Яиева, созданию новой литературной серии предшествовала и большая научная работа над анкетой, исключающая напряженность в беседах писателя и интервьюирующего, эта сложная задача выполнена успешно: в книге передан характер живой, интересной беседы. Особенно интересны страницы, повествующие о работе одного из лучших болгарских прозаиков над такими замечательными произведениями, как «Похититель персиков», «Антихрист», «Иван Кондарев», а также раскрывающие способность Станева видеть свои произведения со стороны, объективно анализировать их. Здесь немаловажную роль сыграла форма анкеты.

С уверенностью можно сказать, заключает рецензент, что эта книга заинтересует широкий круг читателей и специалистов.

«ПОЛУОСТРОВ»

Так называется новый сборник стихов поэта Слава Хр. Караславова, выпущенный издательством «Болгарский писатель».

Как отмечает рецензент журнала «Пламк» Н. Манолова, особое место в сборнике находит тема патриотизма, которая глубоко волнует поэта. Если попытаться привести в качестве примера строки из его стихотворений, в которых воспевается героизм болгарского народа со времен османского ига до Сентябрьского восстания, говорит рецензент, то придется, пожалуй, процитировать всю поэзию Караславова.

Новая книга Слава Хр. Караславова называется «Полуостров»; частичку этого полуострова, свою Болгарию, поэт всегда носит в сердце. Стихотворения-размышления посвящает он друзьям - поэтам Андрею Германову, Михаилу Берберову, Матею Шопкину, Лучезару Еленкову. Это разговор с «товарищами по оружию» о месте коммунистов в борьбе за коммунистические идеалы, о роли настоящей поэзии и ее служении человечеству. Поэт говорит о нерушимой гармонии между человеком и природой. И эта связь человека с природой, по мнению поэта, способствует прежде всего духовному здоровью современника.

В два последних цикла сборника, озаглавленных «Пути» и «Тропик», вошли произведения, написанные Караславовым во время его путешествия по странам мира.

Чужой, непривычный ландшафт рождает у поэта ассоциации, связанные с историей народов этих стран. Он пытается найти связь между собой и незнакомой страной. Но он чувствует

себя счастливым и «своим» только в тех странах, в которых нашел идейное родство и ощутил надежное плечо коммунистов-единомышленников.

ВЕНГРИЯ

ДЮЛА ИЙЕШ — ЛАУРЕАТ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕМИИ

8 марта 1978 г. в Париже в Культурном центре Помпиду Дюла Ийеш, известный ныне живущий венгерский поэт, был награжден международной премией друзей Франции. По уставу Общества поэтов Франции эта премия присуждается зарубежному поэту, творчество которого приумножает славу французской литературы. Среди лауреатов премии — Т. С. Элиот, Пер Лагерквист, Франц Элленс, Георгос Сеферис, Леопольд Седар Сенгор, Хорхе Каррера Андраде и др. Венгерский поэт был удостоен этой премии впервые.

Доброволец венгерской Красной Армии, начинающий поэт Дюла Ийеш после разгрома Венгерской советской республики на долгие годы оказался в эмиграции, в Париже. Оставаясь верным идеям социалистической революции, верным традициям национальной культуры, Ийеш увлеченно изучает европейскую, прежде всего французскую, литературу. Ее опыт не прошел бесследно для Ийеша. В одном из интервью на вопрос Деже Костоланн: у кого он научился писать — Ийеш ответил: «У Жюля Ренара».

В 1926 году Ийеш возвращается на родину, сотрудничает в литературных журналах, пишет романы, пьесы, стихи — только поэтических сборников и поэм вышло около трех десятков — и очень много делает для ознакомления своих соотечественников с французской культурой. Переводит Мольера, Расина, Бомарше, Малларме, современных поэтов. В 1942 году, в эпоху разгула фашизма, когда Франция была оккупирована и так нуждалась в поддержке, Ийеш издает у себя на родине обширную антологию «Сокровища французской литературы», в которую вошли лучшие произведения французских писателей и поэтов — от средневековья до 40-х годов XX века. Эта антология много раз потом переиздавалась в Венгрии. «Дюла Ийеш — венгерский национальный поэт и истинный друг Франции,— сказал на церемонии вручения французский поэт Жан-Люк Моро.— Его авторитет на родине так же велик, как был велик в свое время авторитет Ламартина или Гюго среди французов».

Произведения Ийеша широко известны во Франции — и вдохновенная биография Петефи, и роман-эссе «В ладье Харона», и автобиографическая повесть «Гунны в Париже», и его стихи. Пьесы Ийеша идут на французской сцене. А знаменитый роман «Люди пусты» включен в программу Парижского университета для студентов, изучающих венгерскую литературу.

«Дюлу Ийеша с равным основанием можно рассматривать и как чисто венгерское художественное явление, и как поэта, находящегося на магистральном пути общеевропейского искусства»,— считает венгерский критик Лайош Иллеш. Присуждение Ийешу международной премии друзей Франции — еще одно бесспорное свидетельство зрелости социалистической венгерской литературы.

Эржебет Галгоцн, отражающая в своем творчестве жизнь современной венгерской деревни, известна советскому читателю своей повестью «На полпути» и рассказами. По одной из ее последних книг «Для кого существует закон?» молодой режиссер Шандор Г. Сёньи снимает фильм о жизни сегодняшнего села.
На снимке: Мария Тёречек в фильме «Для кого существует закон?».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ТОЛСТОЙ В ВЕНГРИИ

В Венгрии широко отмечается 150-летие со дня рождения великого русского писателя.

Издательства подготовили юбилейные издания его произведений. Литературные журналы на протяжении всего этого года печатали самые различные материалы, посвященные его творчеству.

С большой статьей обзорного характера выступил на страницах журнала «Надьвилаг» известный ученый-литературовед Иштван Шетер. О Толстом как философе и художнике пишет И. Шетер, первые публикации появляются только в конце века, уже после того, как были переведены такие его произведения, как «Севастопольские рассказы», «Война и мир» и «Анна Каренина». Среди этих публикаций Шетер особо выделяет работы Дюлы Ревицки и Йенё Петерфи, в которых уже содержится анализ романа «Война и мир» как произведения эпического, где Толстой, идя от личного, частного к общему, объективному, дал панораму жизни русского общества. На страницах журнала «Венгер-

ский салон» уже в 90-х годах прошлого века утверждалось, что в «Толстом скрыт провозвестник новой будущей поэтики».

Первые же серьезные и научно обоснованные суждения о творчестве Толстого относятся к началу XX века. Они принадлежат известным венгерским литераторам и переводчикам русской литературы Эндре Сабо и Дюле Сини. К этому времени на венгерском языке уже вышли «Казаки», «Воскресение», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат», «Власть тьмы» и «Живой труп».

После смерти Толстого, отмечается далее в статье, анализом его творчества много занимались критики, группировавшиеся вокруг журнала «Нюгат». Имя Толстого стаиовится на его страницах самым почитаемым.

Интересные мысли высказывались в связи с философскими воззрениями Толстого так иазываемыми писателями «рабочего движения» — Шандором Вайдо и Лайошем Гро, суждения которых уже основывались на конкретных требованиях марксистской эстетики. «Жизииность произведений Толстого, — писал Лайош Гро на страницах журнала «Мунка» в 1936 году,— заключается во вниманин писателя к духовным ценностям отдельной личности». Это толкование иашло позже свое развитие и в работах такого авторитетного критика, как Оскар Яси, и таких известных писателей, как Михай Бабич и Антал Серб. Перу Антала Серба принадлежит очерк-портрет Толстого, в котором он писал: «Произведения Толстого похожи на те полотиа художиików, с которых изображенный на иих человек неотступно смотрит на тебя, где бы ты ии стоял по отношению к этому полотну».

Но иастоящее проникновение в творчество Толстого венгерской критикой и переводчиками началось после освобождения Венгрии. И здесь по праву первое место принадлежит переводчику Толстого, автору многих интересных и глубоких работ о нем Ласло Немету, с участием которого осуществлялось издание собрания сочинений Толстого в 10-ти томах, начатое еще в конце 20-х годов и законченное в 1958 году.

Занимался изучением творчества Толстого и Дердь Лукач, написавший еще в 1935 году статью «Толстой и реализм». Сейчас над изучением творчества русского писателя работает целый коллектив авторов в Институте мировой литературы Венгерской Академии наук.

Иштваи Шетер заканчивает свою статью словами, сказанными Дердем Лукачем почти сорок лет тому назад: «Основополагающим в философии и художественных взглядах Толстого является принцип труда. Только в работе заключается ценность и смысл нашей жизни. Этот тезис Толстого непреходящ».

ВЬЕТНАМ

30-ЛЕТИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ВАН НГЕ»

Исполнилось 30 лет еженедельнику «Ван нге», первый номер которого вышел в марте 1948 года в разгар всенародной войны Сопротивления против французских колонизаторов. За прошедшие годы вышло 750 номеров центрального орга-

---

Еще долго ведущей темой вьетнамского кино, как и всего искусства, будет беспримерный героизм вьетнамского народа, проявленный в тяжелые годы борьбы протнв американской агрессии. Фильм «В северной частн столицы» режиссера Хюи Тханя вновь возвращает нас в суровые декабрьские дни 1972 года, когда на Ханой был совершен массированный налет американской авиации. События происходят на электростанцин Йенфу. Только мужество рабочих и служащих ие дали городу остаться без электричества. В фильме помимо профессиональных актеров снимались рабочие электростанцни — подлинные участники декабрьских событий.

На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Нян зан»)

па Ассоциации деятелей литературы и искусства.

В начале 1977 года еженедельник «Ван нге» объединился с журналом «Ван нге зяй фонг» и теперь представляет творческую интеллигенцию всей страны.

По случаю славной даты был выпущен юбилейный номер, на страницах которого опубликованы материалы, воскрешающие славное боевое прошлое «Ван нге».

ГДР

«Я ЗАСТАВЛЮ ТЕБЯ ЖИТЬ»

Так называется новый фильм известного режиссера Ральфа Кирстена, поставленный на студии ДЕФА. Кирстен экранизировал произведения многих писателей, в том числе Э. Т. А. Гофмана, Т. Фонтане, Ф. Фюмана, К. Г. Якобса. Новая работа режиссера — экранизация рассказа Карла Зеварта «Гамбит».

...Весна 1945 года. Деревенский учитель, который многие годы как-то мирился с фашизмом, с ужасом обнаруживает, что его пятнадцатилетний сын полностью отравлен гитлеровской пропагандой. Он понимает, что невольно способствовал этому. Теперь он стремится спасти сына, который хочет идти добровольцем в гитлерюгенд, чтобы «умереть за родину». Насильно увозит он мальчика в горы и тем спасает его от гибели, «заставляя его жить».

«Мальчик ненавидит своего отца,— сказал Ральф Кирстен в беседе с корреспондентом «Берлинер цайтунг»,— считая его предателем, поправшим те идеалы, в которые сын с детства приучился верить. В 1945 году мне самому было 15 лет, поэтому, может быть, мне близка трагедия, которую я воплотил на экране».

«В этой истории показана борьба между общечеловеческими принципами и фашистской идеологией,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — Это особенно актуально в наши дни, когда в ряде стран поднимают голову неофашисты. Фильм не только напомнит о страшном прошлом, но и заставит зрителей, особенно молодых, задуматься над тем, какое зло несет нацистская пропаганда».

На снимке: кадр из фильма «Я заставлю тебя жить». В роли учителя — Рольф Людвиг, в роли его сына — Петер Вельц.

(Газета «Берлинер цайтунг»)

Рецензенты отмечают правдивую, психологически точную игру исполнителей ролей учителя и его сына актерами Рольфом Людвигом и Петером Вельцем.

ПРЕМИЯ ПИСАТЕЛЮ

Премия имени Иоганнеса Бехера за 1978 год присуждена известному поэту и прозаику Гансу Цибульке.

Вручая премию, заместитель министра культуры Клаус Хёпке отметил, что она присуждена писателю «за его творчество, внесшее большой вклад в социалистическую литературу и продолжающее традиции Иоганнеса Бехера».

ШЕКСПИРОВСКИЕ ДНИ 1978 ГОДА

В г. Веймаре, центре изучения немецкой классической литературы, находится одно из старейших в Европе шекспировских обществ, имеющее давние культурные традиции, одной из которых стало ежегодное проведение в конце апреля (23 апреля — день рождения Шекспира) шекспировских дней. Деятельность общества находит отражение в шекспировских ежегодниках. В 1978 году в свет вышел 114-й по счету ежегодник.

Шекспировские дни 1978 года были посвящены проблеме «Шекспир и Брехт». В работе конференции приняли участие представители многих стран мира, в том числе СССР. Со спектаклями, поставленными по пьесам Шекспира, с большим успехом выступили различные театральные коллективы: «Берлинер ансамбль», Немецкий национальный театр г. Веймара, Театр им. Максима Горького, Пражский драматический театр, Театральный колледж г. Брадфорда (Великобритания).

ФРГ

ПЕСНИ ФРАНЦА ЙОЗЕФА ДЕГЕНХАРДТА

Писатель Франц Йозеф Дегенхардт, известный советскому читателю по романам «Бикфордов шнур» («ИЛ» № 1, 2, 1976) и «Пожарища» («Прогресс», 1978),

выступил в ряде городов Западной Германии с новым репертуаром политических песен. Особым успехом у зрителей пользовались песни, несущие приметы сегодняшней западногерманской действительности, такие, например, как «Бумзер Пакко, террорист четвертого поколения» или «Допрос человека, отказывающегося от военной службы».

Песни Дегенхардта объединяют в себе традиции кантри-музыки, национального фольклора и французской «шансон». На вопрос корреспондента газеты «Унзере цайт», каким образом художник, стоящий на прогрессивных позициях, находит дорогу к слушателям в условиях, когда все средства массовой коммуникации принадлежат власть имущим, Дегенхардт ответил: «Действительно, пока вся массовая культура находится в руках у тех, кто считает песни, подобные моим, «опасными», у нас есть только одна возможность: выходить по примеру добрых старых странствующих певцов прямо на рыночную площадь, на наш так называемый свободный рынок, арендовать первое попавшееся помещение — и вы увидите, люди к нам придут».

ИНДИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Как сообщает газета «Джан юг», на экранах индийской столицы с успехом демонстрируется новый художественный фильм «Дела житейские», поставленный режиссером Соханлалом Кумваром. В фильме показана жизнь современной индийской деревни, где крестьянин, чтобы дать образование брату, вынужден заложить ростовщику последний клочок земли. Поднимая острую проблему, не утратившую своей актуальности и в наши дни, фильм продолжает славные реалистические традиции индийского кино. «Впечатляющая картина» — так озаглавлена рецензия, опубликованная в газете. «Фильм способен растрогать зрителя до слез, — пишет рецензент,— и вместе с тем в нем много искрометного юмора, который разряжает гнетущую атмосферу изображаемого и вызывает веселый смех зала».

Примечателен фильм и тем, что, продолжая семейную традицию, заглавную роль в нем исполнил молодой артист Парикшит Сахни — сын выдающегося индийского кинорежиссера и актера Балраджа Сахни («ИЛ» № 10, 1973), известного советскому зрителю по картине «Два бигха земли», а партнершей П. Сахни выступила артистка Нутаи, снимавшаяся в ряде фильмов его отца.

Рецензеит отмечает великолепную игру всего актерского ансамбля, особо выделяя мастерство исполнителей главных ролей, прежде всего — Нутан.

Музыку к фильму «Дела житейские» написал композитор Шанкар Джайкишан.

Картина, в которой в творческом содружестве выступили продолжатели дела Балраджа Сахни, как отмечает газета «Джаи юг», стала заметным явлением в культурной жизни индийской столицы.

ИСПАНИЯ

НЕДЕЛЯ КУБИНСКОГО КИНО В ИСПАНИИ

С большим успехом прошла в Испании Неделя

На снимке: Нутан и Парикшит Сахни — исполнители главных ролей в фильме «Дела житейские».

(«Дела житейские»)

кубинского кино. Впервые жители Мадрида, Барселоны и Валенсии смогли столь широко и полно познакомиться с искусством революционной Кубы. Художественный кинематограф страны представляли фильмы режиссеров М. Октавио Гомеса, М. Переса, У. Соласа, С. Гораля, С. Гомеса и Т. Гутьерреса Алеа, одного из наиболее интересных мастеров современного кубинского кино. Все шесть художественных полнометражных фильмов, показанные в рамках Недели, созданы в 70-е годы и отражают сегодняшний день кубинского кино. Испанские зрители получили возможность познакомиться с его различными тенденциями. Особое внимание привлекли фильмы У. Соласа «Кантата Чили» (1975) и Т. Гутьерреса Алеа «Последний ужин» (1976), рассказывающий о восстании рабов в XVII веке.

В программу Недели был включен также показ документальных фильмов, составляющих значительную часть кинопродукции Кубы. Огромный интерес публики и критики вызвал сопровождавшийся беседами со зрителями и коллоквиумами показ фильмов известного кубинского режиссера-документалиста Сантьяго Альвареса, открывшийся просмотром одной из его последних работ «Я сын Америки и ее должник». Этот фильм рассказывает о визите в 1971 году Фиделя Кастро в Чили и посвящен мужеству чилийского народа, его борьбе с фашистским режимом Пиночета.

Неделя кубинского кино вызвала живой интерес испанской общественности и получила большой резонанс в прессе. Отмечая, что после революции кубинский кинематограф занял ведущее место в Латинской Америке, кинокритик журнала «Триумфо» Фернандо Лара пишет: «Кубинская кинематография была совершенно незнакома нашим зрителям, что является одним из тех многочисленных культурных пробелов, которые испанская публика должна как можно скорее восполнить. Прошедшая Неделя — лишь первое знакомство, которое должно углубляться».

В Испании, в Малаге, на родине выдающегося художника Пабло Пикассо, установлен памятник в знак признательности испанцев художнику за его вклад в мировое изобразительное искусство. На открытии присутствовал испанский поэт-коммунист Рафаэль Альберти (на снимке — справа).

(«Эуропа пресс»)

ИТАЛИЯ

«РАССЕНЬЯ СОВЬЕТИКА»

Вышел специальный номер журнала «Рассенья совьетика» (орган Общества итало-советских культурных связей), посвященный советской литературе. В номере помещены статьи, письма, воспоминания советских авторов, большей частью неизвестные в Италии, опубликованные в разное время на страницах советских изданий.

Читатели «Рассенья совьетика» смогут прочесть в специальном выпуске выступление А. В. Луначарского в 1923 году на диспуте «Леф и марксизм», работы Б. Сучкова «Искусство и человек», «Индивидуализм и личность», «О назначении романа», статью Ю. Суровцева о советской прозе 70-х годов, воспоминания В. Лакшина о Твардовском, статью Л. Жадовой «Поэзия и архитектура», исследование М. Чудаковой о романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». В журнале опубликованы также письма Марины Цветаевой к Максимилиану Волошину и отрывки из работы Андрея Белого «Блок и Мережковский».

В разделе «Беседы с писателями» печатаются интервью Дино Бернардини, вице-директора журнала, с В. Шкловским, Ч. Айтматовым, Ю. Трифоновым, Б. Окуджавой, Р. Рождественским, Р. Казаковой, В. Лакшиным и С. Залыгиным. В кратком «Обращении к читателям», открывающем журнал, сообщается, что создатели этого номера не задавались целью подвести итог шестидесятилетнего развития литературы в Советском Союзе. «Наша цель,— пишут авторы «Обращения», — быть полезным, в меру своих сил, на-

шим читателям и всем тем, кто интересуется историей русской культуры».

ФИЛЬМ О ТРУЖЕНИКАХ ЗЕМЛИ

В этом году Золотая пальмовая ветвь, главный приз Каннского кинофестиваля, присужден фильму Эрманно Ольми «Дерево для цокколи» (цокколи — башмаки на деревянной подошве).

Эрманно Ольми живет в поселке Асьяго под Бергамо, очень редко появляется в Риме и, как пишет Каллисто Козулич в газете «Паэзе сера», «среда кинематографистов ему незнакома». Первые же его фильмы «Время остановилось» (1959), «Место» (1961), «Жених и невеста» (1963) — «целомудренные, глубокие, страстные», по мнению газеты «Унита»,— определили особый путь Ольми в итальянском кино. «Мир труда, труженики. Думаю, что мне никогда не надоест эта важнейшая тема»,— так определил Ольми направленность своего творчества в беседе с корреспондентом «Унита».

«Дерево для цокколи», по единодушному мнению критики, — самая сильная его картина. В основу фильма легли деревенские истории, истории семьи самого режиссера, живущие в памяти людской и в рассказах стариков.

Действие разворачивается в 1898 году. Это был год острых классовых битв. Демонстрантов Милана усмиряли войска. Отзвуки этих событий доносятся до героев фильма Ольми, ломбардских крестьян, но, погруженные в ежедневные заботы, в вечную борьбу за существование, они этих отзвуков почти не слышат. «На «глубоком севере», воссозданном Ольми, время остановилось», — пишет Каллисто Козулич, используя название первого фильма режиссера. Его выражение «глубокий север» проникнуто грустной иронией: ведь каждому известно, что отсталым в Италии всегда был юг, а передовым — север.

На свимке: кадр из фильма «Дерево для цокколи».

(Газета «Корриере делла сера»)

Сюжетный стержень фильма — повествование о работающем исполу на хозяина крестьянине, который тайком срубил молодой тополь, чтобы смастерить сыну цокколи, иначе тому было не в чем пойти в школу. Хозяин выгоняет Батисти (так зовут крестьянина) за незаконную порубку, и тот вынужден навсегда покинуть насиженное место и вместе с семьей отправиться на поиски работы и пристанища.

По стилю фильм следует традициям неореализма. Герои фильма говорят на бергамском диалекте. Но это, по мнению как режиссера, так и рецензента «Униты», не может помешать его восприятию широкой зрительской аудиторией. То, что происходит с героями фильма, изображенными с таким вниманием и теплотой, близко и понятно всем.

КАНАДА

«САД НА ВЕТРУ»

Так называется новый сборник рассказов одной из самых популярных франко-канадских писательниц. Книга посвящена всегда волновавшей Габриэль Руа теме — особенностям канадской культуры, характерам людей различных национальностей, населяющих страну. Эти люди живут зачастую очень разобщенно именно в силу отличия своей культуры, своего уклада жизни от обычаев той страны, куда их забросила судьба. Объектом пристального внимания писательницы становится и французская фермерская семья, живущая в Манитобе (англоязычной провинции), и почти покинутое поселение поляков в Альберте, и — совсем уж крайнее выражение этой темы отчужденности — китайский ресторанчик в одной из деревушек Саскачевана.

Выбор героев не случаен. Руа пишет о ностальгии, об одиночестве героев, отделенных языковым и культурным барьером от окружающей их среды. Люди, как пишет рецензент журнала «Букс ин Кенэда», оторвавшиеся от своей родины и не обретшие новой родины в стране, где им доводится жить, в стране, чуждой и непонятной им, переживают большую трагедию. Герои Руа находятся в душевном смятении, пытаются осознать, зачем же все-таки они приехали сюда, в Канаду.

Но культурная разобщенность — лишь часть трагедии этих людей. Они и в кругу семьи, среди родных им людей, продолжают ощущать все то же непереносимое одиночество. То, что они чужие в этой стране, не сплотило их, а, наоборот, лишь усугубило семейный разлад. Мать в рассказе «Шаги у двери» подозревает всех на свете и этим, как глухой стеной, отгорожена от всех людей. Марта, полька, героиня рассказа «Сад на ветру», давшего название сборнику, не может найти взаимопонимания со своими детьми; муж тоже остается духовно чуждым ей человеком. Китаец Сэм в рассказе «Куда же ты пойдешь, Сэм Ли-вонг?» отделен от других языковым барьером и всей своей предшествующей жизнью, совершенно отличной от той, которая его окружает сейчас.

Но Габриэль Руа пишет не только о страшном одиночестве своих героев, а и о том, как они стремятся его преодолеть, о тех пусть кратких, но таких важных моментах в жизни людей, когда все преграды рушатся и люди обретают истинное взаимопонимание. Мать в «Шагах у двери» сумела в решающий момент преодолеть свою подозрительность. Марта и ее муж нарушают долгое молчание, и даже старик Сэм Ли-вонг, несмотря ни на что, все еще верит, что когда-нибудь сумеет понять эту загадочную страну.

Именно такие черты и такие моменты их жизни дороги писательнице в ее героях. И она верит, что их человечность, может быть, растопит лед отчуждения.

КНР

НОВЫЙ ШАБЛОН ПРИШЕЛ НА СМЕНУ СТАРОМУ...

После «культурной революции» 1966 года театр в Китае широко использовался для пропаганды идей Мао Цзэ-дуна. Однако только оперные и балетные спектакли считались «образцовыми», драматический театр был в загоне. Теперь положение изменилось. Журнал «Вэньсюэ пинлунь» поместил статью Чжао Сюня о том, как следует писать пьесы для драматического театра. «На сцене появилось большое число пьес, показывающих борьбу революционного народа против «банды четырех», — говорится в статье. И далее, упомянув на словах о связи искусства с жизнью и о том, что жизнь — источник всякого творчества, Чжао Сюнь, не стесняясь, начинает давать предписания драматургам, сочиняющим пьесы о кампании борьбы с «четверкой». По сути дела, статья Чжао Сюня прямо требует заменить старый шаблон, насаждавшийся «четверкой», другим, новым шаблоном, угодным нынешнему руководству. Громкие декларации «связи с жизнью» и «освобождения от схематизма» заключаются в следующих рецептах:

«Во-первых, ожесточенную борьбу линий надо описывать всесторонне, а не ограничиваться только показом диктатуры черной линии... С одной стороны, надо показать свирепость и коварство врагов, а с другой — отвагу и мудрость кадровых работников и масс. Во-вторых, в пьесах должно быть изображено, что в борьбе двух линий правильная революционная линия председателя Мао занимала наивысшее руководящее положение и большая группа старых пролетарских революционеров стояла в первых рядах борьбы... И в-третьих, пьесы не могут не показать, что в силу этого «банда четырех» должна была прибегать к интригам, злоупотреблять своими легальными возможностями, узурпировать революционные лозунги для контрреволюционной деятельности».

Таков тот новый шаблон, который предписывается в статье на актуальную тематику. Но, предписывая его драматическому творчеству, Чжао Сюнь одновременно утверждает, будто только соблюдение этих требований обеспечит произведению «соответствие жизненной правде и историческим закономерностям»...

На практике в Китае дело обстоит несколько иначе, что не может не признать даже автор статьи. Схематизм в творчестве продолжает господствовать, в такой степени, что нетрудно переделывать одну схему в другую. «В некоторых случаях дело доходит до того,— признает Чжао Сюнь,— что берут написанные прежде произведения о «борьбе с идущими по капиталистическому пути», переделывают «капитулянтов» в «сторонников банды четырех» и — не меняя ни эпизодов, ни композиции — ставят на сцене.

Таким образом, одна схема откровенно переделывается в другую, в которой положительные и отрицательные персонажи меняются местами, а прочее остается без всяких перемен, и ни старый шаблон, ни его новый маоистский вариант никак не связаны с действительно насущными вопросами общественной жизни Китая и не отражают чаяний китайских трудящихся. Оба они далеки от реальной жизни.

ПАНАМА

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Главный редактор панамского журнала «Формато 16» Фернандо Мартинес Гарсиа выступил на пресс-конференции, состоявшейся в Гаване в Кубинском институте киноискусства и кинопромышленности в связи с проведением на Кубе Недели панамского документального фильма. Свое выступление он посвятил, отмечает газета «Хувентуд ребельде», задачам и перспективам развития национальной кинематографии в Панаме.

«Датой рождения нашей кинематографии мы считаем сентябрь 1972 года — время создания Группы экспериментального кино при Университете Панамы (ГЭКУ),— сказал он.— Решающую роль в ее возникновении сыграли наши творческие контакты с кинодеятелями Кубы и прежде всего с Пастором Вегой и Хорхе Фрагой, которые устанавливались в 1972 году, во время первой, прошедшей с большим успехом в нашей стране, демонстрации кубинских фильмов. Знакомство с самобытным киноискусством Кубы стало для панамцев незабываемым, поистине знаменательным событием».

Усилиями возникшей через месяц Группы экспериментального кино, продолжал Ф. Мартинес Гарсиа, были созданы — в условиях засилья в Панаме иностранных кинокомпаний, а особенно американских — первые фильмы отечественного производства, отразившие злободневные политические и

социальные проблемы панамской действительности. Не случайно название самого первого из них — документального короткометражного фильма Педро Риверо и Эноча Кастильеро — «О процветании Родины песня моя».

Среди лучших кинолент, созданных коллективом ГЭКУ,— «Песнь о нас» Луиса Франко, фильмы Педро Риверо «По волчьему обычаю», «Навстречу ветру», а также его трилогия «Пожар», «Год спустя», «Букварь и земные проблемы».

«В нашем понимании кинематограф — это эффективное оружие в борьбе за революционные преобразования в нашей стране,— подчеркнул Ф. Мартинес Гарсиа.— Возврат зоны Канала и завоевание панамским народом независимости, проблемы экономики, просвещения и развития национальной культуры — таковы ведущие темы нашей киподокументалистики».

В этих целях Группа экспериментального кино организует показ своих фильмов среди студентов и школьников, в учреждениях, рабочих кварталах и сельских поселках. За последние годы резко возросло число киозрителей.

Главной задачей Группа считает создание по всей стране киноклубов, предназначенных для демонстрации отечественных документальных фильмов на узкой кинопленке. Важную роль в борьбе с влиянием на зрителя коммерческих американских фильмов играет выпускаемый ГЭКУ журнал «Формато 16», недавно созданные при Университете Панамы кафедра кинематографии и отдел кинокритики.

Касаясь ближайших планов панамских кинематографистов, Ф. Мартинес Гарсиа отметил намерение ГЭКУ впервые осуществить показ фильмов социалистических стран, и в частности фильма Серхио Хираля «Ранчеадор», повествующего о борьбе негров-рабов за свои права на Кубе в конце XIX века.

«В 1978 году мы снимем 6 фильмов,— заявил в заключение своего выступления Ф. Мартинес Гарсиа.— Документальная лента, посвященная деятельности политических партий Панамы, будет моим режиссерским дебютом».

ПОЛЬША

ВСТРЕЧА С БРОНЕВСКИМ

В издательстве ПИВ вышел сборник, посвященный памяти выдающегося польского революционного поэта, сообщает в статье «Встреча с Броневским» постоянный рецензент «Жиче Варшавы» Беата Совинская.

Составитель сборника — видный критик и публицист Станислав Витольд Балицкий. Он же написал вступление к сборнику, в котором, как отмечает Б. Совинская, «выражено все его восхищение и преклонение перед замечательным поэтом».

В сборник включены воспоминания, впечатления, эссе людей, которые были связаны тем или иным образом с поэтом. Среди них — поэты, прозаики, драматурги, критики, литературоведы, художники, журналисты, музыканты, общественные и политические деятели. Сборник снабжен иллюстрациями: наряду с фотографиями помещены рисунки известных польских художников.

«ПОКОЛЕНИЕ БАЧИНСКОГО»

Так озаглавлена рецензия Яцуша Сквары в журнале «Фильм» на новый фильм Яна Ломницкого «Операция у арсенала». Автор сценария — Ежи Стефан Ставинский, сам участник польского Сопротивления, знакомый советскому читате-

На снимке: кадр из фильма «Операция у арсенала».

(Журнал «Фильм»)

лю по повестям «В погоне за Адамом» («ИЛ» № 4, 1964), «Пингвин» («ИЛ» № 12, 1965), «Час пик» («ИЛ» № 4, 1968).

В фильме рассказывается о деятельности харцерской подпольной организации «Серые шеренги», действовавшей в оккупированной Варшаве в годы войны; в частности, о том, как они среди бела дня освободили двадцать пять узников, которых гитлеровцы перевозили из здания гестапо в тюрьму Павяк. Эта дерзкая операция вошла в историю польского Сопротивления как одна из самых легендарных. О ней еще в годы оккупации один из харцерских деятелей, Александр Каминьский, написал книгу «Камни из окопов», которая дважды была издана в подполье, в 1943 и 1944 годах, и выдержала еще несколько изданий после войны.

Фильм, по словам рецензента, не только воссоздает героический эпизод, он освещает всю деятельность «Серых шеренг» во время гитлеровской оккупации, показывает, как польская молодежь без колебаний рисковала жизнью, только бы видеть свою родину свободной. Как известно, на варшавских баррикадах погиб и одаренный польский молодой поэт Кшиштоф Камил Бачинский, сборник стихов которого недавно вышел а издательстве «Художественная литература» в переводах советских поэтов.

РУМЫНИЯ

ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА ПАУЛА ДЖОРДЖЕСКУ

«Лучшим фильмом года» назвал рецензент журнала «Ромыния литерарэ» Д. И. Сукуну новую картину режиссера Д. Тэнасе «Доктор Поенару», поставленную по одноименному роману Паула Джорджеску.

Действие фильма происходит в период между первой и второй мировыми войнами, когда в Румынии с особой наглядностью проявились губительные противоречия буржуазно-помещичьего строя. Это был период, когда, по словам главного героя, сельского врача Поенару, «медик чувствует себя бессильным, чуть ли не предателем, он лишен возможности по-настоящему помочь больным, умирающим, ибо отсылает их обратно в мир нищеты, бесправия и медленного угасания».

На снимке: В. Ребенджюк и В. Ницулеску в фильме «Доктор Поенару».

Неумолимая логика каждодневной жизни приводит врача-гуманиста к пониманию необходимости бескомпромиссной борьбы с силами зла. И в этой борьбе он оказывается рядом с самыми последовательными защитниками прав обездоленного народа — с коммунистами-подпольщиками.

Как подчеркивают рецензенты, успеху картины во многом способствовала замечательная игра актера Виктора Ребенджюка.

США

«Я СОВЕРШЕННО СЧАСТЛИВ»

Так писал десять лет тому назад Уильям Сароян в своих дневниках-размышлениях «Дни жизни и смерти и побег на Луну».

«Почему я счастлив? По самой убедительной из всех причин: я существую. Я сам, а не воображение, не иллюзия, не кино. Я существую в последний день августа, в последний день пятидесятидевятилетия...»

Каким пришел он к новому рубежу — к своему семидесятилетию? Об этом можно судить по вышедшей весной этого года книжке «Случайные встречи». В ней собраны небольшие рассказы—воспоминания о людях, встречи с которыми наполняли его ощущением жизни, о том, почему он испытывает бесконечную, непрерывающуюся связь с Растомом — мальчишкой он дрался с ним на школьном дворе во Фресно — и малоизвестным писателем Чарльзом Колдуэллом Доуби из Сан-Франциско, тот так и не смог ответить на вопрос молодого Уильяма: «Какой толк оттого, что писатель — писатель?» И с молоденькой дочерью фермера, что ехала с ним в автобусе и поведала бесхитростную историю о том, как влюбилась, вышла замуж, вот-вот станет матерью и, хотя у ее мужа еще нет работы и пока негде жить, у них, она уверена, все будет распрекрасно. А еще с парижским

мастеровым, который ждал по вечерам у себя в мастерской Сарояна, чтобы прочитать написанные за день стихи. «Как же ты их пишешь?»—удивлялся Сароян. «Да очень просто. Руки заняты, они знают свое дело. А слова вдруг начинают стучаться в тебя, ты их пускаешь — и к концу дня, переполненный ими, садишься писать».

И, конечно же, непрерывающуюся связь с теми, кто дал тебе жизнь, и с теми, кто ее продолжил: «Твой самый важный опыт—встреча с отцом и матерью, с сыном и дочерью... Человеку не дано выбирать не только родителей, но и людей, которых он случайно встречает в пути. С двух до двенадцати не устаешь удивляться, что женщина, немного утомленная,—т в о я мать, а мужчина, с сильным голосом и властным взглядом,—т в о й отец»,— замечает писатель. Но «несвобода» выбора оборачивается неожиданной радостью узнавания. И потому Сароян так любит бродить по улицам, путешествовать — в дороге люди доверчивее, откровеннее, щедрее. «Я люблю каждый день отправляться на улицу в поисках истории. Конечно, не совсем так, и если уж по правде, я просто вовсе ие люблю каждый день выскакивать из дома и искать свои рассказы. Просто люблю выйти из дома. Выйти. А вообще-то я могу и сидючи взаперти в ы б и р а т ь любой рассказ из тех, что вечно забивают мне голову, глаза, уши, нос, горло... Когда наступает твой час, ты у ж е вернулся из своих поисков, у ж е нашел рассказ».

В прошлом году Сароян прилетал в Советский Союз, три недели провел в Армении, вспоминал, как на первый гонорар решил поехать на родину своих родителей. Спустя пятьдесят лет он сам ответил на вопрос, на иоторый не нашел ответа у Доуби: «Если писатель может одарить людей радостью, значит, он сделал свое дело, значит, он изменил мир, потому что в счастливом человеке заключен преображенный мир».

Рассказы, вошедшие в новую книгу Сарояна, просты, как проста формула истинного счастья: «любить и быть любимым». В ней Сароян не подразумевает блаженство отшельника или невидящего: на Софийской встрече литераторов писатель напомнил, что мы живем в коварном мире, полном опасностей, которым подвергаются наш разум, дух, воля, достоинство... «Мы сохраняем свой род человеческий,— пишет Сароян,— вот уже миллиарды лет; мы по-разному продолжаем себя в других, и в том, что делаем руками своими, и в искусстве, детище безумцев, гениев, отшельников, простых смертных. И это все, чем мы богаты, все, что мы называем нашей культурой, нашей цивилизацией, нашей преходящей славой».

Но чтобы сохранить род человеческий, познать цену жизни и счастья, надо уметь любить и быть любимым. И, наверно, не случайно Сароян посвятил эту книгу людям, с которыми его свела судьба в последний свой приезд в Армению,— прозаику Гранту Матевосяну, поэту Ваагну Давтяну, критику Левону Мкртчяну.

ЧЕТЫРЕ «ОСКАРА» ФИЛЬМУ ВУДИ АЛЛЕНА

О том, что его последний фильм «Энни Холл» удостоился четырех «Оскаров» сразу: за лучшую режиссуру, за лучший сценарий, за лучшее исполнение женской роли Дианой Китон и как лучшая картина года,— сам Вуди Аллен узнал лишь на следующее утро из газет. В момент же вручении наград он находился дома, за 3000 миль от Голливуда. Вечер перед этим он провел как обычно по понедельникам, играя на кларнете в любительском джазе.

Как отмечает автор статьи в журнале «Ньюсуик», такое «прохладное» отношение к высшей голливудской награде характерно для Вуди — одного из лучших современных комиков Америки, писателя, режиссера и актера. Знакомство с его творчеством, ставшим более чем заметным явлением в культурной жизни страны, наводит на мысль, что этому сложному, тонкому, ироничному, глубокому человеку, способному быть и печально-смеш-

На снимке: Диана Китон, исполнительница роли Энни Холл, с «Оскаром».

На снимке: Вуди Аллен играет на кларнете в любительском джазе.

(Журнал «Ньюсуик»)

ным, и просто забавным, безразличны стандартные атрибуты успеха.

Чаплина, пишет рецензент, когда-то полюбили за то, что миллионам простых «маленьких» людей, запуганных и сбитых с толку оруэлловским, суматошным и жестоким американским двадцатым веком, он помог хоть в какой-то мере обрести уверенность в себе, показав им такого же, как они сами, «маленького человека», ухитряющегося устоять против давящей его машины, или, вернее, вывернуться из-под нее — пусть помятым и со слезами на глазах, но живым и все-таки заставляющим смеяться других.

Вуди Аллена полюбили во многом потому, что он, может быть, и непроизвольно — сам Аллен утверждает, что всего лишь стремится быть «смешным»,— создал современный тип «маленького человека» большого американского города, горожанина-интеллигента, далеко ушедшего от повседневных забот «Чарли» о хлебе насущном и крыше над головой, но растерявшегося в беспредельно запутанном, шумном, со всех сторон угрожающем и бессмысленном мире. И в фильме «Энни Холл» — удостоенном не только четырех «Оскаров», но еще и призов Национального общества кинокритиков и Ассоциации кинокритиков Нью-Йорка за лучшую ленту 1977 года — он предстает в роли Элви Сингера как фигура скорее романтическая, чем просто комическая,— хороший парень с нормальными человеческими стремлениями, который никак не может привести свою жизнь в какой-то человеческий порядок, потому что порядка-то такого в жизни и нет, а это вовсе не его вина.

На счету Вуди Аллена одиннадцать фильмов, две пьесы, два литературных сборника, альбом пластинок с записями его выступлений. Сейчас он снимает серьезный драматический фильм, который должен вскоре выйти на экраны. Комических эпизодов в нем не будет. «По крайней мере — умышленных»,— как пояснил сам автор.

КНИГА О ЛЕРМОНТОВЕ

Стихотворения Лермонтова и «Герой нашего времени» переводились в странах английского языка еще в прошлом веке. Однако критическая и биографическая литература о поэте, созданная в Англии и США, небогата. Поэтому особый интерес литературной общественности вызвала первая англоязычная монография, посвященная русскому классику,— книга Лоренса Келли «Лермонтов. Кавказская трагедия» (издательство «Джордж Брэзилер»).

Не ставя перед собой задачи предложить самостоятельную интерпретацию творчества Лермонтова, Л. Келли тщательно систематизировал накопленный русским и советским литературоведением материал и создал подробную достоверную биографию поэта. В книге Л. Келли показана несостоятельность еще бытующей на Западе легенды о том, что Лермонтов был только поверхностным восприемником байронизма, развившегося в озлобленное неприятие всего мира и породившего мизантропические настроения, которые будто бы исчерпывают все богатство лермонтовской поэзии.

Л. Келли рассматривает Лермонтова как чрезвычайно одаренного художника, который передал трагизм своей эпохи, когда удушались все вольнолюбивые веяния и преследовалась всякая свободная мысль. По мысли автора, в творчестве Лермонтова выразился непримиримый антагонизм творческого горения и житейской прозы и воплотилась острота противоречий, возникающих на этой почве. Читателям стран английского языка еще предстоит по-настоящему открыть для себя великого поэта России.

Рецензент книги Ф. Маклин пишет в «Нью-Йорк таймс бук ревью», что работа Л. Келли «соединяет в себе черты литературоведческого исследования и занимательность повествования, обращенного к самым широким кругам читателей», которых, несомненно, заинтересует эта книга о Лермонтове.

ТУРЦИЯ

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

В Стамбуле с марта нынешнего года начал выходить ежемесячник «Санат емеги». Выход первого номера совпал с празднованием 110-й годовщины со дня рождения Горького. Журнал отметил эту дату публикацией статьи известного турецкого поэта и переводчика А. Бехрамоглу «Горький — писатель социалистической революции», публикацией статьи самого Горького «О социалистическом реализме» и перепечаткой трех небольших статей Назыма Хикмета, опубликованных в 1936 году в газете «Акшам» в связи со смертью великого советского писателя.

Обращение нового ежемесячника к статье Горького «О социалистическом реализме» не случайно. В манифесте основателей журнала по случаю выхода первого номера прямо говорится о том, что в своем понимании искусства они руководствуются методом социалистического реализма. «Этот метод,— подчеркивается в манифесте,— учит нас необходимости понимать личное и общественное в их диалектическом единстве, учит связывать художественное творчество с развитием страны, также помогает выработать необходимые критерии в оценке некоторых мелкобуржуазных левых и консервативных, идеалистических литературных течений.

Журнал считает необходимым раскрывать гуманистическую, интернационалистическую и классовую сущность революционного искусства, призванного противостоять всем формам империалистической пропаганды, и ставит своей целью быть проводником новых ценностей. На его страницах будут представлены писате-

ли всех поколений, будет изучаться также и классическое наследие; главная задача журнала—работа по объединению всех демократических сил искусства и культуры в единый фронт, по осуществлению художественного воспитания рабочего класса; таким образом искусство во всем многообразии будет служить делу революционной борьбы».

Судя по вышедшим номерам, ежемесячник действительно стремится объединить вокруг себя признанных мастеров. В редакционную коллегию входят поэты А. Кадир, А. Бехрамоглу, Парыш Пирхасаи, критики Асым Безирджи и Орхан Тайлан; среди авторов журнала—новеллист Бекир Йылдыз (известный советскому читателю по книге «Черный вагон»), популярный певец Рухи Су, писатель и сценарист Ведат Тюркали и другие прогрессивные деятели литературы и искусства Турции.

ФРАНЦИЯ

«В ОЖИДАНИИ МОЛЧАНИЯ»

Самюэль Беккет, один из создателей «драматургии абсурда» (его пьесу «В ожидании Годо» см. в «ИЛ» № 10, 1960), поставил в парижском театре «Д'Орсэ» свои две последние пьесы «Не я» и «Не...». В еженедельнике «Нувель литтерер», в статье, посвященной этому событию, Ален Леблан отмечает, что, как и в предыдущих вещах Беккета, персонажи пьес, поставленных в театре «Д'Орсэ», проявляют себя лишь в словах, ибо «автор нарочито лишает их какой-либо возможности действовать». Если три «говорящих лица» предшествующей пьесы Беккета «Комедия» сидят по воле их создателя в урнах, то в спектакле «Не я» внимание зрителя должно быть сосредоточено на Рте человека, заговорившего после долгих лет молчания. Внимает речи, которую, по словам А. Леблана, «невозможно понять и немыслимо приостановить», лишь один безмолвный слушатель, несколько раз в течение монолога изображающий с помощью жестов «беспомощное сострадание говорящему». В пьесе «Не...» источник «потока слов» — немолодая женщина, безостановочно мерящая шагами небольшое освещенное пространство сцены. «История театра Беккета,— пишет далее автор статьи в «Нувель литтерер»,— это история слов, однако слова для героев Беккета не есть путь к пониманию и освобождению... они лишь средство, притом единственное, отвлечься от сознания бессмысленности человеческого существования и собственной беспомощности». Мало-помалу, продолжает А. Леблан, драматург изгнал из своих произведений даже условную театральную реальность, «остались лишь голоса, все остальное стерлось». Из пьесы в пьесу сокращается число персонажей беккетовских пьес, а с ними и диалоги. Что касается монологов, то они, как замечает А. Леблан, утратили субъективную окраску и выражают лишь отношение человеческого сознания к некой «идее личности вообще».

Более того, безымянные, говорящие о себе в третьем лице герои пьес знаменитого драматурга становятся, по наблюдению Леблана, с каждым разом все лаконичнее: в одной из пьес последнего периода «Ходит-бродит» всего 131 слово. «Не исключено, что в один прекрасный день на сцене беккетовского театра навсегда умолкнет человеческий голос и наступит полная тишина», — заключает Ален Леблан свою статью в «Нувель литтерер», которую он озаглавил, пародируя название пьесы Беккета, «В ожидании молчания».

Арман Лану и режиссер Стелио Лоренци создали телефильм «Золя и человеческая совесть» (по книге Армана Лану «Здравствуйте, господин Золя»). В фильме, над которым они работали два года, показано, как Эмиль Золя встал на защиту Дрейфуса, возглавив борьбу с несправедливостью. «Этот фильм — произведение искусства, наделенное огромной взрывчатой силой»,— пишет Андре Вюрмсер в «Юманите» в статье «Эпопея гражданина Золя». Критик называет фильм шедевром телевизионного киноискусства. Вюрмсер подчеркивает достоверность исторических реалий, воссозданных в фильме, отличную игру актеров. Роль Золя исполняет Жан Топар.
На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Юманите диманш»)

Авторы этого номера

ЖЕО НОРЖ — GÉO NORGE (род. в 1898 г.).

Бельгийский поэт, пишет на французском языке. О нем и его творчестве см. вступление М. Кудинова к подборке стихов.

Предлагаемая вниманию читателя подборка составлена из стихотворений сборников «Тёрки» («Les Râpes», 1949), «Крупная дичь» («Le Gros Gibier», 1953), «Воровской жаргон» («La Langue Verte», 1954), «Правда в глаза» («Les Quatre Vérités», 1962).

КУДИНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (род. в 1922 г.).

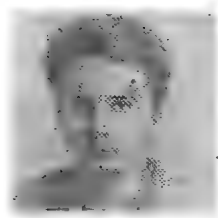
Советский поэт и переводчик. Автор трех книг стихов для детей. В его переводе опубликованы сборники стихов французских и бельгийских поэтов: Гийома Аполлинера, Блэза Сандрара, Жака Превера, Робера Десноса, Рэмона Кеио, Жана Тардье, Андре Френо, Мориса Карема. «Иностранная литература» публиковала его переводы из Жерара де Нерваля (№ 1, 1974), Тристана Корбьера (№ 8, 1976) и др.

ХУЛИО КОРТАСАР — JULIO CORTAZAR (род. в 1914 г.).

Аргентинский прозаик, один из наиболее известных современных писателей Латинской Америки. Живет в Париже. Его книги переведены на многие языки. Дебютировал в литературе в 1949 г. драматической поэмой в прозе «Короли» («Los reyes»). Автор многих произведений, в том числе сборников рассказов «Зверинец» («Bestiario», 1951), «Конец игры» («Final del juego», 1956), «Секретное оружие» («Las armas secretas», 1959), «Огонь всех огней» («Todos los fuegos el fuego», 1966), романов «Выигрыши» («Los premios», 1960), «Образец для построения» («Modelo para armar», 1962), «Игра в классики» («Rayuela», 1963), «Книга Мануэля» («Libro de Manuel», 1973).

Впервые на русском языке произведения Х. Кортасара были опубликованы в «Иностранной литературе» (№ 1, 1970), затем вышли сборник рассказов «Другое небо» (М., 1971) и в серии «Мастера современной прозы» — «Избранное» (М., 1976).

Публикуемые в этом номере рассказы взяты из сборника «Восьмиугольник» («Octaedro». Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1974).



БЫЛИНКИНА МАРГАРИТА ИВАНОВНА.

Советский литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор монографии «Особенности испанского языка в Аргентине» (1968) и статей по испано-американской филологии. В ее переводе опубликованы романы К. Фуэнтеса, М. Отеро Сильвы, Х. Рисаля, М. А. Астуриаса,

А. Карпентьера, А. Варелы, произведения Х. Кортасара, А. Ландиноса и др.

■

ЭДГАР ЛОРЕНС ДОКТОРОУ — EDGAR LAWRENCE DOCTOROW (род. в 1931 г.).

Американский писатель. Его первые романы «Вступление в тяжелую пору» («Welcome to Hard Times») и «Большой как жизнь» («Big as Life») появились в шестидесятые годы. Затем вышел роман «Книга Дэниэла» («The Book of Daniel», 1971), материалом для которой послужила жизнь детей супругов Розенберг, бездоказательно обвиненных в атомном шпионаже и казненных на электрическом стуле. За этот роман писателю была присуждена Национальная премия.

Мы предлагаем вниманию читателя его роман «Рэгтайм» («Ragtime». New York, Random House, 1975), оцененный американской критикой как «лучшая книга года».

■

АКСЕНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

(род. в 1932 г.).

Советский писатель. Автор повестей «Коллеги» (1960), «Апельсины из Марокко» (1963), «Затоваренная бочкотара» (1968), романов «Звездный билет» (1961), «Пора мой друг, пора» (1964), сборников рассказов «Катапульта» (1964), «На полпути к Луне» (1966), книги «Поиски жанра» (1978) и других произведений. Впервые выступает как переводчик американской прозы.

■

ЭДНА О'БРАЙЕН — EDNA O'BRIEN.

Ирландская писательница. Родилась в 1932 г. в семье небогатых фермеров. Ее первый роман «Сельские девушки» («The Country Girls») увидел свет в 1960 г. Впоследствии вышли романы «Одинокая девушка» («The Lonely Girl») и «Благословение брака» («Girls in Their Married Bliss»), который вместе с первым романом составил трилогию. Перу Эдны О'Брайен принадлежит еще семь романов (на экранах Советского Союза демонстрировался фильм «Я была так счастлива здесь», снятый по одному из них) и два сборника рассказов: «Предмет любви» («The Love Object». London, 1968) и «Женщина скандального поведения» («A Scandalous Woman», London, 1974).

Предлагаемые рассказы взяты из первого сборника.

■

ЭЛЬКИНД ЕЛЕНА ДАВЫДОВНА.

Советская переводчица. Переводила с английского языка произведения Марка Твена, Ф. Б. Гарта, Дж. Голсуорси и с чешского — Карела Чапека, Марии Пуйманової, Я. Глазоровой, Ф. Шрамека и др.

■

ЮНУС ЭМРЕ (1250—1320/1321?).

Турецкий поэт эпохи средневековья.

О жизни и творчестве Юнуса Эмре см. вступление к стихам С. Липкина.

■

ЛИПКИН СЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ

(род. в 1911 г.).

Советский поэт и переводчик. Переводил на русский язык народные эпические поэмы, произведения классиков и современных поэтов Востока. Автор книг стихов «Очевидец», «Вечный день», «Тетрадь бытия». Народный поэт Калмыкии.

■

МУЛЯРЧИК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

(род. в 1938 г.).

Советский литературовед, критик, кандидат филологических наук. Автор работ «Творчество Джона Стейнбека» (1963), «Американский роман в 20-е годы XX века» (1968), «Американская литература и общественно-политическая борьба: 60—70-е гг.» (в соавторстве, 1977).

■

ДОРОТИ ПАРКЕР — DOROTHY PARKER (1893—1967).

Американская поэтесса, новеллист и драматург. Автор нескольких сборников сти-

хов и рассказов. Ее новелла «Крупная блондинка», вошедшая в сборник «Плач по живым» («Laments for the Living», 1930) была удостоена премии О.Генри.

Публикуемые стихотворения взяты из известных ее поэтических сборников: «С некоторой свободой» («Enough Rope», 1926), «Пушка на закате» («Sunset Gun», 1927), «Смерть и испытания» («Death and Taxes», 1931).

■

ЖАК СТЕРНБЕРГ — JACQUES STERNBERG.

Французский писатель. Автор ряда научно-фантастических романов и новелл. Публикуемые рассказы взяты из сборника «Между двумя зыбкими мирами» («Entre deux mondes incertains». Paris, Editions Denoel, 1957).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/VII 1978 г. А 11998. Подписано в печать 10/VIII 1978 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,44.

Тираж 617.000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.) Зак. 2102.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР. Франция. На террасе

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394

К нашим читателям!

В 1979 году редакция журнала предполагает опубликовать следующие произведения художественной прозы:

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия).
Тьетá из Агресте

ДЖОН АПДАЙК (США).
Давай поженимся

ТАГИР ВАТТАР (Алжир).
И содрогнется земля

ТИБОР ДЕРИ (Венгрия).
Милый папочка

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ (Франция).
Испанец

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА (Перу).
Тетушка Хулия и писака

НОРМАН ЛЬЮИС (Англия).
Сицилийский специалист

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия).
Последний взгляд

ЛУИЗА РИНЗЕР (ФРГ).
Черный осел

ЕЖИ СТАВИНСКИЙ (Польша).
Дневник молодого варшавянина

ВИНЦЕНТ ШИКУЛА (Чехословакия).
Мастера

ПААВО РИНТАЛА (Финляндия).
Мальчишки